

ИВАН ЕРМАКОВ

*Учите меня,
кузнецы*



УРАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

УРАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА



Издается с 1967 года
Второй выпуск

Редакционная коллегия:

Н. Г. Никонов (главный редактор)
И. А. Дергачев, М. С. Каримов
К. Я. Лагунов, В. Ф. Потанин
В. И. Селиванов (зам. главного редактора)
О. К. Селянкин, Л. Л. Сорокин

ИВАН ЕРМАКОВ

*Учите меня,
кузнецы*

Сказы

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1984

84P7
E72

Составитель С. И. Ермакова
Послесловие Н. А. Полозковой

Солдатские сказы

ПОРЧЕННЫЕ СОЛДАТЫ

Немало деньков у красного лета, да только один какой-нибудь душа сберегает. Метели повеют, морозы ударят, а вспомнишь его, этот денек, и потеплеет в твоей груди. Так и человека... Многих я на своем веку перевидал, не поле перейдено — жизнь прожита, а Ивана Николаевича не с кем мне поравнять. Гляжу вот на его портрет и памятью сличаю. А она, хоть и старая, память-то моя, да не вовсе проржавела. Есть там такие уголки, где прожитое ровно зеркальцем отражается. Как про такое не рассказать.

На любви да на славе ходил у солдатской братии фельдфебель Коршунов. За веру да царя живот сложить — это еще и подумать и погодить можно, а за него — рисковали. Прост был с солдатом, ровен, человека в нем искал. Не зря, когда начальства близко не толклось, не фельдфебелем его, а Иван Николаевичем рота звала. Мы за ним как за отцом родным жили. Одеты, обуты по ноге, по мерочке, убоинка в котле не переводилась, в баньку — и мыло тебе, и веничек. Одним словом, правильно нас в полку «румяной» ротой звали.

Лих да брав, весел да удал по земле ходил наш фельдфебель. Всегда до отсверка выбритый, усы в два тонких жальца сведены, глаза — серые, крутой, громкоголосый — пружина человек! С ним и служба веселей шла. А веселей — всегда легче! Посильна, говорят, беда со смехами. И не зря говорят. Кому служить довелось, тот помнит, какие они, первые-то месяцы... Затоскует человек. Мамонька с тятенькой на ум падут, зазнобушка, пес Валетко тут же как живой предстанет. И в ночное съездишь, и на деревенском кругу побываешь, и черт те куда не заплеться. Осоловеешь даже. Сам в строю, а мечта — в раю... Иван Николаевич мигом таких-то в

солдатское естество приводил. Сейчас побасеночку! Тут тебе и как служивый человек сатану к присяге приводил, и как роту чертей ученьем замучил, и как в табакерку смерть свою засадил. За вечер так бывало ухочешся — под вздохи колет. Осоловелого тоже проберет: что годовалый стригун ржет. За это самое нас кроме «румяной» еще и «веселой» ротой прозывали.

Солдаты из других рот в шутку не в шутку, а выскажутся:

— Дайте нам своего фельдфебеля хоть на недельку. Вша с тоски заела.

Пустяк вроде солдатская байка, а Иван Николаевич со смыслом ею солдата пользовал, с загадкой. И сам он был человек с загадкой...

Как-то перед отправкой в Маньчжурию купил Иван Николаевич где-то козла. Здоровенный козел, пегий, в три масти — Захаркой звался. Копытца, рожки ему вызолотил, бородку подровнял, на шею поясok шелковый с лентами повязал. Изукрасил, одним словом, как циркача какого, и стоит, любитесь.

Мы, понятное дело, интересуемся: ежели в котел, то к чему золотые рога, ежели на позицию... Тут уж вовсе в тупик зайдем.

— В том-то и дело, что на позицию, — поясняет нам Иван Николаевич. — Знайте, — говорит, — что козел в бою удачу приносит. Во французской армии в каждом полку, почитай, кроме командира, попа-капеллана, знамени, денежного ящика, еще и козел имеется. Издавна у них так-то заведено.

— Значит, и мы на французский манер?

— На французский не на французский, а все солдату веселей, ежели какое дыханье рядом, пусть бы и козлячье даже...

Видал, с какой он думкой!

А так оно и выходило. Солдат кругом казенный. Окромa винтовки, шинели да котелка, родни нет. Тут любой животинке рад будешь...

Стал наш Захарушко ротным любимцем. Ласкать его да играть с ним в драку любителей насбирывалось. И кусочек ему несут, и капустную кочерыжку, и сахарком балуют, а другая добычливая душа рюмочку принять сговаривает:

— Откушай, Захарыч! Один раз живем!..

Когда тронулись эшелоном, вовсе Захарко дорогим

подарочком оказался. Всех-то в вагоне он обойдет, у каждого мяконькими губами в ладонях пошарится, хлеба, соли отведаст да еще и сладенького выклянчит. Целый день цыганит. Заиграют на балалайке — Захарка тут как тут: уставится на музыканта и вертит башкой. То так, то эдак ее склонит, вроде как лады запоминает. А как песню заведем: «Шел солдатик из похода...», и подкозлоголосит. Уморушка. Уж и петь перестанут, а он все мекает. Растревожился, значит.

Потешались с ним так-то до поры, а пришла она — довелось нашему Захарке другим делом заняться, хоть бы и не козлу впору.

Был в нашем взводе Петров Семен, рядовой. Ничего особого в нем не замечалось, кроме разве того, что грамоте хорошо он знал. Днями, бывало, просиживал — книжки читал да письма нам на родину строчил. Однако себе на уме паренек. Мы едем, песни поем да по уголкам «короля за бородку» тянем, в «двадцать одно» то есть дуемся, а он все заботный какой-то. Под вечер темно станет — про японца разговор зайдет:

— У них, братцы, вся держава морская. Он, японец, нырять, сказывают, ловок, а на земле, на сухопутьи то ись, его раскачка берет. Ну, стало быть, мушку-то у винтовки ему и не словить... Палит куда попадая...

Петров возьмет да и осадит:

— Испробуете, как жареный петух клюется...

Мы с малого ума на него:

— Гляди-ка чем застрашал! Да нешто он, желтопузик, может против русского устоять! Мы аржанушники небось, а он — рисоед. С птичьих-то харчей немного с русским навоюешь.

А кто еще и такое выскажет:

— Они, япошки, поголовно все больные... Хворость такая по ним ходит — сонная чума зовется. Ходит он, работает, вроде как и здоровый, а как двенадцать часов дня пробьет — кого где застигло, тот там и засыпает. Вся Япония спит. А храпят — острова, говорят, колыбаются. Тут мы, значит, и подбирайся к нему, к куриной слепоте, наповид хоря, и свертывай, значит, башки по очереди...

Петров опять остудит:

— Смотри, паря, как бы тебе без очереди не свернули.

Ну и прочее так.

Все больше намеки подкидывал.

И вот один раз на поверке кого нет? Петрова нет. На нары заглянули, из-под нар повывкликивали, мешки разбросали — исчез Петров. Наказал нам Иван Николаевич молчать пока, а сам по эшелону отправился. Не загулял ли, мол, где у дружков. Прошел весь эшелон — пропал. Порешили так, отстал где.

Докладывать про этот случай Иван Николаич повременил в надежде, что через денек-другой догонит нас Петров. Ну и догнал!.. Только не Петров, а сам командир дивизии. И взбреди ему прицепить свой вагон к нашему эшелону. Перед сражением, дескать, солдат должен видеть своих начальников, один бравый вид которых ему победу являет.

На другой день на каком-то разъезде смотр нам назначен был, Иван Николаевич не в себе ходит: Петровато нет. Мы тоже притихли. Знаем, что за дезертира его по головке не погладят. Строго взыскивали. Не иначе идти ротному докладывать.

Выслушал ротный Ивана Николаича и говорит.

— Знаешь что. Фельдфебель, который солдата потерял, еще фельдфебель, а вот который его не найдет — это уж полфельдфебеля. Так что смекай, выкручивайся на смотру-то. На всякий случай знай, что генерал с пяти шагов архиерея от погорельца не отличит. Может, и не заметит, что ряд неполный. Близорукий он. Ему бы гусей пасти белых, а не дивизией командовать. За славой едет, за крестами, немецкая колбаса...

На остановке заходит к нам Иван Николаевич.

— Ну как? Нет Петрова?

— Никак нет!

Поймал он тогда Захарку за шелковый ошейник и говорит:

— Прймай, когда так, Захар, присягу. С нынешнего дня ты больше не козел, а четвертой роты нижний чин под фамилией Петров Семен. Разыщи-ка, ребята, шинель, папаху да сапожнишки — обмундировать надо рекрута. Да вот что. Сейчас смеяться — кто сколько продышит, а в строю — ни гу-гу!

Поставили мы Захарку на дыбки, шинелку, папаху, сапоги на него надели, ремешком подчембарили, смотрим — солдат из козлиной образины получается. Кабы в тот момент кто заглянул к нам в вагон, не иначе бы подумал, что умом тронутых или контуженых везут!

впokat все начисто перевалились. Я с измалетства смешливый, не одну шишку от тятиной ложки на лбу износил — не фыркай за столом — а так разу не хохотал. А он... он, скотина, стоит, сурьезным взглядом на всех поглядывает да еще губами своими чего-то шевелит.

Иван Николаевич оглядел сыздаля — тоже усами заповодил.

— Сойдет, — говорит. — Раздевай его, ребята. А в случае команды на смотр, снарядить таким же манером и на место Петрова в строй поставить.

Потом к Захарке обратился:

— Извиняй, — говорит, — Захарушко. Бородку тебе снять придется. Нам это не в масть.

Наказал он еще на случай переклички отгаркнуться за козла и по своим делам заспешил.

До этого мы все полагали, что он шутики шутит, а тут засомневало нас.

Вернули его, спрашиваем:

— Неужели, Иван Николаевич, и вправду козла в строй поведем?

— Да, — говорит, — поведем.

— А ну как заметит генерал?

— Не может того быть, — говорит, — чтобы целая рота солдат одного генерала не провела.

— Ну а... ежели?

— А ежели... Вы вот спрашиваете, откуда я солдатские байки добываю, — вот и вам будет байка про козла Захария да фельдфебеля Коршунова. Только не помирать раньше смерти. За добрую выдумку с солдата полвины скидывается, а другой командир и всю прощает. Так-то, братцы.

Ну, на первый раз все благополучно сошло. Стоял Захарко третьим в ряду, передними ногами Ваське Ложкину в спину упирался, с боков его локотками стерегли, а больше всего винтовка его к строю понуждала. Ремнем-то он с ней заодно запоясан был. Падать доведись — вместе с винтовкой пришлось бы. Заслоняли его кто плечом, кто папахой от чужого глаза. Пронесло.

Едем дальше. Петрова все нет и нет. Опять генерал к нам пожаловал. Любил он перед строем гоголем пройтись. Чудной какой-то был. Шлюмпельплюнь или Шлюмпеньхлюст его фамилия была — запомятовал. В приметы всякие, как баба на сносях, верил, сны по

книжкам растолмачивал, высокие речи произносить любил.

— Братцы! Не устрашимся смерти за государя-императора нашего, за веру православную!

Норовит так-то перед строем пройти, а где уж там, когда нога за грудью не поспевает.

Поздоровался с нами:

— Здравствуй, четвертая!!

Мы не остереглись да во всю дурнинушку:

— Зздррра-а-а!!!

Захарку-то и переполохали... Забился он, замемекал, из-под шинелки шрапнелем стрелял! Братец ты мой!..

У Шлюмпельплюня нос клюквой напевать начал, бровями замахал...

— Эт-та што?!

Ротного той же секундой кашель схватил, а Иван Николаевич тут как тут.

— Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство... Это рядовой Петров, порченый сн у нас. Порча на него напущена. Это она в нем таким манером взбегивает.

— Как же он через комиссию пропущен, порченый? Мне порченных солдат не надо.

— Должно быть, фершала недоглядели... Да вы, ваше превосходительство, не извольте тревожиться!.. С ним редко так-то. В строю первый раз случилось.

— Больше его в строй не ставить! Что получается? Вся рота командира здоровствует, а он козлом ревет... А случись государь или великий князь?..

Иван Николаевич позвонки в струнку.

— Слушаюсь! — кричит. — Ваше превосходительство!!!

Отмякнул Шлюмпельплюнь. Отпустил солдат. Когда разошлись, ротный хохотать начал.

— Как это ты про порчу-то сообразил? — у Ивана Николаевича спрашивает.

— Надо же было как-то вызволяться, вот и сморозил.

С тех пор у нас и повелось: не хватает в строю человека. «Кого нет?» — «Порченного!» Ну и ладно. Захарку все-таки, на случай, если по вагонам проверка пойдет, обмундировали да к нарам в лежку привязывали. «Родимец, мол, бьет его».

Так он с нами до самого места и доехал. Потом пешком четверо суток шли. Захар от своей роты ни днем ни ночью не отстает. Приказывают нам рыть окопы... Слух явился, что где-то обошел японец наших и сюда направляется. Тут уж не до потех стало. За день до того земле накланяешься, что не ты лопату или кирку водишь — она тобой руководит. Вот ребята и придумали Захарку с собой за окопы выводить. «Веселей, мол, с ним в секрете и сон не так одолевает». Больше, конечно, для отговорки эта речь велась, насчет сна-то. Все равно подремывали. Японец неизвестно где, ну и особо не остерегались. Захарка же этим моментом соберется и пошел на китайские огороды пропитал себе добывать. Черт те куда заберется. Китайцев повыселили которых, которые сами поубегали, ему и волюшка.

Там-то одной ночью он и повстречался с японцами. Отряд разведки ихней шел. Увидели Захарку, вот, думают, и шашлык-махан на закуску. Стрелять поостереглись — изловим, мол, да прирежем. Захарка чует — не русский дух, занюхтил сопаткой, зафыркал да наутек. Японцы вдогон. Кто-то ему беговую жилку на задней ноге штыком тронул. Взревел Захарушко и на трех ногах в свою сторону скачет. В секрете слышали — неладно козел ревет — на всякий случай тревогу сделали. Сгрудились мы в окопах, глядим в сумрак. Скачет Захарушко, ревет задичалым голосом, а японцы за ним по пятам. Саженой семьдесят от нас осталось. Окружили они его, кольцом сжимают. Офицеров в окопах с нами не было: они по фанзам ночевали, один Иван Николаич тут.

— Ну-ка, — говорит, — братцы, изготовьтесь! Берн их врукопашную! Легким шагом — за мной!

В это время самураи Захарку на штыках подняли. Гогочут! Тут мы и взяли их... Збанзайкать не успели, «уру» свою скричать...

Услышали шум офицеры, набежали.

— В чем дело?

— Глядите в чем!..

Японской полуроты как не бывало. Три человека, верно, плену запросили, ну их шагом-мигом в штаб. А мы давай подбирать своих, которые пораненные штыками оказались. Захарушку тоже в окоп спустили. Прикрыли шинелкой — лежит сердешный, ни у кого уж сахару не попросит.

На восходе солнца прибыл к нам Шлюмпельплюнь. Ему о деле доложено было.

Поблагодарствовал он нас за службу, потом спрашивает у ротного:

— Кто отличился?

— Фельдфебель Коршунов, ваше превосходительство. Он водил роту и в рукопашной уложил троих неприятелей.

Шлюмпельплюнь подманил адъютанта, взял у него шкатулку, достал оттуда Георгиевский крест и сам приколот его к шинелке Ивана Николаевича. После спросил про нашу потерю.

Ротный докладывает:

— Четыре нижних чина, ваше превосходительство.

«Как,— думаем,— четыре? Три только...» Потом уж смекнули, что Петрова Семена, «Порченого», тоже в упокойники определяют. Не числился чтобы, значит, по спискам.

Так их и батюшка отпел. Троих православных и одного козла.

С того самого дня началось у нас с японцем боедействие. Попервости удивлялись мы: как так получается? Что ни бой, японец нам вложит да вложит? Кажись, и храбрости русскому солдату не занимать, и за смекалкой не в люди идти, да и Россия за спиной громадная. А без толку все. У японца пулеметов — что у богатого собак. С каждой сопочки на нас погавкивают да покусывают. Артиллерия — орудьев не перечесть. У нас же больше штык да «ура». Не раз про «жареного петуха» вспомнить пришлось. Видно, не с проста языка Петров говорил... Его правда.

Дальше такое пошло, что мы и веру в себя всякую потеряли. Это ни к тому сказано, что наш солдат над собою японского поставил, — он, мол, способней к бою, — а к тому, что неладное наш солдат почуял. Про измену разговоры пошли, про грызню генеральскую, про скудое ихнее. Теперь уж микаду реже вспоминали, больше своего чихвостили. Нашу дивизию пополняли, пополняли, а все равно так растребушили к концу войны, что пришлось ее в тыл отвести.

Тут и объявился Петров Семен. Он, оказывается, в это время, пока мы за царскую дурость расплачивались, натуральным подпольщиком сделался, революционером.

По первости украдкой с нами встречался. Стал нам листки тайные передавать, растолковывать многое.

— Вы,— говорит,— льете свою кровь, калечитесь, а за какой интерес? Нужна вам китайская земля? Из вашей крови царь с компаньей новые миллиончики себе составляет. Вас гонят на убой, продают, сиротят семьи и такой вот разбой прикрывают Отечеством. А в Отечестве, братцы, идет Революция. Народ восстал. Здесь опять царю ваши штыки нужны! Нужны солдаты-братоубийцы...

До войны заведи-ка он такие разговорчики! Сдуру руки бы завернули да к ротному доставили. А сейчас — молчок. Даже сберегали его. Сам не знаю, как вышло: то ли потому, что с Захаркой его судьба перемешалась, то ли для тайности, а только стали его промеж себя «Порченым» звать. Ивану Николаевичу тоже известно стало, что Петров объявился, но он и ухом даже не повел.

— Мало ли,— говорит,— Петровых на свете. Своего мы в Маньчжурии схоронили, знаете, поди-ка, а до других Петровых нам дела нет.— Вроде намека давал: лишний, мол, это разговор.

Воевать нам больше не пришлось. Замирились с микадой. А как — все, поди, знаете. На своем позоре замирились. Да и Миколашке не до Восходящего Солнца стало — такие зорьки по России заполыхали.

Помню, мы в Чите стояли. Вдруг прошел слух, будто хотят нас послать бунт на железной дороге усмирять. Петров этот слух подтвердил. Листков дал, митинг велел собрать.

Загудело, затревожилось серое улье:

— Не пойдем против своего народа! И так спустили русской кровушки...

— С японцем не совладали — бей своих?!

— Пусть дура-гвардия едет да смиряет!

— Ежель штаны сухие...

— Здесь им не Петербург! Не с безоружными...

Петров выступил, от железной дороги делегат, потом слово взял Иван Николаич.

— Братцы! — говорит. — Вы меня знаете. Вместе прошли одну судьбу, сражались с неприятелем, хоронили своих товарищей... Вот мои руки! Они чистые. Вражья кровь простой водой отмывается, а братнюю вовек ничем не смыть. И пусть мне их завтра отсекает па-

лач — не поднимаю ружья против своих! Мы на каинство присяги не давали.

Порешили на митинге из казарм никуда не выходить, винтовки в пирамиды не складывать, с рабочими держать связь.

Шлюмпельплюню кто-то, видно, доложил, что мы митингуем, — прикатывает в казармы. Офицеры повыскакивали из штаба, повытянулись, а он на них как затрясет кулачком. «Сукины сыны!» — кричит. Потом построить нас приказал.

— Вы что же, — спрашивает, — бунтовать?! Присягу рушить вздумали?!

Сзади кто-то и крикни:

— Мы присягу не давали со своим, русским, народом воевать!

— Бунтовщики не русский народ. Они враги государства и Отечества, и поступать с ними должно как с неприятелями.

Опять голос:

— Дак их откуда хоть завезли столько, анафемов?! Какой же они нации, ежели не русские?

Шлюмпельплюнь на это промолчал. Зачинщиков стал требовать.

— Нету зачинщиков! — отвечаем.

— То есть как нету?

— Так что все мы зачинщики!

В это время в строю кто-то по-козлиному заблеял.

Шлюмпельплюнь насторожился:

— Эт-та кто? Порченный опять?! Я же приказывал в строй его не ставить!

А кто-то, звонкоголосый, на весь плац:

— Не волнуйся, твое превосходительство! Мы здесь все порченые! Зачем не видишь: подхватит нас!

— То есть как подхватит?

— А так подхватит, что тебе небо с овчинку покажется.

И пошло:

— Бэ-ээ!!! Мэ-э-э!!!

— Долой самодержавие!!!

— Кукареку-у-у!!!

— Забыли «Потемкина»?!

Шлюмпельплюнь взапятки, взапятки, потом повернулся да бежка.

С тем и уехал.

Мы к той поре и верно «подпортились». Красным духом от нас пахивало. Дружней бы всем взяться — сколупнули бы Николая. Быть бы бычку на веревочке. Ну да урок впрок был. В семнадцатом за милую душу сгодился.

Иван Николаич внедолге тут распрощался с нами.

— До свиданья,— говорит,— братцы. Не поминайте лихом фельдфебеля Коршунова.

— Дак тебя как,— спрашиваем,— командование, что ли, куда переводит?

Помолчал он маленько, потом вполголоса:

— У меня, ребята, теперь другое командованье...

И тоже, значит, как Петров. Исчезнул. В подпольщики ушел.

Вскорости и нас по домам рассортировали. Рисково стало таких-то при оружии держать. «Порченные»... В четырнадцатом только затребовали.

К девятнадцатому году дома я уже был. Раны от Деникина изнашивал. И вот вступил в нашу деревню красный полк. Вызывают меня к командиру. Знал бы к кому иду — быть бы моему костылю орловским рысаком. Иван Николаич командовал тем полком! А комиссаром у него — Петров Семен. За революцию бились «порченные» солдаты! Ну, тут я к ним же, недолеченный.

Сейчас вот гляжу на ихние портреты, и шевелится пух на моей лысой голове. Гордый ознобчик ее покалывает. «Здравствуйте, боевые друзья! Еще не все старые «манжуры» на тот свет откочевали. Есть, которые бывшее вспоминают да сказы про то сказывают».

1963 г.

АВРОРИН ТАБАЧОК

Спасибочко — не курю. Я табачок через нос употребляю. С гражданской войны привычка. Не желаете щепотку? Как хотите... Редко, говорите, встречать приходится нюхальщиков? Это верно. Вымирает наш брат. Скоро и на развод не останется... Папиросы да махорка на каждой полке, а «нюхательного» с огнем поискать. Откуда же ему народиться, нюхальщику-то? Ну да беда не велика! Мы вот-вот отнюхаем свое, а молодежь — кури каждый свой сорт.

Я поначалу тоже курил. А нюхать — это уж в партизанском бытѣ начал. Мы одно время поголовно, считай, всем отрядом носы смолѣли.

Случай такой вывернулся. Прослышал наш командир, что в одном японском гарнизоне овес на складах лежит. Решили мы этот овес что бы ни стоило добыть. Потому — зарез выходил: зима, тайга, бескормица. Нашу «кавалерию» хоть сейчас на поганник вывози, хоть денек погода. Истощали кони — нога за ногу задевает... Ну и одной ночью расхлестали мы япошек. Овес забрали, бинты, лекарства, харч, конечно, и между прочим пять ящиков табаку этого самого захватили. С куревом-то у нас тоже «ох» было... Мох да веничек в завертку шел. Вот и перешли на понюшки.

Другие химики водой пробовали его смачивать, чтобы в крупку потом согнать, да без толку. И так и эдак истязали табачишко, а тоже к тому же подошли, что и мы, грешные. Также зеленую жижку по подносью пустили. Чиху было попервости! Смеху! Веселый табачок оказался. Так, с шутками да смешками и подзаразились нюхать. Другие на всю жизнь унаследовали. Ну, и я табакерочкой обзавелся. Она, видите, предназначена, чтобы масло ружейное, щелочь в ней таскать — армейская, словом, масленка. А при надобности и под табак годится. У кого изжога бывает — соду в ней носят, писарь чернила разводит, охотник — пистоны, стрихнин хоронит — под всякую нужду посудинка. Как говорите? В музей сдать? Партизанская, стало быть, табакерка? М-да-а... Оно, конечно, лестно ей в музей стоять, да по заслуге ли честь? Всего-то и боедействія от нее, что партизанскому носу скучать не давала... Нет уж, если ставить табакерку в музей, то не эту. Нет, не эту...

А есть такая! Вот та по всем статьям заслуженная. Многим она известна была. Где она сейчас — точно не скажу, а на след наведу.

Ходил у нас на известье да славе паренек один... Федей прозывался. Попутно еще Шкетом... Отменной храбрости и героизму парнишко был. Партизанский связной и разведчик... Отчаянная голова, трижды отпята! И всего-то ему в ту пору восемнадцатый годок шел.

На слуху он стал после того, как у командира полка «дикой» калмыковской дивизии среди бела дня коня в тайгу угнал. Японского повара, в кашеварке завинченного, он же привез... Тот, значит, подгорелые пенки вы-

скребал. Росточка небольшого — воткнется с головой в кашеварку и скорочет ножом. На цыпочках вытягивается... Ну, Шкет его и уследил! Приподнял за лодыжки, ноги в котел завернул, крышкой прихлопнул да — по лошадам. Кашеварка-та запряжена была за водой ехать.

Мы вторую неделю на сухарях да жмыховых лепешках перебивались, а тут, смотрим, каша подъезжает! В один момент котелки, миски в руки, ложки на изготовку — окружили трофею.

А Федя на нас:

— Вы что! С голодного острова, что ли? Никакого порядка!.. А ну, становись в затылок, разевай глаза, звенькай в котелки — всех удоволю!

С тем и отвинтил крышку.

Японец поднялся, плачет стоит, а мы такое «га-га-га» по тайге пустили, аж шишка валится. Накормил, прокурал!

Много, одним словом, за ним удалых дел значилось. Он и калмыковцам и японцам солоно достался. Немало ихнего брата изловил да жизни решил. Сумму даже за него назначили. Только Шкет и ухом не вел! Свое продолжал...

Храбрость, однако, храбростью, да не одной ею знаменит был наш Федя! В редком отряде про его табакерку не наслышаны были. Порох берег в ней Федя...

Он в самую революцию, в Октябрьскую, значит, в Петрограде проживал. Ну и когда «Аврора» сыграла Керенскому отходную, он наутро где-то раздобыл лодочку да и пригребся к крейсеру.

— Чего надо? — спрашивают. — Кто таков?

А он поднялся в рост в лодке-то и звонкоголосит на всю Неву:

— Товарищи революционные матросы! На Тихий океан еду!.. Батя у меня там на флоте!.. Дайте мне горстку пороха, которым вы по старому миру палили — я его Тихому океану покажу.

Его гнать:

— Брысь отсюда, салажонок! Не знаешь — к военному кораблю подходить не дозволено?! Надрать вот уши-то!..

Другие опять налима в штаны засадить грозятся.

Так бы ему и уплыть ни с чем, кабы не один заряжающий.

— А что, — говорит, — братки, ежели нам и в са-

мом деле Тихому океану нашего авроринского балтийского порошку послать? Для затравочки! Там, поди-ко, тоже дела будут... Мы аукнули — им откликнуться!

Ну, значит, задел он ребят за живое этими словами. Они, флотские-то, любят друг перед другом... Знай, мол, Тихий океан наших балтийских! Допрашивать они Федьку давай:

— А верно ли, на Тихий поедешь? Может, треп один.

— Утонуть мне на этом месте и дна не достать невского! — поклялся им Шкет.

Заряжающий тогда добыл макаронку пять пушечного пороху, порушил их, намял в табакерку и подает Феде:

— Держи, голубь. Это ничего, что крупного помола... Мировая буржуазия и от такого зачихает. Заводной, гневливый, разрывчатый—вези ей на понюшку.

Как там дальше было, не скажу, а только не доехал Федя до океану. Время вихревое шло, людей что крупинки в кипятке разметывало — на большой скорости жизнь громыхала. И очутился Федя вместо Тихого в тайге партизанской. Так уж ему путь пролег.

По своей должности связного приходилось ему, и нереденько, в другие отряды выезжать. Где ни появится, уж без того не уедет, чтобы табакерку с порохом не показать. Наслышан народ был, какой он «табачок» в ней таскает, ну и любопытствовали: кто на ладони рассмотрит, кто нюхать примется, а кто и на зуб пробует.

Был у нас в отряде старикашка один, Мокеич, вроде лекаря значился. Кровь останавливал, корешками, травами пользовал и, между прочим, ловко диких пчел выискивал. Идет, бывало, из тайги, всякой этой зеленой муравой обвесится и туесок-другой меду тащит. Да не пофартило ему в ту осень: напали на него шершни да так отделали, что он до рождества пухлый ходил и глазами скудаться стал. И вот увидел он один раз у Феде этот порох, сослепу-то смекнул:

— Отдели мне, сынок, щепоточку! Я по весне грядку-другую вскопаю да посажу...

— Чего посадишь, дедко?

— Да батуну этого самого. Он, знаешь, от цинги как пользует... Я бы и зимой его растил в ящиках, да беда, семян нет.

Запохохатывали. Он сослепу-то порох за луковые семена принял.

— Нет, дедко...— говорит Федя.— Не выйдет у тебя... Грядки маловаты будут. Из этих семян такой багун вырастет — в мировом масштабе. Глаза зашиплет. Порох это, дедко, с крейсера «Авроры».

Старичонка услышал такое — вовсе привязался.

— Дай, сынок, хоть полнаперсточка, хоть пять зернышков!

— Да к чему они тебе?

— На лекарство, сынок. Выпьешь ты, скажем, у меня коренька настой, поглядишь на эти зернышки,— истин бог, сразу здоровше станешь!.. На мою догадку, не простой это порох... Ляксандра-то Федоровича Керенского в одночасье на акушерку переделало. Всех мужеских статей лишился... А что Ляксандру пеладно, нам в аккурат.

Матвейко Бурчев забеспокоился:

— То ись, как в аккурат? Стало быть, и мы в девках ходи. Наговоришь, куриная слепота!..

— Вот, выходит, что глупый ты есть, Матвейка, хоть и по ноздри обволосател... Для пролетарьяту в этом порохе совсем другой дух унюхивается.

— Какой же бы это дух?

— А такой дух, что вставай, проклятьем заклеименный. Вот какой дух!

— Тебя послушать, дак хоть сейчас в комиссары ставь! А над лекарством шептуна пущаешь отченашева... Суеверец...

— Да ведь не всем же, Матвеюшко, как ты — в задор за волчьим зубом! Я тебя над лекарством отчитаю шепотком, и пей со Христом. Тебе пользительно, и мне приятно...

Федя хохочет. Поглянулся ему Мокеич.

— Держи,— говорит,— дедко, пороху! Во-первых, за то, что ты идейный, а, во-вторых, мыслишку мне одну подкинул. Лечи революционных бойцов!

Отсыпал ему толику, сам к командиру подался. Ему, видишь, в город частенько приходилось пробираться... На связь с левобережными партизанами выходил. А связь эту мы держали через одного старикашку. Тот на базаре с морской свинкой промышлял... Подашь старикашке деньги, он мыркнет ей что-то, свинка и сдействует. Бумажку из ящика зубками выдернет, и, пожалуйста, читай свою судьбу на предбудущее время. Бойко дело шло!.. Царские полковники и те, случалось, гадали.

На союзников надежи мало осталось, дак на свинку уповали: не вытянет ли, мол, морская насекомая чего-нибудь такого... этакое... насчет дореволюционной колбаски и плакучего сыру.

Только свинка политикой не занималась, все больше сердечные дела улаживала.

Под этим видом Федя и встречался со стариком. Тут уже свинка не судьбой заведовала, а сведения о противнике, указанья всякие и даже боевые приказы передавала. Ловко подстроено было, однако риск... Оценили, видишь, Федину голову, а другому кому старикашка не передает: в лицо не знает. Так что опять Феде идти.

Вот он и смекнул.

— Товарищ,— говорит,— командир! Ты, поди-ка, слышал, как Керенский из Гатчины ушел?

— Ну дак что?

— В бабское во все переделся, в сестру милосердную...

— Ну, дак что?

— А то — нельзя ли мне девицей какой приснарядиться? Насчет жениха у свинки выведать...

Командир оглядел Федю и говорит:

— Оно бы лады было, да корпусность у тебя больно глистоватая. Длинный, тонкий, заостренный со всех концов... Шкет, словом.

— Корпус подладить можно! Туда ваты, сюда ваты, в длину убавлюсь, где вострый, округлюсь.

Глядит командир на Федю:

— Ежели тебя натурально до бабской плепорции довести — это сколько же ваты придется потратить? А с ранеными тогда как? Тереби вон конские потники и округляйся, да тряпье какое-нибудь еще...

Через неделю такую мешаночку мы из Шкета сделали, кругом шестнадцать.

Он, Федя-то, и так невозмужалый еще... Где усам, бороде быть — у него пушок, легонький такой, к коже ластится. Глаза что два родничка, ясной-ясной синью напитаны. Нос как у синички — аккуратненький. Чуб только лихой. Закуржавев на морозе — ровно из серебра выкован. Какой завиток отяжелеет, свесится — ямочку на щеке достает. Ну да чуба под полушалками не видно! Исправим, значит, ему фигуру, юбок наделаем, чесанки с калошами, шаль с кистями — такая кралечка выйдет — все отдай, мало!

Дедко Мокенч тут же крутится, реденькую бороденку бодрит да присоветывает:

— Ты, дочка, кокетом, кокетом ходи, а губки узюмом сложь...

— Как это «кокетом?»

— Позвонки, стало быть, распусти и вензелями значит, корпус, вензелями... Форцу давай!..

Матвейка Бурчеев деда на подковыр:

— Ты, лекарь, чем языком-то вензелявить, взял бы да показал. А то «кокетом», «узюмом»! Ты покажи... Федька урок возьмет, и мы поглядим.

— И покажу! Тебе-то, правда, верблюду сутулому, так не ходить, а Феде... тьфу, не путай ты меня! Какой он теперь Федя? Натуральная Федора! Так вот, Федоре, говорю, заместо Христова яичка сгодится. Учись вот, дочка... Перьво-наперьво, лицо строгое сделай и шепотом скажи слово «узюм». Сказала — и окоченей, замри! Как губы сложатся, так и заклеи их на той точке-линии. А при походке нижние позвонки в изгиб, в изгиб пушай, да покруче! Гляди-ко вот.

Мокенч сложил пельмешком губы и завосьмерил. Так то есть завихлял портками, аж мослы под холстиной обозначило. Сам приговаривает:

— Вензелями... Вензелями... Задорь... Задорь...

Не успели проохотаться, Матвейко ввернул:

— «Кокет» у тебя что надо получился, а вот «узюм» синеватый вышел... На куричью гузку больше смахивает.

На этот раз Мокенч заплевался:

— Гаденыша бы тебе под язык склизкого!

Одним словом, отправили мы Федю в город.

Раз сходил, и в другой, и в третий...

А с четвертого не вернулся. И вот как случилось.

Поглянулась наша «Федора» есаулу казачьему... Сластена, видать, был есаулишко насчет мещаночек. Ну, и ухлестнул. Федя только что от старикашки, ему в отряд позарез срочно надо, а есаул его в ресторан тянет. Орешками угощает, мамзелью навеличивает, локоток жмет... Федя глазками поигрывает, отнекивается:

— Мамаша хвора — грех по ресторанам ходить. Да и живу я далеко. На самом краю города.

А у самого думка:

«Не отстанет — заведу куда поглуше и кокну».

Есаул смотрит, что девка не дичится, — смелей стал

настырничать. Под ручку Федю устроил, прижимает, в личико заглядывает. Усы, как у хорька, подрагивают. Ну и дело, видно, привычное... Прижал Федю к одной калиточке и целоваться лезет. Изловчился тут Федя да как сунет с тычка в целовальню — только схлюпало! Сидит есаул в сугробе и соображает:

«Кто ж это меня так-то?.. Девка эта или ломовой?»

Опомнился, зуб выплюнул да за Федей!

— Не утекешь,— кричит.— Уж я тебя сегодня полюблю!.. Как хочу — поглюблю!

В другом разе Федя от него играючи ушел бы, а тут юбки не дают: на подхвате держишь — штаны видно, опустишь — ногами заступаешь, падаешь. А есаул расстервился, шашку выхватил и орет на полном галопе:

— Зарублю! Социалистка!!!

Тут откуда ни возьмись капитан один вывернулся:

— Это что за баталии, есаул?! Девиц в истерики вгоняете? А ну марш к лошадям!

А сам Федю под ручку:

— Успокойтесь, мамзель. Эти казаки никакого обращения не понимают. Очень просто избить могут... Дозвольте, мамзель, я вам порыцарничаю, оберегу вас?..

«Ну,— думает Федя,— назвался груздем... Другой раз мошашинной оденусь».

А капитан все крепче да крепче Федину руку прижимает. Квартала полтора эдаким манером прошли, нагоняют их два солдата. Поравнялись когда, капитан вторую руку Феде зажал и командует:

— Обезоруживай его!

Из-за пазухи наган вынули, под юбками табакерку нашарили...

Капитан усмехается:

— Давайте знакомиться, мамзель Шкет. Начальник контрразведки «дикой» дивизии атамана Калмыкова! Честь имею!.. Давненько ожидал с вами свиданьица... Хотел еще на базаре вам представиться, да есаулишко мешался. Думал, не из ваших ли переряженный... А когда к калиточке он вас притиснул — вижу, наш орел!.. Ну-с, пойдете... погостите у меня. Тоскливо не будет! Там старикашечку своего встретите и свинюшечку...

Услыхали мы про все это дело — мороз по коже продрал. Уж что-что, а калмыковская контрразведка нам известна была. Людоеды, изверги да кровавые алкоголики туда шли. Пальцы на мясорубках провертывали,

морожеными щуками глаза выдавливали, пороховые дорожки на животах жгли.

«Ах, Федя, Федя,— думаем,— длинной тебе жизнь покажется. Кому-кому, а тебе они все свое ремесло-искусство покажут».

Дедко Мокенч не в себе ходит. Еды лишился, сна. Остальным тоже в глаза друг дружке неловко посмотреть.

Один Матвейка зудит:

— Лекарь, он научит!.. Парня, наоборот, надо было пострамней да позамурзашистей выпускать, а он: «кокет», «узум»! Это тебя вот обрядить, сверчка старого, надо было! На твои «вензеля» ни один калмыковец не обзарился бы.

Мокенч молчанкой все отходил. Виноват, мол... А один раз не стерпел:

— А что ты думал? И пойду. У меня и по мещанству, и по купечеству знакомо... Кому пиявиц подпускал, кому пупок правил... благодетелем звали, за сорок верст на рысках приезжали. Найду небось следочки-то! И про Федю разуюзнаю!..

С тем и пристал к командиру: «Отпусти, мол, в город».

Тот и сам соображал насчет Феде. Да и старикашку что бы ни стоило выручать надо. Вся наша связь у него в голове была. Ну а теперь порушилась, выходит. Поговорил командир об этом с Мокеичем — пошел дедко.

Дня через четыре является.

— Не горюй,— говорит,— ребята! Федя наш жив, здоров и не мученный пока.

Интересуемся, как дознался.

— Купца первой гильдии Луку Естафьевича Громова пользоваться пришлось. Через него и верный слух имею.

— Ну, дак рассказывай! Не тяни душу...

— Заболел капитан разведки... Английскую хворь подхватил... По-мудреному как-то называется... Не то «блин», не то «павлин», одним словом, тоска зеленая. Свет не мил делается! А все через табакерку! Она его подгуляла.

— Как так?

— А так! Вызвал он, стало быть, Федю на допрос, в руках табакерку вертит: «Это что за припас? — спрашивает.— С какой целью таскаешь?»

А Федя ему на всю чистоту:

«Это,— говорит,— порох со всему миру известного крейсера «Авроры». А цель его тоже известная: врагов революции под корень испепелять!»

— Да как ты, значит, и меня бы испепелил?

— Как щенка подковать!..

Знает парень, что пощады ему не ждать, ну и отпускает без утайки.

— А знаешь ли ты, воробушек, в каком месте чирикаешь?! Да я тебя, зародыша, по жилочке размотаю! Ребра в обратную сторону заверну!

— Ну, дак что? — Федя говорит.— Верх-то все равно наш будет. Из моих жил тебе же петлю и сплетут!

Тут капитан и задумался. Молчит да порох нюхает. Ну и нанюхался до тоски.

— Уведите,— говорит,— его. Я что-то не восвояси. Потом при добром здоровье я ему вспомню.

И слег. Лука Естафьевич Громов в первых дружках у него ходил. Прослышал он про такую оказию, дюжины две всяких шампанских прихватил и к нему:

— Что же это вы, отцы, охранители-спасители наши, занедужить изволили? А-я-яиньки! Да такое ли теперь время, чтобы хворатиньки лежать?! Испейте-ка вот... Я тут шесть сортов смесил, седьмая — ханжа. Часом дыбки встанете! «Кровь гвардейску размусорит, суку-скуку разобьет!» — так ведь певать изволили? Дербу-резните, ангел мой. Берите меня за пример: мы ее вон как! У-ухх!.. до суха донушка! С поцелуйчиком!

Ворковал, ворковал вокруг него — нет толку. Лежит молчит... На стол только указывает, на табакерку. Лука Естафьевич свинтил крышечку, унюхнул, и тем же моментом его на балкончик выбросило. Сперва кровяными колбасами тошнило, потом фунта полтора осетринной икры вывернуло, а после кулебяки, грузди и прочее разнотравье полезло.

Чуть тепленького домой привезли. Уложили в постель, а он признак жизни терять стал. Домашние за батюшкой послали. Тот приходит, а Лука Естафьевич опять в чувство вернулся: ему, видишь, с другого конца отомкнуло. Батюшка поглядел, послушал и вещает:

— Рано аз, иерей, грядеши. С таким пищетрактом он до судного дня проживет...

К тому времю и я погодился. Два каких-то манифеста

сжег, полкрынки пепла навел, дал ему — русло-то и перекрыло. К вечеру мы с ним уже по рюмочке при-
няли.

Тут он мне и перешепнул все это, скрадом от домашних. Он, видишь, подозревает, что ему от коньяков с ханжой худо сделалось, а на мою догадку — от пороха это.

Матвейка, поперешный, обратно в спор:

— Ох, и мастак же ты, лекарь, раскасторивать! Порох опять приплел? Порох — он порошок и есть. Правильно купец думает... Хватанул смеси, а желудок и обробел.

— Это у тебя, тошалога, от рюмки обробеет, а у Луки Естафьевича чрева бывалые. Он сибирское купецтво не уронит. По дюжине шампанских выпивал и цыгана переплясывал. Капитан-то, на твой ум, отчего заболел?

— Ну дак поспешай давай! Одного классового паразита отходил, беги и этого лечи! А что у партизана чирь сел, вторую неделю шею на манер волка пошу, — это тебе начихать? Под трибунал таких лекарей! И — к райскому яблочку...

Сцепились мужики — хоть пожарную кишку выволакивай! Пришлось командиру «разойтись!» гаркнуть.

К этой поре согласились мы, значит, всеми отрядами на калмыковцев навалиться. С левобережными тоже связались. Ждем приказа. Мокеич опять в город отбыл. Там под суматоху подпольщики совместно с нашими засильными арестованных должны были вызволить, а его отправили кое-кому «пупки править». Для разведки, значит, и связи... Капитана этого, контрразведчика, зачем-то в колчаковскую ставку вызвали — самое подходящее время.

Ладное тогда дело получилось: и калмыковцам вложили, и товарищей взяли, и боезапасу добыли. Федю каждая землянка в гости зазывает. Не чаяли в живых видеть, а он опять зубы наголе ходит.

Мокеич на радостях загулял. Такого звонкого песняка выдает, аж кони вздрагивают. Увидел Матвейку — останавливает:

— Ты вот с малого ума Федин порошок браковал... Эх, голова два ушинька... Да от него сам Колчак округовел. Дал ему контрразведка понюхать из табакерки — и он шалел. «Царской» водки требовать начал. Его отговаривают:

— Ваше, мол, верховное величество! Опомнитесь! Ее по глупости «царской» называли. Ее ни в Европе, ни в Азии, ни даже в черной Арапии ни один государь не пивал. Кислота это. Ей по металлу травят. А ежели, упаси Христос, внутри принять — до слепого отростеля в уголь все сожжет!

Растолковывают ему со всеусердием, а он свое:

— Подать царской!!!

Попугай на жердочке сидит и тоже орет:

— Подать царской!!!

Колчак изобиделся, поймал попугая, головку скусил, рвет перо да приговаривает:

— Самозванец, самозванец, самозванец!

Челядь смотрит, вовсе неладно дело! За архиереем послали: «Что делать, мол?!» Тот присоветовал в Иртыше либо в Оми его искупать. «Устройте ему Иордань, авось остынет».

Заглянул в дверь в щелочку — верховный попугаевыми лапками играет и вся улыбка в пуху.

«Ну,— думает архиерей,— до «аминя» доходим. Скоро и нам так же. Главы скрутят, а руци бросят. К тому дело. Зачем не зришь, господи!»

И тоже затосковал:

— Говорил я вам, не прост этот порох! Который уж случай он себя оказывает...

Матвейка и тут Моксичу наперек:

— Тебе, видно, почтовую сороку из Омска прислали, а на хвосте у ней обо всем этом отрапортовано.

— Да чудо ты человек! Послушай, что в других отрядах рассказывают.

— А в других отрядах Моксичев, что ли, нету своих? Натянутся ханжи, вроде тебя, и плетут! Нет прибереечь, ранетому какому, слабому перед аппетитом подать, дак вы сами... Лекаря!!!

Такой уж человек Матвейка был. Ничему веры не давал!

А про табакерку верно слухи шли. Японец, сказывают, понюхал — харакирю себе сделал. Американцу, тому на язык будто бы сдействовало, заикаться стал. Быль с небылью теперь разбирай... Считай — в сказку ушла Федина табакерка.

Ну, дальше у нас на Востоке все шло, как по песне: разгромили атаманов, разогнали воевод... Которых — в океан спихнули, которых — за океан вытряхнули, а Кал-

мыков со своими всеми недобитками в Китай удрал. Наше партизанское дело, коль со всеми пошабашили, тоже известное. Каждый в свою сторону да по домам. Строй новую жизнь, за какую бился!

Много уж годов прошло, вон какую войну избыли, новых героев народ вырастил, а про нас не забывают. Получаю я как-то письмо. Приглашают нас на встречу с комсомольцами. Десятка три нас собралось, и среди прочих нашего отряда бойцы Матвейка, Мокеич и Федя. Объятьев было, радости!.. Больше всего, однако, дивимся, что Мокеич наш — орлом! Ведь около сотни ему!

Матвейка спрашивает:

— Ты, народная медицина, чем себе жизнь про-
длешь?

Ну, Мокеичу-то за словом не в карман лезть!..

— Я, — говорит, — таежным духом дышу, пчел веду, мед ем, персональную пенсию получаю да шептуна пускаю «отченашева»!

Это уже в подзудку!.. Ну, Матвейка тоже, значит, на пенсии, а Федя отцову дорожку выбрал. Дошел до океана и там флоту служит.

Сидим в президиуме — седина да плешь, плешь да седина... Через одного... А вокруг нас — молодо, звонко, озорно! Хорошие слова говорили... Старой гвардией нас называли... Таежными орлами... Мокеич грудь пружинит, а на усах слезины. Я тоже, хоть и неловко в президиуме, а две понюшки вынудился протянуть. На хорошее слово слеза отзывчива. Да и годы наши!!

Мокеич слово сказал. Наказывал молодым, что отцами, дедами завоевано — беречь да хранить. Не на орла, мол, или решку выпало счастье ваше, а великой народной кровью завоевано. Федю в пример ставил.

После встречи с молодыми собрались мы в гостинице, опять же свою встречу отпраздновали. Тут Федя нам и рассказал о дальнейшей судьбе своей табакерки. А история с ней такая была.

Годов поди с десятков с тех пор прошло, как Калмыков со своим воинством в Китай убрался. Попроелись ихние благородья, пообтрепались, которые репкой торговать стали, а капитан из разведки к барахолке приохотился. Перебирал он как-то пожитки свои, заваль всякую, и попалась ему на глаза Федина табакерка.

«Стоп! — думает. — За эту штучку, если на охотника напасть, большие деньги взять можно. Порох с «Авро-

ры». Да ведь во всем белогвардейском буржуйском мире у одного меня такая редкость! С кем же бы это сделку сотворить?»

Думал-думал — дошел: «Надо на портовый базар податься. Там разных наций лунатики бывают. Американцы особо... Охочи до всяких памяток. Вон гвардии подполковник Заусайлов зубами Гришки Распутина торгует — озолотился! Вторую уж сотню продает. Сам, говорит, навывшибал. Пешней. Когда тело под лед спускали».

Ну и на базар.

В это время как раз случилось стоять в китайском порту одному нашему кораблю. И служил на этом корабле не кто другой, а сам наш Федя. Уволился он на берег: «Куплю, мол, сынку игрушку какую. Дракончика там или болванчика... Китайцы — мастера насчет игрушек».

Ходит Федя по базару, и вдруг слышится ему слово: «Аврора!».

Он — на это слово.

Смотрит, стоят кружком матросы. Из-под всех флагов народ. А в середине у них белячок с табакеркой крутится. Клянется, божится, что порох действительно с «Авроры». Только матросы не верят. Покачивают головами да смеются. Они-то смеются, а два каких-то хлюста, с сигарами в зубах, всерьез табакеркой интересуются. Федя поближе. Смотрит — табакерка-то его! На порох глянул — порох тот самый, «авроринский»! И «продавца» узнал.

— Откуда он у тебя взялся? — по-русски спрашивает. Тот гад прямо ему в глаза:

— Парнишко один мне в гражданскую подарил. Помнится, Федей звали.

Феде, слышь, и дых перехватило:

— Вон что... Ну, и продаешь, значит?

— Да вот, на охотника...

— А во сколько ценишь?

Тот и загнул. У Федя и сотой части тех денег нет, а беляк между тем цену набивает:

— Джельтмены вот, — говорит, — дают половину запроса. Дак это что... Задарма отдать!..

Чувствует Федя, как ему опять партизанская отчаянность в сердце вступает: «Сейчас, — думает, — не стерплю... Не стерплю — садану в ухо!..» Однако опомнился:

«Неудобно в чужой державе». Скорготнул зубами: «Надо что-то делать,— думает.— Побегу на корабль. Объясню братишкам, капитану. Не я буду, если этот порох в поганных руках на расторговлю оставлю!»

Матросы видят — не в себе русская морская служба.
— В чем дело, комрад? — спрашивают.

— А в том дело, комрады, что правильно эта потаскуха говорит. Порох-то действительно с «Авроры»!

Ну, и рассказал им накоротке.

— Попридержите,— говорит,— его. Побегу на корабль.

И заспешил.

Только успел с базара выбраться — нагоняет его юнга один.

— Воротись,— говорит,— комрад! Матросы зовут.

Воротился. «Что там такое?» — думает.

Смотрит: носит старый боцман фуражку по кругу, а матросы деньги в нее бросают. И английские, и турецкие, и испанские — всех монетных дворов чеканка в картуз летит. Слышит Федя, что и медь там же звенит, в фуражке. Вынул он свою получку и туда же ее.

«Прости, сынок,— думает.— Дракончика я тебе не сейчас... В другой раз куплю. Ты понимай, сынок! Тут пролетарьи соединяются! А дракончика мы завсегда...»

Выкупили матросы табакерку — подают Феде.

— Держи, комрад, свой порох!

А его слеза душит.

— Спасибо,— говорит,— товарищи! У кого гроб господень, а у пролетарьята своя святыня. Ее при верных руках сберечь надо. Держите-ка!

С тем по щепотке да по зернышку и роздал порох. Табакерку боцману вручил. И поплыл тот порох по морям и океанам во все концы земли. Под всеми флагами!

Вот тебе и следочки — табакерку искать. А впрочем, может, сама объявится. Мокенч-то не без загаду особый режим жизни себе установил:

— Я, брат, другой раз нарочно пчел сержу. Нажалят они меня — сердце-то бодрей токает. Жду, где еще Федина посудинка голос подаст, кто еще зачихает. Он ведь как говорил? «Эти семена, дедко, громом всхожие! В них «Вставай, проклятьем заклеяменный» унюхивается».

Матвейка по обычаю уточнит:

— Ну последнее-то ты сам говорил. Твои слова!

— Ну дак что? — встрепетается партизанский наш долгожитель. — Разве подтвердить некому? У меня, брат, в свидетелях и цари, и короли, и султаны, и фюреры, и римские папы — видал, какой народ! Спроси у них: «Чем пахнет порох с «Авроры»?» И рад бы соврать, да не дадут.

1962 г.

БОГИНЯ В ШИНЕЛИ

Дедушка Михайла — любитель книжку послушать. Сейчас, правда, глуховат стал, а все равно приспосабливается. Ладойшкой ухо наростит, клок седины между пальцами пропустит и вникает. Слушатель — лучше бы не надо, кабы не слеза. Совсем ослабел он с этим делом. Внучата уж следят: как задрожал у деда наушник, ладошка, значит, которая уху помогает, так привал — жди, пока дед прочувствуется. «Тараса Бульбу» местах в четырех обслезил, а от рассказика «Лев и собачка» зарыдал даже.

— Вот ведь, — говорит, — любовь какая была... Невытерпно!

Дед от всей души слезу выдает, а внучикам то — в потешку. Нарочно пожалобней истории выбирают. Знают примерно, на котором месте дедушку затревожит — дрожи в голос подпустят и разделявают:

— Б-а-атько! Где ты? Слы-ы-шишь ли ты?

Ну, и срязят деда.

Валерка — тоже ему внучек будет, недавно из армии вернулся, — поглядел, значит, на эти ихние проказы и разжаловал грамотеев. Сам стал читать. Про Васю Теркина, про Швейка — braveго солдата... Это еще куда ни шло. Терпимо деду. Всклипнет местами, а до большого реву дело не доходит. Другой раз даже критику наведет:

— У людей — все как у людей... Кто этот Теркин? Смоленский рожок! Миром блоху давили, а гляди, как восславлен! А Швейка? Щенятами торговал! Кузьма Крючков, опять же, одно время на славе гремел... А про наших, сибирских, и не слышно.

Валерка в спор не в спор, а не согласился с дедом:

— Это знаешь почему, дедушка?

— Почему бы? Ну-ка...

— Слышно и про наших, да вот дело какое... Мы здесь как бы посреди державы живем. До нас любому мазурику далеко вытягиваться. Позвонки порвет. Однако какой бы краешек русской земли ни пошевелил враг, где бы ни посунулся — с сибиряком встречи не миновать. И приветит и отпотчует! Там-то вот, на этих краешках земли, и оставляют сибирские воинские люди о себе памятки...

И вот какую историю рассказал.

Во время войны организовали фашисты на одной торфяной разработке лагерь наших военнопленных. Болото громадное было. Издавна там торф резали. Электростанция стояла тут же, да только перед отходом подпортили ее наши. Котлы там, колосники понарушили, трубу уронили. А станция нужная была: верстах в двадцати от нее город стоял — она ему ток давала. Ну, немцы и стараются. Откуда-то новые котлы представили, инженеров — заработала станция. Теперь топливо надо, торф. По этой вот причине и построили они тут лагерь.

Поднимут пленных чуть свет, бурдичкой покормят и на болото на целый день. Кого около прессов поставят, кто торфяной кирпич переворачивает, кто в скирды его складывает, вагонетки грузит — до вечера не разогнешься.

Вернутся ребята в лагерь — спинушки гудят, стриженная голова до полена рада добраться. Да от веселого бога, знать, ведет свое племя русский солдат. Чего не огдаст он за добрую усмешку.

— Эй, дневальный! Немецкое веселье начнется — разбуди.

А те подопьют, разнежуются, таково-то жалобно выпевать примутся, будто из турецкой неволи вызволения просят. Каждый божий вечер собак дразнят. Мотив у песен разный, а все «лазарем» приправлен. Вот пленная братия и ублажает душеньку:

— Это они об сосисках затосковали.

— Спаси-и, го-с-споди, лю-ю-ю-ди твоя-а-а!..

— Эх, убогие!.. С такими песнями Россию покорять?..

Немецкая та команда из Франции перебазировалась. Там, сказывали, веселей им служилось. Вина много, да все виноградное, сортовое. Сладсть! Узюминка! До отъезда бы такая разлюли-малинушка цвела, кабы один

француз не подгадил. Добрый человек, видно, погодился. Подсудобил он им плетеночку отравленного — двоих в поминалье записали, а пятерым поводыря приставили. Ослепли. После этого остерегаться стали, да и приказ вышел: сперва вино у докторов проверь, а потом уж употреби. А доктора «непьющие», видно... Как ни принесут к ним на проверку — все негодное оказывается. То отравленным признают, то молодое, то старое, а то микроба какого-нибудь ядовитого уследят. Ну а сухоматка немцам не глянется. Зароптали. А один из них — Карлушкой его звали — вот чего обмозговал:

«Заведу-ка я себе кота да приучу его выпивать — плевал я тогда на весь «красный крест»! Кот попробует — не сдохнет, стало быть, и я выдюжу».

Ну, и завел мурлыку. Тот спервоначалу и духу вина не терпел. Фыркнет да ходу от блюдечка. Коту ли с его тонким нюхом вино пить? Только Карлуша тоже не прост оказался: раздобыл где-то резиновую клизмочку и исхитрился. Наберет в нее вина, кота спеленает, чтоб когти не распускал, пробку между зубами ему вставит и вливает в глотку. Тот хочешь не хочешь, а проглотит несколько. Месяца через два такого винопивца из кота образовал — самому на удивление. Чище его алкоголик получился.

Прознали об этом сослуживцы Карлушкины — тоже от медицины откачнулись. Всю добычу к коту на анализ несут, а хозяин гарницы собирает. С посудинки по стакашку — за день полведерочка! Ай-люли, Франция!

Так они оба с котом и на Россию маршрут взяли, не прочихавшись. До Польши-то им старых запасов хватило, а с Польши начиная на самогонку перешли. Карлушка форменной печатью обзавелся: какой-то умелец из резины кошачью лапку вырезал. Принесут к ним хмельное, кот отпробует и спать. Час-полтора пройдет — жив кот, — значит, порядочек. Карлушка тогда и отобьет на посудинке лапку. Фирменное ручательство: «Пейте смело».

Эдаким вот манером с французским котом под мышкой, с немецким автоматом на животе и припожаловал на нашу землю Карлушка.

С похмелья-то кот шибко нехороший был. Дикошарый сделается, буйный, на стены лезет, посуду громит. В хозяина сколько раз когти впускал. Совсем свою природу забыл: возле него мышь на ниточке таскают, а

он ни усом не дрогнет, ни лапой не шевельнет. Опаршивел весь, худющий.

Раз как-то уехал Карлушка в город да чего-то там задержался. Кот ревел-ревел ночь-то, похмелки, видно, просил, а к утру околел. Ох и пожалковал владелец на упокойным! Шутка ли, такой барышной животинки лишиться. А тут как раз слух прошел нехороший: в городском лазарете будто бы двум чистокровным германцам железные горла вставить пришлось. Опрокинули они по стакашке где-то, а в напиток — мыльный камень подмешан оказался. Ну, и сожгли инструменты-то! В отечество приехали, и «Хайль Гитлер» нечем скричать. Карлушка по этому соображению тут же моментом опять кота расстарался. Этот у него убежал. Котеночка принес — бедняжка от первого причастия дух испустил. Что ты тут будешь делать? И выпить хочется, и питье есть, и закусь всякая, и боязно — как бы потом каску на крест не напялили. Не раз французский Шарля — кота так звали — вспомнят был. При покойнике с утра раннего Карлушка всяким разнопьяньем нос свой холил.

Пьяненький-то немец добрый становился: закуривать дает пленным, про семьи начнет расспрашивать. Со стороны поглядеть — дядя племянничков встретил. Оно и по годам подходяще. Лет пятьдесят ему, наверно, было. Роста коротенького, толстый, шею с головой не разметишь — сравняло жиром. Ушишки востреп, чахленькие, ушки что два пельмешка свернулись, зато уж рот-государь — наприметку. Улыбнется — меряй четвертью. Он у коменданта лагеря как бы две должности спаривал: сводня, значит, и виночерпий. От родителя, вильгельмовского генерала, по наследству перешел. Тоже военная косточка. Да... Ну и вот заскучали они без Шарли-то. Одно развлечение осталось — картишки да губные гармошки. А Карл и этой утехы лишен. По его снасти ему не в губную, а в трехрядку дуть надо. Злой сделался, железную трость завел, направо-налево карцер отпускает.

Жил в лагере журавленок — пленные на болоте поймали. Славный журка, забава. Идут, бывало, ребята с работы — он уж ждет стоит. Знает, что его сейчас лягушатинкой угостят, подкурлыкивает по возможности. Вот Карлушка с безделья и примыслил:

— Вы не так кормите ваш шурафель...

— Почему не так?

— О... Я завтра покажу, как нушна кормить эта птичка. Несите свежи живой квакушка.

По-русски он знал мало-мало.

Ну, ребята на другой день и расстарались лягушками. На болоте-то их тьма.

Карлушка прямо на подходе колонны спрашивает:

— Принесли квакушка?

— Так точно!

— Карош.

Поймал он журавленка, под крыльями его бечевкой обвязал, кончик сунул себе в зубы. За лягушку принялся. Этой хомутной иголкой губу проколол, дратвину протянул, узелочек завязал — и готово. Подает концы пленным.

— Игру, — говорит, — сейчас делаем.

Правило такое постановил: один должен лягушку за дратвину перед носом у журавля тянуть, а другой за бечевку держаться и на кукорках за журавлиным ходом поспевать. Скомандовал первый забег. Журавленок на весь галоп летит — до лягушки добраться бы, бечевка внатяжку, а провожатый поспевает-поспевает за ним да на каком-нибудь разворотчике — хлесть набок. Карлушке смешно, конечно... Ему в улыбку хоть конверты спускай. А пленным тошно. Жалко курлышку, а пришлось отвернуть ему головушку.

На другой день снова является Карлушка бега устраивать.

— Где шурафель? — спрашивает.

— Съели, — отвечают. — Сварили.

Сбрезгливил он рожицу:

— И-ых... И как у вас язык повернул! Такой весели вольни птичка!

Через неделю — другую забаву нашел.

Переписал, стало быть, в тетрадку все русские имена и решил вывести, сколько процентов в нашей армии Иваны составляют, сколько Васильи, Федоры и прочие поименования. На вечерней проверке выкликает:

— Ифаны! Три шака перет!

Сосчитал, отметил в тетрадке, в сторону Иванов отвел.

— Крикорий! Три шака перет!

Григорьев пересчитал.

— Николяй! Три шака перет!

Вечеров шесть прошло, пока обе смены обследовал.

Осталось человек двенадцать с именами, которые в Карлушкином поминальнике не обозначены. Этих персонально переписал. Тут и Калины нашлись, и Евстратии, а один Мамонтом назвался. Стоит этот Мамонт головы на полторы других повыше, в грудях этак шириной с царь-колокол детинушка, рыжий-прерыжий и конопатый, как тетерино яичко. Карлушка перед ним вовсе шкалик.

— Што есть имья такой — Мамонт?

Тот парень от всего добродушья объясняет:

— Зверь такой водился до нашей с вами эры. Мохнатый, с клыками, на слона похожий. У нас в Сибири и доселе ихние туши находят.

Голос у парня тугой, просторный такой басина. Говорит вроде спокойненько, а земля гул дает. Сам глазами улыбается чуть. Голубые они, доброты в них не вычерпать.

— Кто тебя так ушасна называль?

— Батюшка так окрестил. Поп.

— Разве у батюшка-поп другой имья не было?

— Как не быть поди? Было. Да у моего дедушки на этот случай мало денег погодилось. Не сошлись они с попом ценой, вот он и говорит деду: «За твою скаредность нареку твоего внука звериным именем. Будет он Мамонт».

— Ай-я-яй! — Карлушка соболезнует. — Весь карьера наизмарку... А как твой фамилий?

— Фамилия-то ничего. Котов — фамилия.

— Как, Котофф?

— Да так. По родителям уж.

— Карош фамилий. А зачем, Котофф, плен попадался?

— Пушки жалко было. Такая уважительная «сорокапяточка» — хоть собою в глаз стреляй. Вот, значит, я ее и нес. С ней ведь бегом не побежишь. Ну, ваши мне и сыграли «хэнде хох».

— Оха-ха-ха-ха... — закатился Карлушка. — Это наши репят ловки: «рука верх» икрать.

А Мамонт все про пушку:

— Она на прямой наводке в ножевой штык могла попасть, в самое лезвие. Жалко же бросать. Бывало, наведу ее...

На этом месте кто-то его под ребро толкнул: «Нашел, мол, где вспоминать. Простота...»

Мамонту такой намек не понравился. Давай обидчика разыскивать. А Карлушке с вахты какое-то приказание как раз передают. Подсеменил он к Мамонту — бац его кулачком в ребровину — ровно порожняя бочка сбухала.

— Пасмотрю, как ты пушка таскаль. Идем за мной!

И повел его на квартиру к коменданту лагеря. Тому в это время статую мраморную на грузовике привезли. Верст пять не доезжая города, какие-то хоромины разбомбленные стояли — пленные там кирпичи долбили из развалин. Пристройку к станции делать задумали инженеры.

До подвалов когда добрались, а там статуй этих захоронено — ряды стоят. Вот комендант и облюбовал себе. Богиня какая-то. Сидит она на камушке, одежонки на ней — ни ленточки. Только искупалась, видно. Волосы длинные, аж по камню струятся. С лица задумчивая, губы капельку улыбкой тронуты, голова набочок приклонена, и вся-то она красотой излучается. Мамонт даже чуток остолбенел. Такая теплынь, такая тревожная радость ему в грудь ударила — смотрит, глаз не оторвет. Забылся парень. Карлушка поелозил губищами и говорит:

— Пушка таскаль? Ну-ка полюби эта девочка немношка. В комнату ставить надо. Пери!

Обхватил ее Мамонт, приподнял и... понес! Карлушка поперед его бежит, двери распахивает да окает:

— О-о-о! Здорови, черт Мамонт! Восемь человек сила-насилу погружали.

А Мамонт ее так обнял — только каменной и выдюжить.

Пудов поди восемнадцать мрамор-то тянул. Тяжело. Сердце встrepыхнулось, во всю силу бухает. И слышит вдруг Мамонт, вот вяве слышит, как у богини тоже сердечко заударялось. Бывает такая обманка. Кто испытать хочет — возьми двухпудовку-гирю, а лучше четырех, прижми ее к груди в обхват и поднимайся по лестнице. И в гире сердце объявится. Мамонту это, конечно, впервинку. Приостановился: бьется сердечко, и мрамор под руками теплеет.

— Фот сута поставливай, — указывает Карлушка.

Опустил он тихонечко ее, и в дрожь парня бросило. Ноги дрожат, руки дрожат — не с лагерного, видно, пайка таких девушек обнимать. Комендант платочком

пробует, много ли пыли на мраморе, а Карлушка что-то гуркотит-куркотит ему по-немецки и все на Мамонта указывает. Пошурил комендант на него реснички. Потом головой прикинул. «Гут»,— говорит. Дотолковались они о чем-то. В лагере идут, подпрыгнет Карлушка, стукнет Мамонта ладошкой пониже плеча и приговорит:

— Сильна Мамонт!

Десяток шагов погода опять хлопнет и опять восхитится:

— Здорова Мамонт!

А тот про богинино сердечко размышляет, дивуется, и сама она из глаз нейдет.

В лагерь зашли. Мамонт к своему барaku было направился, а Карлушка его за рукав:

— Ты другой места жить будешь...

И повел его в пристрочку, где повара обитались.

Командует там:

— Запирай свой трапочка и марш-марш нова места.

Объяснил поварам, куда им переселяться, и с новосельем Мамонта поздравил.

— Тут тебе сама лютча бутет.

Тот по своей бесхитростности соображает:

«Правильно, дескать, покойный политрук говорил, что немец силу уважает. Видал? Отдельную квартиру дали!»

Перенес он сюда свою шинелку серую, подушку на осочке взбитую, одеялко ремковатое — устраивается да припеваает на веселый мотив:

Утро вечера мудрей,
Дедка бабки хитрей,
Стар солдатик...

Только «мудрей-то» на этот раз вечер оказался.

Через полчаса является Карлушка — две бутылки самогону на стол, корзинку с закуской.

— Гулять,— говорит,— Мамонт, будем!

Ну, и наливает ему в солдатскую кружку.

— Пей, Мамонт!

Тот, недолго удивляясь, со всей любезностью:

— А вы, господин ефрейтор?

— Я, каспадин Мамонт, сфой румочка потом выпивайт. Пробовай без церемония.

Баранью лопатку, зеленым лучком присыпанную, из

корзинки достает, полголовы сыру, лещей копченых, хлеб белый...

— Пей, Мамонт!

Окинул тот Карлу своими голубыми глазами, прицелился в жижку и по-всесельскому присловьице подкинул:

— Ну! За всех пленных и нас военных!..

— Так точно,— Карлушка подбодряет.— Кушай.

До плену-то Мамонту два пайка врачи выписывали. Приказ даже по Красной Армии был, чтобы таких богатырей двойной нормой кормили, а в плену ему живот просветило. На кухне, верно, другой раз повара ему и пособолезнуют — плеснут лишний черпак, а все равно он от голода больше других перетерпевал. Такой комбайн... Ну, и приналегает.

Карлушка ерзает на чурбачке, ждет. Минут только десять прошло, как Мамонт кружку опорожнил, а у него и страх и терпенье израсходовались. Губу на губу не наложит — скользят. «Если его схватит,— про Мамонта думает,— я себе пясточку в глотку суну и опорожнюсь». Застраховался так-то и плеснул на каменку. Сырку нюхнул, лещево перышко пососал и растирает грудь. Растирает и таково усладительно поохивает!

— О-о-ох... О-о-ох! Сердца зарапоталь. Перви рас за тва недель... Ты, Мамонт, не звай меня больше каспадин ефрейтор — Карль Карличь кавари!..

— Храшо, Карь Карчы! Слушассы!

А Карл Карлыч совсем от удовольствия размяк.

— Мамонт! Ты будешь мой кот. Мой чудесни сипирски кот!

Опьянел Мамонт — много ли подтошалоу надо. Ничего не понимает. Только ест да ест. Так в новой должности и уснул.

Утром проснулся — голова трещит, во рту ровно козлятки ночевали и в душе какая-то погань копошится. Попил водицы — не проходит. Оно правильно сказано: с собакой ляжешь — с блохами встанешь. Стал он вчерашнее по возможности припоминать, а Карлушка — уже в двери. Сует ему прямо с ходу бутылку в рот да поторапливает:

— Пробовай... Пей из горлышка... Серца не ропо-тает.

— Я, господин ефрейтор, не буду пить.

— Что ты кавариль?

— Не могу пить, говорю.

Тот сверкнул глазками, бутылку в шаровары спустил и командует:

— Идем на вахта.

На вахте сам «лагерфюрер», комендант, значит, присутствовал. Карлушка что-то буркнул ему, бутылку на столик выставил, снимает с крючка автомат и дырочкой ствола по Мамонтовой груди шарится.

— Я приказаль: пей, руська зволючь!

Комендант лагеря не препятствует ему, вахтенные тоже молчат, а у Карлушки глаза, ровно два скорпионьих брюшка, жальца выметывают, ярятся.

— Ну?.. Я стреляйт!..

И затвором склацал.

Поднял Мамонт бутылку, и с той поры дня не проходило, чтобы он к ней не приложился. Все понесли: и Карлушка-ефрейтор, и унтера, и рядовые конвойники — на бессудье-то всяк генерал. Пей, сибирский кот. Пробуй! Карлушка ему и резиновую кошачью лапку отдал, печати чтоб ставил. По форме, видишь, все соблюдается. Веселый ходит Карл Карлыч!

— Ти,— говорит он Мамонту,— изнапрасна пугался тагта. Руськи шелюдок конски копыти ковани на мельки мука... ну, как это?..

А Мамонт, дело разнюхавши, остерегаться стал. Без масла пить не начинал. Несешь выпивку — неси и маслица. Проглотит ложку, минут пять — десять переждет, потом уж выпьет. Прослышал от кого-то, что масло как бы ослабляет отраву, ну и пользовался. И немцы ничего... Несли. Окромя даже масла несли. Задабривали.

Так вот Мамонт и хлебца насбирывал, и рыбки какой, а то, глядишь, и мяска, и шматок сала раздобьются преподнесут. Некоторые ребята в лагере от голода пухли. Ноги в проказе, по телу чирьи, проломы, язвы. Мамонт таких-то и поддерживал едой. Только не всегда ладно обходилось: один спасибо скажет, другой молчком съест, а случалось, что и обратно эти кусочки унести придется.

Парнишка один валялся. Что колоду его разворотило. От голода, от соли ли — это он один знал. Другой раз нарочно солью опухоли нагоняли. И ложками ее ели, и раствором пили. Глушит потом человек воду, студень на костях наращивает. Ну, и отвертится от работы. Себя не щадили. Вот Мамонт ему, этому парнишке, и

поднес один раз сверточек еды. Тот его и отспасиовал: губы затряслись, побелел весь и еле словечку выдал:

— Убери... этот иудин корм... от меня! Сам жри, гад... проданный... му... мурочка немецкая...

Раньше был Мамонт как Мамонт. От других ребят ростом разве только да рыжиной отличался. Ну, силой еще. Не сторонились его. Свой он был в пленном братстве, заровно муку терпел. А теперь идет по лагерю, а вслед ему «кысу-кысу-мяу» пускают. Поджигают пятки-то. Жизнь не мила парню. Тоска. Стыдобушка. Только и выберется светлой минуточки, когда у коменданта полы мыть Карлушка заставит. Туда он с радостью шел. Как милой на свиданье. Растревожила Мамонтово сердце мраморная богиня. Кому вольно — посмейся. А посмеявшись, подумай! Жизнь, она, конечно, старый чудотворец, а только здесь чудо невелико. Посреди крови, грязи, мук и позора, посреди каждодневного людского зверства и дикости — она! Она — как росное утречко, как белая лебедушка, чистая, нежная, не от мира сего явленная глазам его открылась. Грезится ей что-то неизведанное, тревожное, радостное. И робеет-то она, и стыдится помолоденькому, и ждет кого-то, ласковая. Губы раскрыты — вот-вот чье-то имя прошепчут. Приди он — и оживут девичьи руки, взметнутся, упадут жаркие на плечи долгожданному своему, белой бурей, змейчатой поземкой размечутся волосы, задохнется она счастьем своим несказанным, и засверкают, заискрятся на мраморе звездочки живых слез...

Держит Мамонт в руках половую тряпку и подолгу глядит на свою немую возлюбленную. Околдовывает его камень. Забудет и про плен, и про свою кошачью должность. Очнется только, когда Карлушка гаркнет.

А она, богиня эта, даже во сне Мамонту являться стала. Косит он будто бы у Ишима-реки заливные лужки... Косу править начнет, а она из-за какой-нибудь ракитки и покажется. Идет будто прокосами и босой ножкой пахучие рядки разметывает. Цветастый сарафанчик на ней, на белом лбу веночек из незабудок. Красиво — белое с голубым. Подходит она к Мамонту, веточки земляники вздымает в горсточке и говорит:

— Давай я тебе, Мамошка, веснушки выведу. Они ягодного соку страсть как боятся.

И начнет, душистыми пальчиками землянику на Ма-

монтовом носу раздавливать. Щекотно! Чихнет Мамонт, проснется, а это Карлушка опять. Хворостинкой ему по ноздрям водит и баклажку в рот сует.

— Пробовай скорей!.. Серца задохся.

Тут бы и плюнуть ему, и ахнуть бы пятифунтовым кулаком мурзику этому по черепу, объявить бы человека в себе — да нет... не хватает Мамонта на такое. Пьет... Опять угорелые глаза стыдно поднять. В землю бесчестье свое промаргивает. Переступил парень заповедь товарищества и ослабел духом. Сказано там: умри, а подличать перед врагом не моги. Сказано там: два горя вместе избудь, а третье пополам раздели. И не глядят на Мамонта братки. Стоят они под дождем рваные, драные, хворые, голодные, вшивые. Протягивает команда — тронутся молчком, неприкаянные. Целый день будут тяжело трудиться, мокнуть на дожде и в ржавой болотной воде, будут их травить собаками, бить прикладами, а вечером придут они, истерзанные, и опять не взглянут на него. Тихонько, молчком минуют они Мамонта, непокорные, гордые, породненные болотным своим братством. И хочет он кинуться следом, сказать им, что он тот же самый Мамонт остался, что он, может, злее других врага ненавидит, хочет сказать, вот уже и слово готово, — а другая думка стеганет холодной молнией и заледенеет язык. И шепчет он сквозь хмельную тоску:

— Не поверят... Ты же «кот»... Мурочка немецкая.

Неизвестно, до чего бы он в одиночку додумался, всякое могло случиться, да только кое-кто, умная голова, пользу делу в Мамонтовой должности усмотрел.

Идет он один раз по лагерю, сумерки уж спускались, вдруг слышит — камешек его по спине цокнул. Оглянувшись — ни души. А камешек лежит возле ног, и бумажка к нему привязана. Схватил его Мамонт — и в карман. Ночью прочитал. Назывался он в этой записочке младшим сержантом Котовым. Два слова «Родина» и «присяга» подчеркнуты. Дается ему задание и дальше «котом» оставаться. «В твоей клетушке, — пишут, — очень просто живых фрицев переделать на мертвых, одеться в ихнюю форму, пройти на вахту, побить дежурных и захватить оружие. Если, мол, согласен, подойди к человеку, который соловьем поет».

Заплакал Мамонт.

— Спасибо, — шепчет, — товарищи, братки родимые... Теперь умру, а не повихнусь!.. Живых, значит, на мерт-

вых? Это можно. Еще как можно-то! Это уж Мамонту поручите. И не спикают! Карла особенно...

На другой же день стал Мамонт к соловьям прислушиваться. У реки да на болоте на разные голоса щебеток ихний сыплет-разливается, а в лагере не слышно что-то. Молчит певчий. С неделю так-то прошло. Мамонт уж нехорошее заподозревал. «Подшутили, думает, а то и подвох какой затеяли с запиской-то». Опять заскучал. А «соловей» и объявился. Возле умывальника случилось. Только успел Мамонт воды пригоршню из-под сосочка нацедить, а он как пустит трель над самым ухом. И вода ушла у Мамонта промеж рук, и сам на манер пуганого коня вздрогнул, ногами перебрал. Смотрит, стоит рядышком пленный, дядя Паша, по прозванию «Гыспадин хороший».

Вытирает он сухие руки сухим полотенчиком, а сам во все десять стальных зубов улыбается. Улыбался, улыбался — да опять как запузирит по-соловьиному.

Мамонт тогда к нему.

— Это не вы,— спрашивает,— на той неделе меня камешком по спине тюкнули?

— Я,— дядя Паша отвечает.— Моя шутка.

— То есть как шутка? Я таких шуток не признаю.

— Вот оно и славно, сержант. Значит, без шуток работать будем. Ты все обдумал?

— На десять рядов.

— Ну и как?

— А так, что служить Советскому Союзу надо!

— Ну, ты, парень, это не по-громкому. Благодарности нам еще никто не объявлял. Не за что пока, гыспадин хороший.

Мамонт смешался:

— Дык вот и я про то же...

А дядя Паша все руки полотенчиком трет. Лет под пятьдесят ему, а ежик на голове белый совсем. Вдоль лба шрам синеется. Глаза серые, цепкие. Морщины на лице резкие, упрямые.

— Ну, не пяль глазищи-то на меня,— говорит он Мамонту.— Мойся да проходи в наш блок. В шашки сыграем...

Полотенчику на плечо замахнул и пошагал.

...К побегу их шестнадцать человек готовилось. Мамонт семнадцатый. Наметили себе маршрут, на первое время помаленьку стали харчишками, обувкой покреп-

че запастись. Ну и насчет оружия... С этим делом Мамонт хлопотал. Ребята ему на болоте березовый коренск подсекли, принесли, а у Карлушки складешком одолжился. Строжет сидит.

— Што эта выходит?— Карлушка интересуется.

— Чертика,— отвечает Мамонт,— выстругать хочу. Это вот у него,— на корень-кругляш указывает,— башка будет, эти два отросточка на рожки обработаю, а из этой вот закорючки нос выстрожу.

— А затчем ната шортик?

— Трубка, Карла Карлыч, получится. Здесь вот магазинную часть, куда табак засыпать, выверчу, черенок на мундштук сведу.

— Такой трубка звиня бить мошна.

— Она легкая, Карла Карлыч, будет. Обработается да высохнет — фунта полтора, может, потянет, и то вместе с табаком. Зато фасон!

— Теляй мне тоже такую шортик. Мой рот сама рас бутет.

«И для башки в аккурат придется,— про себя усмехнулся Мамонт.— Поглядим, как она склепана».

Выстрогал он батик себе из этого комелька — примеряется. Ручка в топорище длиной вышла, а набалдашник в добрую брюквину округлился. Точь-в-точь такой же инструмент, каким его дедушка, покойник, в молодых годах волков глушил. Только ремешка нет — на руку весить. Полюбовался Мамонт на дедушкину смекалку и поставил в угол. Пусть, мол, подвянет заготовка.

Еще с неделю прошло. Дядя Паша поторапливает.

— Ладно,— говорит Мамонт.— При первой же возможности... Может, даже сегодня. Им ночью-то пировать за обычай.

А вечером того же дня призадумались ребята.

Принесли с болота на торфяных носилках двоих хлопчиков. При попытке, значит, к бегству... Приказали их на плац сложить, где вечернюю поверку проводят. После ужина пересчитали пленных — с пострелянными все в наличности. И ни словечка! Как будто не людей, а пару сусликов захлестнули. Вроде намека давали: тьфу, мол, ваша жизнь. И разговора не стоит. Молчком устрашали. Только и сказано было, что трупы шевелить нельзя. Так и в ночь на плацу их оставили.

У дяди Паши кое-которые и на попятную не прочь. Народ кругом нерусский, рассуждают, языка не знаем,

оружья нет, партизаны неизвестно где, а у фашистов собаки, мотоциклы... Всю конвойную роту в таком случае на розыск пошлют. Бросят вот так же, как ребят...

А кто и такое присовокупит:

— Да нас даже возле проходной могут перестрелять. Устрашаются так, а Мамонт аж весь кипит.

— Помираете, — говорит, — раньше смерти...

Дядя Паша смотрит на него да думает:

«Вон она чего не стреляла! Не заряжена была! Допекло тебя, видно, парень, до болятки кошечье званье...»

И тоже на осторожных принасел:

— Где же ваш дух, гыспада хорошие? С гороховым супом весь вышел? Оружья сколько-нисколько на вахте возьмем, а там сто дорог перед нами. Хватит нам позора! Товарищи наши каждый день на смерть идут, а мы...

До чего они договорились — Мамонту узнать не пришлось. На свой пост заторопился. Часу в десятом прибегает к нему Карлушка. Без вина в этот раз.

— Пери котикофф лапка. Идем.

Ведет его к «лагерфюреру» на квартиру. У того под окнами грузовик стоит, гостями дело пахнет. И верно — густо народишку. Два нездешних офицера восседают за столами, да штуки четыре бабенок с ними. Ну, эти... Их тогда еще «немецкими овчарками» звали. Одним словом, пировать приехали. Самый разгар у них. На аккордеонах наяривают, танцуют, песни поют — дым коромыслом. Карлушка шесть бутылок на тумбочку выставил, масло оковалок на ножик поддел и сует Мамонту в рот:

— Закусывай и проповай.

Мамонт хотел было из всех бутылок стакан насливать да и за одномах перевернуть его, а Карлушке не так надо:

— Из кашна бутилька отельно пей. Фсе месте не понимаешь, котора заразна.

Комендант кивает на Мамонта и, видать, что-то веселенькое про него землякам рассказывает. Смеются германцы. С полчаса, побольше ли прошло — Карлушка распоряжается:

— Фсе порятке. Ставляй лапка.

Вынул Мамонт кожаный футлярчик, резину в суконку тиснул, приклепнул по бутылке и из второй пробовать начал. За столом гости печатку разглядывают да хозяина за смекалку похваляют. А Карлушка не зевает: за-

куски притащил, стакан второй. Глазом на застольицу косит, а мимо рта не несет.

— Серца, тьяволь, ни перет ни назат.

Тут чего-то вся компания в ладоши захлопала, марши заиграли, «браво» кричат. Выходит из спальни «овчарочка» одна кучерявенькая — губки под розу, коготки под стручковый перец выкрашены, а одежонка на ней — туфельки мяконькие да ремень с пистолетом на пупке. Поднимается она на бильярдный стол и музыканту ручкой делает. Тот заиграл, и пошла она коленца откалывать. И плечами-то потрясет, и задом повосьмерит, и ногу-то стрелой выставит. Одна грудь портупеей перетянута, другая вольно болтается. «Жжжжизньни!!! — кричит музыканту. — Жжжжизньни давай!»

И замельтешила туфельками.

Немцы ее поджигают, «арря-а-а» кричат, «гип, гип». Сами приплясывать начинают. Один сивый-белесый уж вокруг бильярда пошел, а музыкант накаляет да накаляет. Плясала-плясала эта стервочка, выхватывает пистолет — бух-бух в потолок. И остановилась. Раскланивается. Немцы от восторгу аж воют, ногами топотят, а сивый-белесый воткнулся ей носом в лодыжки, поднял с бильярда и носит на руках.

Карлушка облизывается стоит. Четвертую уж бутылку потревожил, под пляску-то. На выстрелы человека четыре солдата прибежало. Запыхались. Морды к бою изготовились. Карлушка их в тычки, в тычки да по шеям. Без вас, мол, сиволапые, знаем, почему стреляем. Выгнали солдат — опять «вавилон» открылся. Остальных заставляют раздеваться. Снимают с одной толстухи чулки, а она повизгивает, похохатывает, пьяненькая. На Мамонта ноль внимания. Не человек будто тут, а дверной косяк стоит. А он смотрит на белую богиню да размышляет:

«Куда ты попала, лебединка моя ласковая...»

Сивый уследил его взгляд, подходит враскачку.

— Красиви? — спрашивает.

— Красивая, — вздохнул Мамонт.

Сивый тогда к богине двинулся. Присел перед ней на стул и зовет свою кралю кучерявую. Та на коленках у него устроилась, сумочку раскрыла и достает оттуда красоту за трешницу. Одним карандашиком губы и щеки богине размалевывает, а другим брови наводит. А сивый еще красивше придумал: по косам рожки ей пустил, усы

гусарские нарисовал и окурок в губы воткнул. Любовался, любовался, а потом плевка ей.

Мамонт в первый миг не поверил. Да ведь не мстит-ся же. Вьяве все. Обожгло ему виски жаром, где-то глубоко заподташнивало... закрыл он глаза.

Вот и ни веночка на ней, ни сарафанчика цветастого — нагая, безродная, поруганная сидит. Нет, не сидит... Пала на коленочки и тянет ручонку к Мамонту. Вот они, рядышком. Пальчики дрожат, как у дитенка напуганного. И голосок народился. Лепечет он, как потайной родничок, вызванивает слезками мольбу свою: «Мамонт!.. Ты добрый! Ты сильный... Защити меня, маленькую!»

Открыл грозные очи Мамонт — пальцы в кулаки сами сжимаются. «Держись! Не моги! Дядю Пашу помни!» — приказывает себе, а из горла злой клекот рвется. Схватил он стакан, наплескал его целый из последней бутылки, выпил и отрешился.

Не стало Мамонта — на его месте отмститель стоял.

Кто его знает, как бы оно дальше-то дело получилось... С Карлой — это ясно. Тому бы он по дороге в лагерь «серце» остановил. А куда бы потом, автоматом завладевши, направился — на вахту или к коменданту обратно — трудно сказать. Такие-то, от себя отверженные, не сами ходят — их смелый бог ведет. Да, видно, не час еще...

Вышли они от коменданта, а их дежурный унтер дожидается. Бормотнули чего-то. Карлушка Мамонта по спине хлопнул:

— Идем, Мамонт! Унтер-офицер Фукс терпенье терпел. Три часа котикофф ляпка ошитель. Цели канистр самогончика доставал! Ловки репят.

И заголосил от радости. Да с подвывчиком:

«Холарно-холо...»

Пришли в караулку, а у поддежурного уж и кружечка налита. Заготовил.

«С троими мне не совладать, — думает Мамонт, — пристрелят успеют».

Ну, и за живот.

— Я сейчас, — говорит, — Карла Карлыч... До ветру спешно надо.

— Ну, быстро, тавай!.. Фсегда у тебя случится не фоврежь.

Мамонт бегом к дяде Паше в блок. Вот уж плац, вот

ребята пострелянные лежат... Только что это? Трупы-то шевелятся!..

Пригляделся Мамонт — крысы! Кишмя кишат... Писк, драка, грызня. Вскрикнул человек... Не выдержал. «Вот и мне...» — выползла было думка, но тут же пресек ее, собрал Мамонт кулачище и то ли немцам, то ли крысам грозит да бухтит себе под нос:

— Не устрашите, паскуды! Подавитесь!

Оставил ребят судьбе ихней злосчастной Мамонт — свою пошел пытать. Разыскал дядю Пашу.

— Минут,— шепчет,— через десять бери кого посмелей и ко мне.

Тот как и что не спрашивает — давно обговорено все.

— Ясно,— отвечает.— Иди действуй.

Добежал Мамонт до своей пристроечки, чертика, батжок то есть, на предусмотренное место поставил, лег на топчан и стонет. Карлушка с унтером ждали, ждали его в проходной — не ворочается «кот».

«Уснул, наверно, пьяни морта»,— соображает Карлушка.

— Бери кружку,— говорит унтеру.— Идем.

Мамонт извивается на топчане, охает.

— Што получились? — спрашивает Карлушка.

— Живот режет.

— Патчему у меня не решет? Я тоше кажни бутильку пробоваль. Вино не заразни пыль.

— Не знаю,— Мамонт отвечает.

— Тебье ната фот эта кружечка выпивайт. Фсе парятке путет. Ну?! Бистро!..

Поднялся Мамонт, идет к столу, постанывает. Баночку с маслом разыскал, проглотил ложечку — и за кружку. Карла слева от него на чурбачке сидит, а унтер справа шею вытягивает. В самый рот заглядывает — без обману чтобы.

Мамонт кружку обеими руками поднимает, совсем ослабнул человек. Унюхнул самогоночки да как разведет кувалдами. Унтер черепом об плиту звезданулся, а Карла Карлыч под порог улетел. Ключнул Мамонт им для верности «чертиком» по темечкам и размундировывать начал. Оружья нет. На вахте, как всегда, оставлено.

Тут и дядя Паша с товарищем подоспели.

— Переодевайтесь скорей!

Немецкие штаны на русские сапоги тесноваты — шайтан с ними, некогда размер подбирать. «Воскресли» ун-

тер с Карлом. Мамонт тоже свою шинелку надел, батожок снизу в рукав засунул, коренек ладошкой прихоранивает.

— На вахту, славяне?

— На вахту!

Мамонт у притвора дверей прижался, а дядя Паша тук-тук-тук в окошечко и голову отвернул. Поддежурный видит: свои с анализа вернулись. Откинул крючок — улыбается, предвкушает... Так ему, зубы наголе, и на страшном суде предстать. Оружья — три автомата и пистолет. Теперь-то уж их пленными не назовешь. Бойцы!

— Выводить остальных!

Остановились ребята у проходной, в колонну по два строятся. Дядя Паша всякой немецкой нецензурой латается, прикладом одного двинул, «Шнель, шнель!» — кричит. Да победительно так! Часовые на вышках без внимания. Привычная история. «На электростанцию ведут вагонетки с торфом разгружать». Шаг от лагеря. Еще шаг... Частят сердца у ребят, ох и частят. На вышках-то пулеметчики... Десять шагов, двадцать — фонари еще рядом почти. Светло.

— Не торопиться! — шипит дядя Паша и тут же всю горлянку неметчины подпускает.

Ох, и памятны вы, шаги к волюшке. Сто двадцать... Двести один...

— Стой, ребята, — гуднул Мамонт.

— В чем еще дело? — озлился дядя Паша.

— Шоферов среди нас нет случаем?

— Есть, — пикнул кто-то из колонны.

— На немецких ездешь?

— Могу, — тоненький голосок отвечает.

— Тогда, ребята, сменить план надо. У коменданта лагеря под окнами машина стоит, а они там...

Предложил, словом, не убегать, а уезжать да еще и оружишком раздобыться. Многие против высказываются. Тревожатся.

— Уходить поскорей надо. Остановились в самых лапах. Нам ли на рожон лезть?

— Да они пьяные, как слякоть! Не хотите — один пойду. Я их и стрелять не буду. Колотушкой переглоушу! Пойдешь, шофер?

— Пойду, — пищит.

— Погодите-ка... — дядя Паша вмешался. — Позволь-

те мне распорядиться. Мамонт, я, «унтер» и шофер к коменданту пойдем. А остальные — вот вам пара автоматов — пробирайтесь вдоль шоссе. Увидите, машина светом мигает, вышлите одного на дорогу. Это мы должны быть.

Перед комендантским домом Мамонт у дяди Паши спрашивает:

— Пленных брать будем?

И не до смеху тому, а улыбнулся.

— Ты сам-то кто таков?

— Значит, «овчарок» тоже бить?

— Это уж по ходу действия глядя.

«Унтера» снаружи оставили — и в дом. Двери не заперты — Карлушка-то не вернулся все.

Славно послужил Мамонту березовый комелек. Разбудит которого, даст понюхать, и господи благослови... Больше раза на одну голову не опускал. Без выстрела пошабашили. Шофер женский пол согнал в угол и чивикает на них:

— Молчать, слабодушные, не то вынудю вас смерти предать!

Дядя Паша оружие собирает, а Мамонт новопреставленных обшаривает, ключ от машины ищет. Нашел. Отдал шоферу.

— Заводи,— говорит.

— Что с этими гыспадами мокрохвостыми делать? — спрашивает дядя Паша у Мамонта.

— Что делать? Сажай их в кузов. Пусть, гадюки, песни поют, подозрение отводят.

Остался Мамонт один в доме... Подошел он к богине и указывает ей на сивого:

— Вот видишь? Побил я их. Насмерть побил... Знали, чтобы... А ты теперь прощай. Ухожу я. Помнишь тебя буду. Красивая ты, ласковая...

И покажись ему тут, что у девушки губы дрогнули. Вскинул он тогда ее на грудь и понес.

— Открывайте борт,— выгудывает.— Не закинуть мне.

Дядя Паша ворчит: ехать, мол, надо, а ты с трофеями... Для чего она?

— Нельзя мне без нее ехать. Не могу я ее в плену оставлять. Пойми же ты, дядя Паша! Варвары мы, что ли, на изгальство ее покидать?

Закрыли борта, совсем бы уж трогаться, а Мамонт

опять в дом побежал. Через недолгое время выскакивает. Тронулись наконец-то. Взял Мамонт «овчарок» на прицел и командует:

— Запевай, стервы, «Марьянку»! Пободрей, собачьи ягодки, не всхлипывать... Куда не на тот мотив полезли? Петь — дак пой!..

Дядя Паша интересуется:

— Зачем это тебя еще в дом носило?

— Кошачью лапку коменданту на лбу отпечатал.

— А для чего бы это?

— А для того бы... Помнили чтобы «сибирского кота», сволочи!

...На берегу лесной щебетливой речушки, под раскидистым кустом орешника, вырыли беглые пленные русские ребята яму. Дно ее устелили мягкими лапками ельника. Долго мыли свежей ключевой водой белые косы, белые ноги, сводили краску с бледных губ и щек неизвестной им по имени девушки-богини. Потом Мамонт укутал ее своей шинелью и осторожно опустил в яму. Лишнюю землю сбросили в речушку. Под орешником снова зеленел дерн, а неподалеку отсюда догорал грузовик...

Вот на этом и кончился Валеркин рассказ, от старого солдата услышанный.

Дедка Михайла хоть и промаргивался местами, а ничего. После-то раскрылатился. «Гордей Гордеичем» ходит. Знай, мол, наших! Вот, мол, какие они бывают, «сибирские коты». Лапку на лоб для памяти... Разыскать бы этого Мамонта. Земляк ведь близкий... На Ишим-реке возрос.

Месяца три дед всем и всякому про кошачью лапку рассказывал. Время бы и притихнуть, а он нет. Появится в деревне кто-нибудь приезжий-заезжий — обязательно полюбопытствует:

— А не проживает в ваших местах человек по имени Мамонт? Рыжий такой, конопатый, басовитый...

Да незадача все деду.

— Нету,— говорят,— такого. Рыжие, конопатые водятся, а Мамонтов нет.

И случилось так, что продолжение Валеркина рассказа от меня воспоследует.

Направили меня как-то осенью в Москву, на выставку.

— Езжай,— говорят,— Пантелей, погляди там, что с

пользой для наших садов да огородов перенять можно. Кавказской пчелой тоже поинтересуйся,— добычливая, слышно.

Ну, я и поехал. Хожу там, смотрю, спрашиваю, записываю...

В воскресенье утречком является к нам в гостиницу гражданин один и объявляет:

— Кто желает поглядеть выставку картин и скульптур, прошу записаться.

Я, конечно, с большим моим удовольствием. Дари от щедрот своих, Москва-матушка. Повышай уровень нам.

Ну, значит, и ходим мы своей группой, обозреваем всенародно. Да уж больно торопко объясняет все вожатый наш. Я приотстал. «Сам,— думаю,— не без глаз. Без тебя и разгляжу, и вникну».

Ходил я ходил — да с какими-то иностранцами и смешался. Тоже обозревают. У той картины губами пожуют, возле другой ухмыльнутся, ноздрей дернут, а где и вовсе скислоротятся.

Вот, слушаю, и разговор завели. Я-то, ясное дело, ни аза не понимаю, а парнишка один рядом со мной стоит, вижу, переживает.

— Об чем они? — спрашиваю.

А они вон, оказывается, чего: «Советским, дескать, настоящая, высокая красота до понятия не доходит. К земле долит их. К натуре. Котлованы, шахтеры, поварики — это еще получается, а коснись чего-нибудь к небеси поближе — нету! Вся фантазия сякнет. Откуда же тут богиням взяться?!»

Старичок один, в моих уж так годах, слушал-слушал эти глаголы, а потом на коренном ихнем языке и высказался:

— Богинь, говорите, нету? Это вы напрасно, господа. Есть!.. Только их у нас не по-римскому или греческому, а по-русски зовут — Зоюшками, Любавами, Лизаветами... Они, верно, не небесной красоты, ну уж тут извиняйте! Не имеем права мы им крылышки приделывать. Народ помнит их курносыми, вертоголовыми, до последней цыпки на ногах, до самой мелкой веснушки на носу помнит. Помнит, как стояли они, нецелованные русские девчонки, перед петлей, перед дулами винтовок, губы — два опаленных лепестка, в синяках, в разорванных кофточках,— непокоренные, отчаянные богини наши. Таких

вот в холстах и бронзе выдаем. А вам бы поклониться этим девчуркам, этим вот парням, которые сильнее смерти.

От себя скажу: статуя там такая была. Называется «Сильнее смерти». Трое ребят под расстрелом стоят. Указал он им на нее и спрашивает:

— Замечаете, что ни на одном из них шинелки нет? Это они, господа, Европу ими прикрыли. Серыми... Русскими...

Смотрю я на иностранцев, а у них лики постные сделались. Святостью обороняются. По легонькому «пардону» промурлыкали да ходу от старичка.

Мой парнишка тогда сгреб его руку.

— Спасибо,— говорит,— дедушка. Здорово вы им...— И тут же забеспокоился: не обиделись бы.

— Ничего!.. Съедят,— старичок отвечает.— Пра-сковья мне тетка, а правда—мать. Знаю я этот сорт народа. Много их развелось на наше дорогое лайку распускать. Из редкого кабачка не твякают, гыспада хорошие.

Как протянул он это—«гы-спада», меня и осенило: «Да уж не дядя ли это Паша?! Вот и шрам на лбу, и зубы стальные...»

Насмелился, спрашиваю:

— Извините, товарищ. Вас не дядей Пашей зовут?

Он удивился вроде бы сначала, востренько так об-смотрел меня и отвечает:

— Приходилось и дядей Пашей быть...

«Он»,— думаю.

— А Мамонта Котова вам не приходилось знать? — опять спрашиваю.

— Мамонта? Как же не знал! Вместе из плену бежали. Партизанили вместе. А вам откуда он известен?

Рассказал я ему с пятого на десятое и опять вопрос задаю:

— Где он сейчас, не знаете?

— Вот он.— И показал на среднего из парней, кото-рые «Сильнее смерти».

— Как так? — подивился я.

— А вот так же.

...До последних патронов отбивался окруженный Ма-монт с товарищами... По второму разу в плен... Лучше умерли бы ребята в последней схватке. На штыки бы полезли, на очереди. Готовые к тому были... Взяли их с

собаками. Кидается такая дрессированная волчара на человека, и если не устоял ты на ногах, не сломал шею звенью, не всадил ей кинжал в брюхо, — табак твое дело. Сядет перед глоткой — и попробуй пошевелись. Это про то рассказано, если она одна, а тут до десятка на троих спустили. И стрелять нечем.

Конвоировали и допрашивали тоже с собачьей помощью. Били, мучили, жизнь обещали, деньги...

— Укажите, где отряд? — кричат.

— А хренку не желательно? — партизаны спрашивают.

Утром их вывели на расстрел.

Мамонт в середине стоит. Справа от него звонкоголосый скворушка-шофер. В спичинку свел он тонкие губы, смотрит большими, как это тихое утро, глазами на милую зеленую красавицу землю. Слева — дяди Пашин товарищ, унтером который переодевался. Этот плюется и свистеть пробует.

Сложил Мамонт руки на ихние плечи, и застыли они.

Далеко-далеко, за горами Уральскими, из Сибирской земли поднимается солнышко. Вот оно ласковыми лучами тронуло Мамонтовы волосы. Бронзовеют они... Рывкнули автоматы, брызнула на росную траву вспугнутая горячим свинцом кровь, и покачнуло Мамонта.

«Это зачем же я им в ноги валюсь? Вот новое дело!..»

Попробовал он перехитрить смерть: не упасть, куда она клонила, — не перехитрить кашейку!

Стал он тогда просить ее:

— Смерть, Смертушка! Свали меня навзничь...

Не соглашается безносая.

Собрал он тогда по капельке из всех своих жилочек последнюю силу, укрепился на какой-то миг и прохрипел:

— Не вам, гадины, — солнышку кланяюсь!..

И вздрогнула земля от его смертного поклона...

И еще про богиню я спросил у дяди Паши.

— Разыскал я ее после войны, — говорит. — Так в Мамонтовой шинели и к месту назначения поехала. По доброму-то, оно и шинель в музей бы повесить надо.

Дедушке Михайле я этого не рассказал. Пусть, думаю, верит старинушка, что ходит красным июльским утречком над Ишимом-рекой богатырь Мамонт. Косит он заливные лужки, мечет стога, пашет землю и радуется сегодняшнему солнышку. По вечерам подкидывает на

полсаженной ноге рыжих Мамонтовичей и рассказывает им про кошачью лапку.

Пусть думает дед...

А на краешках земли нашей народная память по жемчужинке, по алмазинке выискивает дорогие слова, которые как цветы бы пахли, как ордена бы сверкали на богатырской груди русского солдата. И в сказку годятся эти слова, и из песни их не выкинешь, и про героическую быль рассказать ими достойно.

1960 г.

СИБИРСКИЙ КЛИЕНТ

Черемушки — солдатские цветочки

Я на фронте все больше ожоги получал. И варило меня, и пекло, и смолило. Ну, об этом речь впереди. Начать же надо с того, что неправильно меня воспитывали.

Родился я маленьким, рос мелконьким, грудь что у зайчонка, столько же и силенки... Тут что надо было? Закалять надо было меня всячески. К физкультуре поощрять, дух во мне поднимать, отчаянность воспитывать.

А вместо того — собирается отец на охоту:

— Тятя, я с тобой пойду?

— Сей минут! Сейчас вот за патронташ тебя заткну и пошагаем.

Когда забраковали меня в военкомате, усталился он жалостливым таким взглядом — вздыхал, вздыхал да и высказался:

— В кого ты, Аркадий, уродился? Сестры воп — хоть в преображенцы записывай. А ты... зародыш какой-то...

Вот и подымись тут у Аркашки бравый дух...

Оттого я и рос такой... виноватый. Неполющенный вроде. Зато, когда приказали мне на втором году войны «в десять ноль-ноль» с бельем, полотенцем и с продуктами в военкомат явиться, у меня чуть сердце не заглохло от радости. Через правое плечо поворот сделал!

Приезжаем наутро с отцом в район — грузовики уже ждут. Обнял он меня напоследок и нашептывает:

— Ты, сынка, не робей! Ты усы отпусти. Геройства тогда в обличье больше. И карточку... карточку нам с матерью вышли.

И перестал я с этого дня верхнюю свою губу брить, усы запустил.

Направили нас, свежепризванных, в военные лагеря Черемушки. Едем. «Черемушки», — раскладываю я по слогам. «Нежненько-то как!» — думаю. Представляются мне молоденькие такие, с прозрачной, чуть зелененькой корой деревца, все в цвету, в запахах — белокипенные, кудрявенькие. Посреди этой природы — лагеря. Наверное пионерских... Только слышу-послышу, их еще и «Чертовой ямой» поминают. Это-то название поточней оказалось.

Впоследствии на вопрос, почему Черемушки, взводный Ляшонок мне так разъяснил:

— Это намек солдату дается... Принюхивайся, мол. Черемушки — цветочки, а ягодки — впереди. Без обману чтобы...

В этих-то вот Черемушках и познакомился я с поварским черпаком, будь он трижды неладен. Направили наш взвод на подсобное хозяйство. Километров за шестьдесят. Задача — картошку из овощехранилищ на машины грузить. Котлы с нами едут, сковороды, прочая посуда... Палатки растянули — ужин варить надо.

— Кто может? — взводный Ляшонок спрашивает. Он у нас беговый мужик был. Длинный, поджарый, лицом смуглый, верблюжьего цвета шинель на нем. Английская. В госпитале выдали. По самы пяты. Заглазно мы его звали «Чтоб я этого больше не слышал». Любимое изречение.

Ну, ладно... Поваров во взводе не оказалось. Прошелся он вдоль шеренги, да меня и облюбовал:

— Корнилов, кажется?

— Так точно, товарищ младший лейтенант!

— Назначаетесь, боец Корнилов, поваром!

— Я не умею, товарищ младший лейтенант. Отродясь не варивал.

— Не умеешь — научим, не хочешь — заставим, — говорит. — Притом и грузчик из тебя — наилегчайший вес. Одним словом, надевай халат, и чтоб я этого больше не слышал — «не варивал».

И проклял я потом не раз эту лихую минуту. Вся моя служба шиворот-навыворот отсюда пошла. На погрузке, верно, благополучно все обошлось. Картошки вдоволь. А это при третьей тыловой норме ох как вкусно! Наворочаю два котла, салом заправлю — хвалят ребята. Зато

в период подготовки — погорел. Свои же в плен взяли. Шишек наполучал, оскорблений... Впрочем, тут по порядку рассказать придется.

Отправляется наш батальон на трехдневные учения. Без захода в казармы причем. Весь день и всю ночь перед этим дождь лил. Утром большой перестал — густой пошел. Мелкой капелькой... Строимся мы на плацу, а он до того рассолодел — воробей след оставляет. Ветер рвет. Собака Жучок к кухонному крыльцу бежит и хвост в нужной форме сдержать не может. Ломит его, гнет, зад из-за этого заносит. Аж закружится песик. Кое-кому такое зрелище направление мысли испортило. Бывалые, верно, молчат, а свежепризванные непорядок усмотрели.

— Мыслимо разве по такой погоде... — ворчат. — Добрый хозяин собаку... а тут — на трое суток...

— Это кто про собаку? — наострил свое чуткое ухо Ляшонок. — Кто собаку помянул, какой нации?

— Русская поговорка, русский, значит, и помянул, — невесело отвечают из колонны. — Ну, тут и турок помянет, не токмо что...

— Вот турок пусть и поминает, — отозвался взводный. — А мы — забудь! Забудь про собаку, ежели ты русский. Так-то, сынки...

Он, независимо от возраста, сынками почему-то называл.

— Забудешь тут... За воротник вон напоминает, — доложил кто-то из строя.

— Все равно забудь, — подытожил взводный. — Немец на Волге, река солдаткой стала, а вы — про собаку... Отставить про собаку! Чтоб я этого больше не слышал! После войны — пожалуйста...

Двенадцать часов мы сквозь всякую грязь шли. По жидкой, по густой и по паханой. Полную выкладку несли, плюс к тому каждую ниточку на тебе мелкой капелькой наплатало. Ужинали сухим пайком. Ночевать в поле — по цепочке передали, — костров не разводить: «противник» близко. Греться по-пластунски и другим подобным способом. Ко всему этому, в порядке утешения, суворовское присловье: тяжело, мол, в ученье — легко в бою.

К полночи вызвездило, и принялся молодой морозец наши шинели отжимать.

— Грейся, как пресмыкающиеся греются! — раздается

голос взводного. Он падает в длинной своей, до пят, шинели на живот и ползет. Ползет и приговаривает: сто метров туда — сто обратно. Сто — туда... сто — обратно.

Ну, мороз — он командир звонкий... Всему батальону Ляшонкову команду донес. Ползаем. Греемся. Кое-где ребята на «петушка» сходятся. Плечо в плечо сбегаются, локтями наддают. Тут же приемы «Лежа заряджай», «Встать!» изучаются, на спинах друг дружку взмetyвают — оживленно ночуем!

Неподалеку от меня два солдата разговор ведут, вроде сказки сказывают:

— Случись сейчас в нашем батальоне черт и спроси, например, у тебя: «Какого счастья в первую очередь хочешь?» — чего бы ты ему на ушко шепнул?

— А чего! Печку бы железянку... докрасна чтобы... Высохнуть... Согреться...

— К этому бы еще соломки сухой охапку. Ох и рванул бы!..

Впрочем, на темноты некоторые и без соломки ухитрились. И на корточках дремлют, и лежа — бочком, подбородок в коленки. Другие опять шинельными полами запеленали, спина в спину храпака дерут. Сорок верст как-никак отчмокали. А морозец — свое... «Подъем» скомандовали — такая рать воспрянула, куда там черти годятся. У одних шинели пышные, в складках, звенят, гремят — что твои балерины заприплясывали. Которые пеленались — вскочат и тут же хрусть об землю. В три слоя им на ногах сукно сморозило.

Отмяли мало-мало шинелишки, хлебушка с селедкой перекусили и по звонкой земельке где бегом, где форсированным шагом затопали опять к родным Черемушкам. За восемь часов надо было успеть вернуться и тут же с ходу пойти в «наступление». Первые километры из ртов парило. Потом лбы задымились, спины, плечи. «Шире шаг!» — подбадривают командиры и тут же от Суворова... насчет пота и крови.

К обеду небо опять сесть начало, синеть. И повалил снег. Густой, лохматый, ленивый... Хоть губой его лови.

Достигли мы нужного ориентира, развернулись в цепь и давай короткими перебежками белую землю пятнать. Пороша тоненькая, липкая. А падать надо да снова бежать. На «ура» пошли — мокрее вчерашнего. Заняли «неприятельские» окопы — отдыхай, ребята. Бла-

женствуи. А в них жиденько, склизко. Топчемся с ноги на ногу. Мысли какие-то разбивчивые в недоспанную голову лезут.

Переступишь — чмокнет глиной, отлетят бредни. Стоим.

А ветерок с севера заворачивает, а индивидуальный палец у рукавицы, которым на спусковой крючок нажимать, твердеть начинает, ледком подергивается. Поземка закружилась. И не в ноги она метет — в глаза солдатские. Секет, пронизывает. Стынем, синеем, потряхивать нас начинает.

— Товарищ младший лейтенант, разрешите: сто метров туда, сто — обратно?

— Пока светло...

Это потому, что по темноте придут из третьего батальона разведчики. «Языка» у нас брат. Ползаем, в запас обогреваемся. Печку бы железянку, соломки бы сухой... Другого счастья нет.

Сейчас, бывает, встретишь обиженного такого, «несчастненького», судьбой недовольного и без ошибки определяешь: «А не бывал ты, паря, в Черемушках! Да, да... В тех самых, которые «солдатскими цветочками» назывались. Знал бы, какое такое счастье бывает! Поменьше бы высказывался».

Ну, ладно. Братва, конечно, на сей раз единогласно решила: повезло Аркашке. Вызвали меня к командиру роты, и получил я приказание отправиться в глубину своей обороны, в распоряжение повара. Горячий ужин батальону готовить. Через полчаса я уже, что говорится, на седьмом небе был. Дрова подкладываешь — топка греет, крышку откинешь — паром тебя по глубины души прохватывает, а спиной к кухне прислонишься — тут уж вовсе несказуемо. Теплынь, и каша там, внутри, будто райская птица скворчит.

Пожинали поздненько. В двенадцатом примерно часу. Выскреб я с разрешения повара остатки каши в ведро, другое полнехонько кипятку нацедил — несу в свой взвод. Мысли у меня приятные играют. «Ай да Аркашка,— скажут ребята.— Вот это товарищ! И кашки спроворил, и кипяточку догадался. Сто сот парень...» И вдруг как секанут этого «сто сот парня» телеграфным проводом по ногам — сразу подешевел. Кипяток в снег, каша набок, самому — затычку в рот и руки-ноги опутывают. Опутали и потащили. Дышу я через нос и постепенно

догадываюсь, что я теперь не Аркашка Корнилов, а «язык». И волокут меня не куда иначе как в третий батальон. Ну кому охота в плен попадаться, хоть бы и к своим? Задрогался я по возможности, заизвивался... А братишка из третьего батальона уставил мне кулачину под нос и поясняет шепотом:

— Свинцом палита, смертью пахнет...

Вот уж вижу сквозь поземку — через линию окопов меня переносят. И никакого окрика! Никакой тревоги! Перестал я уважать свой батальон. Так запросто отдать бойца на произвол «противника» — это не каждая часть сумеет. А произвол сразу же начался, как только окопы миновали. Во-первых, Карлушей меня называли.

— Тих-ха!.. — говорят. — Карлуша... Тиха. Погоди ногами скать...

По пути к тройке, которая меня захватила, прикрывающая группа присоединилась. Потом еще одна. И началось тут надо мной групповое издевательство. Поважит, повзвешивает который меня одной ручкой на веревках и выскажется:

— Бараний вес взяли...

Другой, после такой же процедуры, еще злей колет:

— Такого эрзаца под мышкой унесешь.

А братишка, который кулак мне подносил, тот вовсе конкретно:

— Где Гитлер? — спрашивает. — Сознавайся. Все одно твоя фрау заговела теперь.

И чем дальше от окопов относят, тем нахальней stannoются. Не кладут уж, а прямо бросают. Как саквояж какой...

— Давайте, — рассуждают, — расшлепаем его в чистом поле, а кашку съедем.

И тут кто-то славную мне мыслишку подкинул.

— Каша-то, поди, наркомовская, пайковая... Попадет еще.

Братишка, который кулак мне показывал и про Гитлера спрашивал, неподмесным звонкоголосым чалдоном оказался:

— Не обязательно наркомовская. Левака это он сообразил. Тожно кухольну крысу мы захватили... Сухонька... сытехонька... Ишь — икает...

— Может, он задыхается?! Ототкнуть ему рот да спросить, — посочувствовал кто-то.

— Верно! А то дразним соки...

И только мне успели затычку изо рта вынуть, закричал я сквозь все Черемушки, на всю «Чертову яму».

— Чепе захотели? Там два отделения без ужина, а вы!..

И связанными руками, помню, с присеста, ведро стал к спине приподнимать. С гирей еще такой прием практикуют.

— Не цокотись, не цокотись... — отопнул меня чалдон. — Сами чичас выясним... Ну дак как, ребя? — обратился он к разведчикам.

— Мда-а... — промычал кто-то. — Хороша кашка, да наркомовская...

— С адресом кашка! — отозвался второй.

— Не расстрелявши «языка», эту кашку не тронь... Продаст! Продашь ведь? — спросили у меня.

— Продам! — пообещал я твердо.

— Ну вот...

— Да чего с ним разговариваете? — задосадовал чалдон. — Учат вас, учат, лопоухих!.. Сто раз эть командиры тростили: действуй, как в боевой обстановке. Ну, ладно... Действую! Захватил «языка» с кашей. Вынес на безопасно расстояние. Жрать захотел. Как, спрашивается, должен я распорядиться. Соболезновать, что противник натошак спать ляжет? В штаб ее волокчи? Ежель по-настоящему, как Суворов учил, действовать, то при сичасном нашем аппетите должны мы эту кашу оказачить и будет это само применительно к боевой обстановке. Нам ишо благодарность за расторопность вынесут, ежель хотите знать.

Разведчики засмеялись:

— Брюхо тебя, Сеня, учило, а не Суворов...

— Именно! — закричал я. — Суворов говорил, сам голодай, а товарища накорми. А ты — чужую кашу жрать. Там не такие же бойцы?!

— Слышишь, Сеня, — закивали на меня разведчики. — «Язык» не с проста ума это... Ну ее к шути и благодарность. Пусть плачут в эту кашу да благодарят бога, что не перевелись еще рыцари в третьем батальоне.

— Так разе... — заотступал чалдон, — в знак благодарства разе...

«Сейчас отпустят!» — заликовал я и опять к ведру посунулся.

— Ккуда-а! — опередил меня чалдон. — Не цокотись,

сказано! Без тебя доставят... Из которой роты, взвода?

Представил я, что стою перед строем, а взводный Ляшонок длинным своим костлявым пальцем указывает на меня и приговаривает:

— Видали благодетеля? Из плена кашки прислал!

Представил я такую картину и говорю:

— Ладно... Ешьте, паразиты. Не наркомовская это. От раздачи поскребки.

Чалдона вдруг муха укусила:

— Нет уж, дудки, чтобы я ее теперь ел. Подвести хочешь?! Пиши перво расписку, что левака сообразил, тогда съем ложку.

— Развяжите руки,— говорю,— напишу.

Разминаю пальцы, дую на них, а чалдон вне себя от радости:

— Говорил — кухольная крыса, так и есть! Сухо-хонька! Сытехонька! Ус в пшене. Ай да мы, дак мы!

Расписку он даже не прочитал. Где стоял, тут и к ведру плюхнулся:

— Ротны минометы — к бою!!!

В момент у кого из-под обмотки, у кого из-за пазухи засверкали над ведром ложки. Ведро сначала басом пело, но уже через минуту звенькать начало. И не успел я попытку к бегству предпринять, как чья-то ложка уж доньшка добыла. Чалдон облизывает «ротный» свой миномет и приговаривает:

— От это «язык» дак «язык»! Чуть, ястри тя, язык с таким «языком» не проглотнул. И где таки родятся — ишо бы одного засватать... С конпотом.

Дали мне в руки порожнее ведро — повели. На допросе я отвечать категорически отказался. Даже фамилию свою не называю. А им ее надо. Маялись они со мной, маялись, и опять же чалдон — цоп с меня шапку и читает на подкладке:

— Кор-ни-лов А. Ондрей, Онтон, Олексей? — перечислил он. — Кто будешь?

— Окулька,— сказал я.

— Чего?! — воспрянул чалдон. — А пошто же ты в поле не сказал нам, что ты Окулька? И мы тоже добры?... — развернулся он к разведчикам. — Вязали человека, рот затыкали, а что Окулька — и недошупали. Ай-я-я-я-яй,— засожалел он. — До свежих веников себе этого не простю.

Вернулся батальон в обед. На плацу разбор учений

состоялся. Где ладно, где неладно. Неладно, конечно, оказалось, что «языка» украли. Притом незаметно. В этом случае часть вины с меня как бы скидывалась. Один против троих все-таки.

Ну, разобрались. Отдана была команда оружие чистить. Чистили полусонные. Обед заодно с ужином выдали. Чтоб не будить лишний раз. Уж и так один браток воткнул нос в кашу и спит.

Я это к чему рассказал? К тому, что в таких вот учениях, если правильно понимаю, не только боевое качество в солдате воспитывалось, а и зло росло, ненависть. Сначала в виде досады на командиров. Вроде той, что добрый, мол, хозяин собаки не выгонит. А когда поползаешь рядом с ними, на посинелые их губы насмотришься, уверишься, что и от мокра, и от мороза одинаково вам льготы отпущены — другое тут начинает твоя голова соображать. Поточнее адреса выбираешь. И накапливается тогда в солдате истинная драгоценная злость. Сердце от нее, говорят, разбухает, к горлу удушье подступается. Ляшонок не раз повторял:

— Желези душу, ребята. Фашиста — его на лютость берут, на беспощаду. Без злости ты — как винтовка без бойка.

Начну я свою душу проверять, сколько в ней злости накопилось, нет в ней ни рожна. Пакость какая-то около сердца копошится, а настоящей злости нет. Наоборот. Рад я даже, что наравне с другими всякое такое претерпеваю. Ей-богу, рад! Потому что таился во мне постоянный страх. Вот явится, думаю, из Сибирского военного округа генерал, увидит он меня и спросит у взводного:

— А этого молекула кто в строй поставил? Отчислить его, чтобы левый фланг не позорил!

Сам себя подозревал! Вроде какой обман я совершил, что в военной шинели оказался. А все оттого, что заторкали меня с малолетства. Как гусек я с подстриженными крыльями... Однако не сдаюсь! Много ли, думаю, Суворов рослей меня был. А закалялся человек — ледяной водой обливался, на жестких постелях спал, военные упражнения — и вот, пожалуйста. От Суворова к будущим боевым действиям перейду. Тут примериваться начну. Вот стрелил командир заветную ракету, и бегу я через гремучее поле. Земля подо мной пружинит, в четыре глаза вижу, пальцы к винтовке

прикипели, сила во мне дикая — ввухх! Повстречайся-ка с таким головоотпетым!

Как видите, не кашу варить-развозить замышлял.

Куда девался «второй фронт»

Но так уж военная служба устроена. Солдат в ней предполагает, а командир располагает. Добрались мы до фронта, и попал я там из боевого взвода в хозяйственный. Поваров опять недостает. «А Аркашка? — вспомнили. — На подсобном варил, на ученьях... В плен даже с кашей попадал!» И затиснули меня отцы-командиры, о чем сроду в уме не держал, в кашеварское сословье. При этом «не прекословить» велели. «Исполняйте команду!» — прикрикнули. Куда деваешься? Варю. Старший повар мне подсказывает. Учит между делом.

Через пару недель я уж в специях разбираться стал. Да, честно сказать, мудреные ли они, фронтовые солдатские приварки! Суп с сушеной картошкой и с таким же луком, горошница из концентрата, каши: перловая, ячневая, овсяная — «и-го-го» — известные разносолы.

Больше всего с американской колбасой возни было. Она даже не колбаса, а фарш такой розовый, студнем скрепленный. Приправы там всякие — кушать, в общем, можно, и очень даже. Доставлялась она нам в желтых с американской росписью банках. Сперва, значит, эти банки вскрываешь, а потом фарш режешь. Тут дело вовсе уж ювелирное! Следишь, чтобы ровными пластинками получалось. В зависимости от меню: пятьдесят там грамм или семьдесят... У поваров эта процедура именовалась «второй фронт делить». Солдаты опять такой ломтик (он другой раз на солнышке просвечивал), «раз в хобот кинуть» называли. А чаще — «кусочек второго фронта». Проглотит солдат этот пластик и икнет. Для провокации. Чтобы следом сказать подловчило: союзники, мол, помянули. Не объелся ли рус Иван. С этим-то вот «кусочком второго фронта» и произошла последующая моя история.

Командир нашего батальона от нас же питался. Из солдатского то есть котла. Ординарец ему носил — Сенька Мастерских. И оказался этот Сенька тем самым чалдоном, который меня «в плен» на ученьях брал. Везде и всюду представлял он из себя эдакого проидисветного

неотступного и настырного бабника. По обличью-то подходящ для этого был. Сероглазый, щеки всегда накаленные, нос объемный, голос грубый, мужественный. Чуб из-под пилотки черт те куда вьется. Грудь колесом, мускулы вперекат... Три года мы с этим Сенькой сослуживцы были, и все эти три года он похождения свои рассказывал.

Где Сеньке верить, где не верить — черт, как говорится, ногу сломит. Придет, бывало, с котелками и караулит, когда я черпак из рук выпущу. Я уж догадываюсь, в чем дело.

— Опять? — спрашиваю.

— Надо! — оживится он. — Комбат не раньше как через час вернется.

— Куда теперь?

— Понимаешь ли... Татарочка одна... Снайперка. Глазищи — во! Фигуристая!

Сколько он мне своих зазнов не описывал, у каждой обязательно «глазищи — во!» и каждая «фигуристая».

Караулит он свободную мою от черпака минуту, чтобы моим согласием заручиться. Я бы котелки в комбатскую землянку отнес, а ему бы небольшое увольнение в это время выкроилось. На предмет свидания. Ну, я и услужу.

— Беги, — говорю. — Целовать случится — от нашего имени разок чмокни... В азиатски губки.

И усик тоже крутну, для солидарности. Они у меня к той поре колечко уж пустили. Сфотографироваться только не удавалось.

Короче, на такой вот тропке и укоренилась наша с Сенькой дружба. Про «плен» и не поминаем. Когда меня контузило и кашей привалило, он даже в медсанбат ко мне прибегал. Проводывал. Спрашивает, как кормят, чем лечат, а сам серыми своими по сестрам — зыры! по санитаркам — стрелы! Я про противостолбнячный укол толкую, а ему уж недосуг:

— Эту вон как зовут?

— Вера, — говорю, или там — Маруся.

— Доб-ра-а-а... — протянет. — И-ихх! Аж глаз, как у волка на козу, заболел.

Отлежал я две недели, вернулся опять к черпакам, котлам, сковородочкам. И тут мы такого с Сенькой натворили, что появилось на всем нашем фронте новое присловье. А все через его приверженность. Прибегает

он, помню, за завтраком и аж ногами, как застоялый конь, бьет.

— В чем дело? — спрашиваю.

— Комбата в штаб вызвали... ты отнеси... я сбегаю.

— Куда?

— В третий. Токо-токо по телефону звонили!.. Немку там разведчики изловили. Посмотреть, какие немки...

— Ну, дуй,— говорю.— Потом расскажешь.

Тут надо пару слов про нашего комбата сказать.

Он из запаса призван был. Командирской этой стати ни в голосе, ни в походке у него не замечалось. Добрый, спокойный всегда, мягкого такого характера человек, стеснительный даже. Чтобы когда голос повысил — ни солдат, ни офицер от него грубого слова не слышали. Уважали его. Он в гражданке историей религии занимался. Ученая степень ему за это была присвоена. Протопоп Аввакум его интересовал. Всех староверов в батальоне знал. Тут обстрел страшный, накаты в землянке дрожат, стены сыпятся, а он с каким-нибудь бородачом про «собаку Никона» толкует. Или карту расчерчивает. Циркулем там отмеривает, пометочки ставит. И всегда при этом песенку себе под нос поуркивает. Никаких нервов.

Любил я его до невозможности. И он меня привечал. Так что отнеси ему обед или там завтрак — всегда с моим радостным удовольствием. Ну и в этот раз... Наложил я в котелки каши, поверх каши упомянутой американской колбасы: Сеньке-обжоре — поменьше кусочек, комбату — побольше. Понес.

Подхожу к землянке — дверь настежь, а самого нет. В штабе. Поставил я на полочку котелки и удалился. Дверь не прихлопнул. Может, для проветриванья, думаю, так оставлена.

В этот промежуток, когда я ушел, а Сенька еще не воротился, и угадай-ка им против самого «парадного» немецкая мина. Часть осколков в землянку ушла. Пока Сенька ход сообщения подправлял — комбат успел вернуться.

— Давай,— говорит,— Сеня, завтракать будем.

И тот, растяпа, не поглядевши в котелок, подносит.

— Что это?! — ужаснулся комбат и от стола отбежал.

Глянул Сенька — его тоже отшатнуло. Вместо колбасы растянулась повдоль каши седая старая крыса. Деревни-то кругом поразбиты были, а этот зверь, как

известно, без человека жить не любит — вот и переселились они в окопы. Хоть и обстрелы, зато хлебушком пахнет. Упокойница и рискнула... Сенька ушел, я каши принес — тоже ушел, осталась она сама себе в землянке хозяйка. На топчан, видно, взобралась, оттуда на полку. А там и в котелок приспособилась. Крошки этой американской колбасы тварь не оставила. Верных три солдатских пайка... Тут ее осколком от мины и поразило. Котелок насквозь, крысу наповал. Сенька, значит, такой гарнирчик и преподнес...

Подходит обед — комбат не ест.

Ужин подходит — не ест.

На второй день — тоже не ест.

Сенька с лица осунулся.

На третий день приносит он мне кусок баранины.

— Ты шашлык умеешь делать?

— Сделаем, — говорю, — расспрошу...

Нажарил я шашлыка, дух по всему фронту. Неси, Семен!

Через час ворочается мой Сеня, молчит.

— Ест? — спрашиваю.

— Не из наших с тобой рук, — заизламывал он губы. — В третий батальон ходит... Поганые мы ему теперь...

И еще раз проклял я тот час, когда взводный Ляшенок к котлу меня определил. Ведь это надо же: «в плен» попалась, кашей обожгло, а последнее — того красивее.

Проходит неделя — не ест комбат.

Сенька чуть не плачет. Ни про одну дролю не вспоминает. «Что делать? Что делать?» — убивается. Тут меня и осенило.

— Знаешь что, Сенька! — говорю. — Давай напишем рапорта! Желаем, мол, на передовую...

Так и сделали.

Прочитал комбат нашу писанину, побарабанил по столу пальцами и говорит:

— Спасибо, ребята. За вашу чуткость спасибо... За человечность. Ведь я бы скорей в дистрофики перешел, а еды бы от вас не принял. Вы, — говорит, — конечно, не виноваты, но одним видом своим... понимаете?.. Сомнительный я страшно...

Сенька слезами захлебывается:

— Виноваты, товарищ комбат, виноваты... Немку я ходил смотреть... Поганые мы вам теперь. Простите нас...

— Бог простит,— пошутил комбат.— Куда желаете пойти?

Набрался я духу и рубанул:

— В разведку! К Ляшонку!

— Добре!

Через два часа сдал я новому повару всякую шуру-муру. И отправились мы с Семеном в разведывод.

Постепенно эта история, как повар да ординарец чуть своего комбата голодом не утомили, и по другим частям разошлась. Бьемся мы на Орловско-Курской дуге в сорок третьем году, аж только копать встает, как бьемся. На гимнастерках прах, в небе пепел и дымина, дымина — до солнышка. Тлеет оно там, как уголек, как ветошка какая — ни цветочек не обогрет, ни шмелино крылышко. Куда подевалась его ясная сила! По утрам красные туманы от земли поднимаются над мертвецами, над окопами, над батареями. Былинное русское поле! Они цветут сегодня в солдатской памяти, огненные те палестинки, где ронялась, скипалась с землей его кровь, где и жилой, и костью, и потрохом, и оборонным значком заслонял он первозванную свою, до братской могилы необходимую Родину. Ой, дуга, дуга! По самую згу, по самый колокольчик обмыта ты нашей горячей.

Есть у русского неодолимая от века особая привычка: рвать в беспощадную минуту на себе рубаху... Он и посейчас у меня в глазах, тот артиллерист от пушки прямой наводки! Один от всего расчета остался. Орудие покалечено. В двадцати метрах — «тигры». Брызнули пуговики с пыльной его гимнастерки, разом же лопнули вязки на нижней, на бязевой! Взнялась, засияла потная, в грязных подтеках грудь, дохнула разок. Гранату к ней прислонил, невыстреленный снаряд обнял и — «помяни меня, Родина»... Только пуговики от него остались!

Их много еще на беспощадной Орловско-Курской разыщут... Гранате перед взрывом кольцо надо выдернуть, а русскому — душу от пуговок освободить. Рванула, так чтоб рванула...

Пивнет солдат между третьей и четвертой танковой атакой глоток воды... Пивнет глоток и захрипит:

— Что же они!.. Ослепли? Не видют, что ли... Не знают...

— Кто ослеп?

— «Воздух!» — раздается команда.

— «Танки!» — раздается команда.

— Бронебойные подавай!!!

Стреляем, глохнем, взлетаем в воздух, выгребаемся из земли, опять стреляем, хрипим, умираем, взрываемся, горим — и не гнется Орловско-Курская, не ломится.

— Ты мне чего-то между атаками толковал? Ослеп, мол.

— Про союзников я... Про Второй фронт.

— Ххе! Хватился! Его, сказывают, крыса съела.

— Нет, я серьезно...

— А весь тебе тут и сурьез. Стой, пока не умрешь!..

Взводный Ляшонок тоже такие разговоры пресекал. Длинным своим костлявым пальцем поколеблет и подведет:

— Чтоб я этого больше не слышал. Гулькин носик там, а не фронт. Надейся на русский штык, на русскую горбушку и на такую же луковку. С тем и бейся... А кто по колбасе затосковал — Сеньке вон с Аркашкой чубы надерите.

Да, много раз доводилось такую прибаутку слышать, что «второй фронт» крыса съела. Как бы в солдатские предания мы с Сенькой из-за нее угадали. Кусочек, мол, был и тот по халатности стравили.

Сибирский клиент

Ну, ладно... Как меня варило, с кашей когда подорвался, я уже мельком упоминал. Осталось рассказать, как смолило.

В разведке приспособили меня передние края противника разминировать да колючую проволоку там резать. Проходы захватгруппам делал. Иногда ночь за этим занятием проведешь, иногда — две. Мины время отнимали. Каждый вершок земли и ощупаешь, и обнюхаешь. Да и разряжать ее — не поллитру раскупорить. Там и натяжные попадались, и подвесные, и с подкоком. Я их в ту пору слепком, на ощупь определял. Ляшонок этого требовал. В группу захвата меня, конечно, не брали, ну, а то, что я маленький, верткий, это он ценил.

— В консервной банке поместится! — говорил.

И вот режу я один раз проволоку. Ножницы разъявлю и жду близкой очереди. Из пулемета там или из автомата. Затрещит, я под этот момент хрусть — и перекушу ниточку. Опять жду. До противника метров десять — двенадцать. Окопы у них по высоте шли. Рань-

ше на ней лес рос, да артиллерия его посекла. И стволы, и суки. Но часть все-таки, хоть и калеченого, а стоит. Забеспокоились что-то мои «гансы». Одна ракета взлетает, другая, третья... Ужася я в землю, застыл и слушаю, как травы растут. Что дальше произошло, об этом мне ребята из группы прикрытия потом рассказывали. У них на глазах... Одна ракета, значит, сучка коснулась. Ну и срикошетила. Не вверх, а по-над землей пошла. Сгореть поэтому в воздухе не успела. Приземлилась рядом с моей расписанной травами и опенками каской и подсвечивает. Шипит, свистит, искрами плюется. Ребята думали, что я убитый, раз не вскакиваю, а я — нет. Пронесло как-то под меня искру, и чую — затрещал мой правый ус. Засворачивало его, закипел он, палениной запахло. И тут как прикалит повдоль верхней губы, под поздрей, ажно во все позвонки стрелило. Какой силой я не зашевелился — самому потом удивительно. Догорела ракета, мазнул я пальцами по правому усу — ни волоска. Прахом осыпались. И кожа вспузырилась. Короче — задание выполнил, на доклад явился. Рапортовую Ляшонку.

— Чем же мне тебя, Корнилов, наградить? — восхитился взводный. — Собачья у тебя выдержка! Это ж для разведчика — зеница ока! Ай да Аркаша наш...

Вижу я, что официальный разговор кончился.

— Дайте зеркало! — прошу у ребят.

Глянул на себя — косомордый какой-то стал, устрашаительный.

— Дайте, — говорю, — и бритву, раз так...

Сенька меня уговаривать: к чему да зачем... «Что тебе, к бабам идти? — говорит. — Ходи одноусым! Нам ты привычный, а верующего фашиста испугать даже можешь. Подумает — из пекла вырвался. Черти недосмолили».

Слышу, и взводный его поддерживает:

— Такой ущерб в физиономии — это же явный признак... Прибудет, скажем, к нам командир дивизии, кинет взгляд: «Что за непропорция?» — «Корнилов, товарищ генерал! Ракетой которого живьем смолило!» Пусть знают, как разведданные достаются.

Остальные ребята — тоже:

— В Берлине, Аркаша, побреешься. Самого Геббельса заставим!

Не стал я бриться, раз всем желательно.

Ну, как дальше воевалось, долго рассказывать. За выдержку ордена Славы удостоили и в чине повысили. Ефрейтором стали Аркашку звать. Впоследствии еще две медали. Не возле каши все-таки... В разведке.

И вот наступил день, когда ходили мы без вина пьяные, выше сердца гордые, по звездочку счастливые, вовек непобедимые. Под ногами у нас ныли проклятые нашими матерями камни, а высоко над головами краснокрылым орлом клекотал победный наш флаг. Сенька глядел на него восторженный и без перестану бил из пистолета в поднебесье.

В смертный час эти деньки вспомню.

Недели через две спохватились ребята, что побрить меня в Берлине обещались. Они-то, может, и для шутки, а меня это дело всерьез беспокоило. Потому что правый ус мой после ожога седой стал расти. Луневый какой-то. Врачи по-разному догадывались: одни на нервную почву упирали, другие опять про волосяные луковицы твердили. Переродились, мол, вот и сивеет. На фронте-то я и таким хорош был, а поскольку мирное время, гражданское всякое население на себя смотрит — неприятно даже другой раз.

— Вот же микроб! — досадовали ребята на Геббельса. — Ровно чуял, что ему тебя брить залято.

И тут же такое предположение высказывали:

— Может, оно и к лучшему, что он себя порешил. У него сейчас бы знаешь как рука тряслась? Еще зарезал бы нашего Аркашку в конце всех сражений.

У меня же задумка была — сфотографироваться усатому, а потом я и без Геббельса с ними разделался бы.

Откровенно сказать — неохота было держать на виду такую фрицеву памятку. Ни рана, ни полраны... В этом случае у меня даже злость временами появлялась. Ненадолго, правда... Зашучивали ее Геббельсом... Еще чем-нибудь. Один только Сеня, мой корешок, близко это к сердцу принимал:

— Сфотографируется, вот и побреемся, — загадывал он скалзубам. — Не только побреемся, а и завиться даже можем, подеколониться. Ногти даже можем выкрасить.

— Это где же так? — настораживаются ребята.

На Сеньку такие вопросы как бодрящий укол действовали:

— Парикмахерша тут она... Глазишши — во! Фигуристая!

Ребята смеются: «Ай да Сенька».

— Смотри, на нацистку не нарвись, — предостерегают. — У них ведь и среди баб были!

— А хоть бы... кха... и нацистка, — прокрякнет он грубым голосом. — По мне нацистка еще лучше. В собственной берлоге, как говорится... Живо перевоспитаю.

Куда этого Сеньку одеваешь? Жил-был. Историю творил...

Ну, сфотографировался я — отправляемся мы с ним бриться.

— А нас и не зовете? — прилаживаются разведчики.

— Пойдемте и вы... — снизошел Сенька к ребятам. — Другой бы спорить стал, а я — пожалуйста... Всех перезнакомлю. Где — по-немецкому, где — по-международному.

Пошли мы.

И чем дальше уходим, тем неразговорчивей становится наш Семен. Нахмурился, озаботился, на глазах парень линяет. А на ближних подступах к парикмахерской вовсе остановился. Потрогал чуб и говорит:

— Вы, братва, чтобы без всяких выходов... Мы не кто-нибудь! И никакие они не нацистки, а настоящие трудящиеся немецкие девушки. У Берты отец даже ротфронтец был. Уморили его... Нормальные девчата... Хозяин вот у них мутный. Берта говорит, что раньше этой парикмахерской евреи владели... Через сынов будто он ее охлопотал. В штурмовичках ходили. Сейчас где-то лапти сушат, неизвестно где...

Вошли в парикмахерскую.

— Битте! Битте! — захлопотали у каждого креслица немочки. Ну, ребята не теряются. Моментом устроились. Один я не «битте» остался. Мастера не хватает. Тогда одна завитая каракульча — шмыг во внутреннюю дверь. Через пару минут возвращается. А за ней вислоногая эдакая, костлявая фигура поторапливается. Хозяин сам.

— Чито шеляить? — спрашивает по-русски и в улыбке растекается.

— Усы, — показываю, — снять.

Затребовал он прибор — инструменты налаживает. Наши с Сенькой зеркала друг против друга оказались. Подмигиваю я евоному отраженью, рожи корчу — не замечает. На Берту пялится. Глянул и я на своего —

«бя-а!». Ну, напророчили, думаю. Почище Геббельса... А Сенька блаженствует! Берта, подозревать надо, кончик носа ему ущемляет, а у него от этого губы поперек зеркала ползут, ползут...

«Везет же...» — вздохнул я.

Принялся и мой меня обрабатывать.

Захватит несколько усинков, отстригнет их и на стекло.

— Не тревожить? — спрашивает.

— Нет, — говорю. — Валяй.

Левый ус в одну кучечку сложил, правый — в другую.

— А отшево расна порода? — спрашивает. Разномастные, значит, почему. Ну, не стану же я ему объяснять, что ихней ракетой меня обсмолило!

— Это, — говорю, — потому, что я на дедушку похожу... На grosфатера. Понял?

— Та, та... Не тревожить?

— Бузуй, — говорю.

Дошло до бритья. Когда стал он пальцем по подносью моему прогуливаться, меня ажно мурашками тронуло:

«Издевается или мода такая?» Глянул на ребят — тем тоже это место пальчиками смазывают. Но ведь палец-то пальцу разница... Ребятам, может, приятно даже... А мой, отвратительный, прямо на коготках мне обслуживает.

— Не тревожить?

— Нет. Кончай!

Еще разок поведет бритвой и опять:

— Не тревожить?

И вступило тут вдруг в меня невероятное дикое зло:

«Подлый твой мир... — думаю. — Вежливый стал! А когда мне их смолило, когда землю нашу жег, в душегубках травил, в рвы живых закапывал?!» И задохнулся. Воздуху не стало хватать.

А в памяти и голоса, и виденья:

«Забудь про собаку, сынки, ежели русские».

И печи, печи да трубы на разоренной русской земле.

И два моря — слезное да кровавое — которые мы перешли.

Вскочил я с кресла и прямо намыленный зарычал:

— Тревожит, спрашиваешь? Вежливый стал?! Нет, Аркашке сейчас ни вот столь не тревожит. Вон он, наш флаг, — за шивороток его к окошку подвел. — Видишь?..

И опаси тебя бог, германска бритва, чтобы меня опять когда затревожило! Шкуру спущу,—говорю.— Суставы,—кричу,—перепутаю!..— Ну, разозлился, словом.

Ребята с кресел пососкакивали—недоумевают на меня. Девчата поднапугались. У немца нижняя жевалка на покойнический манер отвиснула. А я про свои состриженные усы думаю:

«Сметет...— думаю.— Сожжет... Или, того лучше, в матрац заложит, спать на них будет. Так нет же!» Собрал я их в носовой платочек и так, недобритый, в свое расположение ушел. Связал их шелковой ниткой, футлярчик им сшил...

Теперь вот берегу... Внукам, правнукам передам!

«Славьте дедушковы усы, ребята. В них дух Победы унюхивается, незабываемого Мая цветенье угадывается. Во порохе они копченые, орденом Славы отмеченные, гребня истории удостоенные—торчали там, шевелились... Славьте, ребята, дедушковы, гвардейские!» Впрочем, пока внуков нет, я их заместо наглядного пособия держу. Для недобитых и начинающих... Иногда, бывает, приходится с ихними портретами беседы проводить. Из газеток повырезаны. Выстрою я их, всю реванш-агрессию, полукружьем, усы на середку выкину и спрашиваю задушевно:

— Скребетесь?.. Неймется вам? Ну, ну... Это ведь,—говорю,—дело нехитрое. Начать только да кончить. А кончается это тем, что бреют потом ефрейтора Аркашку да ежеминутно, со всей чуткостью, сверяются: «Не тревожит вас? Не беспокоит? Бритва не волокет?»

Так что давайте-ка лучше я дома буду бриться. И мне покойней, и вам на мыло не тратиться.

1960 г.

ЦЕННЫЙ ЗВЕРЬ — КИРЗА

Без человека «с причудинкой» жизнь-то, она, что еда без приправы. Ни соли тебе в ней, ни уксусу.

Живет у нас в совхозе кузнец. Левушкой звать. По годам-то Львом Герасимовичем пора величать, да что поделаешь, если мы его с малых лет Левушкой навыкли. И есть у нашего Левушки одна особинка—бережет и

хранит он солдатские свои сапоги. Берлин в них брал Левушка.

После войны завел он себе и штиблеты праздничные, и хромовые у него, ушко с ушком связаны, на полатах стоят, а подойдет День Армии или Победы День — наряжается Левушка в заветные свои «кирзочки», и нет ему превыше обуви.

В соседях у него живет Аркаша. Тоже гвардеец и тоже кавалер многих орденов. И любит этот ветеран-соседашка ближнего своего легонечко подкусить. Что ни словцо, то и занозу в нем ищи. Насчет тех же Левушкиных сапог... Как он только не измывался!

— Мономах,— говорит,— шапку потомству оставил, а сибирская пехота с сапогами туда же устремляется. Ты,— говорит,— хоть бы табличку в своей кузнице отплющил. Бронзовую или медную... Размер на ней укажи, полк, имя владельца. Знало бы просвещенное юношество, какой прадед в них обувался.

Левушка все больше отмалчивался в таких случаях. А тут, перед очередным Днем Победы, Пауэрс этого в районе Свердловска сбили. Ну, кто про Пауэрса, кто про Эйзенхауэра, а Аркаша и про того, и про другого. Мало что за каждым разговором поспевает, дак и Левушкины сапоги междуделком не забыл помянуть. Такой уж внутривенный мужичонка этот Аркаша.

— Ты все кирзу мою трогаешь,— отозвался ему Левушка.— Ну что ж, расскажу я тебе одну историю, может, что и поймешь.

После этих слов свернул наш Левушка самокрутку, затянулся во все меха, ну... с дымком-то у него и пошло.

— Сейчас,— говорит,— стилиг частенько прохватывают. И по радио, и в журналах. А тогда было ни к чему! Людишек таких мало встречалось. Но кое-что похожее вспоминается.

Перед кем вот, спроси, на переднем крае форсить? Не перед кем вроде... И вдруг встречается тебе в окопах человек в любой день, по любой погоде и обстановке до отсверка выбритый, на сапогах зайчики, свежий подворотничок на нем и даже одеколонцем наносит.

Привычка, скажете? Может, и она. Только война да передовая не такие привычки изламывала. На мое сегодняшнее понятие — была у таких людей особая, своя тайная гордость. Перед самой смертью они заносились. Презрение ей желали высказать. Оскорбить. Плюю, мол,

на тебя, безглазая! Знать не хочу! Не переменишь ты меня живого!

Был такой слой среди фронтового народа. За одно это их уважать начинаешь.

И был другой, с уклончиками...

Хоть и грешно, конечно, сравнивать, но к теперешним стилигам их поближе можно поставить. Соприкасались кое в чем... Не по нутру, а насчет одежонки, побрякушек. На «комсоставское» этих тянуло. Так тянуло, что другой сердяга пайка не доест, наркомовских ста грамм не допьет, а только бы ему брезентовый ремень на кожаный сменить. Да чтоб с португеей! Или с двумя. С двумя лучше. Да чтобы свисток, прах их возьми, был! А где свистеть? Чего свистеть? Какая милиция к тебе на ручку прибежит?

Дальше, глядишь, защитные пуговицы парадными постепенно заменять начнет. «Парабеллумом» еще не разжился и разживется ли — неизвестно, а кобура уже при местечке. Нежит холку. А через это и душе услаждение. Не дала коза молока — хоть пободаться. Не вышел в командиры — зато свисток.

В этом-то разрезе придется мне Жору Гагая упомянуть.

Получаем мы как-то пополнение... из партизан. Переобмундировать их нигде не успели — важно было, чтобы лишний штык подоспел. Крутенько приходилось.

К нам в роту их шесть человек прибыло. Кто в деревенский кожушок одет, кто наполовину в немецкое, а один браток на манер международного гусара подбарахлился. Вовсе приметный. Хромовые с жесткими голенищами и со шпорами сапоги на нем, широченные из голубого сукна шаровары с кантами, венгерка с седой выпушкой и косматая, раструбом вверх, не меньше как из двух овчин выкроенная, шапка-кубанка. Аккурат пол-Кубани накроешь. Шерсть сосулистая. По зеленому верху красные полосы в виде звезды пущены. В полах венгерки трофейный бинокль без чехла болтается. На руке — компас, вдоль лодыжки — шашка. И ко всему этому парад — принюшливое, востроносое такое лицо на изгибчивой шее обстановку оценивает.

Наша братва оттеснила одного «кожушка» и допытывает потихоньку:

— Командир ваш?..

— Не...

— Разведчик?

— Не...

— А чего у него папах?

— Натурность такая! — покрутил растопыренными пальцами «кожушок». — Трыкотаж мы его зовем...

Тут их по взводам начали определять. Вопросы временно пришлось прекратить.

Через полчаса по всей нашей обороне про этого «гусара» толки шли. Кому свободно было — залюбопытствовали лично взглянуть. Развлечение же!

Пошел и Ефим Клепкин. Ну, во фронтовой землянке свет известно какой. Некоторое время голоса слушаешь, пока не прояснит. Насторожился Ефим и на голос по шажку пробирается.

Под папаху глянул:

— Егорка!!

— Дядя!! — соскочил «гусар».

Обнялись. Расцеловались.

Пошли обычные в этих случаях расспросы-допросы. Ефимова местность в то время находилась в оккупации. Племянник-партизан хоть и ничего утешительного не сообщил, но уже через пять минут начал полегоньку всхлывывать.

Хохоток у него получался особенный. Сверкнул вдруг на одном из зубов, и из-под них прямо выстрелится коротенькое «га-гай». Вспышками так, рваной очередью...

Слушает Ефим племянника, а сам подозрительно все его гусарские доспехи оглядывает; особенно сторожко папаху обследует.

Примерно через час явился он в землянку командира роты, отковырял, попросил разрешения обратиться и застыл.

— Обращайтесь — разрешил ему командир.

— Тут с партизанами племянник мой прибыл, Егор Хрычкин, в наш бы взвод его перевести. Вместе чтобы... в третье отделение...

— Родной племянник?! — оживился ротный.

— Настоко... хе-хех... родной, что собственноручно драть приходилось.

— Это за что же так?

— За разное... По домашности... Не желаю и вспоминать даже, — махнул рукой Ефим.

Потом округлил глаза и как бы под секретом сообщил:

— Видали, какая папаха?

Ефим в нашей роте старослужащим числился. Был он храбрый, исправный солдат и неплохой товарищ. Молодежь даже батей его называла. Любил он все в корешке исследовать, от самого семечка. Если землянку рыть — сначала стенки у окопа поколупает. Песок минует, на глинке остановится. «Вот тут само... Глина, она и против фугаса, и осыпи такой не дает». Про Гитлера разговор заведут — интересуется, почему тот мясо не ест, в какой вере родился, жива ли теща.

— Сватов, что ли, хочешь заслать? — подскульнет кто-нибудь.

Таких лобовых вопросов, да еще с признаком насмешки, он не жаловал. Руки в рукава спрячет, глаза сонной пленочкой у него поволокет, нос над губами повесит — и застыл. Ни морщинкой, ни волосинкой... На хворого петуха в таком виде походил. Перемолчит, сколько его душе потребно, — заговорит. Только уж не с обидчиком... Тому теперь долго приветливого взгляда ждать.

— Ну и что же... папаха? — приготовился выслушать его ротный.

— А то, что... мыслимо ли это, столько баранины на себя надевать?.. Штаны голубые! Мстителем себя называет...

— Ну и что в этом особенного?

— А то особенное, что поскольку он мне родня, то и прошу... Не с поля вихорь... Кто породил, тот и должен соблюсти...

Из таких недоговорок вывел ротный, что не столько обрадовался Ефим племяннику, сколько встревожился. Ну, командирское дело известное. Обязан своих подчиненных знать. В случае чего — с тебя в первую голову взыщут. А тут, так сказать, из первых рук.

Приналег ротный на Ефима:

— При чем же все-таки папаха, не понимаю?

— Не стоит и понимать, товарищ старший лейтенант, — заспешил Ефим. — Не стоит и голову ломать... Вы его переведите, а я уж ему и отцовство, и командирство, и касаемое устава... постарше все-таки я...

Как ни увиливал Ефим, как ни ускользал, а пришлось ему расшифровочку своему племяннику дать.

— Он, пес, с мальства... Поначалу в школе да в клубе, а опосля и самосильно. Как, к примеру, такой вот

случай оценить? Огородницами у нас сплошь девки были. Молодежное звено. Пропальывают они всякую свою петрушку и слышат — чихнул кто-то на деляне. Огляделись — никого. Решили, что грач это чем-то подавился и не так скаркал. Дальше работают. Разговоры у них откровенные по своей линии идут. Кого опасаться? Одно чучело. Да и то в юбке снаряжено. Полют на кукурках. Варька Птахина возле самой чучелы оказалась. Уничтожает себе сорняки — бай дуже... Вдруг кто-то щекоть ее за укротно местичко под мышкой. Девка всхрапнула, избрыкнулась и только заметила, что чье-то троеперстие в чучелин рукав уползает.

— Ох! Девоньки... ох! — заобмирала она.

Те всполошились.

— Что с тобой, Варька? Змей, что ли, укусил?

— Не змей... не змей... — пошатывает девку.

— Шкарпиона увидела?!

— Чучела... чучела... меня пощупала.

Девки сразу бдительные сделались, подозрительные. Ровно козий табунок перед прыжком насторожился. А чучела как даст вприсядку да как загнут: «Ой топушеньки-топы, что наделали попы...» Девки с огорода будто вихрем подхватило. Бегут они, бегут — оглянутся: пляшет чучело. Таково-то лихо по корнеплодам чечет бьет! А над ним грачи ревушкой исходят, мечутся... Три дня девки на работу не выходили, пока не выяснилось. А сейчас, понимаешь, папаха... Сапоги... Сапоги со шпорами...

— Ну и что ему за девок? — усмехнулся ротный. — Не тогда ли ты его собственноручно-то?

— Нет... Это в другой раз. Всем родством мы его драли тогда... Мстителя...

— За что же так?

— Стыдно даже говорить.. Ведь выродится! Брата мы тогда, товарищ старший лейтенант, поминали. Сороковины, значит. Родня у нас большая. Ну, выпиваем помаленьку, про покойного судим, вдову утешаем. И вот появляется на пороге женщина. Тыфу!.. Женщиной еще называю... Ро-о-жа, товарищ старший лейтенант, о-от такая! Поперек себя толще. Скуластая, нос со вземом, губы вразвал и веселая-то, превеселая.

Покривлялась она на пороге и заявляет с акцентом:

— Я Параскева Пятница... С того свету явленная... Сидор Григорьевич чичас богу рябчиков да куропаток

стрелять подрядились — наказывали они мне ружье да патронташ им доставить.

А брат у нас, и верно, охотник был. Мы, все выпивающие, в первый момент в лице переменялись. Тут поминки и тут — «явленная». Суеверно же! Бабы в куть сбились, крестятся. Ладно, средний брат меньше выпивши был. Не оробел он — цоп с нее платок, цоп маску! А под маской — он. Мститель теперешний... Ощеряется стоит. Я, говорит, повеселить вас желал. От рыданьев отвлекчи. Ну, мы с напугу — и позорно опять же перед деревенским мнением — чуть не засекли его в тот раз. Уложили на скамейку, юбки завернули и пошли полыскать. Брат левую полушарию секет, я — правую. Свись — шлеп только, свись — шлеп!

— Параскеве! Пятнице! Параскеве! Пятнице! — И чем дальше, то смачней нам. Под приговорку-то рука сама несет.

А тут вдова с начиненным патронташем вбежала. Как развернется с обеих плеч шестнадцатым калибром — по всему материку разместилось. И тоже под приговорку:

— Рябчики! — визжит. — Куропаточки! Тетерки! — Боровую дичь перебрала, за плавающую принялась: — Чирушки! Нурушки!

Вот в какой срам втравил! По поверью-то душа покойника последний раз в родном кругу присутствует, а нам его заголить пришлось. Приятно ей это? Конечно, выпивши были... Хотя как суди...

— Ну и подействовало? — сквозь смех спросил ротный.

— Горбатого, видно, могила одна... — вздохнул Ефим. — Это надо же такую папаху поймать! Так что прошу, товарищ старший лейтенант. Я наблюдаю. А то он и здесь изобретет. Штаны, понимаешь, голубые...

Оказались дядя с племянником в одном взводе и в одном отделении. Через три дня переобмундировались наши партизаны. Свое, что на них было, старшина забирать не стал... Девай куда хочешь. Забрось, продай, подари — только вещмешок не отягчай. «Сверху» так приказано было. По-другому поступи — еще обидишь партизана. Кровью, скажет, добыто. Гусара к этому времени из партизанского Трыкотажа в регулярного Гагая перевели. За этот его особенный смешок Жора Гагай стали звать.

Гардеробом своим он так распорядился. Венгерку ар-

тиллеристам променял — пару комсоставского обмундирования за нее взял. Шаровары на портянки раскроили. Себе, дяде и командирам. Бинокль, сапоги и компас не противопоказаны были... При нем остались. Папаха тоже. Сколько он ее ни нахваливал — подходящего рода войск под нее не находилось. Приспособились они с дядей в изголовье ее класть. Как коты, блаженствуют! Шашкой хлеб режут да растопку для печурки строгают.

Зарегистрирован был и такой факт. По утрам морозцы еще куда с добром, а Жора без шинелки все норовит покрасоваться. Комсоставское суконное обмундирование на нем, к этому ремень с портупеей закупил. Выбодрится — что ты брат! Кадровая косточка!

— Зря ты это, Егорка... — косится на него Ефим. — Не знаешь разве, что снайпера в первую очередь комсостав убивают. Им ить в свою биноклю видно.

— Всех убивают, — отмахнется Жора. — Кто ловко на мушку попадет — тому и капут. Высунься попробуй за бруствер! — агитирует дядю.

Ну, чужое перо мало кого до добра доводило. Ефим не зря опасался. В одном из боев ранило Жору в руку. В мягкие ткани навывлет. Это бы не беда. А вот чего он в госпитале отмочил!

С шинелью, сразу же по заходу в тепло, развод взял. Потому — солдатская. В уголочек ее куда-то комочком свернул. А сапоги — на вид. На полкоридора раскинул. Рукав у комсоставской гимнастерки зубами подвысил, чтоб компас обозначило, и сидит, бинокль оглаживает. Ни стоны, ни вопли не испускает. Открывается из перевязочной дверь, и ласковый медицинский голосок приглашает:

— Проходите, товарищ... командир. Можете сами двигаться?

— Могу. Га-гай...

— Звание ваше? — заводит историю болезни сестра. Погон на гимнастерках зимой, случалось, не носили. Он и взыграл:

— Младший лейтенант.

— Должность?

— Стажировку прохожу. Токо с курсов «Выстрел» и вот опять... га-гай... под выстрел...

Отсюда и пошло.

В госпиталь он первый раз попал, порядков там всяких не нюхал и не знает, а сам помнит, кто он теперь.

Лежит, значит, и из-под простыни наблюдает: какие такие госпитальные льготы командному составу положены.

На первых порах пало ему в глаза, что не всех одинаково санитарка обслуживает. Кому стеклянную посудину принесет, кому фарфоровую. Засек он это и тоже зажалобился.

Нянька, что он ходячий, не знала. Приносит ему стеклянную «уточку» и, как была она женщина пожилая, с большим медицинским стажем, без долгих разговоров под простынь ее налаживать принялась.

— Ку... куда! Куда! — заотбивался здоровой рукой Жора. — Какую ты мне у...утку принесла?

— А какую тебе надо? — озадачилась санитарка.

От напугу он тут напутал или от юного стыда:

— Комсоставскую, — говорит, — неси!

Та вовсе оторопела. Разглядывает посудинку да приговаривает:

— Оне у меня все рядовые...

— А белая-то! — уточнил Жора. — С широким-то горлышком...

— Дак это... — всколыхнулась санитарка. — Это у нас... как бы сказать...

В палате запохохатывали. Гагай недоброе запредчувствовал. Санитарка на улыбки сошла, до конца его проинструктировать хотела, а он как гаркнет на нее:

— Молчать! Стань по стойке «смирно»!

И сразу же знаменит сделался по госпиталю.

Ну, такая побывальщина долго в одном расположении не живет. Известно стало нам, кто этот «младший лейтенант», кого и за что он по стойке «смирно» ставил.

Дядя изохался:

— Ежели бы, сказать, местность, деревня у нас какая легкомысленная была, так нет. Родня тоже — даже сваты сурьезные. Вроде предчувствия у меня эта папаха в головах лежала! Так мысль и сквозила, что что-нибудь...

А Жора как ни в чем не бывало вернулся. Гагай за гагаем из него выстреливается. Короткими очередями. Не журится парень.

— А чего они там все смурные лежат. Дай, думаю, сшибу малахолию, — госпитальный номерок объясняет.

На ложках играть на досуге выучился, «гоп со смычком» петь — хоть бы чхи ему. Одолжится у кого ложкой, коленку заострит — и полилось:

Я спою вам, братцы, новый «гоп»:
Приходил к «катюше» Риббентроп,
Говорил, что ему дурно, выражался
нецензурно —
«Ох, зачем нас мама родила!»

Такое «политзанятие» проведет — ажно ложки накалятся. Дядя только головой покачивает. А один раз не стерпел:

— Я думал, племянничек, судя по папахе, ты в мозги расширяешься, а ты... После «сороковин» надо бы... Тогда плетюганам отделался, а здесь для таких «комсоставов» и трибунал недалеко.

— Ну, ставь теперь меня к высшей мере! — оголил грудь Гагай. — По Параскеве Пятнице... прицел постоянный... залпой... га-гай... огонь!!

После отданной команды свалил на плечо голову, завел под лоб глаза, по самый почти корень выворотил язык и всхрапнул. Расстрелянного из себя представил.

— Ты что?! — заподжигало Ефима. — Я тебе кто? Насмешки?! Ах ты... Гагай крошечный!..

И стал он после этого по фамилии племянника звать и то при крайней нужде. Раньше при построении рядом становились, а тут на другой фланг дядя ушел. Папаху за бруствер выбросил. Так что и спать стали отдельно. И табачком врозь, и сахаром. До того крепок в своей обиде этот Ефим был, что получил первое за три года из дома письмо — и уж тут ли не поговорить?! А нет. Писал — молчал, читал — молчал.

А письмо было невеселое. Сообщала ему супруга Татьяна Алексеевна, что не осталось у них после фашиста «ни сивки, ни бурки». «На себе пашем, — писала она. — По семь баб впрягемся и душимся в лямках. Жилы на нас твердеют. Задыхаемся, обессиливаем. Хлебушко-то — звание одно. Напополам с травой. Упасть и завять. Ради только нашей победы и не падаем...»

Дознались про это письмо политработники, и получилось, что писала его Татьяна Алексеевна одному Ефиму, а читали его по всему нашему фронту. В листовку напечатали, митинги начались.

В ярость слова этого письма приводили. До любого сознания коснись: жену твою, мать ли, невесту в тягло превратили. Страшно это было. Ум не принимал. Которые ребята на возвышение поднимались — те вслух

местью клялись, которые не поднимались — в сердце засекали.

Жора после этих митингов притихнул. Ведь и его мать там же. В одной, может, упряжке с Татьяной Алексеевной. Заметно стало: помириться с Ефимом старается. Разговором ему сноровляет, делом услужить готов. Только безрезультатно... Молчит дядя. А выскажется — тоже мало радости. Жора ему соломки под пожилую поясницу расстарается, а он:

— Не стоило тревожиться, товарищ младший лейтенант. Вы бы лучше «гоп со смыком» спели да в ложечки... рататушки-ратату, тюрлимурли-атату.

Разладилась у них родословная. Совершенно разладилась.

Жора хоть и бодрился снаружи, а в себе-то, видать, переживал. Это, скорее всего, и подшевелило его некую одну услугу дяде оказать. Да и задобрить, видимо, хотел. На предмет, чтобы не особо в родной деревне дядя про его «лейтенантство» распространялся. Тут же, можно сказать, не напрасно партизаны его Трыкотажем прозвали. Оправдалось.

Стояли мы тогда в Германии. Война кончилась... И вышел указ о демобилизации старших возрастов. Домой, солдатушки! Теперь ваше дело вовсе правое.

Вместе с другими собирался и наш Ефим. Правильнее сказать — собирали мы их. Как невест... От командования им — подарки, от друзей-товарищей — подношения. В трофейных складах неоприходованные излишки оказались — оттуда. Да и сам солдат дом чуял. Где закупил чего, где еще от боевых дней заветный трофей сохранился — славные «сидорки» этим старшим возрастам навязывали.

Ну, при сборах, известно, и мусор бывает. Сбрасывали в этом случае в чуланы всякую солдатскую рухлядь. Шаровары отжившие, погоны отгорелые, пилотки ветхие, портянки, ремни рваные, полотенца — такое, одним словом, за что тряпичники свистульки дарят.

Ефим долго оглядывал свои старенькие, повидавшие фронтовых сапожников чеботки. Оглядит, на коленки складет и задумается. Снова голенища помнет, переда оценит, по подушкам щелчком пройдет — опять задумается.

И не выкинул! Под койку поставил.

Наступил день, когда полк провожал по домам — на

Родину, увольнял из-под своего знамени боевые свои старшие возраста. Усатые, морщинистые да жилистые, тут и там сновали «детинки с сединкой», чудо богатыри-победители. Один добежался — застарелая грыжа возбуждалась. Вправляет он ее перед штабным крыльцом — документы спешит получить — вправляет, значит, и общучивает:

— Всю войну, дезертирка, внутрё уходила, врачи даже не могли дощупаться, а тут — пожалуйста! На победу поглядеть вылезла. «Полюбуйтесь на mine, тыловую крышу!»

Другого одышка остановила. Хватает он ртом воздух, а сам междуделком новую поговорку придумывает: «У руся... тока одышка... а герману уж крышка».

Мешки стояли «под завязку», чемоданы ремнями обкручены: после обеда прощальный митинг, оркестр — и в эшелоны. Домой!

— А где сапоги! — спохватился вдруг Ефим. — Ребята, не видели моих сапог?

— На танцы отчалили, дядя Ефим!

— Фокстротик откаблучивают! — скалились младшие возраста.

— Под койкой все стояли... собирался завернуть... — шарился в пожитках Ефим. — Дневальный! Ты не выкидывал?

— Погляди в чуланах. Может, и выкинул при уборке. Ефим на два раза перерыл все тряпье — нет сапог.

— Куда они могли подеваться? — недоумевал он.

Дневальный беспокоился.

— На кой они тебе сдались? — принялся урезонивать он Ефима. — Им и цена-то — поднять да бросить.

— Толкуй! Я в них чуть ли не от Курцкой дуги иду...

— Ну и довольно им!

Среди такого разговора появился в дверях Жора Гагай. С левой руки у него свешивался кусок ситца и два, на самый цыганский вкус, платка.

— Держи, дядя, — протянул он все это хозяйство Ефиму.

— Кому передать прикажете? — стрелил тот скороговоркой.

— Сам распорядишься. Твое.

— Как то ись мое? — оторопел Ефим.

— На твои...га-гай... шкарботни выменял.

— На какие шкарботни?

— Ну, на сапоги, если не понимаешь. Старые твои валялись...

— Ты, значит, взял?.. Вон они где... Кому? Кто за них эти ситцы дает?

— Дают,— хитренько подмигнул Жора.— Американец тут один маклачит... Барахло всякое наше скупает. Переводчика даже с собой водит.

— А к чему бы они ему, мои сапоги?..— подивился Ефим.— Старье ведь?

— В музей будут их ставить,— охотно пояснил Жора.— Показывать, во что обувался русский солдат при Советской власти.

Ефим моментом разметал ситцы и заподносил сухонькие свои кулачки к Гагаеву носу:

— Что ты наделал, баранья твоя папаха?!

— Там и сапоги-то...— испуганно забормотал Жора.— Раз строевым рубани, и шпилька высыпится...

— От душло-голова! От Гагай крошечный! — налетел на него Ефим.

— Ну, не ругайся,— уклонялся от дядиных кулаков Жора.— Надо, так отоберу пойду. Чего зря тикстиль швырять.

— И отобери! Тикстиль — трыкотаж... Я сам с тобой пойду! Покажу, как чужими сапогами сделку сотворять!

Старшие возраста уговаривать его принялись:

— Не ходи ты, мужик, никуда не ходи! Два платка да на платье — этого и за новые не возьмешь.

— Не ваше, опять же, дело! — огрызнулся Ефим.— Веди! — толкнул он Гагая.

За ними любопытных несколько человек увязалось.

— Угоди вот ему,— жаловался дорогой Жора.— Так — нехорошо, эдак — неславно.

— Угодничек, прах тебя! — ворчал Ефим.— Чего теперь говорить будешь своему мериканцу?

— Скажу...— отмахнулся Жора.— Только бы на месте их захватить. Им еще одни ребята сулились принести.

— Сапоги?

— Ага. Сапоги, ремни, пилотки...

— Ишь, моду какую берут! — усмехнулся Ефим.

А они, союзнички, действительно слабинку такую имели. Один на моих глазах банный веник-опарыш — два взвода им перехлесталось — в свой сектор нес. Нашего

командующего конь чуть куций по той же причине не остался. Тому волосинку из хвоста вырви, другому... Куда уж потом они с этими памятками — перепродавали или знакомым показывали — аллах их знает.

— Стоят! — обрадовался Жора. — Вон они!

Возле афишной тумбы раскуривали два дельца. В полной военной форме, при званьях и, видимо, с пропусками. Не таились. В ногах у них стоял желтый, как лихорадка, чемодан. На нем, тоскливо свесивши ушки, лежали запроданные Ефимовы сапоги.

— Але! — издали закричал Жора. — Кышмыш, понимаешь, получился! Сапоги-то я вам за простые загнал, и они, оказывается, кирзовые.

— В чьом деля? — строго посмотрел на него переводчик.

— А в том, что не олрайт вот дяде. Продешевил я вам по недогляду... Голимая кирза, а я за простые их...

— Что нушна... кырзя... — завывал из себя второй союзник. — Что-о-о кырзя?.. что кырзя?

— Что такое кирза, спрашиваешь? — заспешил ему на выручку Жора. — Соболя... га-гай... знаешь?

Союзник уставился на переводчика. Тот пояснил.

— О-о-о! Да, да, — заулыбался союзник. — Собол карош. Каро-ош! Каро-оо-ош!

Протягивает так-то, а сам глазами по ребятам шарит: не вынет ли кто из-за пазухи соболю шкурку.

— Соболь хорош, а кирза в три раза его в цене преодоляет, — закивал Жора на Ефимовы сапоги. — Ценнейший зверь! На Северном Урале только водится да... га-гай... по диким степям Забайкалья еще.

Переводчик усмехнулся. Жора, как клещ, в эту усмешку:

— Не веришь? А ну, дай сапоги! Дай, дай!

Переводчик нехотя протянул. Гагай сошлепал дряхлыми голенищами и спросил:

— Видишь?

— Чьто тут видеть нушна?

— Голяшки видишь из чего?

— Ну... кирзовые.

— А я что говорю! Ценнейший зверь, хоть и голомехий! Мы из него одни голяшки шьем. А союзки, переда, запятки из простой уж кожи приходится. Министерство... га-гай... не разрешает. Так что вот вам ваши тряпочки, вот нам наши кирзочки.

С этими словами он кинул на союзный чемодан платки с отрезом, а сапоги протянул Ефиму.

— Если бы не кирзовые, с дядиным бы удовольствием,— засмутился он перед союзниками.— И как я, размерси-мерси, недоглядел?

Других извинений от него не последовало. Развернулся и пошагал. За ним — дядя и остальные.

— Ох, и пес же ты, Егорка! — впервые со времен самозванного лейтенантства назвал его по имени Ефим.— Откуда что возьмет?! Прямо струей валит. Ценнеющий... хе-хех... зверь! По диким степям Забайкалья... Ну, пес! Министерство ему не разрешает.

У ворот расположения встретил их злой и запыханный командир третьего отделения.

— Где ты блукаешь? — напустился он на Ефима.— Его в президиум выдвинули, а он... Живо! Замполит из-под земли тебя приказал достать.

Ну и с места в карьер потурил всех на митинг. Ефима персонально протолкал к столу президиума и легонечко козырнул замполиту: доставил, мол.

Начальник штаба зачитывал приказ: «...передать колхозу «Путь Ильича» два трактора, одну автомашину, восемь лошадей и излишки сбруи».

— Это какому же «Путю Ильича»? — спросил у отделенного Ефим.

Тот вместо ответа локтя ему в ребро. Замри, мол.

— Доверенность на получение тракторов, машины, лошадей и прочего,— зачитывал начальник штаба,— выдать рядовому нашего полка Клепкину Ефиму Григорьевичу.

У Ефима загорелось лицо.

«Татьяну Алексеевну Клепкину, Евдокию Васильевну Хрычкину...— ну, дальше там еще много фамилий шло,— командование награждает медалями «За победу над Германией».

Младшие возраста зааплодировали, а старшие даже выкрики допустили:

— Показать Ефима Григорьича!

— Слово ему! Пусть скажет!..

Через полминуты Ефим стоял на трибуне. Был он красный, взъерошенный, в левой и правой держал по сапогу.

— Не мастер я...— повернулся он к замполиту.— Бумажку бы...

— А ты с голенищи читай! — хохотнули старшие возраста.

— Разве тока так? — встретился опять взглядом с замполитом Ефим. Тот прикивнул головой.

— Тогда ладно, — подмигнул Ефим полковому братству. — Тогда я вам с голенищи... хе-хех...

И он действительно расстелил перед собой один сапог. Другой находился у него в руке и по ходу речи выполнял всякие упражнения.

— Чуть-чуть, братцы-дружина, — начал Ефим, — еще бы маленько — и ушли бы мои сапоги сегодня за окян. Мимо острова Буяна... Хе-хех... За ситец были проданы! Бегал я их репатрулировать, из плену то ись выручать. Почему и на митинг задержался. В музей! В музей будто бы их там поставить хотели! — звонко выкрикнул он и вскинул над головой сапог. Секунду прицеливался — достоин — нет он в музеях стоять — и продолжал: — Конечно, они, наши сапоги, победительные... С этой точки рассудить: пусть, мол, стоят. Оно вроде и гордо даже. Но и рисково! Не всю ихнюю славу поймут музеи, не всю зачтут. И без этого — пусть-ка они дома пока постоят.

Я тут кой-кому из сослуживцев намекал, что туповат местами был. Сейчас подробно на этом остановлюсь. Начну со вступления в законный брак... Венчался я в хромовых сапогах, товарищи! Хозяйский сынок раздобылся. Жали они ему, ну и... походи, говорит, в них, пока медовый сезон. В такой периуд, говорит, никаких музлей не почувствуешь. Для разности дал. Отвел я свадьбу и переобулся во что бог послал. Не до хромо-вых было. Лошаденку надо было заводить, хозяйством сбиваться. Из батрацкой упряжки не вдруг-то разживешься.

А мечта насчет хромо-вых-то была, постоянно была. Главню — перед женой мне было конфузно, ну, и перед ее родней. Венчался в хромо-вых, а живу в апостольских. Вексель выдал, сам в банкротях... А тут тестюшко еще губами жует.

Ну, все-таки одно время сбился я деньжонками. Заведу, думаю. А тут гостенек ко мне в избу. Секретарь партийной ячейки... О том-сем переговарили и к такому разговору подошли: «Надо, Ефим Григорьевич, на заем тебе подписаться. Заграничный капитал, говорит, помощи нам не дает и не даст, а у государства казна недостаточ-

ная — на свой народ надежда. Самим надо! Тяжелую индустрию в первую голову поднимать надо. Надо, Ефим! Иначе — сомнут нас и стопчут. Ты, говорит, как бывший беднеющий деревенский пролетарий, сознательней других должен быть. Пример должен подать».

Я почему говорю, что туповат был?.. А потому, что целых три дня этот сознательный тошновал: «Сапоги или индустрия? Индустрия или сапоги?»

Секретарь ячейки еще не раз бывал. «Ты посмотри, как живем, говорит. Русские кони автомобиля боятся. Гвоздик за находку считается! А между тем миллиарды железа нетронутые лежат. Не с чем подступиться. А нам ведь не на плужок только. Оборону укреплять надо! Капитал в случае чего, знаешь, как на нас выпится. Танки нам надо, Ефим. Иропланы! Тут ситцами, говорит, не занавесишься».

Уйдет он, а мне ни на печи, ни под сараем места нет! на что решиться? Сапоги или танки? Одно мило, в думках пролежало, а другое — надо, говорят. Дошло — хоть на «орла-решку» мечи.

Окончательно сагитировала меня дочка. Букварь ей был куплен. Водит она по нему пальчиком и складывает тоненьким голоском: «Не-си-те, де-ти, сво-и ко-пей-ки. День-ги со-бе-рем и ку-пим за-ем». А, быть по сему! — решаю. Раз уж в ребячьих букварях об этом, раз уж про копейки разговор, значит, действительно надо. Быть по сему! Остался я опять без сапог.

А там и пошло. На домны, на шахты, на электростанции... Так и не поглядела на меня моя Татьяна Алексеевна, каков я гусар мог быть в хромовых. В самодельных постолах прошеголял да вот в кирзовых.

А сейчас... А сейчас и головой вот, и душой, и сердцем... Если живой он, тот секретарь, подойду и низкий, низкий поклон отдам: «Спасибо тебе, друг, — скажу. — И за домны, и за танки. А особо за то, что пофорсить мне не дал». Шел бы я сейчас в хромовые разобутый, в рябенькие ситчики разнаряженный, а фашист нас таких для полного парада кнутиной бы перепоясывал да подвеселивал: «Эй-гей, славяне! Бороздой! Бороздой!» Именно так бы и получилось! И не для того только, чтобы я ему сотку вспахал, а и для того, чтобы я поскорее на этой сотке подох. Пространству бы ему освободил. Вот он от чего увел меня, секретарь нашей деревенской ячейки. Почему и ценные они мне, кирзовые мои

победители! — вскинул опять дряхлый свой чеботок Ефим. — Почему и погодил я их в заграничные музеи отдавать. Не всю ихнюю кирзовую славу поймут там, не всю зачтут... Да еще, по своему обычаю, в насмешки пойдут. Русь, мол, фанера... куфайка... койка... балалайка... А нам это ни к чему. Не шибко-то смешно мне перечитывать тот дочкин букварь, где чуть ни с первых страниц призывалось: «Не-си-те, де-ти, ко-пей-ки».

Я сапоги в индустрию вложил, рубашки лишней не износил, а она — медячки... конфетки свои туда несла. Ребячью радость отдавала. Пусть они, музеи, поймут сперва... Поймут — куда идем, через чего шагаем и чему жертвуем.

А посмеяться мы и сами... Сошлепаем голенищу об голенищу. «Вот он, наш ценный «зверь-кирза»! Оно и по-домашнему, и министерству загадано, и душе юморно. Ценящий зверь... хе-хех... Забайкальских степей... хе-хех...

Ефим еще раз взметнул сапожишки и собрался освободить трибуну.

— А поблагодарить-то! — зашикали на него старшие возраста. — За трактора-то!..

— Вот тебе и с голенищи... — испуганно забормотал Ефим. — Говорил — бумажку надо!

Командир полка между тем шептал что-то на ухо начальнику штаба. Через минуту тот попросил тишины и с расстановочкой сообщил:

— Чтоб могла увидеть Татьяна Алексеевна, какой гусар у нее Ефим Григорьевич, приказал командир полка... выдать ему со склада... пару хромовых сапог!

— Ура! — взревел не своим голосом Жора. — Урр-а-а-а! Качать дядю!

И полетел наш Ефим под немецкие небеса. С уханьем, с гиканьем, на дюжих размахах да повыше!

— Потрох... — задыхался он. — Потрохи, ребята, растеряю... — Вместе с ним взлетели — пара на ногах, пара в руках — четыре его кирзовых сапога. Далеконько эти сапоги было видно!

— ...Вот так-то, Аркадий Лукич! — повернулся Левушка к ветерану-соседушке. — Так-то вот люди про свои сапоги понимали. А теперь случай возьмем, Пауэрсса этого, с первого выстрела... Сверзайся, архангел, отеребливать будем. Кто тут, думаешь, наводящим был? Она послужила. Кирза.

Левушка сошлепал себе по голенищу и продолжал:
— А насчет таблички ты говорил, так я тебе вот что доскажу.

Побывали мы как-то в замке у одного немецкого генерала. Генеральского, конечно, там и духу не осталось, а старичок, служащий его, не убежал. Любил картины и остался их оберегать. Он же нам и пояснения давал. Какие римские, какие голландские. Потом родовые портреты давай показывать. «Вот этот бывшему моему хозяину прадедом доводится — в таких-то сраженьях участвовал. Это — прапрадед — такому-то королю служил. Это — прапрапра...» Чуть ли не до двенадцатого колена генералов.

В другом зале пистолеты, сабли, каски — доспехи, одним словом, всякие по коврам развешаны. Там же, замечаю, громадный бычий рог висит. Серебром изукрашен, камнями. Заинтересовал он меня. Что за трофей такой. Если Тараса Бульбы пороховница, то почему без крышки, если на охоте в него трубили, — почему мундштука нет, отверстия. Спрашиваю. Оказывается, что?

Один из прапрадедов у «русской» родни гостил. А родня в нашем мундире, в генеральском же звании, на Кавказе в то время служила. Ну, гулеванили, с князьями куначились. Куначился, куначился гостенек и допустил на одной пирушке недозволенную Кавказом шалость. Князю ущемил или что... Ну, народ горячий! Развернулся один чертоломатзе да как оглоушит прапрадеда этим рогом. Стратегию-то и вышиб! Остальную жизнь потратил генерал на что, чтобы каким-либо способом данный рог у кавказского князя выкупить.

Видал, как родословную берегут? Даже чем их били, и то к семейным святыням приобщают! Так без футляра и весится... Вот и думается мне, Аркадий Лукич, что не будет большого греха, если я действительно оставлю «племю младому» поглядеть да пощупать, в какой обуви ихние прадеды по рейхстагу топтались. Остальное на бронзовой табличке можно вытравить. Подробности всякие. Мол, жил этот прадед в кирзовый век. И был он... чудной он человек был, между прочим. С бусорью чуток. Непостоянный, суматошливый!

Покует, покует — повоюет.

Ситцы латал, а на ремнях дырки прокалывал.

Дарил любимым цветы и сухари.

Пел возле люлек военные песни.

Пушного зверя: соболя, выдру, котика — «налетай, ярмарка!» продавал, а голомехого «кирзу» — ни за какие жемчуга! Сам носил.

И вот вам его натура — видимость и образец — кирзовые мои сапоги. От них и прожитому мною нелегкому, суровому и гордому веку название даю — кирзовый. Был такой героический на заре да в предзорьях... Не рота — держава в них обувалась! И в пляс, и в загс, и за плугом, и к горнам, и за полковым флагом.

Кругом победили! Ефим хоть и поостерегся, а стоять нашим сапогам в музеях, повыше, может, всяких мономаховых шапок стоять.

1963 г.

КОСЯ-ЕГИПТЯНИН

Стояла тогда победная его часть в немецком одном городишке. И чем-то этот занюханный, как прабабкина табакерка, городок знаменитым слыл. Не то обезьяну в нем немцы выдумали, не то какой-то ревнитель веры здесь в средние века зачат был... В доблесть городу даже то выдвигалось, что однажды на параде державный кайзеров конь воробушков местных облагодетельствовал. Против ратуши безошибочно почти историческая пядень асфальта указывалась. Народ немцы памятливым и всякую подобную подробность берегут и распишывают.

Под этим туманцем частенько спрашивали сюда пропуска заречные наши союзники. Особо по воскресеньям. Одни действительно поглазеть, другие поохотиться с фотоаппаратом, а основной контингент — с сигаретками. С открытками тоже. Ева Евы прельстительней, дева девы зазывистей... Только натошак их в первую неделю после войны мало кто покупал. На галеты мощный азарт был.

В городишке все больше танкисты стояли. Горячего копчения народец. Одному белые пежины на лбу «фаустом» выжгло, другому пламенным бензином на скулы плеснуло... За войну-то редко кому из огня да в полымя сигать не пришлось. Испытали, каково грешникам на сковороде. Почему и песенку своему роду войск сочи-

нили: «Танкову атаку для кино снимали» — называлась. Снимали, снимали — и все неудачно. Танкист, оказывается, повинен.

Жора-кинохроник вовсе озверел:
Снял меня сгорелого, а я не догорел.
«Успокойся, Жора! — Жоре говорю.—
В завтрашней атаке до дыминочки сгорю».

Вот так — со смешком да с гордостью... Безобманно душу свою нацеливали.

Костя с Кондратьем Карабазой из одного района призваны были, в одном экипаже числились. В злопамятное то воскресенье случились они в комендантском наряде. Патрулями ходили по городу. К полудню так пересекали они нелюдную одну улочку, и привиделся им тут в канавке чемодан. Крокодиловой кожей обтянут, замки горят.

«Крокодила» крестьяне наши, конечно, не опознали — кожа и кожа, но независимо от того у Кондратя трофейная жилка занервничала.

— Давай вскроем, — Костю подогревает. — Вот финкой замочки свернем и...

— И скажем — так было?.. — давнул его взглядом Костя. — Не пройдет, землячок!

— Да не за-ради шумток, барахла всякого... Из интересу. Увесистый больно... Посмотреть...

— У коменданта посмотришь. Если допущен будешь...

Кондратий бдительно изогнул горелую свою бровь, и, не зная сего молодца, побожились бы вы, что взаправду испуганным голосом, сам отпрянуть мгновением готов, своим видом и шипом таинственным... разоставил он Косте такую ловушку:

— Тшш... А ежель?.. А вдруг как он заминированный?! Смерть своими руками понесем коменданту? Да лучше допрежде я сам восемь раз подорвусь!! Дай финку — и отойди!

Раздвоил-таки здравый смысл старшине. Подстрекнул. Ну, скovyрнули легонечко финкой замки, откинули крышку и действительно спятились в первый момент. Череп на них оскалился человеческий. Рядом с ним от ноги вертлюговая кость.

— Ничо калым... — испуганно переглянулся с командиром Кондратий.

Когда осмелели, обнаружили под этими останками

карты. Шестьдесят шесть колод карт насчитали. У каждой колоды особый отдельный футлярчик имеется. На футлярчиках, как потом комендант пояснил, англо-американской прописью обозначено: где, когда и у кого та или иная колода закуплена и какая именно нация с ней свой досуг коротала.

Вот и вся трофея.

Череп обследовали — непростреленный. Кость тоже неповрежденная. Давние, пожелтелые...

— Посвежей черепа не нашлось, — сбрезгивил поздири Кондратий.

Пробормотал и отвлекся. Бубиновых дам принялся в колодах наискивать.

Тут у них опять разногласия возникли. Костя торопит: немедленно это добро к коменданту снести... Не иначе, предполагает, заречный союзник какой обронил. Запрос оттуда может случиться. Притом череп неведомо чей. Может, уголовный какой?

Втолковывает так-то Кондрашечке, а тому в одно ухо влетело, в другое просквозило. Устным счетом занялся. Дам умножает:

— Шестьдесят шесть колод... По четыре дамы в колоде... Шестью четыре?.. Еще раз шестью?.. Итого... Двести шестьдесят четыре! Каких только шанцонеток не нарисовано. С живых же, наверно, натуру писали? — рассуждает.

— А ну прекрати! — оборвал его Костя. — Засоловели опять! Шан-цо-не-точ-ки... Давно ли тебе всем взводом медикамент разыскивали?

— Теперь уж и на бумажную не взгляни! — вздыбил губы Кондрашечка.

— И не взгляни!! Кабы ты не такой яровитый был! Сын полка...

Сыном полка Кондратку за искренний маленький рост прозвали. Против Кости-то он — пятая «матрешка» из набора. Белобрысенький, востропятый, нос что у поисковой собачки... Все бы он шевелился, принюхивал, обонял, раздраживался. После, смотришь, бойцового гуся в танке у себя Константин обнаруживает.

— Откуда гусь?

— Бродячий циркач подарил. За пачку махорки...

— Поди-ка, отеребить уж надумал? К «особняку» захотел?

— Зачем теребить? — зачнет выскальзывать. — Пусть

живет. Почутко спит. Тревогу нам подавать будет. Зря, что ли, евоные прадеды Рим спасли?!

Строят в танковом парке клетушку для гуся.

На трофейной цистерне со спиртом как-то изловленным был среди ночи.

Тут уж не Костя его опрашивает:

— Зачем? Почему на цистерну взобрался?

— Дедушка у меня лунатик был.

— Ну и что?

— Ни одной ярмарки не проходило, чтобы он на чужой лошади не проснулся... Его и били, и к конским хвостам привязать грозилась — не совляло. Деда на лошадей тянуло, а меня, наследственно, должно быть, на цистерну заволокло.

— А почему котелок с собой оказался?

— Пригрезилось, будто уздечка позвякивает.

— А гаечный ключ зачем?

— Подковы отнять. Дедушка, бывало, даже портянками копыта кобылам обматывал, чтобы по следу не пошли...

— Ловки вы ребята с дедушкой!

Все веселее и веселее идет допрос.

Другому бы за такие проделки с гауптвахты не вылезать, а то и со штрафной ротой знакомство свести — он же словесностью отойдет. Такой вьюн, такая проныра...

— Ну, кончай, — изъял Костя дам у Кондрашечки. — Отогрел глазки — пошли теперь к коменданту.

Шагают... Медведь с горностайкой... У сына полка разговор — щебеток, слово бисером нижится, а у Кости с перемогой, неспешно, вроде бы по-пластунки ползет. Оттого и немногоречив — лишний раз улыбнется лучше. Силушка изо всех швов выпирает. Правую руку на локоть поставит — иным двоим не сломить.

— Думаешь, допустят нас к самому? — спрашивает он Кондратя.

— Будь спокоен, — загадывает землячок. — Пропуск у нас в чемодане.

— Не забыть про «вервольфа» спросить.

— Спросим. Чихнуть не успеет...

Про коменданта вели разговор, что правая его рука, почти по сгиб локтя, из чистой литой резины сформована. В финскую еще осколком отняло. Но, невзирая на частичную убыль и трату, все равно строевым он и кад-

ровым числится. В последние дни ходит по гарнизону упрямый и повсеместный слух, будто намертво и доразу захлестнул он в одном рукопашном запале резиновым этим изделием нечистую силу — «вервольфа». Оборотня, по-нашему. Из тех чумовых, что и после войны оружия не бросили. Из развалин постреливали, в подземельях таились.

Дежурный по комендатуре, как Костя и предполагал, попытался их не допустить к «самому» — тогда Кондратий череп ему показал:

— Тока лишь к «самому». Или направляйте нас в вышестоящую разведку.

Через минуту старший патруль Константин Гуселетов докладывал коменданту:

— Товарищ майор! При несении патрульной службы обнаружен нами в канаве чемодан...

— Мин нет! — заполнил Костину передышку Кондрашечка.

Перебрал комендант содержимое, зубы черепу осмотрел, надписи на футлярах перечитал — сугубо себе переносицу трет:

— Мда-а... Кто-то крепко запасаю,— на карты указывает.

— Так точно, товарищ майор! — цокнул проворненьким каблуком сын полка. — Кто-то войну тянул, а кто — «короля за бородку». Я в госпитале такого встречал... Бритовкой кожу с пальцев сводил. Козырей осязает... Блохе — переднюю-заднюю ножку опознавал. В меру ли суп посолен — пальцем определял!! Кожица...

— Я не про своих. Не про наших, — остановил его комендант.

— Ясно, что не про наших! — опять каблуком сыграл солидарненько.

Комендант поднял телефонную трубку и отдал команду соединить его с заречной комендатурой.

Танкисты и уши, как лезвийки, напрягли.

— У меня к вам не совсем повседневный вопрос, — заговорил с союзным коллегой своим комендант. — Скажите, есть ли в доблестных ваших войсках любители картежной игры?

— А через одного! — весело гнусит трубка. — А вы не партию ли нам предлагаете, русский коллега?

— С удовольствием бы, да недостойный я вам партнер. Рука у меня резиновая. Каучуковая...

Дает намек: не только, мол, передергивать, а даже тасовать по-людски не могу.

— Тогда действительно... — посочувствовала трубка. — С резиновой — неискусно. К чему же тогда разговор ваш затеян?.. По... Погодите-ка, — всхрипнула трубка. — Вы не про карты ли в крокодиловом чемодане?..

— Есть такой трофей.

— И череп цел?!

— И череп и прочая кость.

— Пфух... Пфух... — заотпыхивались на том берегу. — Магомет с плеч... То есть гора к Магомету, надо сказать. А мы уже всех собак собирались...

— А чьи карты? — интересуется комендант. — Штабные, музейные или шулера ловите?

— Тсссс... — испустила дух трубка. И далее — чуть слышок: — Вы про шулера иносказанием, пожалуйста... Зашифрованно... Ши-ши-ши, шу-шу-шу... Сделайте на шлагбаум распоряжение — он и будет владелец.

— Чин, значит. Шишка, — притиснул трубку левой комендант. Потом снова поднял ее и отдал распоряжение на зональный пропускной пункт:

— Этого помимо утрешней заявки оформить.

Расспросил ребят, где найден чемодан, в какое время, почему вскрыт оказался.

— Думали: мина-«сюрприз», — защебетал Кондрашечка. — Неужто нести непроверенный. У вас и так вон рука...

— А что рука? — как-то озорновато глянул на него комендант. — Рука — кок-сагыз¹.

После этого открывает свой сейф, достает оттуда парочку белых перчаток и опять же к Кондрашечке:

— Помогите-ка вот мне обмундировать ее. Впервые в белых перчатках воюю. Какую-никакую парадность блюсти приходится.

«Парадность! — усмехнулся Костя. — Знаем мы эту парадность! «Вервольфа» замертво... Не пикнул, сказывают».

С этой мыслью и подступил:

— А удар, товарищ майор... Удар этим коком-сагызом вы можете нанести? Говорят — из одуванчика сделан?..

Молодежь. Не понимают еще, что калеченому чело-

¹ Многолетнее травянистое растение — каучуконос.

веку про его калечество... Ущербляет всегда. Константин на «вервольфа» нацеливал, а выстрелилось по медведю.

Стоял тот со сморщенным пыльным носом полуфронтом к дверному проему. Чучело. В лапах у него держался иссохший и тоже уже изветшавший пчелиный сот. По замыслу бежавшего прежнего домовладельца вроде бы меду входящему гостю он предлагает откусать или бы сладкую жизнь предсказывает.

— Удар, говоришь? — заприщуривался на Михаила Ивановича комендант. — Из одуванчика, говоришь?

С этими словами подходит к медведю и настораживает поперек поясницы избитую свою правшу. Схватился здоровой рукой за резиновое запястье и — наоттяг его, наоттяг. Какие-то пружины под рукавом заворчали, крепежные ремни на локтю закрипели, а он наоттяг все ее, наоттяг. Вроде бы на боевой взвод ставит. Дотянул до возможных пределов и отпустил. Сагыз в белой перчатке — ровно молния воссияла. И... гром! Мишутки на постаменте как не бывало. Пылища на весь кабинет взвилась, моль на крыло взлетела... Стекланный медвежий глаз от трех стен срикошетил — волчком теперь на полу поет.

— Вот так... наши одуванчики, — погладил перчатку комендант. — Выставьте его вон от меня, — сробевшим парням на простертого Мишу указывает. — Двум медведям в одной берлоге не жить, — посмеивается. — Я тут некоторым военным срок гауптвахты определяю, а он, душа, меду подносит.

— Уставов не изучал, — продлил комендантову мысль сын полка.

Приподняли парни медведя и вот так, по-шутливому да по-хорошему, и разошлись.

Разошлись — забавляются. На постамент опять же медведя восстановили, окуляру ему наладили. «Во что бы еще поиграть», — размышляют. Солдат — он ведь, часом, дитя. Немецкую каску рогатую на башку ему уравновесили, метлу с белым флагом в лапы пристроили.

— Парламентером, Михаила Иванович, назначаетесь. Союзника мы вам поручаем встречать.

У коменданта и окна настезь. Суточники с гауптвахты пыль выгоняют, моль настигают, пол протирают. С полчасика не прошло — вот она, глядь, и машина с американским флажком. Притормозила за колючими куста-

ми-шпалерами, и двигается по направлению Михайлы Ивановича с пузатой портфелем в руке владделец утерянных карт и костей. Такой громоздила мужик, что в самую пору бы вживе с этим медведем бороться. Румяный, упругий, лобастый — само заглядение союзничек. По званию американский майор. Танкисты примолкли, откозыряли. Он тоже — взаимно. Увидел медведя во фрицевой каске, с метлою и флагом меж лап — улыбку изобразил.

— Капитулянт? — танкистам союзнически подмигнул.

— Безоговорочная! — Кондратко ощерился. — Полны штаны...

— Э-э... Можете продавать мне эта фигура? — оглядел союзник танкистов.

— А что давай? — потер троеперстие сын полка.

— Если вы есть хозяин на этот медведь?..

— Еще бы я не хозяин! Я на нем воду возил... Сено сгребал... В одной церкви крестились, — добавлял озорства Кондрашечка.

Танкисты смеются.

Союзник открыл тогда свой пузатый портфель и преподносит Кондрашечке пару бутылок каких-то вин:

— Выпивай по маленька.

— А куда вам скотинку прикажете? — обтиснул горлы бутылкам «медвежий владделец».

— Там... Машина, — кивнул на колючую заросль союзник. — Там Джим...

В последний момент комендант на крыльце появился. Кондрашка к танкистам за спину. Сникнул, укрылся — велика ль тень ему, прокурату, нужна. Военачальники представились, поздоровались, ушли в кабинет.

— Давайте его в машину скореейча, — пнул медведюшку в окорок начинающий бизнесмен. — Пусть везут остатную моль в свою зону.

И тут произошла у них еще одна удивленная встреча.

Шофером-то у союзника — негр! Черный, как головешка. Или как крага танкистская. Глаза на ребят вывездил, зубы что твой млад месяц сияют, губоньки за три приема не обцелуешь...

Кондрашечка и про медведя забыл.

— Угнетенный, а улыбаешься... — оторопел он на первый момент. А оторопь отошла, озирнулся с бутылкой, как с курой ворованной. — У кого, ребя, ножик со штопором есть? — шепоток испустил.

Ну... Штопору как не найтись!

Ввинтил Кондратко его по заклепку, поднатужился — всхлипнуло, ойкнуло в горлышке. Огляделся опять, оценил безопасность и смущает негритянскую глотку:

— Дерябни! Окажачь маненько. Попьем, поворотим, в донушко поколотим, век себе укоротим, морду искосоротим, — заприпевал.

Негр отрицается.

— Ты, может, подозреваешь — отравленное? — вывел догадку Кондрашечка. — Подозреваешь, может?! Гляди тогда, мать твою кочеты!!

Развернул бутыль донцем к солнышку, и загулял, загулял повдоль шеи востренький, как соловушкин клюв, кадычок.

Отдышался. Отнюхался атмосферой. Глаза на место установил.

— Не хватало еще, чтобы пролетарь пролетарью яд подносил, — укоризну свою негру высказал. — Да я лучше сам восемь раз отравлюсь! Видел? Без трепету!!! Лопни моя кишка... Рвани для обоюдности?! — подсунул опять негру горлышко. — Интересно, пробросит тебя в румяны... черного...

По негру стало видно — колеблется негр.

А сын полка, ну... себя превосходит:

— У нас сам Пушкин от вашего негритянского колена примесь имеет. Позавчера на концерте артист евою песню пел:

Поднимем бокалы и выпьем доразу,
И пусть побледнеет лампада.

— Во, как призывал! Свечи тухнули!

Обкуковал-таки, прокурат! Вдохновил негра.

Ничего. Без особого содрогания выпил. Остатнюю даже слезинку с лиловой губы подлизнул.

— Вот что значит — понятливую девку учить!! — со-
сколком оглядел сослуживцев своих сын полка.

— Умри! Идут!! — даванул ему пальцы Костя.

Танкисты опять в позвоночники хрустнули, грудью взреяли, ладонь к шлемам... Кондрашечка за их спинами той секундою белым флагом медведюшку застелил.

Распрощались военачальники.

Комендант к себе воротился, ну а Косте с Кондра-
тьем обратно на патрулирование надо идти. Час какой-
то остался — и смена. Прямо от комендатуры косячок

танкистов в одной гурьбе с ними тронулся. Про карты идет разговор, про череп...

— Столько колод — мать с отцом проиграешь.

— С которой же он войны, ежели желтый?

За угол вывернулись — что за причина? Стоят союзники. Оказалось, машина забарахлила. Рычит, скоргочет, простреливает, а настоящего рабочего гулу не соберет. Негр ящеркой туда и сюда снует. Свечи проверил, горючее шлангом продул — нет ходу. Танкисты окружили машину, советы негру маячат, на помощь посовываются.

Картежник нахмурился.

А наши, недолго подумав, с простой нелукавой души рассудили: «Поможем, братва! Берем ее нараскат». Ну, и кто плечьями, кто руками, кто грудью подналегги:

«Пошла, пошла, пошла, союзница! Пое-е-ехала-а!!»

А она не пошла. И не поехала.

Добра не сделали, а лиха накликали.

От конфуза ли, как ли, а только свернул картежник резиновый шланг в два хлыста и оттягивает шофера по чему попадя. Из носа кровцы высек, из губ. Мгновенно и взъярел. Без ругани. А негр не то чтобы от удара где извернуться, а даже не заслоняется. Улыбками повиняется. Улыбки под шланг подставляет.

Парни даже подрастерялись. Вчуже дико и зябко сделалось. У Кондрашечки зубы дрожью потронуло. И невзирая, что росточком «сын полка», невзирая, что звание против майорского — вшивенькое, кинулся с двух копытц, выбодрил мелконыйкий, пустяковый свой кулачок на картежника и беззаветно завывкал:

— Брось шланг!! Брось, не то в нюх закатаю! Будку сверну!!

Ну и подскокнул.

Картежник ему на лету легонький бокс в подбородок. Как легонький?..

Спикировал Кондрат метров несколько и недвижим лежит. Не то — в забытьи, не то — в праотцы... Тут Костеньку и приподнял!..

Оно еще с богатырских времен запримечено: нет сильному большего постыжения, как если на его глазах слабых-маленьких бьют. Совесть его угрызает нейтрально при этом присутствовать. Хоть в чистом поле такое случись, хоть на вечерках, хоть на уличном происшествии. А тут — удар, да еще удар с поднамеком. Сшиблен Кон-

драшечка, а пощечина всему братству горелому. Не то — и выше бери...

— А барнаульскую бубну пробовал? — ринулся Костя к картежнику.

И открылась здесь межсоюзная потасовка.

Картежник, похоже, с приемов бьет, а Константин «бубной». Тоже славно получается. Как приложат который которому, аж скула аплодирует. Ровно по наковальне сработано.

— Еще не все танкисты погорели!! — веселится и сатанеет на весь околоток Костенькин клич.

Слава богу, потронул у негра мотор!

Прянул картежник от Кости в открытую дверцу и воткни, боже, пятую скорость.

Кондрашечка кое-как воскрес до присеста, поместил на асфальт ягодички свои, три зуба, один за другим, на ладошку повыплюнул и завсхлипывал:

— Ко-о-онского даже веку не прожили...

Константин носовые хрящи прощупывает и едино- временно свежую гуглю под глазом исследует.

— И как это я промахнулся? — спрашивает танкистов Кондрашечка.

— В законе, Кондрат, в законе... Один на один Костя вышел, мосол на мосол. Пусть не пообидится союзник. А ты промахнулся, ясное дело.

Через полчаса из заречной комендатуры звонки.

Требуют ихней выдачи. Маленького и Большого.

Оказались наши крестьяне на гауптвахте. На родной. На отечественной.

— Яровитый ты человек, — рассматривал Костя через один глаз обеззубленного Кондрашечку. — Кто, вот скажи, кроме тебя, трофейного медведя мог запродать? «Что давай?» — сразу. Вино увидал — слепая кишка, поди, вскукарекала?

Кондратий молчал.

— И почему тебя завсегда вперед батьки за сердце куснет? — медленно, по-пластунски, допекал своего подчиненного старшина. — Я бы мог заслонить негра — и прав, как патруль. Даже забрать мог их обоих. Комендант разобрался бы... А ты — «в нюх». «Будку сверну!»

Кондратий молчал.

— Теперь вот доводят: неправильно я тебя воспитал.

А сколько, вспомни, я тебя пресекал, сколько преудпреждал? Как самоблизкого своего земляка! И за гуся. И за цистерну. Как, скажи, тебя можно еще воспитывать?

— Правильно ты меня вошпитал! — шепеляво взревел Кондрашечка. — В нашей шлавяншкoй жoнe, на твоих глазах, тот же наглый фашизм мне под шамые нождри толкают, а я внюхивай?! А я — шделай вид — отвернишь?! Я, жначит, не видь, как пролетария иштяжают? На кой тогда в танках горели?!

— Это ты в цилиндре, Кондраша, — обласковел сразу Костя. — Мне еще что жутко сделалось... Видал ты, чтобы наш офицер мордобоем солдат учил? Повинного даже! Штрафника? Уголовника? А тут своего водителя — как скотину. Кулак не хочет марать — шлангом. А он улыбается... раб, улыбается.

— Жапретить им проезд в нашу шону! — подхватился Кондрашечка. — Рапорт командующему!! У наш тоже центральная нервная шиштема ешть.

Так закончилось злосчастное то воскресенье.

В последующие дни отсидки на все голоса защищал Кондратий Карабаза своего старшину. Подслушает у «волчка»: начальство какое-нибудь в коридоре или в дежурке басок подает, и огласится гауптвахта кликами:

— Правильно меня штаршина вошпитал!

— Не от улизливoгo телка произошли!!

— Шли в логово, а угадали в берлогу!!

Прослышали дружки-танкисты, что буйствует на «губе» сын полка, буйствует и непотребное говорит — озаботились экипажи. «Эдак-то он еще на тощенький свой хребет наскребет». Зажарили гуся, того, что недавно из танка изъяли. Старый сибирячок насоветовал крутого макового настою накипятить и под видом всеармейского лекарства от «куриной слепоты» по две ложки ему выпаивать. Рассчитывали в сонливость его вогнать, в непротивление. Шиш возьми! Гуся за два приема прикончили, настoй выпили, а клики по-прежнему:

— Танкист видит, кто кого обидит!

Костя зажимал Кондрашечке рот:

— Тише ты, тронутый! Орешь политику всякую... трибуналу в уши...

— А, мамонька моя, мамонька... — бормотали под Костиной ладонью Кондрашкины губы. — А, сибирская

ты вдова, Куприяновна... А почему я титешный ручки у тебя не скрестил... А почему в допризывниках ножки не протянул...

— Пригодятся ишо, пригодятся,— гладит ему обгорелую бровь Константин.

Отсидели по четверо суток — является к ним комендант.

Дежурный быстренько стульчик ему.

Сел. «Кок-сагыз» на коленку сложил. Помолчал. Потом вздохнул, как перед бедой, и открытый повел разговор.

— Не удался маневр мой, ребята. Сберечь на гауптвахте вас думал... В той уверенности, что за один проступок — одно наказание, согласно Уставу, положено. Почему полной властью и всыпал в поспешности. Но... Не вышло. Не вышло на сей раз по Уставу. Уж больно маститый нос вы поместили.

— Неужто выдадите, товарищ майор? Им?.. — похлодевши, спросил Костенька.

— Здесь успокою. Не выдадим. Под трибунал пойдете. Меня с моей должности в отставные, а вам обоим под трибунал.

— А кто он такой, что и вас... что и вы из-за нас страдаете?

— Отпрыск важной американской фамилии. В Белом доме известен. Не только военный чин носит — еще и дипломатический, департаментский. Неприкосновенность на него распространяется. А я, выходит, не обеспечил.

— А чего он тогда карты таскает, если неприкосновенный? Не знает, что шулеров в первую очередь бьют? И эти... шкилетины. Людоеду — сухой паек вроде... — огневался снова Кондрашечка.

— Ничего, оказывается, странного в этих костях нет. Я по долгу службы тоже поинтересовался. Тут такое дело... Невеста у него — англичанка...

Не все было понятно парням в комендантском рассказе. «Акции», «концессии» — все это неживое для них, чужое, далекое. Ясно стало одно: «картежников» невеста наследует отцовские капиталы в Египте. Сейчас престарелый ее отец натаскивает себе смену — молодого вот этого бульдога, чтобы в отдрессированные уже клыки капиталы успеть завещать. Волк волка учит, акула с акулой роднятся.

— Был он, наследник, недавно в Египте, — теперь уж

дословно, понятно рассказывает комендант.— Сообщил, раскопали тамошние его друзья могилу неизвестного фараона. А поскольку невеста его древности всякие обо-жает, прихватил он ей в подарок парочку этих мошей. По ребру, по звенышку скелет растащили. Теперь, гово-рит, в нашем фамильном музее древними пахнуть будет. Возможно, говорит, данный череп на горячей и знойной груди знаменитых восточных цариц возлежал. Сочинит биографию... Карты тоже для коллекций скупает. Более трехсот комплектов уже у него.

— Теперь еще нас, пару валетов, наколол,— всхлип-нул Кондраша.

— Это тебя сыном полка зовут? — переменял раз-говор комендант.

— Меня. Для зубоскальства. Шутейно, — откровенно признался Кондрат.

— Если бы шутейно, — задумчиво потер подбородок комендант.— Если бы только шутейно... Прослышали, что требуют вашей выдачи, едва по машинам не кину-лись. Объясняться пришлось с экипажами.

Кондраша заплакал.

— Все мы сыны полков у своей Родины, — погладил ему вихорок комендант.— Она и обласкает. Ей и розгу в ладони. Матерью ведь зовем.

Председателем трибунала седенький подполковник перед парнями предстал. Согбенного уже роста, а румя-нец живой, крепконький. Бородка белая, клинышком. Вдумчивая, прислуштивная бородка. Какой-то негласной надеждой танкистов она присогрела, доброта в ней какая-то «дедушкина» проглядывала-намекалась. И на-столько дотошно и терпеливо, всей своей искренней сутью вникала она и слушала дело, что Кондратий «четвертым членом трибунала» про себя ее окрестил. Даже надежно и мило было, что такая понятливая бо-родка судит тебя.

Предоставлено последнее слово.

Кондрашечка — где-то щегол, говорун, горлодер — здесь, когда участь его молодая решается, семи подлин-ных слов не собрал:

— Ежели бы он негру не бил...

Костя тоже не больше того произнес:

— Ежели бы он Кондратя не тронул...

Проморгнул пару раз голубыми глазами — еще больши в себе разыскал:

— Я же его, — на Кондратья указывает, — я его под Старую Руссой, как дитенка спеленутого, беспомощного и беспамятного, из танка вынял и вынес. Зачем же он его, маленького, со всей дурной силы? Разве стерпимо мне?

Стоят обесславленные. Ни ремней, ни погонов на них. Полинялые гимнастерочки, в недавнем огненном употреблении бывшие, с темными звездастыми дорожками попереk груди... И... свеженькие подворотнички.

Сказали по слову и взоры свои на бородку: «Суди».

Сдрожала она. Не совладала сама с собой, беленькая:

«Сынки!! Отчизны спасители!! С молоком Революции питали мы вас понятиями и класса и братства... С пленками Революции, с первым ситчиком дарили мы вам гуттаперчевых негретенков, китайчат, эскимосиков... На первой бумаге печатали «Хижину дяди Тома»... Теперь вот... Кого и за что я сужу?»

Пронзают, пронзают бородку совестливые токи... Нельзя. Нельзя расслабляться бородке. Союзные и иностранные корреспонденты в зале суда. Сычи да вороны... Щеглы газетные... А главное — помимо всего состав преступления есть. Выпито было. В наряде. Считай — на посту...

Удалился суд...

Возвратился суд...

«Встать!»

Ну и... «Именем...»

Кондрашечка и на следствии, и на суде неоднократно просил три вышибленных своих зуба «к делу подшить». Как вещественные доказательства. «Ежели мы ему нос сместили, — следователю доводил, — за нос с нас взыскивается, то вправе мы предъявить встречный иск — за зубы. Конского веку не прожили... В цацки я ими буду играть, да?» — протягивал следователю ладонь.

Так весь процесс и носил их, родимых, в горсти. После зачитания приговора взял, ссыпал их на зеленый стол трибуналу и обратился к поникшей угрюмой «бородке». Для укора или для подбодрения своего и «бородкина» духа обратился — кто его знает, Кондрашечку.

— Отошлите их маме моей, сибирской вдове Куп-

рияновне. Адрес у вас известен. Пусть рассеет их на девятой грядке от бани... Пока я отсиживаю — из них еще три Кондрашки взойдут.

Вокруг трибунала невесть каким слухом, незнамо чьим зовом до сотни танкистов стянулось. Надеялись — освободят, не засудят ребят, а их выводят опять под конвоем. Одна боевая судьба-голова тихонечко шлем с себя стронула... Вторая... На остальных стрижка зашелестела... Молчат экипажи. Тяжкодумно и указенно молчат. Куда повели боевых побратимов... И кто-то, копченый чертушко, все же не выдержал. Надо же было каким-нибудь способом распрямить, уравнять ребят, живу душу в себе горю ихнему объявить.

— Еще не все танкисты погорели!! — настиг черношлемных понуренных арестантов их удельный, бронесказуемый, железной судьбиной и огненной пыткой сработанный клич.

В сорок первом году, из геенны дней первых войны, выкричал его, огрозясь, упреждая врага, догорающий первый танкист — Неизвестный и Вещий.

Потом назывались фамилии. По фронтам. Корпусам. Бригадам. И сочинялась песня.

Успокойся, Жора! — Жоре говорю.—
В завтрашней атаке обязательно сгорю.

И горели. И обугливались в черные головешки по гремучему полю Родины. Но опять и опять, иссушая гортани, до последнего содрогания беззаветного русского сердца, до божьего обморока, выдирался тот клич из раскаленного смрада пылающих танковых башен, извивался и косноязычился в предсмертной угрозе растресканных губ, в наизломном и яростном скрежете зубов, в стратотерпстве живого по глотку огня...

Нюхал бог нашатырный спирт.

Пахло богу поджаренной шкуркой.

«Еще не все танкисты погорели!!» — завинчивал люк над залятой своей головой безусый колхозный парнишка.

«Еще не все...» — натягивал черные краги седой коммунист-генерал.

И опять рассекал фронты, замыкал «котлы» неистребимый и грозный, с бессмертием самим породнившийся клич.

Выше несут свои черные шлемы два арестанта.
Не отнять, не сотмить их вчерашнюю жаркую славу.
«Спасибо, копченый чертушко, брат... во брони».

Есть такое присловье... Про солдатское горе. Солдатское, мол, горе — до барабана живет. Спорить не будем. Горе, может, и до «барабана», а вот обида, наглая и невзысканная, по смертный твой час многолетствует. Затаится таким потайным кремешком, заминирует душеньку, и, спаси тебя бог, не коснись невзначай. С пуховой перины сдует, как перышко, со сладкого женского плечика вихрем сорвет. Все, как у Кости и случилось...

...В лесных проушинках и на жавороночьем чистополье майской обманкой пылает, зеленым огнем молодая веселая дерзость отавы. У проселков-дорог дружененько гонят сочную нежную поросль послеукосные клевера.

Тихий блеск от всего.

Сверкает выхолненным пером грач, тоненько искрит паутинка, ярой медью сгорают неотболевший еще березовый лист, тускнеет черными бликами отглаженный зеркалом лемеха пашенный пласт — даже стерня лучики испускает. Позабыло усталое солнце улыбку свою, и дремлет улыбка на тихом просторе земли. Призадумалось небо. Призадумались поле, воды, леса...

Заяц на клевера выскочил.

Серенький...

Встал на задние лапки и смотрит на Костю, стрижет оживленными ушками.

Замедлил пришелец шаги, сместилось дыхание:

«Ты ли, дивонько? Ты ли, живой глазок?» Сел. Суеверно ластился взглядом к зайчику.

...Утром, чуть свет, увозил его дедушка Лука Северьянович по этой дорожке, вдоль этого поля в военкомат. Родных у юного Костеньки, кроме дедушки, не было. Ехали — корень с отросточком. Молчком ехали. В последний прощальный момент почему-то частенько случается: есть что сказать, да не знаешь, как начать. Причинной ниточки нет. Такой, через которую ростанное слово твое подловчило бы высказать. И чтоб не смаху оно, не по-обушьему, а в тропиночку.

Колесо у телеги повизгивает — не та ниточка... Супонька ослабнула — тоже не та. Так и молчали, пока

вот такой же пушистый ушканчик на клевер не выскочил.

Поднялся на задние лапки, ушами округу «причул», потом умываться начал. Клевера отягченные, росные... Обкупнет туда лапки и обиходит резаную свою доблестную губу.

— Нашего сельсовета зверь, — как-то обласкованно указал на него кнутовищем дедушка.

Миновали ложбинку, на пригорок Буланко вскарабкался — стоит малый зверик, смотрит в Костенькин след.

Дедушка так же — тихо и ласково:

— Споминай его, Костенька. Последен, кто тебя проводит проснулся. Он... ждать тебя будет.

Косте, юному, как-то неловко, устыдливо речи дедовы слушать: «разнеживает, как маленького» — на старика подсадовал.

— Была нужда вспоминать, — шуршит самокруткой.

— А ты не грубиянничай! — укорил его дедушка. — Нельзя тебе этого... Спокаяться можно. Заяц — он тоже... На одних полях с тобой взрос. Живой глазок Родины. Вот не сей ли момент одним воздухом вы подышали? Он выдохнул, а ты вздохнул. Ты выдохнул — он причул. Из груди в грудку! Воздух — он достигает!..

«Пророк ты был, дедушка...»

Когда выводили хирурги танкиста из забытья, на самой-то тоненькой грани мерцающей яви и темной пучины беспамятства вставал этот зверик на задние лапки и начинал разговаривать с раненым Костенькой.

«Дохни! Еще дохни! Еще!» — упрашивал, требовал серенький, отзывая померкшую Костину душу из бездны предсмертия на людское, на заячье солнышко.

Дрогнут веки, осмыслится взор — надевается зайчик. Сестра с кислородной подушкой стоит:

— Дышите, дышите, больной.

...Отглатывает пришелец стеснившийся в горле комок, дивится шемящему светлому таинству слез...

«Живой... глазок... Родины...»

Тем же вечером обсказал он деду Луке Северьяновичу бесталанный и горький свой поворот судьбы и немало был подивлен, когда старый без вздоха, скорби и соболезнования вдруг заявил:

— А все-таки здорово иностранная разведка работает!

— Ты... к чему? — растерялся Костя.

— Неужто не достигаешь?

— Нет! — помедлил с ответом Костя. — При чем тут разведка?

— В том-то и дело, что бдительности в вас еще — кот наплакал, — безоговорочно заявил Лука Северьяныч. — Никакой он был не английский зять, никакой не дипломатический чин и не картежник, само собой, а был промеж вас натуральных кровей шпиен.

— Ну-у-у, дед! — все больше дивился и озадачивался Константин. — Наговоришь!

— Ты мне не нукай, а слушай, — постановил дед. — Пошире твоего бороды есть. По какой вот, ответь мне, причине крокодиловый тот чемодан, с остатками фараона и картами, в канаве мог очутиться? Ну? Шуруп, шурупий...

— Утерян был.

— Под-ки-нут был! С у-мыс-лом, — четырежды проколол пальцем воздух Лука Северьянович. — С умыслом! А умысел этот в том состоял, что обязательно отнесут эти диковины к коменданту. А у коменданта в кабинете медведь. Вы, полоротые, мечтаете, — он вам меду подносит, а он... У него самопишущая машинка внутрих потрохов была заскречена. Близко вы возле бдительности не ночевали!

Все просторнее открывался у Костеньки рот: не узнать деда, и баста. Обличьем все тот же почти: по-прежнему крутоплеч, в кирпичном румянце скула, нос узорной багряной жилочкой испещрен, дымчатая борода, кулак со слесарную наковаленку. Обличье — родное — дедово, а беседа...

— Комендант говорит, а машинка фиксирует, он секретный приказ отдает, а она регистрирует... Теперь прицель... Подкинут чемодан и доставлен к нему, к коменданту. Осталось заинтересованному шпиену в майорском или картежником образе явиться якубы за остатками фараона и картами и попутно с этим сторговать ненавистную коменданту медвежью чучелу. Им не чучела, век бы моль ее ела, им тайнописная запись цены не имеет.

Первые петухи опели дедово изголовье, вторые — ворчит, ворочается.

— Не носы дуrolомом контузить — чучелу отбивать надо было!

На второй только день стало ясным для Кости, по какой такой неравнодушной причине «бдительность» дедко его оседлал. Участковый Митрий Козляев, спасибо, растолковал.

— Ну и жук же ты, дедо! — затормошил Константин старого Гуселета. — Почему ж ты от внука награду скрываешь? — бороть деда начал. — А я уже напугался. Думал, ты шизофреник какой сделался.

— Отпусти, отпусти, кобыляк! Ишь, клешни-то... Железо мять... Утаил потому — тебя опасался обидеть. Горел, ранетый, а награды сняты. Зачем мне в рану со шкарпионом...

Дедушка крикнул достойно и неспешно полез на божницу. Иконок на ней не стояло, украшала ее замысловатая фарфоровая сахарница. Голубка сидит на гнезде. Через секунду лежало перед Костей новое орденское удостоверение, а в голубкином беленьком гнездышке сиял, излучался орден Красной Звезды.

— Вшизахреник не вшизахреник, а вот... — взвесил на ладошке Звезду дедушка. — Состоял я во время твоих боев в трудармии. Работал на нумерном секретном заводе. И упоймал я там одной темной ночью крупнейшего фашистского диверсанта. Проявил бдительность и отважность, за что был им, гадином, ранетый в грудь. Выздоровевши, работал в отделе по повышению и обострению бдительности. Тут промашку издал. Канкретна, чуть опять же не задушил одного итенданта военного. Смотрю, моторы мелом размечает... Ну я... по подозрению... За калтык опять же... В рабочую команду по этому случаю переведен был.

— А чего же не носишь? — перенял Звездочку Костя. — Положил под голубку, думаешь, еще одна выпарится?.. На грудь, на грудь ее, деда! И грудь корольком!..

— А разведка? — притаил голос дед. — Она не дремит! Она рабо-о-отает! Живо опознают. Гля мстительности...

Костя фыркнуть готов:

— Да кто тебя опознает? В отстающем колхозе живешь...

— Не лопочи пусто-напусто. Я все ихни коварные приемы в отделе том изучил. Мстительность им — пре-

выше всего! По библии работают: око за око... Кому хочешь яду подмесят. Цыганистый калей есть,— шепнул Лука Северьянович.

Разуверять и умялять дедовы подозрения, сторожкость Костя не стал. «Да простится годам твоим,— думает.— Большого подвига ты не совершил, да и вряд ли когда совершишь... Твори свою причуду».

По теперешним суматошливым боевым временам едва ли кого удивить тем, что иная невеста, их таких — миллион, на пороге своей неминуемой любви по разным служебным, учебным и комсомольским причинам отдельно от мамы живет. Завладеет такая дыханием твоим, наколдует бессонницу, научится пульсом твоим на расстоянии управлять,— вот тут-то и обсядут соловьи да жар-птицы твое изголовье. Прежде всего на стихи волочет человека. Едят в это время худо — карандаши грызут. Один такой ушибленный, нецелованный, первотрепетный до какого восторга дошел! «Губы милой — как бабкин квас» — строку возлюбленной сочинил. Другой — тоже управляемый на расстоянии — «пчелиными грезами», «пчелиными оазисами» те же самые губы воспроизвел. Какую-то, видно, тайную сладость предчувствуют, ну и, соответственно, угибают. Шейка — «лилия», щеки — «яблочки-ранетки», груди — «два белых барашка» — оснащают свою избранницу. А что за «специя» — тещенька? Какая оскома ко сладостям этим тебе уготована? — не знаем того мы, не ведаем и даже существование ее подозревать в наш изжажданный час не хотим.

И вот тут-то, на перво-последней ступенечке загса, и приобретает мужская влюбленная единица... кота в мешке приобретает.

Костя тоже себе приобрел. Да такого, что деревенские стратеги, сваха, кума плюсом ворожея, до сих пор утверждают, что не иначе как через тещу сделался он Египтянином.

Выпахивал он на поле картошку, а пятиклассники со своею учительницей собирали ее в бурты.

Имя учительницы расслышал.

Ребятишки-то беспрестанно: «Елена Васильевна! Елена Васильевна!»

«Ленушка, значит», — лицо ее рассмотрел.

И она потянулась. Солярка заблагоухала, мазут не испуганул, даже повседневная грязь под механизаторскими ногтями ничуть не смутила.

Все испустила тихая, застенчивая Костенькина улыбка.

Дедушка первый схватился, что надо бы сватью на свадьбу затребовать.

Малопонятное получили от сватьи письмо:

«...коноплю и сурепку в последнее время колхозы повывели, зерна в стране недостаточно, и полевой жаворонок Карузо стал сбиваться и делать в распевных коленях помарки. Зато дрозд Балакирев на одних сухарях да рябине такой росчерк в финале обрел — душа пламенеет и воскрыляется».

Внизу шла приписка: «Приехать не могу. Погублю птиц».

Ленушка кратенько пояснила «птичью» эту зависимость: редкие и ценнейшие экземпляры у матери. Чуть ли не каждый певучий самец композиторским именем назван. Скворец Алабердыев, чирик Френкелев... Иностранцы есть. Косте-то всякая эта подробность — без смысла. Ослепши, оглохнувши ходит... Мозолей от счастья не чувствует. А деду, на здоровый-то ум, невнятно и подозрительно сделалось:

— Птицыолог какая-то, — отозвался о теще. — Единственная дочь замуж рыскает, а у нее от дрозда душа иссякает. Не в шароварах ли он, тот дрозд, щеглуется?..

Вот так и не стало холостяка Константинушки Гуселетова. Дом у деда просторный, свету в нем — с трех сторон горизонта. Да еще Ленушка! Наконец-то искренним русским духом запахло здесь. Полы чистые, занавески на окнах, половички появились, сапоги мужики начали в сенцах снимать. Что ни говори — бобыли жили. Самой-то живоструечки — рук, да глаза, да женской песенки — и недоставало жилью ихнему.

Начал Лука Северьянович приучать молодую невестку корову доить. Ленушка — с превеликим усердием. Даром что, кроме маминых певчих птиц, ни за кем не ухаживала. «Синенький скромный платочек» приспособилась под коровой петью. Корова разнежится, осоловеет, вымя расслабит, уши повянут, глаза истомленные сделаются — хоть поцелуй ее в эту минуту.

«А я, страмец, неудобьсказуемым на коровенку, стра-

мец»,—любуется этой умильной картиной Лука Северьянович.

На летних каникулах поехала Ленушка собирать свою маму в Сибирь. Сама-то она, невестушка, по институтскому распределению здесь оказалась. Думалось—временно, а тут Костенька. Надо и мать к костру.

— Синенький скромный плато-о-о... Стой! В рога и копыта...—мучается в пригоне с коровой Лука Северьянович.—Привыкла под «лазаря». Я тебе не Сульженко!

Приходит однажды с удоем и, не процедив молока, не распутав цветастого Ленушкиного передника, затеивает такой разговор:

— Робею я, Костенькин. Как запредчуйствую, что вот-вот птицуюлог у нас на пороге предстанет, как запредчуйствую—в животе захолонет. На шпиена грудью пойду, а тут пятый угол высматриваю.

— Наладится, дед!—бодрит его Костя.—Никто нас не съест!

— А Балакирь с Алабердыем? Ошшебечут на прах! Найдут, в каком боке печенка. Пустяковое и просмешливое, саркыстическое это занятие—птички-синички... Притчу в дом завезем, шутовство.

— На-ла-адится!

Наступил безысходный тот трепетный день. Костя по телеграмме на станцию выехал, букетик цветов в школьном саду для встречи настриг, а Лука Северьянович как вообразился с утра на сеновал, как залег на душистую кладенку свежего сенца-подлесовничка, как затеял зевать—аж взывает по-песьему, тоненько, аж ускуля в шарнирах хрустят.

После полудня дохнула у его родового крыльца синим дымом машина и возникнула из шоферской кабины высокая статная женщина с вольнодумным каким-то пером на соломенной шляпке.

— Ничо—фельфебель!—подлизнул пересохшие губы Лука Северьянович.

Чемоданов и узлов была самая малость, зато клеток со птицами...

— Пять... Шесть...—подсчитывал проволочные устройства замаскированный домохозяин.—По трудодню на клюв?... При нынешнем трудодне...

Из-под крыльца, из засады, вывездила на беспечных

пичуг душегубские очи свои троешерстная кошка Манефа.

— Кончился твой суверьнитет, — посочувствовал кошке Лука Северьянович.

И началась в его доме веселая, звонкая жизнь.

На исходе же первого дня разыграл, распотешил Балакирев-дрозд местного участкового милиционера Митрия Козляева. Завидел за окном промелькнувшую его форму с околышем да как выдаст-повыдаст заполоснутую милицейскую трель свистка. Ровно на пятах у преступника он паседает, ровно весь остальной гарнизон на подмогу созывает.

Ворвался Козляев в неприбранный дом — лицом бел, пистолетко на взводе.

— Кто свистел?! — детективным взглядом обвел всех.

— Не вы первый, не вы первый, — заулыбалась на встречу ему приезжая гостьюшка. — Присядьте, пожалуйста, я вам кратенько объясню...

— Кто свистел, я вас спрашиваю?! — не колебнулся Козляев. — Откуда сигнал подавался?

— Он свистел, — указала сватьюшка на Балакирева.

— То ись — как? — помутился Козляев. — А свисток он где взял?

— Он не в свисток свистел, а талантом, имитация птичья... Понимаете?

Тут Балакирев зобнул воздуху да как даст опять эту классику.

— Де... Держите меня четверо! — поместился на табуретку Козляев. — Позвольте опомниться... За обнаженное оружие прошу извинения. Вот насекомый! — восхитился сраженный Балакиревым Козляев.

— Не вы первый впросак угадали, — опять улыбается Костина тещенька. — Прежний его владелец, — указывает на Балакирева, — напротив почти пешеходной дорожки жил. Постоянно там милиционеры дежурили. Беспрерывно свистки, задержания. А дрозды — они переимчивые, подражательные. Освоил вот, как изволили слышать, ваше коленце. Через это он мне и продан был. К прежнему-то владельцу и соседи двери выламывали, и милиция тоже врывалась. За бесценник избавился.

— И ворвешься! — подтвердил Козляев, с нескрываемым дружелюбием разглядывавший Балакирева. — У нас, в сельской местности, свистеть не принято. Руки обычным приемом заверну — весь и свисток.

Внедолге вынужден был Лука Северьянович курочек овдовить. Петух проголосный был, жизнелюбец. Орет по любой погоде.

Первым Алабердыев-скворец довольно явственно петушиную втору вымучил. За ним дрозд поперхнулся. Вроде осень бы, не певучее время, а у них потягота.

Софья Игнатьевна и голову мокрым полотенцем стянула.

— Нemoжeтся? — участливо спросил Лука Северьянович.

— Этот петух — семикаторжный!..

Пришлось зарубить.

Манефа, бедненькая, столько пинков опознала, что у нее даже на дикую пташку рефлекс начал в лапы вступать. От жуланчика опрометью, вскачь, неслась.

А Лука Северьянович, гроза диверсантов, чему не подвергнут был? Чем только не угождал! И муравьиные яйца на зиму томил, и сурепкино семя искал, и коноплю на задах шелушил. Одного лишь не мог обеспечить: добыть: затхлой, слежалой муки. Птичьи черви в ней, в затхлой, прекрасно разводятся.

— Таки годы были — жмых не залеживался, — оправдывал он перед сватьей свою невозможность.

— Кончился наш суверьнитет, — только кошке и всхлипнет.

По субботам баньку обычно топили. Северьяныч, сибирская кость, до вступления экстаза, до дичалого вопленья, до кликушества пару себе нагнетал. «Ого-го-го шеньки! Улю-лю-люлю-шеньки!! — веником себя истязает. — Дай-дай-дай-дай!!» Полчаса эти лешевы кличи из баньки ликуют. Кринку квасу потом опрокинет с истомы, причешется, струйка к струечке бороду набодрит и сияет погожим челдонским румянцем своим.

Смотрит, смотрит Софья Игнатьевна на него, дюжего, помладевшего, и не вытерпит вдруг — восхитится:

— Ну и гемоглобину у вас еще, Лука Северьянович!

— Кого? — не поймет тот мудреного слова.

— Красные кровяные тельца это, — с удовольствием сватьяшка объясняет. — Силы жизненные... в ребрах у нас вырабатываются. Поглядитесь-ка в зеркало — какой Стенька Разин оттуда выглядывает.

— Ничо себя чуйствую, — тронет ребра Лука Северьянович.

И пуще того его краска пронзит.

Смущался старик.

Еще то примечал: наладится у него со сватьей согласие — тут и Костенька тещеньке мил да пригож. Разладится — жди-ка, Ленушка, маминых свежих попреков да слез.

— Завезла в бирючиное королевство... Неужели бы я тебе жениха-европейца не выбрала? Я бы тоже могла за уральский столб замуж выйти. Ни души и ни нервов... Тонкости никакой. Осмысляй, анализируй, чего мать говорит, пока детский садик не возрыдал.

— Чего мне анализировать, мама? Люблю... Верю ему. И душа у него чуткая, совестливая. Никакой он не столб.

— Чуткая, говоришь? А кто жаворонку золы пожалел? Балакирева по носу кто щелкнул?..

— Да ведь не ради птичек мы живем?

— Не знаю, как вы, а я — ради птичек. Всю жизнь — ради птичек одних. Того-то не постигаем, что птица — дитя самой радуги. Первопеснь мироздания!

И поведет от восторга к восторгу.

А заключит так:

— Имею я право хотя бы на птичью любовь и привязанность?

— Имеете, — пояснил ей однажды Костя. — Спаривайте ваших «композиторов», а Ленушку не смущайте. Она вам не птичка, хотя бы и ваша дочь.

В неподвижности все это выслушала. Голова в оскорбленной и гордой позиции замерла. Ладони сцеплены, губы подковкой свернулись.

Через недолгое время подвернулся ей способ отмщения. Не по специальному умыслу, а одно обстоятельство ее к этому подстрекнуло.

Прослышала, что появился в школе магнитофон. И записывает звуки, и тут же воспроизводит. И зазуделась у нее честолюбивая идея одна в удалой голове. Явилась к учителю физики и с первой же попытки, за первый присест обещан он был, меценатством его заручилась.

— У нас, птицелюбов пяти континентов, в Москве, в Доме птицы и на Птичьем базаре, состязания назначены в этом году. Чей воспитанник больше колен отобьет. Сама я присутствовать там не могу, а вот записи песен желательно мне отослать. Виднейшие птичьи арбитры их будут прослушивать. Это не петушиный вам бой между

Курской и Тульской губерниями... Другого порядка... У меня не все птицы, конечно, достойны, но дрозд Балакирев мог бы претендовать. У него и почин, и раскат, и оттолчка, и россыпь, и росчерк — душа отторгается. Не птица, а какая-то божья свирелька, какая-то тайна лесная поет.

В дальнейшем — о магнитофоне:

— Через сутки-другие — верну.

Научил ее физик, как пленку вставлять, как включать, выключать, записывать и проигрывать, вверил магнитофон.

У Лены экзамены подо двинулись, у Кости — разгар посевной. Лука Северьянович в шорницкой. Или в поле с шатериком перепелов кроет. Сватыюшка его в это мероприятие втравила. «Поймайте мне, Северьяныч, белого перепела. Альбиносного. Вдохновенный у него бой!» Вот и ловил.

Поначалу, как и задумано было, птиц записала. А потом — лукавый-то подтолкну — зятюшку увековечила.

Тот умученный после двухсменки явился. Кое-что похлебал и в сенях на холстинке прилег. Когда разоспался, она и насторожила у беспечного его изголовья магнитофон — и, конечно, техника в быт.

— Послушай! — вечером Ленушке предлагает. Голос прискорбный, измученный, угнетенный изобразила. Доходяга душевная.

Включила магнитофон, и зажурчал, заклекотал задушевный, матерый, жизнерадостный Костенькин храп. Некоторые периоды плавно выводит, апогей с перигеем прослушивается, а потом вдруг угасится начисто звук, перемрет ненадолго, да как распространяется — ровно пускач кто в носу рванул.

Тещенька возле ленты сидит, лента крутится, а она разрисовку дает:

— Арапат обвалился. Vo! Vo! Храпидолы в рукопашной сошлись.

Дождется еще одной даровитой напрягнутой ноты — еще расшифрует:

— А сейчас с пещерным медведем схватка. На заре прогресса действие происходит.

Ленушка недоумевает:

— Что это за странная запись, мама?

Прямого ответа не поступает:

— Тсс. Во!! Танки справа! В укрытие!!

— Какие танки, мама?

— Такие... Проиграй эту документальную запись в народном суде, любой мало-мальски гуманный судья расторгнет и аннулирует... С первого же прослушивания развод предоставит. С печенегом живем...

Дошло наконец до Ленушки.

Вскрикнула, кинулась ненавистно на магнитофон и в клочки эту ленту, в клочки. Потом в слезы да в беспмятство.

У Софьи Игнатьевны юбки от оторопи засвистели. Водюю ее отбрызгивает, виски ей перцовкой смачивает, уши кусает дочерние. В чувство бы привести.

— Ты меня не дослушала! — голубую слезою окатывается. — Это в нем силы клокочут жизненные... Объем груди извергается... Породите мне внучека! До каких пор могу я с птицами?! Поневоле всякая пустельга в интеллект заселяется.

Вот такая малина цвела. Вот откуда и заумь такая возникла, мол, не стало танкисту ни свету, ни дыху от вздорной и взбалмошной тещеньки. Отчего и в Египет хотел убежать. Сваха да ворожея, говорю, известные полководцы.

На самом же деле случилось — пошли Костя с Леной в кино. Как обычно, журнал поначалу показывали. Учения танковых войск. И видит вдруг Костя воочью, во весь-то экран, видит Костя дружка своего, командира «тридцатьчетверки» Алешу Лукьянова. Майор Алешка! Реку его машины форсируют! И не надо Алешкиным танкам мостов и понтонов. Словно скорые умные раки, ползут они по дну реки. Только рокот, могучий бронесказуемый рокот! Не дышал, на экран глядя.

Вернулись из кино — молчком разобрался, заранее веки сомкнул. Лена чего-то мурлыкает, ластится, а Костя, недвижим, безгласен лежит. Алешка все мнится. А не вместе ль они, колхозные пареньки, перводерзкий пушок над губой постоянно, для форсу, мазутом пачкали. Надышишься сладкой соляровой гарьки — и повлекла, повлекла тебя молодая надежда. Каждая звезда куковала, самое радугу плечьями подпирал. Некто поверхностно видит и думает — старшина на пушечный ствол, ноги свеся, присел покурить, а это совсем и не старшина. Генерал это. Или выше бери. Мечта наша, пташка, куда не дерзает.

«Десять классов — кровь с мого носа — закончу, — цедит дымок старшина. — Воевал достойно, броневую службу люблю... Таких, молодых-неженатых, в любое училище: «Милости просим». Старые-то кадры пыхтят вон...»

И в самом деле — пыхтят. Инспектирующий генерал на подходе.

Прянул с орудия пред ним старшина — не то бог молодой, не то черт холостой... Из-под темных бровей сини кремни искрят, белей, чем у молодого волчишки, зубы, от погона до погона — четыре перегона. Козырнул. Доложил. Пояснил. Благодарствован был — «Служу Советскому Союзу!!» — зазвеняло серебро на груди. Каждая звезда куковала. Самое радугу плечью подпирал.

Некто, с простой души, думает, старшина тут присел покурить, а тут — академик сам, бронетанковый! Мечты наши, пташки... Прихлопнул вас крокодиловый чемодан, подыграла вас фараонова кость. «Сколько же Алешке лет теперь?» Перепутал его подсчеты голос из репродуктора. Передают заявление правительства... «Египет стал жертвой агрессии...»

Косте вроде бы старострельную рану потронули: «зять английский» припомнился, картежник, союзничек. «Погоди, погоди... Египет? Он же там фараоновы кости взрыл? Капиталы там, комендант говорил! Совладеет Суэцким каналом?»

Вслушивается в радио и, как ясновидящий, мнит: «Там акула! Там вол-ча-ра... Кус египтяне из пасти вывали!»

И еще сторожит ухо тоскливое слово — «жертва»: «Кондрат твоя жертва, я твоя жертва, теперь — Египет. Народ целый!» — сыграл желваками.

День за днем, час за часом — солят, вередят газеты и радио по Костиной ссадине, по сукровице. Сообщают, что англо-французы бомбардируют Египет, силой пытаются отрезать Суэцкий канал, что используется уже американское оружие...

«Там! Там акула!» — поджигается с каждым сообщением Костенькина обида и месть.

Потом — дивно! «Английский зятек» измельчал, уничтожился, как-то сникчемился. Египет завоссиял, побиваемый. Ничто перед горем его Костенькина скула с синей гуглей, и танковая академия — не потеря, и трибунал забываться стал. Одно нестерпимо — малых бьют. Малым с колен привстать не дают.

Тринадцатый день Египет в крови и в огне.

Тринадцатый день неславно на отчей земле далекому русскому человеку. Вот так, наверно, когда указывает совесть, и ходит Россия на Шипки. От родных пашен и скворушков, от малых детей и возлюбленных жен...

Ленушку не тревожит. Зачем ей, маленькой, его мужская сумятица? И одним вечером — официальное заявление. Смысл тот, что если наглое избиение Египта не прекратится, то в Советском Союзе не будут препятствовать выезду добровольцев, пожелавших принять участие в борьбе египетского народа за его независимость. Утром стоял Костя перед военкомом. Прочитал тот заявление, полистал военный билет и чутку обескуражил парня.

— Рад приветствовать вашу решительность. Первым в нашем военкомате. Придется, однако, подождать. Нет нам пока прямых указаний. Где вы остановились — на случай срочного вызова?

— У Кондратия Карабазы.

— А-а-а... Это который раны винцом потчует, — усмехнулся военком.

— Достойные, стало быть, раны, — откликнулся Костенька.

— Добре! — протянул военный билет комиссар. — Если сегодня до конца дня не вызову, явитесь завтра в девять ноль-ноль.

Развернулся сибирский конек к Кондрашечке.

Известился Карабаза, что намерен немногословный, но каменный в слове его командир добровольцем пойти, сунул по соске-пустышке в губенки своим близнецам и ходом скорей к военкому.

— Меня тоже пишите. Кондратий Карабаза. Еще не все танкисты погорели!.. Три зубу не взыскано. Панихида не справлена...

Ответ получил, как и Костя: завтра в девять ноль-ноль.

Зима тот год ранняя стояла. Снега. Морозный денек — куций. Однако достаточный, чтобы райцентру стало известно: танкисты едут в Египет. Заторопились на Кондрашечкино подворье друзья-товарищи. И знакомые, и полужнакомые. На летних сборах встречались, на полигонах и просто в военкомате. У Кондрашечки фляга браги стояла. К именинам крепилась. Откинул он полуг в запечье, прислушал:

— Курлычет! — братве подмигнул. — Вчерась сахару добавил — как тигра всю ночь рычала.

Барана под этот случай прирезал.

К вечеру еще один в Египет решился. Этот из молодых. Только демобилизовался, новые танки знает.

Ну... Усидели бражку, умяли барашку — вызова от комиссара нет. Направились в забегаловку. Там восприняли. И задрожала, заколебалась в углах паутина.

— Все мы от одного танка произошли! От «тридцатьчетверки»!! — целует воодушевленный Кондраша пожилую буфетчицу.

Попоют, попоют — побеседуют. Про Египет, само собой, разговор.

— Птица феникс у них в поверьях есть. Сама себя сжигает и из пепла потом воскресает.

— Про птицу — сказка. А вот народу действительно приходится из пепла. Из крови...

По соседству с танкистским застольем директор местной конторы Заготскототкорм черева услаждал. Хмыкал он, хмыкал пупку своему, а потом плеснул гранатый стакан еще на «каменку» и произрек:

— До чего... До чего народ хитромудрый пошел?! И на целину, и на велики стройки, и в сам Египет корячится. А нужен ли он тебе, Египет? — на Костю уставился. — Какая у тебя там болячка? У тебя другая болячка... Славушки жаждем! Патретики чтобы наш пропечатали, фамиль вознесли. Весь тут и Египет.

Костя с лица сменился. Привстал даже.

Остановил его звонкий, словно на наковальне сыгранный смех. Оглянулся сюда, а здесь инвалиду юморно стало. Изнемогает — хохочет. Аж рукав у фуфайки трясется, ходором ходит.

— Разве в такой шубе мыслимо? Да ты в ней, не доезжа Дарданелл, обовшивеешь...

А шуба на Косте — сибирских барашков мех. Фабричного производства, под черный блестящий хром выделана. Всего лишь неделю назад из сельпо ее Лена вынесла. Полгода яйцами отоваривала, дедко быка годовалого за нее же пожертвовал. На деньги не купить тогда было — к товарообмену колхозника поощряли. Для работы-то Косте и ватник был гош, а на люди, на мороз, кроме бобрика-ветродуя, одеть было нечего.

— Ежель в Египет, закосил бы ее инвалиду, — набируется однорукий.

— Правильно калека говорит, — поддержал однорукого Заготскот.

Напряглась забегаловка.

— Значит, мы для портретика, — сыграл скулами Костя. — Значит, славушки жаждем?! Покупай! — в честь момента освободился от шубы. — Покупай! — протянул ее однорукому.

— Какая еще цена будет, — хищненько запустил владыку в меха инвалид.

— Восемьсот семьдесят девять рублей отоварено. Копеек не помню...

Кондратий вмешаться хотел, а потом оценил инвалида: чай, денег всего-то на стопку с прицепом. Еще потому не вмешался — позорный упрек всем им брошен. Не препятствует сделке.

Погулял по мехам инвалид, химикаты снаружи понюхал. «Отвернись на минутку!» — буфетчицу просит.

После просьбы ослабил опушку у ватных штанов и извлек из нательного тайника пачку сотенных. Отслюнявил восемь бумаг:

— Держи, египтянин! — колокольчатый снова выдал смешок.

Кондрашечка теперь затревожился:

— Погоди, погоди, Константин!.. А в чем же на улице? Мороз двадцать градусов, и в Египет еще бабушка надвое...

Отстранил его Костя.

Кондрашечка к инвалиду:

— Поимей совесть! Середь зимы раздеваешь... Морозы-то стоят! Цыган и то с рождества...

— Деньги без глаз, — голосисто журчит инвалид. — Они и на Северном полюсе тепленькие.

— Тогда отдай хоть фуфайку на сменку. Будь желтменом. В одном френчике человека оставил.

— Это — пожалуйста, — скинул ватник с себя инвалид. — Бери на придачу. Эту и в Дарданеллы забросить не жалко.

Перелицевались русачки для себя неожиданно.

Осматривают один одного: все ли подогнано. Никто не заметил — когда, в какой миг покинул свой стол Заготскот. Прогнусел, вонзил яд и извилнулся. Уполз на тихоньком брюшке.

Наутро бежали наши добровольцы по звонкому морозцу в военкомат. Рукавчики у инвалидной фуфайки для Кости коротенькие, руки по саму браслетку голешенькие, пришлось для замаскировки собачьи мохнат-

ки одеть. (Кондрашечкин дедко покойный носил, конокрад.) Военком его даже и не признал с первовзгляда.

— Слушаю вас! — очки протирает.

— Приказано было в девять ноль-ноль...

Вгляделся в него военком: доброволец это вчерашний.

— А шуба, позвольте, где? — спрашивает.

— Продана, товарищ подполковник. Я налегке решил. Там, говорят, жара неспасенная... В белых трусах, говорят, воюют.

— Мдя... Мдя... — смущенно отмеждометился военком. — Возможно, и в трусах... Только поспешили вы шубой распорядиться. Нет мне пока никаких указаний. И, думается, не будет. Думаю, поостудит горячие головы позавчерашнее заявление правительства. Москва говорит — не воздух, чай, сотрясает. Вот так-то, ребяташки. Рапорта ваши пока на столе, под руками у меня будут, а вы спокойно работайте, каждый на прежнем посту. Потребуется — немедленно вызову.

Потряс с благодарностью три отбронелых мозольных руки, и подались гусечком славяне не солоно воевавши. Военком еще раз, теперь с тыла уже, оглядел кургузую Костину фуфайчку и длительно барабанил потом пальцами по стеклу.

— Мдя... Мдя... Век служи — век дивись. А кто ж это произнес, что русские долго-де запрягают?..

Танкисты меж тем совещались: как теперь быть. Инвалид, по словам диспетчера автовокзала, уехал уже в Казахстан. Сделку теперь все равно не расторгнешь, шубы теперь не веротишь...

А без шубы явиться домой куда как неславно, нелепо, конфузно и совестно. И в Египте не побывал, а уж урон в обмундировании. Ведь каждый досужий язык... Скажут: пропил, прогулял... Тещенька птицу наказывала... Губы опять подковкой свернет. А Лена, бедная Ленушка... Полгода яйца сдавала. Дедко быка не щадил. Худо, погано содеялось.

Костя даже на правительство разобиделся: «Съел облизня... Поплевал в кулак да на сквозняк его». Картежник в памяти нарисовался — того поганее на душе сделалось. «Второй раз из-за гада впросак попадаю».

Спасибо Кондрашечке. Пообонял он поисковым, принюшливым носом своим и вдруг встрепенулся:

— Пошли к Македону! Свой брат — танкист. Уж если не Македон, то и не бог...

Македон — офицер запаса. В миру — председатель райпотребсоюза. Сибирский купец.

— Выручай, Македон Федорович! Окончательно мы погорели. Такой «фаус» нам поднесен... Шубу надо. Упаси от бесчестия наглого.

Обревивозвали промтоварные склады, обзвонили недалежные деревеньки — нет шуб. С подвоза их разбирают. Заранее отоварены. Сибирских барашиков мех...

Ну как домой показаться, как вразумительно объяснить? Бои чуть ли не под экватором где-то идут, а в Сибири шубенку боец забодал. Протяни-ка сумеи здесь причинную ниточку.

Купили, поверх телогрейки, непродуваемый плащ. Все-таки на «желтмена похож», как изволил Кондрашечка выразиться. В собачьих, правда, мохнатках, пожертвованных. Хоть руки в уюте. Домой устремлялся подгадать ночью приехать. Не всякий чтоб глаз соблазнять. Перед дверью вдохнул обреченного воздуха, отворил и юловатым каким-то, несвойственным голосом не то домочадцам, не то «композиторам» здравия пожелал.

— А шу... — не договорила, повисла на шее Ленушка.

— А шуба где? — узаконила вопрос Софья Игнатьевна.

— Мобилизовали шубу, — криво усмехнулся Костенька.

За чаем подробненько все обсказал. Утешил как мог:

— У Кондратя барана по этому поводу съели и бражку... На именины и раны обмыть не осталось.

— Ра-зы-шет! Весь в конокрада-покойника, — попытался направить беседу в сторону прашуров дедушка.

Софья Игнатьевна, однако, Заготскототкормом интересуется.

— У него жир с рожи каплет, — подождгло опять Костеньку. — Жрет коровью печенку!..

— Наплюй! — неожиданно потискала Костину руку тещенька. — Честь наша с нами, а шуба перед ней — тьфу! Вижу не мальчика, а доблестного мужчину, дочь моя, — встормошила прическу Ленушке.

Костенька даже скраснел.

На этом домашние толки и кончились.

Агрессия тоже вскоре закончилась. Военком правильно рассудил: Москва не воздуха сотрясает.

Про шубу в домашнем кругу порешили не распрост-

раняться особо, а дедушка взял да и заложил добровольца. В колхозном правлении. Привсенародно!

— А все-таки здорово иностранная разведка работает,— свои соображения высказал.— Сопчили военным министрам, что сибирски ребята шубы распродавать по дешевке начали, у тех и в кишке стратегической холодно сделалось. «Продадут шубы да заделают нам египецко небо в овчинку...»

— Про какие ты шубы маячишь тут, дед? — наводящий вопрос ему задали.

— Дык... Костенька наш. Неспособно же на икваторе в шубе.

Заложил внука деревенскому мнению. Египтянином после этого Костю прозвали. И старый, и малый в момент подхватили, и начальство, и подчиненные, и в бане, и в сельсовете. Кончился Гуселетов. Живи теперь, Константин, иждивением народного творчества. Сочинится в мехмастерской перекур, и тут же чей-нибудь язычок проворный отметится:

— А что, Костя?.. Взять бы тебе да и самому Гамаль Абдель Насеру рапорт подать? Неблагородно, мол, с шубой случилось. В фуфайке опять по морозу полкаю из-за своей солидарности. Неужто он тебе египетцку форму не вышлет?!

— Даже египецко звание может присвоить,— поспешает с горячей догадкой второй добросерд.— Фараон третьего ранга!

— Га-га-га...

— В фуфайке проходим,— ежится танкист.

Угнетал, подавлял его такой разговор. Незлобивый он и шутейный, а гордость твоя не присмлет. Пусть кума полоротая, пусть ворожея, пусть самое что ни на есть худоязыкое полудурье, пусть даже понятливый человек и всегдашний доброжелатель твой, а коснутся сторожкого места в душе...

— Салют египтянину!!

— Страуса теще не подстрелил?

И тоже не без смысла. Кто на оглоблю вешался? Она. Кто просил птицу египетску добыть, коя с крокодилом сожительствоует, в зубах у него ковыряется? Она!

Опостылело слушать. Кондраша Карабаза — тот походя отшутился бы. А Костя — тяжелодум.

Приспел отпуск, и собрался он якобы к другу на Волгу. На вторую неделю приходит оттуда письмо.

«Жизнь наша, Ленушка, в корне меняется. Работаю на бульдозере, живу в общежитии. Поступаю в вечернюю школу. К весне, как семейному, мне обещают квартиру. Закончишь учебный год и скорей приезжай. Учителя здесь нужны. Буду ходить в твой класс. Пиши мне помногу и часто...»

До Нового года жили они перепиской, а в каникулы Ленушка разыскала его. Без никакой телеграммы на рабочей площадке явилась. Выскочил из бульдозера, отнял ее от земли, маленькую, и целует, целует живое румяное счастье свое над застывшей студеною Волгою. Крановщики, экскаваторщики заприметили, видно, что белую заячью шапочку залучила чумазая Костина роба, залучила и носит по кругу, по кругу, по кругу... Как загудят-заревнут мужья-одиночки. Ленушка уж отбивается от его поцелуев. В нос ему рукавичкой, в нос... А нос-то, вы, братцы мои, наисчастливейший!

Натвердо было обговорено: весною Елена сюда. Работа — хоть завтра.

Уехала заячья шапочка. В Сибирь, к бабушке.

И вот — полоса жизненная... Так настроилась — то передряга какая, то сюрприз тебе подлинный. Событие с событием сближается.

Получает от Ленушки телеграмму. «Приезжай, если можно. Мама выходит замуж Луку Северьяныча».

Поехать, понятно, не смог — авральное время на стройке гудело. Поздравление послал. «И как это оно шустренько у них, старых, склеилось?» — не перестает восхищаться.

А случай-то — не из ряда вон. Житейское дело.

Уехала Лена на Костину стройку. Остались они один на один с недомолвками прежними. Новый год настает. Дед Мороз с чудесами со всякими ходит. Сидит после баньки Лука Северьяныч, отечественным сибирским румянцем сияет.

Манефа мурчит, самовар ворчит. Балакирев конопельку ест. Под сибирское время рюмашку со сватьей приняли. По московскому повторили.

— Ну и гемоглобину в вас еще, Лука Северьяныч! На трех юношей хватит современных.

— Ничо себя чую... — подсекся голос у старого.

Наутро он первым воспрянул — пора бы корову доить. Игнатьевна сладко и мило ягняткой пригретой спала.

Философствовал малость: «Конечно, птица, как ты с ней не играй,— все птица. Одно чириканье».

А потом, через пару каких-то минут, смятенно гляделся он в сонную сватьину грудь и почти по складам, как ликбез позволял, вчитывался в зеленые буквы на колки:

— До-лой стыд...

Еще бдительно раз прочитал — то самое. Не вырубил топором: «Долой стыд!!» И два восклицательных знака оттагуировано.

Жарко молодожену сделалось, смутно. Закрякал, заворочался, изломал золотую-то вдовью зореньку. Тут же, на ложе греха, и допрос учинил. Ущипнул за один восклицательный знак!

— Это что за лозунга такая?

— Это... — принялась отстранять его заскорузлые пальцы сватьяшка, — это еще в период нэпа... В Ростове... Организация у нас, у девчонок, такая была. «Долой стыд» называлась. Нэпманши, паразитки, и ихние доченьки в бархатах да в шелках мимо нас фигурируют, а наша прослойка — в сатиновых юбочках выше колен. Безработица нас угнетала, мануфактуры лишнего метра купить было не на что. Ну и, как вызов обществу, наколки вот эти... дурочки глупые...

— А это... Софья тебя зовут... Сонька Золотая Ручка — не твой севдоним? В том же градиусе курулесила...

— Этот мир мне далек и незнаком, Лука Северьянович. Мы вскорости девичий театр организовали.

— И кого же ты там представляла?

— Куплеты пела. Антирелигиозные... Попов искажали.

— Из деревенских баб наших никто не прочитывал это воззвание? — потянулся опять к восклицательным знакам Лука Северьяныч.

— Ну что вы! Я от Ленушки даже таю — одна в бане моюсь.

— И не моги!!! Спаси тебя богородица кому-нибудь этот афиш показать.

— Я сама уже целую жизнь за девичью эту глупость расплачиваюсь. Хоть кожу срежай. Ленушкиного отца постоянно смущало и коробило даже.

— И покоробит. Я сам вот чичас чуть в дугу не загнулся. Тут ведь вот что еще размышлять надо. Вот

помрешь ты, к примеру... Придут деревенские бабы тело твое обмывать. Ну и что? Упокойница, скажут, а с чем перед анделом выставилась, на что намекает, чего завещает? Нет. Тут какие-то меры надо принять. Змея бы, что ли, по сему полукружью дорисовать? Или орлиные крылья вытравить?..

— Воля ваша, Лука Северьяныч. Я поэтому самому, может, вполжизни жила. Ленушкин-то отец... Не мог примириться. Не верил мне тоже. Я полгода лишь женщиной пробыла... Ни ласки ничьей и ни преданности...

Слезы крупные у нее навернулись.

Лука Северьяныч сладостный веред какой-то в предсердии своем ощутил, словно птенчик какой-то там отогрелся и выклюнулся. Задышал он взволнованно, жарко, во сватыно ушко:

— Не томись. Перепела тебе упоймаю... Белого... Токовика...

Обвилась-оплелась опять комлеватая плотная шея Луки Северьяныча жаркими белыми руками.

— Мне теперь семирадужного не надо,— лепетала.— Повыпущу всех. От вдовства, от тоски с ними баловалась. Воспоют пусть свою благодарность за грехопадение мое.

— Ну-ну... Уж растрогалась как. Ни холеры им не воспеть. Погинут. Неспособные оне к вольной жизни. Тут кроме птиц есть вопрос. Вдовство наше, по-видиму, кончилось, и следует нам перед детьми нашими и перед деревенским общественным мнением в чистоте и законе себя соблюсти. Справим свадьбу. Объявимся всем. Корovou ты научилась доить...

Костенька всякой подробности этой не знал. Откуда ему... Это между двоими. Вполголоса. Однако, по-честному если признаться, трижды и трижды благословил он дедов и тещенькин брак. Вся его жизнь прояснилась. Совесть его ущемляла, что дедушку бросил. Теперь он пристроен, ухожен, Лена от мамы тоже свободна, тещенька вроде бы на искомую колею набрела. Одна головешка в печи гаснет, а две головешки и в поле горят. Стратегии старики!

Приехала Лена. Работал желанно и всласть. Завлекала и зазывала работа. Плечи иной раз немели, пальцы терпнули. Появилась новая песня о Волге. И была в ней

строка такая: «Свои ладони в Волгу опусти». Костя ее на свой лад напевал. Не с пригрустью и не с угасанием, а как побудку: «Сотвори ими, на Волге, своими».

Начинается это исподволь, постепенно, и вселяется однажды в рабочего человека сугубая вера, что нет на земле алмазов, равноценных честным мозолям его, что сам он, владыка пары рук, драгоценнейший камень в короне Державы своей. И сознает он тогда себя соленой частичкою рода людского, истцом и ответчиком века, подотчетным лицом за ребячью слезинку, за напряженный бетон, за слова на высокой трибуне.

На Волге получил Костенька первый «гражданский» свой орден. А по окончании строительства вызвали его в отдел кадров и попросили «подробненько» рассказать про судимость. Потом и про шубу. «Откуда дознались?» — дивится Костенька. Веселый рассказ поучился. Кадровики с удовольствием выслушали.

— Ну а теперь как? — спрашивают. — Закрепля рука? Можете вы ею руководить? Не понесет опять... в самоволку?

— На ваших глазах живу, — отвечает Костенька. — Аттестат зрелости выдан. Не должна понести, — на кулак усмехается.

И предлагает ему отдел кадров поехать в Египет. Плотины строить. Строить одно, а второе, самое главное, говорят, египтян обучать там придется. Самостоятельно чтобы на наших машинах работать могли.

— О жене вашей тоже подумали, — говорят. — Многие наши специалисты с семьями едут. Школы там русские будут, детские садики.

Вечером пересказал он этот разговор Ленушке.

— Трогаем, египтянушка? — приласкал ее волосы.

Почему-то она раскраснелась. Смотрит тайно: то смелость немая во взоре мелькнет, то беспомощность, ласковость, нега.

— А врачи наши, русские, будут там? — чуть не шепотом спрашивает.

— Будут, конечно, — спроста отвечает. Потом спохватился:

— Погоди, Ленушка... Ты почему про врачей?.. Ты... Ты...

— Я!.. Я!.. — зазолотились слезинки. — Я, паразит такой! — И начала она колотить его по чему попадая. — Столб уральский! Чурбан! Эгоист разнесчастный!!

Поднял он ее на руки, мебель пинает, кошке хвост приступил...

— Ленушка! Ленушка!! — возгудает. — Неужели-то? Дивонько ты мое.

Стал наш Костенька действительным, всамделишным египтянином.

Дедко в деревне аж грудью хрустит:

— Сказано — сделано! В нашем роду трепачей не было. В мусульманы перейдем, а на своем постановим.

Однажды нащупал Лука Северьяныч фотографию в международном конверте. Пупок и кортик наружу, смотрит с нее на Луку Северьяныча молодой Гуселетов. Сватье внук, ему правнук. Через год с небольшим опять жесткий конверт. Сватье внук, ему правнук.

— Климатические условия способствуют, — с ученым видом пояснил он супруге. — В тепле кажин злак...

— Молодость способствует, — вздохнула Софья Игнатьевна. — Нас с вами хоть на Огненную Землю уедини, хоть на Камчатские источники.

— Ты брось господу искушать... Чего намекает?.. Да появивсь, ко примеру, у нас дите... Это кто будет? Это дед будет? Это дед будет Костенькиным Ваське с Валеркой. Небывалое дело, чтобы дед младче внуков произрастал.

— Понячиться бы, — вздохнула опять Софья Игнатьевна.

— Приедут вот в отпуск — понянчишься. А на меня не уповай...

Месяца через два после сего разговора навестило их снова письмо. Костенькиной рукой писано. Смысл тот: если согласны вы, старики, приехать сюда погостить, выхлопочу вам пропуск. Пишите или телеграфируйте. После прочтения Лука Северьянович в сомнениях погряз, в тайных размыслах. У супруги же пушок на губе ветры странствия тронули:

— Поедьте, Северьяныч! Древнейшая колыбель цивилизации! Контрасты всякие, экзотика. На верблюде сфотографируемся.

— Икзотика? Болезнь, что ли?

— Господи, слышим звон... Чудеса незнакомой природы это. Чужеземные пляски, свадьбы, игрища, останки фараонов...

Северьяныч во время таких непонятных слов и на «вы» начинал ее называть. По имени-отчеству.

— Попутного ветра вам, Софья Игнатьевна. Шесть фунтов под килем. Само время поехать. Соопчали — фараона там неженатого изыскали. Обвенчаетесь гля икзотики. Лучше верблюда уродище...

— Господи! Чего он трактует?! — притворно затиснула уши Софья Игнатьевна. — Как и не оскорбит только!

— Поезжайте, поезжайте... Птица феникс там есть... Раз в пятьсот лег прилетает. Нынче, соопчали, как раз должна прилететь... Муравьиных яиц только с собой захватите.

— Он невыносим, — принялась перцовкой виски себе смачивать супруга. — Пока способна душа удивляться... тьфу! Чего я... Внук единственный призывает! Правнуки ваши там!! Кулачками маленькими вас за бороду осязать...

— Так бы сразу и говорила по-человецки. А то — верблюды, игрища... Пусть в баню ко мне приедут... Покажу игрище...

Замолчал, заструил бороду и откровенно признался:

— Разведка меня сомущает. Опознает — таких верблюдов применяют — повзвоем матерым волчушкой. Там Митьку Козляева не посвистишь!

— Никакая разведка не затронет вас и не опознает. Мания это у вас надуманная. Я бы на вашем месте специально орден для этого случая привинтила. Пусть видели бы Костенькины товарищи, какой у него самобытный дед. Исполнен отваги, достоинства, мужества — закоренелый, могучий, старосибирский дуб на древнюю землю пожаловал. И даме на геройский локоть достойнее опереться.

— Дубы-то у нас не ведутся, конечно, — начал склоняться Лука Северьянович. — Стало быть, привинтить, говоришь?

— Всенепременно! Египтяне вам честь будут отдавать как старейшему воину. Ваша суровая биография рядового сибирских полков всему свету известна.

Подольстилась-таки. Обкуковала седого кочета.

— Тогда вот что, — примиряюще крякнул Лука Северьянович. — Тогда груздочков бы надо молоденьких присолить. Костенька уважает. С разлуки его даже прослезить может. Из-под родимых березок душок...

— Перепел вы мой вдохновенный! — поспешный поцелуй ему в сивую заросль вонзила.

После достигнутого согласия отослали они международную телеграмму: «Ждем вызова».

На другое утро повесил Лука Северьянович корзину на локоть и пошагал по просторным березовым колкам. Гривки выбирал. По гривкам он толстенький, груздь, растет, упругонький. Как осос-поросеночек. Найдет запотелое в соках земных духовитое скользкое рыльце, осмотрит с исподу пушок, волоконца. Слезинку меж волоконцев старается углядеть. Коли гош, коль по нраву груздок — с ближайшей березки веточку сломит, облакает ее тихим словом:

— Умница. В Египет листок твой свезу. Груздки твоей веточкой переложу.

Не по нраву — другой разговор:

— Самобытности в тебе нету, — укоряет груздя. — Икзотики недостаточно.

Готовит их под посол, а они, как серебряные рублевки, светятся.

— Интересно, употребляют ли их мусульманы? — гадает по ходу дела. — Возможно, с отдельным компанейским веселым феллахом араки восхряпнуть назреет момент... Закусь-то! Под такую — всю международную ярмарку с копытов долой.

Усолели груздики, закупили старики в сельпо чемоданы, сговорили соседку доглядеть по хозяйству в момент их отсутствия. По первому зову, как говорится, готовы, а из Египта покуда ни весточки.

И вдруг телефонная вызывная. Через сельсовет. Приглашают Луку Северьяновича в райисполком. Одного. Без супруги.

Софью Игнатьевну такая неполноценность за сердце кусила.

— Надень орден! — настаивает. — В случае, если мне власти отставку затеяли, ты басом на них, на современную молодежь... С высоты подвига разговаривай.

— Ладнень, — пообещался Лука Северьянович.

Торопливо и уважительно усадила его секретарша. Извинилась, исчезла в соседнюю дверь. Через минуту вытеснился из нее Заготскот, за ним Македон проследовал. Приглашают Луку Северьяновича. Поздоровался с ним председатель, усадил со всей чуткостью.

— Как здоровье, Лука Северьянович?

— Ничо себя чуйствую. Борзенько еще.
— Сердечко не балует?
— Не чуйствую покамест.
— Дровишек, сенца заготовили?
— Дрова соковые ноне нахряпаны, сено под дождичком, правда, случилось.

Еще два-три «обиходных» вопроса — и приступил председатель к сути:

— Крепитесь, Лука Северьянович. Прискорбно обязан я вас известить, что внук ваш Константин Гуселетов отважно и самоотверженно погиб...

Наклонилась и замерла в голубой седине голова. Задавил короткое первое всхлипывание. Задавил и второе. Чего-то отглатывал долго. Молчал.

Когда изготовился всякую боль вместить, бестрепетно поднял взор:

— В сраженьи... случилось? Или... от техники?..

— Тут письмо нам,— развернул листки председатель.

...Отдел кадров, оказывается, не от праздного любопытства про руку — закрепила она или нет — вопросик ввернул. На всякое можно рассчитывать. Туристов-то в Египет не суздальским пряником зазывать. И пирамиды, и сфинксы, и храмы тысячелетние, и мертвые города, и те же верблюды. Софья Игнатьевна не обмолвилась, когда про них заикнулась. Для богатеньких старушенций предел молодечества на лежащего дрессированного верблюда залезть, а потом, когда он поднимется, улыбку потомству изобразить. «Вот она я — джигитка, в девятнадцатом веке зачатая». А иная еще и на араба взберется, дабы он ее на закукорках на Хеопсову пирамиду вознес. И возносит. За бакшиш — сам шайтан садись...

Наезжали эти туристы и на плотину. Не старухи, конечно, помоложавее контингент. Тут уж, нашего века диво. Свыше трех километров длина у нее спроектирована, на сто одиннадцать метров ввысь она прянет. Прямо к подножию аллахову... Одних скал подорвать, издробить, искрошить, переместить, в монолит их по новому месту сплотить — на семнадцать Хеопсовых пирамид наберется.

За день до роковой той секунды обучал Константин молодого феллаха управлять ковшовым экскаватором. Неподалеку от их пригорка облюбовала себе обзор бело-

штанная разноязыкая эта команда. С фотоаппаратами, с термосами, с биноклями. У Кости тоже бинокль в кабине висел. Поднес он его к глазам и заерзал, заволновался. «Английский зять» ему в толпе померещился. Заглушил экскаватор, и понесли его сами собой резвы поженьки. Он! Он, враг! Чутьочку постарел, но такой же румяный, тот же корпус борцовский, загорелый проем груди, кулаки, словно медные чушки. Повстречались глазами друг с другом и влюбились доразу. Взор ото взора отклеить не могут. «Эх, как оно бухает...» — почуял вдруг сердце свое Константин. Скулы окаменели, во рту подсыхать начало. Стоят в трех шагах, обжигаются ненавистью, и немислимо им своей волей сейчас разойтись.

— По кровь... или по кости? — выдохнул старый танкист.

— Оба хорошо, — шевельнул кадыком «английский зять».

— Опять в неприкосновенных?

Такое вот конкретное собеседование ведется. Туристы языка не понимают, однако видят — не про блины и не про пейзажи тут... Окружили своего попутчика, увели.

Костя к феллаху взобрался. Клокочет весь. Закуривать начал — спичку сломал. Феллах между тем зеленую муху в кабине ловит.

— Ты, парень, давай посерьезнее будь, — хмуро выговорил ему Костя. — Учись вот повдумчивее... Не то припрягут тебя опять в пару к буйволу. Женят на мотыге... Отпрактикуют, пока ты тут мух давишь. Включай!

Наутро опять столь же хмуро и строго:

— Включай!

В километре примерно от ихнего экскаватора, у подножия пустынных волнистых песков, высятся серые дикие скалы. На планерке оповещали, что в нынешний день, в указанный час, будут одну из них подрывать. Потом эти глыбы погрузят на самосвалы, и уйдут они в Нил.

Костенька закурил и придиричиво наблюдал, как справляется с рычагами и переключателями улыбчивый белозубый его ученик. До вчерашнего дня даже нравилась Костеньке эта улыбка, а сегодня раздражает, какой-то дурашливой выглядит, легкодумной.

— Скалишься много. Ворона в рот залетит, — нудил он парнишку.

Время от времени поглядывал на скалу, на часы, на пустынные знойные волны песков.

И вдруг за бинокль ухватился. На гребне песчаного свая, недалеко от скалы, бестолково метался из стороны в сторону египтянин-мальчишка. Петляет, прыжками сгибается, к пескам наклоняется.

— Чего... Чего он там делает? — подсунул бинокль свой стажеру.

Тот присмотрелся, заулыбался. Про взрыв-то не знает...

— Змею ловит. Бакшиш хочет. Тот мистер... Вчера вы с ним говорили... Живая змея надо. Много ребят собирал. Бакшиш дает.

Костя наслушан был малость про этот змеиный промысел. Есть в Египте такие искусные семьи — из поколения в поколение змею добывают. По следам на песке, по полозу, по извивам определяют, какой здесь гад из сотни пород ядовитого племени брюхом своим тлена змеиного коснулся, где затаиться должен, в какой точке в песок он ушел. Про одну династию даже в газетах писали. Натаскивал дед семилетнего внука, и жальнула того в мизинец ядом проворная змейка. Мизинец старик ему, не зажмурившись, тут же срубил, а как рана закрепла, опять на пески его вывел. Вот и этот теперь...

«Зачем ему змеи доспелись? — ненавистно представился в памяти «зять». — Коллекцию собирает или... тестю в коляску?»

— Поймает, скоро поймает! — оживленно подергивался увлеченный далекой опасной охотой улыбчивый Костин помощник феллах. Костя отнял у парня бинокль и снова вгляделся. Змея уходила к скалам, а следом за нею метался, добывал свой предсмертный бакшиш египтянин-мальчишка.

«Не увидят!.. Не увидят его из-за скал... Гроыхнут!!»

«Телефон бы!..» — затравленно оглядел Костя окрестности.

«Тик-тик-тик» — отделилась от прочего мира песенка старых часов. Да еще сердце: «Эх, как оно бухает». Пружинисто тронул подошвами лесенку.

И побежал.

Салоги его вязли в песках, заподсвистывала прокуренная грудь, застучало в висках.

«Хасана бы надо послать. Молодой... полегче...» —

ускоряя шаги, попрекал себя Костенька. Тело высекло пот, взмокнул лоб, заструило соленым и едким в глаза. Протирал. Не потерять бы мальчишку... Попробовал крикнуть — не смог. Задохнулся. Распростерло его на песке — хватает, хватает обжаженным ртом горячий безвкусный и тощий, какой-то несытный воздух.

«Тик-тик-тик» — опять отделилась от прочего мира песенка старых часов.

Содрогает пустыню тяжелое, изнемогающее Костино сердце.

Видел Хасан:

Тяжко оторвалась с подошвы песков, в белых смерчах и дымных космах, серая громада скалы. На какую-то долю секунды зависла над горизонтом, задумалась, прежде чем рухнуть, и тогда-то — видел Хасан — от прорана, что между скалой и песком, от яростных смерчей и огненных косм летели в пустыню, сольнувшись, обнявшись, два перышка.

Два черных перышка...

И грохотала над онемевшей пустыней песенка старых часов.

Домой Северьяныч тащился пешком.

Радость на Руси — пташкой летит, в босоножках скачет, а горе — носят. Тяжко. Тихо. Безмолвно.

Беспечальны поля и покосы, равнодушны, спокойны леса, как вчера, как на троицын день, голубы небеса.

Ни состенания, ни сострадания извне...

«Не тебя ли он, поле, пахал? — молча вопрошает Северьяныч черные зяби и рыжие жнитва. — Помнишь, втаяла жаркая капелька пота его в твою истомленную черную ненасыть? Разыщи! Отзовись этой капелькой?.. Затепли ее тихой свечечкой?..»

Молчит его поле. Безответен укор.

«А ты, светлый лес?.. Неужто забыл?! — суеверно немтует, дозывается соболезнования Северьянычева душа. — Ты поил его сладким и чистым, как соловьиная слезка, березовым соком... Не твои ли щавелька да ягодка вросли в его плоть, не твои ль ветерки обдышали его звонкоремную грудку? Напоили силой ее, первопесенкой... Отзвонили твои золотые сторожки иволги первотропки босые его, отряхивали твои хохотуны кукушки

волглые, росные крылышки над нерасцветшим подсолнышком его головы...

Зоревой журавелько твой! Горностайко, проворный и сильный, твой! Дитенышко твое!! Из крепей твоих изшедшая клеточка!! Дай хоть тихий стон? Хоть глухую молвь? Заропщи! Возгуди! Помяни Его!»

Немо вокруг. Ни состенания, ни сострадания. И только заяц на клевера выскочил.

За того, «суучастного», кто «последен проснулся» Костеньку на войну проводить, принял его, тоскующий немо, доверчивый в горе своем Северьяныч. Опознал. Стиснувшимся одиноким рыданием окликнул и распростерся — упал на обочину. Драл горстями слепыми траву августовскую. И прислушивал милый ребячий зверок скорбный человеческий ропот и зов: «Ох, зайнко, зайнко, зайнко... Не беги, не скачь на горяч песок... Обожгет песок тебе лапоньки... Засорит песок твой живой глазок... Заметет песок золотой следок...»

Поднял его с обочины Кондратий Карабаза. Он, как прослышал про Костю, а следом и про старого Гуселета, что пешком тот в одиночку сквозь ночь и леса заупрямил идти, тем же часом вдогонку бежать устремился.

— Нету твоего командира, — затрясся на Кондрашечкином плече Лука Северьянович. — Совсем... Насовсем ушел... Под египетску землю...

— Еще не все... — начал было и оборвался на полуслове Кондрашечка.

Потом приближались они к деревеньке. На мостках через малую речку Сапожницу тронул Лука Северьянович быломому танкисту плечо:

— В какой стороне Египет глядится?

Кондратий установился лицом в юго-запад.

— Там, дедо.

Смотрели в египетскую сторону.

— Велик твой бог, Костенька... — ослаб и сомлел снова голос у старого. — Велик бог у русского народа! И шубу... и самое душу!

— Укрепись, дедо... Укрепись!

Есть старые праздники — наши прадеды их еще праздновали, есть молодые торжества — сами с флажками на них выходили, но нет для живого солдата присяги сороковых другого такого гордого и щемительного

денька, равноценного Дню его многотрудной Победы. На побледневшей от боли июньской заре был загадан он обескровленным шепотом гибнущих погранзастав, тысячу четыреста восемнадцать листочков календаря искурено было, пока в неисцветаемом мае не врубил его в Летоисчисления и камни солдатский поводырь — отомститель штык.

Собственным штыком сработан и заработан!

Гордые в этот День ходят по русской земле солдаты. Все одним гордые и каждый еще наособицу. Единого образца нет. Впрочем, с русского это и не спрашивается. Особенно с сибиряка. Этот народец черт, говорят, посеял, а бог полить позабыл. Самосильно, кто как росли...

В двадцатилетие Дня Победы вывел Кондратий Карабаза своих близнецов на парад. Танкистские шлемы им из подержанных кирзовых голенищ пошил, огромные черные краги у знакомых мотоциклистов до полудня просил. Три пары их, близнецов, у него. Как ни увезет свою Катеринушку в родильное отделение, так и — сам-два.

«Опять двойка!» — смешливые акушерки в проводки ему кричат. Ощерит свою нержавейку и скалится на весь райсовет:

— Трибуналу давал заклатье по Кондратию с каждого выбита зуба взрастить, а получается — икс плюс игрек. Катька такая попалась — с двумя неизвестными...

Последнего «икса» назвал он Кондратьем, второго братишку — Костенькой.

— Бессмертье должно быть, — пояснил смущенной улыбчивой Катерине.

По шесть лет им, последним, сравнялось. Кондрашечка командармом вышагивает. Малые дышут в спину отцу. Далее — покрупнее подрост, в черных кирзовых шлемах.

— А мать?.. Катерину-то почему в строй не поставил? — цепляют Кондратия разряженные насмешницы сибирячки. — Кто им манную кашу в походе будет варить? — ласково смотрят на младших карабазят.

— Не из такого теста мои, чтобы за мамину юбку держаться! — задорит старый Карабаза «бабско воинство». И шире распроставляет кочетиную мускулистую грудь и козлеватее взносит начищенный свой сапожок.

Ленушка была вызвана военкоматом для вручения ей в этот день посмертно возвращаемых Костиных орденов.

— Идите в строй! — приказала она, побледневшая, Васе с Валеркой. — Это дядя Кондратий... Башенный папин стрелок. Из одного экипажа...

...За пирамидами, за оазисами, за миражами летели в пустыню два перышка. Два черных перышка...

Двое Костенькиных пристроились к карабазятам.

— Бессмертье должно быть!! — приветствовал пополнение старый Карабаз.

Сияла на майском, победном, торжественном солнце святая и грешная его нержавейка.

1968 г.

ПАМЯТЬ

Память вспять живет. Былому — зеркальце...

Стоит избушка — а в ней старушка. Избушка старая — скворешня новая. Летит, летит скворец, Седой Дразнилушко, летит из южных стран и кажет стае путь. Сын черный с ним, невестка в крапинку... Встрепещут крылышки, вспружинят горлышки, и взреют песенки...

И когда подадут голоса чиличата-скворчата, идет старушка перекладывать обособленную в подворье поленицу. Постарели и темны на срезах дрова, завернулася в трубки от жаркого солнца и ветра сквозного тугая береста, но звонки, набатны, певучи, как древние колокола, белые по сердцевине поленья.

С убиенным Афоней пилила.

С убиенным Алешей.

От кряжистых комлей и до самых прогонных вершин недозревшим арбузом березыньки пахли. До последнего волоконца, до смолистого острого клювика взбухнувшей почки напились той весной они, напитались сладью земной. Грянет-ахнет Алеша литым колуном в сердце стойкому коклю — нету железищу ярому в прыткой упругости дерева ни заклева, ни малого гнездышка. Прыгнет прочь колун, повзовьет его, а из тысяч содрогнувшихся устьиц — соки светлые к небу повыбрызнут. И тогда зажигаются над Алешиной, над сыновнею, головой моментальные беглые радуги. «Ах-ахх!» — и радуга. «Аа-ахх!» — и радуга...

Сгорели во порохе ладные те дровосеки.

Сгорели во вдовьей избушке дрова.

Лишь один кубометр сберегла. Не дала издымиться. Разве можно самой их — в дым...

Вот уже тридцать вторую весну, как подадут голоса чиличата-скворчата, мастерит Денисья Гордеевна сухой высокий подстил и по штуке, поленцу, по сколышку перекладывает ихние именные дрова... Во спасение их памяти, их следа, их земной всеподлинности: «А были же! Были они рождены! И дышали, и жили! И кололи дрова... Вот их дрова». Прикоснется к полену живая родная ладонь — и замрет... И заслушается. Мнится, верится, знаетсся ей, что вот этот бодливый сучочек Алеша когда-то потрогал, а этот подкряжек — Афоня вздымал.

Два полена к груди вознесла:

— Здрав-ствуй-те, мужики. Со свиданьем опять. Я постелечку новую вам постелила... Скворчатки проклюнулись.

Тишина.

Тишина.

— Кабы были вы не дрова — щей бы вам наварила. Блинов напекла. Гусака зарубила бы... Ты, Алеша, любил гусачиный пупок!

Так ласкает, сзывает и гладит любое поленце, пока не дойдет до последнего звончата сколышка:

— Вот... Потревожила вас... Скворчата сегодня проклюнулись. Лежите спокойно теперь...

...Избушка старая — скворешня новая.

Как сойдутся во стаи-ватаги молодые скворцы, как взлетят черной щебетной кучей на выгон, на выпас к Седому Дразнилушке, добывает в ту пору Денисья Гордеевна из запечья висячий холстинный рукав с табаком. Табаку — ему славно в запечье. Два века висит. Не заплесневеет и не иструхнет. И злобится-то как молодой, сеголетошный!..

Сугубый сей злак, проиндейский сей цитрус Афоня выращивал сам. Не бабья то ягодка, не та конопель... Сам рассадку обнюхивал, сам сажал, сам и пасынковал. Взялил. В связках провешивал. В тень. Чтоб и зелень и сок не спеша притомить. В деревянном корытце рубил, сквозь железное сито просеивал. Сам. У кого же, с нормальным дыханьем и нюхом, глаза от таких процедур не помутятся, враскосую не ринутся? Кот в подобный сезон на зады в коноплю и репы усмыкал, гусаки на подворье тревогу играли, подыхали, вверх лапки, сверчки... Зло и сладостно же ел табак, зеленой мужик!

Сорок колец — кольцо в кольцо помещала грудь, сорок кренделей губа стряпала. Только ухом дым не пускал, прибаутошник. Расчленил кисет на завалинке и смущает своей новинкой околотов:

Та-ба-чок — вырви глаз —
Подходи, рабочий класс!
Курево не пьянство —
Подбегай, крестьянство!

— До тупиков и проулков прорывается, — пускал нескончаемую голубую струю, умилялся табачной крестости.

А последний посев не убрал.

В перевозимые войны изрубила Денисья Гордеевна свирепый, едучий его урожай. Забинтует дыханье сырым полотенцем и доводит в корытце коренья — до мелкоконькой крупки, листочки — в рассыпчатый прах. Той порой вся женушка-Русь посылки на фронт отправляла. Чья повенчанная — чьему суженому, чья невестушка — чьему венчанному?.. Нету ревности! Любовь, тоску, ласку, золотую надежду свою зашивала в холстинки, делила меж морем и морем Несмеяна солдатская — женушка-Русь. «Пусть покурят, родимые. Пусть покурят на праведной брани высокие, громом крытые русичи! Мужики табак глаз яснит. Мужики с табаком черт не брат. И душа при себе...»

Двести тридцать стаканов снесла в сельсовет той зимой Денисья Гордеевна. А десяток припрятала. В холстинный рукав и взапечь. Возвернется Афоня ее и покурит, хоть на первых порах поуслаждается. Алеша — тот не курил и не баловался. Может, начал военным обычаем?..

Вот уж тридцать вторую осень, как сойдутся во ставатаги молодые скворцы, добывает Денисья Гордеевна на поверку, на надых и дух сорок первого года рождения зеленый табак, высыпает его из холста в то корытце заветное и бережно, ощупью пальцев, берedit, ласкает осиротевшее, скорбное зелье.

На простенке Афолина карточка весится.

А с Алеши и карточки нет.

Нешто помирать собирался...

— Ну сойди, покури... — затевает негромкий она разговор. — Снился нынче ты мне. Крикнул эдак по-звонкому: «Донька!! Наклонися поблизости»... Понимаю —

во сне, а проснуться боюсь. Ведь когда, в кои веки опять мне такое привидится. Не закажешь ведь сон...

Кот скребнет лапкой в дверь. Чуткий нюх у котов. «Побеги, когда так...»

— Ну, сойди же, сойди! — отпустила кота, продолжает негромкий она разговор. — Покурили бы рядышком... Про венгерского петуха пояснил бы мне...

Не сходит.

Ни на Афоню, ни на «Гармошечку» не отзывается. Младочертом глядит с фотографии. Левый ус, как всегда, в развихренье, в распыл мелки бесы раздернули, правый, бдительный, тоже проказу и шустрость таит для предбудущей шкоды...

Приключенческой жил мужичок.

Звонкопевный, в журавлиную силушку голос имел, некорыстный ростик, зовомый «попу до пупка», востропугую поспешь в ногах и проворный сметливый ум. Грамотешка церковноприходская, а на выдумку, вымысел!.. Упомянутый поп его иезуитом за глаза называл. Потому как Афоня со сцены персону сию не отпускал. Начитается Емельяна Ярославского и воинствует, пьесы домашне-приходские пишет. Попа прямо в опиум бьет, расхристосывает. Недели, бывало, не пройдет, чтобы он чем-нибудь не оконтузил сословье поповское.

Стародавний приятель Афонин, заслуженный деревенский артист дед Коза часто про бывлые проказы его вспоминает. Заведет издалячка, с околицы, а наведет на дружка:

— Никакой отсебятины в нынешних постановках! Одно званье осталось, что, мол, самодеятельность... На всякую выходку, чох и ужимку — готовый костюм подай-поднеси. Грим, парик, вазелин, обезжиренный волос... Историчеcki правильно умеи ручку целовать, историчеcki стрижену бороду клей, по системе ходи, по системе гляди — никакой, говорю, отсебятины! А отсебятина тем именно дорога, что она-то и есть истинная, вселукавая самодеятельность. А к сему вам пример...

Позатеял Афоня поповские аппетиты на гыганьки публике выставлать. Написал, значит, пьесу, провели репетицию, надо нам обязательно рыжий парик. Поп у нас, как огневой лесовик, детинушка, выкунел... А где прикажете взять рыжий парик, если завтра мы должны в прообразе быть. Закавыка Афоньке, препятствие. Идет

в свою избу-читальню задумчивый, озабоченный. Междуделком заметил: в затульном одном переулке кобелиная стая нещадно дерется. Клок шерсти под ноги ему ветерком поднесло. Тут его и осенило! Воротился домой, выудил из сестринского приданого подходящий кусочек холстины, иглу, нитки, ножницы сунул в карман, прынул в погреб, разыскал там капустный кочан и на том кочане скроил-сшил парику холстяную основу. Завернул в нее полкалача, плитку клею столярного растопил, портняжные ножни сменил на овечьи и помчал-урезвил к кобелям. У тех драка закончена, раны доблестные зализывают.

— Бобко! Бобонько! — сам рыжего калачом манит, щиплет корочку. А под мышкой капустный кочан обитается.

Подманил, прикормил, и, пока занялся тот калачом, Афанасей успел обкорнать ему шубу-то. Отстригнет клок-вихор густопсовины, обмакнет корневищами в клей и прижамкнет его на холстинку.

— Искусство требует жертвов, — приговаривает кобелю в утешение. И так славно спроворил он этот парик, так уладил его, уложил, расчесал, гривку к шее спустил — ну вот явственный, видимый поп. Псиной с кле-ем маленько, конечно, попахивает, но к такой ирунде наш актив не принюхивался. Не то что теперешние. Пудру им подавай, пуховитой бумаги, тона и полутона. Капель вкапни в глаза, чтоб зрачки обалдели. Мы-то, помню, сажей с заслонки тона наводили, краской — чулки бабы красили, румянцы — ожгу, берегись! Овчинными да кудельными бородами исказим себя черт не знай во что — э-эхх, весельюшко!!!

Ладно...

В назначенный день полнехонькая читальня народу натискалась. Раздвинули занавес, и пошла сцена: зажиточный прихожанин попотчевать вздумал попа. Полно блюдо ему — мол, не бедно живем — осетринной икры выставляет. А была, вам скажу, не икра, была каша пшенная заварена, с черникой для виду намешанная.

— Отведуйте, батюшка, — вилку попу подает.

Поп вилку прочь, а берет здоровенную ложку. Зачерпнет с горой, рот заранее разверзит, и пошло в пищий тракт в благосытности. Одну ложку, вторую... девятую... Сутки целые перед тем спектаклем я постовался, для правдивости образа.

Дальше так была сцена составлена: прихожанин поджался, страдает, болеет.

— Это же, батюшка, ведь икра... а не каша,— посылает намеки попу.

— Вижу, вижу, сын мой,— бугром зацепляет съедомое поп.

— Рубль фунт стоит,— тоскливо напоминает мужик.

— И стоит! И стоит! И как еще стоит! — поближе к себе подвигает ество.

— Тут ведь, батюшка, всех восемь фунтов,— следит хичным взглядом за ложкой мужик.

— Хватит, хватит! Достаточно... Более не подкладывай,— отстраняет рукой его поп.

— Господь... восьмью хлебами... тысячи наптал! А вы...

— Хорошо, что напомнил! Без хлеба, действительно, что за еда? Так калачиков!

Уминаю я эту «икру» и вижу невзрачну собачку в переднем ряду — на полу. Прошмыгнула в таком многолюдстве промежду обувки у публики и так-то умильно глазами меня пронизает. Втянет носиком каплю воздуха, и аж судороги у нее на нюхальце явятся, ажно дрожь обозначится.

«Кашки жаждует,— оцению я.— Вот кто истинно, точно ведает, какова «икра» мне поставлена,— себе думаю.— Пятьсот запахов, говорят, различает песья ихняя аппаратура в заноздриях!»

Чула, чула собачушка и, видать, должно быть, донюхала и опознала в моем парике гулебный единоплеменной дух. Ей, оказывается, шанцонетке, не каша блазнила, а кавалером надыхивалось. Пахнет, а где и откуда, до сознания никак не доходит. И случилось на этой почве с ней буйное помешательство. Эко как взревновала, взрыдала, отчаялась тонким пронзительным голосом, аж из шкурки своей выдирается — лает. Я ей — «Цыц! Цыц!» — шепотком заклинаю, внушением внушаю — никакого воздействия. Пришлось занавес перекрыть и собачушку ту с применением физичецкой силы из зала тащить-волочить.

Вот была самодеятельность!

А какой резонанц?

Бабка Марфа, покойница, после спектакля повдоль мне хребтины со шкуросьемом, с протягом два раза свою кочергу разместила. Я, калека, дышать не могу

с перегрузу, с недоваренной приторной каши, крупы начали в соках-кислотах взбухать, а она, старушня, в суеверном припадке в затылок, в талантливую шишку железом мне метится.

— Обратят тебя черти во пса богомерзкого! — с фанатизмом и злобностью реплики мне подает.

Досталось от бабки, а наутро зовут в сельсовет.

— Ты поблагостней бы чуток! Вот к чему с кобелем на башке выходил? Или кто подсказал?..

— Дед-суседко шепнул, — скалит зубы Афонька. — Сослуживцы мы с ним... Он — домовый, я — избач. Спектакль же под страхом угрозы был!

— Ты же чувства верующих в нуль не ставишь! Нешто можно по-беспощадному? Ведь и поп — гражданин!

— А-а-а... — отмахнется Афоня. — Их сам Пушкин в прошедшем девятнадцатом веке еще не щадил! В открытую намекал:

Попадья Балдой не нахвалится.
Поповна о Балде лишь печалится.
Попенок зовет его тятей...

— Вразумляет вас? Тя-я-ятей!.. — палец глубокомысленно под потолок вознесет. — Далее пронаблюдаем:

Балда нянчится с дитятей.
Яичко испечет, да сам же и облупит...

— Хе! Стал бы он чужой крови яичко облупливать?! Он хоть и Балда, а небось не совсем обалдел... Свой дитя и балде мил... Ну... Всем по кисточке! — ладонькой взмахнет. — Побежал Емельяна читать. Про библейских перепелов...

Председатель исполкома — заядлый охотник:

— Погодь-ка... А чего там про перепелов?

— Стародавнее дело! В Моисеев исход из Египта случилось. Возроптали ведомые им иудеи, что-де мясо давно не едали. Токо манна да манна небесная. И наслал господь тогда на них перепелов. Подлетают они и валятся кверху брюшком, разинувши клюв. Иудеи неделю их жарят, другую и месяц уже жигитуют-харчуются. Писание гласит, что впоследствии из ноздрей у них мясо полезло. До тошнотиков, значит...

Вот так завсегда! Отбоярится Пушкиным или Бед-

ным Демьяном, перепелок библейских мобилизует, а последнее слово оставит опять за собой.

Приключенческой жил мужичок!..

Двое их на деревне было гармонистов — Васька Лахтин и он.

Ты играй, играй, тальяночка,
Играть бы тебе век,
Не тальянка завлекает,
Завлекает человек.

Васька Лахтин-то квашня был. Стоит раз-другой по ладам пройтись, разыскать мотив, ухом взнеженный, — туп что надолба малый делается. Взор бессмысленный, губа свесится, истукан сидит.

Играл славно, а морда — шаньга.

Шура, Шура белая,
За Ермилкой бегала:
За Ермилкой-то ништо!
За Егоркой-то пошто?

Не человек спел, а бочонок порожний отгулкнулся. То ль Афонюшка, самородушек!

Склонит правый ус на тальянкин стан, укуснет ему кончик, вцепит дрогнувший безымянный палец в звонку пуговку, в белый гармошкин сосок, и выбрызнется из него хмель-хмелинушка, захмеленное «соловьиное молочко».

Глаза в посверках, чуб на лоб падет — отметнет его, ноздри в изломе белеют. Захлебывается, задыхается его душенька музыкой.

Доне тоже тревожно, сумятно. Тревожно и сумятно девушке...

Воспорхнут в белы груди неподсвистанных два соловья и клюются, вонзаются острыми клювиками. До одрожья девичьего... До состенания невятного.

«Кыш! Кыш вы, разбойники сладкие! Изранилося сердце у девушки. Обуяло головушку... Вот возьму и на честном юру, на миру — отберу, уведу, уворую Гармошечку!»

Увела один раз.

Белый девичий плат в крови вымочила.

На пасху случилось.

Оббежал Афоня на заре активистов-артистов своих: — Ребя! Ребя! Ребятюшки!! — сыпал, сеял покатую скороговорочку. — Сегодня в разгаре похода к заутрене...

Верующих отвлекчи... Учиняем на взгорке у церкви татарскую, цыганскую, французску и русску и прочу любую борьбу! Молодняк, холостежь задирайте, подшкуривайте. Ну и старых любителей...

Васька Лахтин своей холостою ватагой идет. Не гармошкой одной он с Афоней соперничал — и к Доне тоже лопаты тянул. Позабыл, что у мельника дочь на засыпке кулями ворочает. Ну и съел по скуле.

Вышли два гармониста бороться.

Один сажень косая, а другой, коренастенькой хоть, но «попу до пупка». Сколь ни взметывал Васька Афонюшку, он как куколка, которую «встанькой» зовут. Ровно кот изворотливый, все на ногах.

Ломанул тогда Васька, повыбрал момент, через спину-хребтину свою удалого Афонюшку. От такого приема каблук у борцов отлетают, шеи ломаются, воздуха отшибает.

Струйка крови у Афони изо рта побежала.

Вот тогда — увела.

Отпоила у бабушки Настеньки полесовыми тайными травами, барсучиным пользытельным салом поправила милую грудь.

«Гармошечка мой!..»

Дождались Алешу.

...Грянет-ахнет литым колуном в сердце стойкому комлю, и зажигается над сыновней головой моментальная белая радуга. «Аа-ахх!» — и радуга... «Аа-ахх!» — и радуга.

Алешу в третий день призвали.

Афонию — в день сорок седьмой...

Той зимой вся женушка-матушка Русь посылки на фронт отправляла. Грудились околотками, рано так, как рано-то, стосковавшиеся молодухи. Отрубают по мягкому паю мясца, просевают сквозь частое сито по паю муки и под тихий неозорной разговор лепят и лепят пельмешек к пельмешку. Чья невестушка — чьему венчанному, чья венчанная — чьему суженому?.. Нету ревности. Пусть согреются в лютых окопах высокие милые русичи. Пусть отоплит их души живое родное дыхание заснеженных женственных деревенок. Пельмень мужику десницу свинцом наливает! Пельмень мужику жить велит!

Суеверно закладывали в некий сочень монетку. На счастье. На жизнь. На невредную рану. На Великую

Мать-Победу... Заложила два гривенничка и Гордеевна.

Отписала своим:

«Мои гривеннички — над звездой напильником тронуты, под звездой у них дырочки пробиты. Двадцать первого года чеканки. Серебряные...»

И ведь надо же!

Открывает Денисьюшка лампасейную банку-жестянку, в которой хранятся военной поры треугольнички.

— Не желаешь курить — не вольна над тобой. Тогда слушай хоть... Твои письма тебе почитаю. Без очков-то теперь не могу.

Треугольнички...

«Всемилая радость моя, жена дорогая, Денисья Гордеевна! Сообщаю во первых строках — спас ведь, спас мою некорыстную, многоповинную жизнь твой заветный серебряный гривенничек!

Поедали мы эти пельмени из громадной всеобщей посуды. Торопились, известное дело, потому как над общей посудиною ложки соколами взлетывают. Смел — два съел, по обычаю. В такой обстановке не стал плевать гривенник, недосуг мне разглядывать, где там напильником тронута, где продырявлено, чуял лишь, как созвенькала денга об зубы, а вослед я ее вгортая проглотил. Было это на темной заре, а по синему свету пошла рота в атаку.

Пуля нзила меня в самую область желудка, и прошла бы, лихая, она позвоночник, если не твой золотой бы, жемчужный, серебряный гривенничек. Взрел, видать, гривенничек на ребро, и тогда-то, в тот миг, в него клюнулась моя смертная первопоследняя пуля. Тут она, проклятая, и обессилела! Не смогла прошибить русский гривенничек.

Хирург добыл ее у меня из желудка, а рядом и добыл монетку. Над звездой напилком, действительно, тронута, под звездой, действительно, дырочка пробита... Вот гляжу я на него в больничной палате, на махонький твой и не раз на дню плачу тихонечко. И кричигают-скрипят зубы мои от злости и гордости. «Не возьмешь, лихой и здыморыистой враг! Даже гривеннички у нас — на ребро! По-го-ди-и-и, мы еще с тобой посчитаемся...»

Свертывается, едва шелестя, военной поры треугольничек.

На деревне такую оказию судили по-всякому:

— Могло и случиться. На войне притча рядышком ходит. Иной раз и пуговка жизнь человеку спасает.

А иные — те говорили:

— Загибает Афонька. Истин бог, загибает. И в самом лазарете нейдется ему, скоморошину!..

А Денисья Гордеевна верила. Верила — сберегла, ущила Афонюшку. Он всегда для нее был немножко ребенчишком. Эко, вспомнить: придет под хмельком, мужиками науськанный... Те зудили-подшучивали, мол, Денисья тебя, Афанасей, вилами на стога поднимает и сорочьи-де гнезда зорить заставляет по легкость-комплексии. Опять его мелконький ростик подсмеивали. Придет под хмельком, мужиками науськанный:

— Донька!!! Наклонися поблизости — лупцовать тебя буду!

Ну, пошумит, утвердит себя. Главное было не рассмеяться, не избодеть его. Если стукнет, добудет когда до болятки, крылатки позатиснешь ему и в кадушку с холодной водой — головой. Умакнешь раза два или три, чтобы в ноздри водицы набрал — и отфыркивайся, грозный мой государь! Больше драться не смеет. Словами теперь пузырится начнет:

— Не хочу-у курятины — дай мне петушатины!!

Отеребишь ему петушка.

Гармошку на вид, на глаза ему выставишь.

Склонит правый ус на тальянкин стан, укустет ему кончик бдительный... еще мокренькой...

Мир.

Детей-то всего лишь Алеша случился, вот и избывалось оно, материнство, на них двоих поделенное.

«Пуля-смертынька,— шепчет Денисья Гордеевна.— Ты не все возьмешь! Лишь свое возьмешь. Есть па-амаять!.. Любовь есть...»

Треугольнички...

«Всемилая радость моя, жена дорогая, Денисья Гордеевна! Рассказывал нам политрук, как в котором-то веке крестилась в Днепре наша Русь. Ныне снова она почитай что крестилась.

Плыли мы на плацдарм — его надо еще захватить, удержать — плыли мы кто на чем. На лодках, на бревнах, на бочках, на плащ-палатках, соломой, и сеном, и кукурузным будылем натисканных, на связках хвороста, на водопойных колодах, на бабьих корытах, на

прочих иных чертопхайках — я же плыл на свинных пузырьках. При поспешном своем отступлении перестреляли немецкие интенданты породных свиней и иную окрестную живность, чтобы, значит, при встречах геройского нашего фронта не взлаено было, не хрюкнуто и не кукарекнуто. Свинота была еще теплая, и назначен я был, в составе нашего взвода, палить их и свежевать.

Не забудь: впереди был Днепр. Доносилось до командиров, что придется форсировать эту преграду с ходу — с ходу в воду, без броду, на всяких подручных средствах. И вот тут-то, когда свежевал я свиней, почему-то припомнилась мне ребячья крестьянская наша забава. Свиный надутый пузырь вдруг припомнился. Засекретишь, бывало, в него три-четыре горошки для грохоту, понадуешь, завяжешь, подсушишь и льняною суровою ниткой нарастишь к кощащему хвосту. Эко было весельюшка, хохота — в цирк не ходи!

Вынул я девять штук пузырей, круто их присолил, пересыпал золою, и вместились у меня «подручные» эти средства в одну консервную банку. А банка в один уголк вещмешка. Ну и далее — вперед Афанасий...

Близ Днепра раскатал пузырь я в поле, камышинкой, по степень объема, надул, два — на самую шею себе привязал, три — под грудь, остальные четыре — на руки и ноги. Оружейны приемы опробовал — получается ладненько, гранату свободно могу зашвырнуть, даже, мыслю, стрелять на плаву смогу, так как руки свободные. Кругом в легкости.

Посмотрел на меня старшина подозрительно и говорит:

— Стратегик!.. Да тебя любой ерш либо окунь подколлет.

— Поглядим, — говорю. — Там увидим! — гремлю пузырями.

И тут во всем-то свиноубранстве был застигнут внезапно командующим нашего фронта.

— Это что за воздушный вдруг шар на земле объявился? — у нашего ротного спрашивает.

— Изготовлен форсировать реку, товарищ командующий!

А командующий наш тоже носит усы. Стоим два усатика друг перед другом. У меня они в строгости — усинка не дрогнет, а у товарища командующего засвербели они, заподергивались...

— Чингисханы,— говорит,— на кобыльих требухах водные преграды одолевали, а этот, видали, чего отчебучивает?..

Улыбаться или хмуриться — не знаю. Стою, молчу. Мое дело вживе Днепр переплыть.

— Сфотографировать его при всех пузырях — и в газету! — приказал адъютанту командующий. — «Нет предела солдатской смекалке» — такой рубрик поставить. Пожирней наберите!.. — И ко мне обращается: — Стало быть, доплывешь, доберешься, сержант, до Высокого Берега?

— Рядовой, товарищ командующий!

— Сержант, говорю! Повторяю!..

— Доплыву, товарищ командующий!! Кровь с носу, дым с уха! Лопни мои пузыри! — заклятье даю.

Смеется опять, улыбается.

— Не забывайте, ребяташки,— к остальным обращается.— За захват и последующее удержание плацдармов на том берегу приказал нам Верховный Главнокомандующий не жалеть никаких орденов. Даже Звезд Золотых не жалеть! На монетном дворе по три смены работают.

Вот такой разговор...

Сфотографировать меня не успели. Взревела, взъярела наша артподготовка. А следом бомбежка. Фашисты — взаимно. Небу жарко — поют херувимы стальные!

И ринулась Русь опять в свою первозданную Реку.

И ринулись с Русью во Днепр единоприсяжные в братстве племена и народы Советской Нации.

Над головами — шрапнель и бризанты, кругом фугасы рвутся, в рот, в заглоти тебе, в очи, в темечко пули летят, в плечи, в груди, в ребра оскольчатые мины целются...

Один мой пузырь, чую, дух возле уха, от пультки должно, испустил.

А у меня еще восемь!

Второй, знать, пронзило осколком.

А у меня еще семь!

Третий по детонации лопнул.

А у меня еще шесть!

«По-го-ди-и-и, крутолобенькой!..»

Кипит и взмывает к небушке Днепр, солят его немцы гремучим тротилом.

Вот он, вот он, Высокий тот Берег!

Вижу, кустик шиповника рдеет...

У меня только три пузыря, а сам цел.

«Теперь я, товарищ командующий... Верховный наш Дедушко... Теперь я на собственном родном своем доплыву!»

Кустик рдеет, и ягодку видно.

Ягодку видно!!

«Держись, крутолобенькой!..»

— Безунывная твоя головушка! — отрывается от письма Денисья Гордеевна.

Третий шелестит треугольничек:

«...На плацдарме мы бились поболее месяца, а потом одолели фашиста — пошли. Утром, шестого ноября, в канун праздника, вступили мы в Киев, и в этот победный момент по усталому нашему войску, под дыхание полкам и под самое сердце дивизиям ударили киевские колокола. Вот чего мы еще на войне не слышали и слышать не чаяли. У бойцов-украинцев от первых же звонышков высекло слезы, не выдюжили и некоторые сибиряки. Слеза — ей только дорожку наметить... Вот скажи ты!.. Возвысилась, взреяла грудь, заселили ее сокола и орлы медногласые, закогтились в душу мою и высоко, высоко, и чутко, и зорко понесли ее над большим и великим понятием — Родина. И уж мнилось, сплавлялось — шагаю по Киеву вовсе не я, малорослый Афонька-опунышек, а шагает вся рода моя до колен Святославовых, целовавшая меч у Отечества, коням ратным храп пенный подолом рубахи своей утирающая. Реют, реют над нашими ранами, над небрито-немытыми ротами орлы медногласые — Победу поют! Победу поют! Славой венчают! Раны крылами овеивают! Вот чего на войне не слышали и слышать не чаяли. Плакал я, Донюшка... Слеза, тварь, — ей ведь только дорожку наметить. Да и то сказать, давно уж, давно не держал я в руках мою милку-тальяночку и давно уж, давно не пивал от нее «соловьиного молочка». Душа отошала и сделалась странно-приимчивая...»

«Пуля-смертынька! Ты не все возьмешь...»

— Ну, сойди... Покури... — из поблекнувшей рамки, из невнятных миров опять вызывает Гордеевна дорогого Афонюшку.

Нет, Денисьюшка, нет...

Ни любым табаком, ни наполненной чарой вина не воззвать, не поднять их из братской могилы. Обнялись там высокие, светлые русичи, онемели, слеглись, как ложатся в горнила штыки, им звание — России Старшины Бессмертные. Лишь одни подзнаменные духи исходят из этих могил, вокруг знамен наших реют, незримые, по казармам, в полночь присяжным внучатам своим молодые ресницы овеивают, проверяют оружие и заслуги-значки начищают на их гимнастерках к тревожной заутрене.

— Видно, так... не сойдешь,— складывает Денисья Гордеевна военной поры треугольнички.

А на выгон, к Седому Дразнилушке, все летят и летят молодые скворцы.

— Ну, табак... Марш в рукав. Полежи. Будет час роковой — внукам-правнукам дам закурить. «Заверните, парнишки, дедушкова. Причаститесь-ка, повдохните от духа его отбронелого, всепобедного, безунывного... Приключенческой жил-был дедушка!.. Пули с гривнами ел, а окурки выплевывал. В трех державах окурки выплевывал, зеленой мужик!»

И глядит, и глядит на Афоню, и ласкают, и греют бывшего Гармошечку негасимо-родные глаза:

— Так, Афонюшка? Ладно сказала?

А с Алеши и карточки нет...

...Память, память моя!.. Женственные заснеженные деревеньки...

1973 г.

«Учите меня, кузнецы!..»

СОКОЛКОВА БРИГАДА

Фамилия-то ихняя не Соколковы — Елкины они. А «соколками» — это уж по отцу зовут. Отец был «Соколок»...

Вот, говорят, что человек делами красен. Верно говорят. Только я бы к делам-то и детей еще добавил. Другого по дедам впору на божницу посадить, а детки с конфузом получают. Бывают и от здоровой яблони с изъязном яблочки. А Соколки!.. Ну да про молодых рассказывать — со старых начинать. А старый Соколок — о-ох! — сокол был! На смешинке, видно, парня замесили, да чуток переквасили. Ухарь был, покойная головушка! Скажи в те поры кто-нибудь, что из него плотник будет, — засмеяли бы начисто: «Андрейко Соколок плотник? Вот спеть, сплясать, на гармошке сыграть, словом кого огреть, отчебучить чего посмешнее — это его дело».

Чуб смоляной. На ветру из кольца в кольцо завивается. Глаза, что два вертучих беса, а зубы вечно наголе. Идет, бывало, по деревне — не одна занавесочка на окнах заколышется. И цветы-то у девушек не политы, и иголки куда-то запропастились... Удалой был! Так его Соколком и прозвали. Оно известно — молодо-зелено, кровушка-то бродит, силушка-то играет.. Кому этикие годочки не красными были? Гуляй пока. Жизнь — она тебя на свою точку определит.

Так и с Соколком случилось.

По порядку рассказывать, то и именитых покойников тревожить придется. Колчак еще тогда у нас по Сибири толочся. Верховный правитель — кость ему в горло, куриному адмиралу. Ну и правил! Мобилизовал всех подчистую. И молодняк по семнадцатому-восемнадцатому году, других уж в годах, грыжа на виду, все едино — примай присягу. Только мало охотников находилось... Богатенькие — те, верно, шли и сынов вели, а насчет прочих — сегодня присягу, а завтра — тягу.

Твердого фронту не было. Наша деревня раз семь из рук в руки переходила. Красные займут, день-два посто-
ят — дальше. Глядишь, колчаковцы налетают. А там
опять... Чуть не каждый день власть менялась. Да и два
раза на дню когда. А старостой все меня назначают.
Я так-то три раза белым старостой был и четыре —
красным. Раза два, верно, меня в горячах чуть ли не к
стенке ставили — ну да народ не выдавал. Да и сам
я — не ухо от лоханки... Белые придут — я при всех
«Георгиях», красные — я им, пожалуйста, человек пяток
колчаковских дезертиров приведу. Принимай, мол, по-
полнение... Ну, а все же стерегся! Кто его знает — какая
наутро власть? Попадешь еще как кур во щи. Вот я и
наказываю Никишке — звонарь он при церкви был:

— Ты вот что... Глядеть у меня в оба! Красные будут
идти — давай звон этакой, с подголосками, а белые —
бей редко, да гулко. Да веревку с колокола до земли
опусти, не лазить бы тебе за каждым разом на колоколь-
ню. С твоей-то прытью, пока до колокола доберешься,
и власть переменится.

Так и повелось.

Ударит Никишка на колокольню — в другой избе ка-
кой нынче день, середя или пятница, не знают, а какая
власть на деревне — известно. Только однажды под
утро такой звон раздался, такой шальной да бестол-
ковый, ровно три власти враз нагрянуло. Чисто пожар.
Повскакал народ, огляделся — нет, не горим. А звон
того тошнее. Давай это мы, всем скопом, остороженько
к церкви подвигаться. Идем — а шаг у нас все короче,
короче делается. Хоть бы и совсем остановиться.

А звон — ну чисто сбесился кто! Церковь-то на при-
горке стояла, а все равно не видать, что там деется.
Не рассвело еще как следует. Обменялись мы мнениями,
да человек шесть, которые побоевитей, решили идти.
Была не была!... За нами и остальные любопытствуют.
Подходим — тю!.. К веревке, которая с колокола спу-
щена, конец нарощен, а к этому концу бабки Марфин
козел Борька за рога привязан. И сколько ему свободы
есть от веревки — носится да трезвонит. Разбежится в
один конец, как бахнет в колокол, перевернется — да
вдругорядь.

К этому моменту Никишка на звон прибежал. По
морде видать — со здоровой похмелюги. Заслонил я от
него козла — спрашиваю:

— Про какаую власть звон идет?

Он у меня рваться.

— Я,— кричит,— сейчас разберусь! У меня поозо-
руют!

Пустил я его, скакнул он шага три — и поджилки за-
шлись... Чего-то горлом забулькал, закрестился и взад-
пятил. Смотрю, а он к натуральному бегу изготавился.
Схватил я его за скуфейку, удержал.

— Чего ты? — говорю.— Опомнись!

А на нем лица нет. Заика напала. Еле-еле он с язы-
ком совладал.

— А-а-анчихрист... анчихристова власть... пришло
число шестьсот шестьдесят шесть!..

Тут и бабенки закрестились, и старики...

— Да какой,— говорю,— тебе анчихрист мерещится?
Не видишь — козел Марфин!

А он свое:

— Пришло его царствие!.. В козлином образе
явился...

— Не мути,— говорю,— народ, глиста такая. Бабка
Марфа! Где ты! Иди, вызволяй свою скотинку!

Та за спины прячется и, подумай ка, от козла отре-
кается.

— Провались он,— говорит,— сквозь тартарары,
когда так! Я его с рожсчка вспоила, а он нечистиком
оказался.

Тут Михайко Громов говорит мне:

— Иди сам, Пантелей. На георгиевских кавалеров
чертям меньше власти отпущено. К тому же — старо-
ста...

Быть — идти... Боязно, слушай-ко! Анчихрист не ан-
чихрист, а козел-то возмужалый! И рога, что стоговые
вилы. А тут еще Никишка под руки орет:

— Не опускай, Пантелей! Не бери греха на душу!
Видишь, ему святая церковь воли не дает. Господень
аркан ему на рога накиннула.

Стал я все-таки его ловить. А у него глаза кровью на-
лились, по бороде пена, и мемекает не по-домашнему.
Изловчился я, резанул по веревке складнем, вызволил
козла. Взрывал он от радости и как был — к народу
мордой,— так и закопотил в улицу. Народ от него во все
подворотни щемится. Никишка на тополь полез. Заметил
оттуда, что поп наш, отец Гавриил, калитку открывает —
ревет ему с тополя:

— Упасись, владыко! Анчихриста спустили!

Тот на ухо сильно тугой был, почему и на трезвон опоздал, ладошку насторожил да на середину улицы подвигается. Козел как двинул его под сидалко, так батя и кувыркнулся. А тут собаки налетели... За Борькой гнались... Вовсе свалка пошла. Не поймешь, где собачья шерсть, где козлиная, а где от попа клочок.

Я — поспешать на свару. Разогнал собак, гляжу, батя навалился на Бориса и сует ему под дыхало. Бьет да приговаривает:

— Скотина бесовская! На кого рога поднял?! На кого рога поднял? — А у самого из носу юшка каплет. Ну, я тут ввязываться не стал. Домой пошел.

А там гостенек. Андрейко Соколок сидит. Разодет — во всю колчаковскую! Мундир английский, погон нет, табаку — тоже.

— Или сдзертировал? — спрашиваю.

— Так точно, Пантелей Ильич! Прибыл на твое до-вольствие и в полное твое распоряжение. Где прикажешь красных дожидаться?

— Ну, это, — говорю, — определим. А ты вот что... С козлом ты напрокудил?

Смеется.

— Я, — говорит, — дядя Пантелей. Опасно было в деревню заходить, не знавши, что у вас за власть, пришлось Борьке разведку сделать. Я с мельницы глядел... Колчаков нет — тихонечко задами к тебе. Живой он хоть — козел-то?

— Живой, если батя его не ухристосует, — говорю.

С полчаса мы с ним не перемешкали, — глядь, вступают в деревню красные. Командир к моему дому подъезжает.

— Ну вот, — говорю, — Андрюха... Видал, как ловко? И прятать мне тебя не придется. Сдам с рук на руки.

Доложил я командиру про деревню, а после про Соколка.

— Конь есть? — командир спрашивает.

— Нет, коня нету. Гармошка есть, — отвечает Соколок.

— Что ж нам с тобой делать, с безлошадным... Отряд-то ведь у нас конный. Опять же гармошка... — задумался командир. Потом позвал кого-то, посоветовался и говорит: — Вот что, парень, забирай свою гар-

мошку да прихвати какой ни то топориншко. Будешь пока при кашеваре состоять, а там видно будет.

Вижу, не по ноздре Андрюшке такая должность. Последнее дело дрова рубить да кашевару подтаскивать. Выбирать, однако, не из чего. Отзывает он меня в сторону и говорит:

— Дядя Пантелей, ты мне дашь топор?

— Неужто,— спрашиваю,— у тебя дома не найдется?

— Дома как не найтись... Найдется. Да зазорно мне с ним через всю деревню тащиться. Смеяться ведь будут. «Андрейка Соколок под кашеваровым началом». Проскулят на все лады. А я, может, в первом же бою и коня, и оружие добуду. Ты, дядя Пантелей, уж пожалуйста, не говори никому про кашевара-то. А то на всю жизнь присохнет...

— Ладно,— говорю,— беги за гармошкой, а топор найдем.— Ну, дал я ему топор да, можно сказать, на топоре и женил. Колчака тут вскорости кончили, а действительную Соколку пришлось в саперах служить. Там он и вник... И домой с топором явился. Только уж не с моим. Черен такой легонький, фасонистый, с загогулинкой на конце. Лезвие аж горит — да звонкое, звонкое.

Мать у него к той поре умерла — один парень остался. Насчет земли не тревожится, насчет покоса — тоже.

— Куда мне,— говорит,— с землей? Лошаденки нет. Так перебедую. Один топор, один сапер — не пропадем.

Минеич, который сейчас за Соколками приглядывает, тогда в самой силе мужик был. Дока по плотницкой части. Одна беда — молчун несусветный. Баба попервости уходит от него собиралась из-за этого.

Вот Андрейко и вступил с этим Минеичем в компанию. Кому домишко, кому амбарушку срубят. Внедолге школу затеяли строить, а тут колхоз организовался — вовсе дела хватает. Так они с топора и кормились. Что и говорить — мастера отменные, да и дело свое любили.

Я нет-нет да и напомним Андрейке про кашевара. Смеется. Не бывает, говорит, дядя, худо без добра. А сам ноготком лезвие топора пробует. Женился он, дом себе сгрохал пятистенный, ребятишки пошли. Живет полной чашей. На народе ему уважение, на гулянье первый запевала, гармонист — самый компанейский мужик, одним словом. Шутки свои не забывал. Так и жил с задиринкой.

Помню, до колхоза это еще было... Завел себе Тихон Огнев — кулачок он у нас был — орловского рысака. Гоняет по деревне из конца в конец, гикает, ухает, кур, поросят топчет — любуйся, мол, православные, как я свою натуру распотешиваю. Андрейко с ним и заспорь:

— Твой, — говорит, — орловский ни за что так не побежит, как я побегу. Меня, — говорит, — в армии ни один конь не мог обогнать, а твой — тьфу!

Тихона заело, хоть и посмеивается. А Андрейко свое толмит:

— Ноги у него еще не так вставлены, чтоб меня обогнать...

Как раз воскресенье. Народу тут порядочно набралось. Неужто, думаю, и верно рысака обгонит? А Андрейко зудит:

— Двухколодешных обгонял, а этого...

Поспорили на четверть вина. Бежать от Тихонова дома до молоканки.

Оседлал Тихон рысака.

— Ну, — говорит, — захлебывай ветерку, Андрюха!.. Прочертили черту — стали перед ней.

Раз, два, три!.. — скомандовали.

Тихон как даст шпоры — конь змеем взвился, из милости земли копытом касается, а Андрейко повернулся да задом к молоканке трусит.

Тут народ и грохнул... Сообразили, почему он говорил: «Твой конь так не побежит, как я побегу». Поставил в дураки Тихона. Тот после от досады да от смеху людского и рысака куда-то сбыл. «Нечистых кровей», — говорит. Андрейка и тут ему подпустил:

— Точно, дядя Тихон! Разве это кровя? Чистокровные хвостом впереди бегают!

Мда-а... Так все было бы ладно... Жили люди, радовались, а тут бац — война! Пришел черед Соколку идти. Жена, известное дело, ревет, ребятишкам тоже мало веселого... Три сына у него осталось. Сам-то, хоть и сумно на душе, однако крепится:

— Брось, — говорит, — Аленушка, сырость разводить, а то я, до военкомата не доехавши, заржавею.

Отшучивал ее от слез Соколок.

Служил он опять в саперах. Года три писал — все в порядке было. За границей уж случилось... Рассказывал это его сослуживец, сапер же, из одного с ним взвода. После войны специально Андрееву семью разыскал...

Стала молодежь у них во взводе роптать. Чертова, дескать, служба... Славы тебе никакой. Оружье за плечами таскаешь, а топор да пилу в руках. Воюешь холодным способом с чурбаками да со сваями... А фриц как засекет, где саперы копошатся,— всей нормой выдает. То артиллерией пугнет, то самолетов найдет, а то и из пулемета обгавкает. Сверли, сапер, пупом землю!

Служба эта, что и говорить, опасная. Переправы-то под огнем другой раз наводили. Опять же мины... Сапер их ставит, сапер их снимает. Оплошает рука, да что там рука, палец — и найдут от сапера одну пуговку да хлястик. Но больше всего собственные погоны молодежи не нравились. Топор на них обозначен. Расскажи-ка попробуй какой кареглазой, что ты на «ура» ходил! Сапер, верно, что крот. Молчком да ошупью работает. Но случается и «ура». А какое этому подтверждение топор может дать? «Натеши-ка щепочек»,— скажет кареглазая.

Андрей в ту пору командиром отделения у них был. Слушал он, слушал эти разговоры и не вытерпел.

— Раскукарекались,— говорит,— петушата, раскудахтались... А того не соображаете, что нет оружия сильнее да ловчее, чем топор в руках у человека. Он, топор,— наместник бога на земле.

Вон он куда им закинул! Так и сказал. Ну, тут и молодые и бывалые уши наостригли. Как так — наместник бога?.. Наместником, дескать, папа римский числится, а ты — топор...

— Папа это так,— продолжает Андрей.— А настоящий наместник — топор, и больше никто!

Ну, зацепил за интересинку... Как, да что, да почему — пристают. И повел им Соколов рассказ из Ветхого завета:

— Первый человек, прародитель наш, Адамом звался. И была ему дадена жена — Ева. Поселил их бог в раю — живите на полном довольствии. Ну, Адам был мужик степенный — непьющий, некурящий и прочее, а Ева со змеем шашни завела. Попользовалась яблочком — сама оконфузилась и Адама в конфуз ввела. Бог видит такое дело. «А ну-ка,— говорит,— шагом марш из рая! Блюсти себя не умеете. Я на вас как на себя надеялся, а вы семейственность в раю разводить?! Ать-два отседова!» И вытурил их на землю.

— И вот представь,— обращается Андрей к одному

молоденькому саперчику, — что ты тот Адам. Как бы ты жил на земле, не будь у тебя топора? Избенку какую-нибудь срубить надо? Загоны для скота загородить надо? Соху сделать надо, кнутовище вырубить надо? Еву припугивать надо? А чем? Без топора, дружок, человек как без рук... А с топором — бог! И все, что на земле построено — города, деревни, мосты, кресты, коробок спичек, сапожная колодка, приклад винтовки, — все это от топора свое начало ведет. Недаром ученые определяют, что первый инструмент был у человека — топор. Пушка — дура, на войне голосит, а топор, что птичий звон, никогда на земле не смолкает. Самый способный инструмент! Я им дерево свалю, и обделаю его, и гвоздь забью-вытащу, и колодец выкопать могу, и фашиста раздолбаю, и твоему сыну люльку смастерю, и даже, если командование позволит, Гитлеру гроб спроворю. Топор, можно сказать, сынок, человека в люди вывел. Вот и получается: бог землю сотворил, а топор — все остальное. А раз так, то и выходит, что он наместник богов...

Ну, посмеялись. А молодежь дальше любопытствует: — Товарищ сержант, бог Адама с топором выгнал или Адам его сам изобрел?

— Надо думать, сам.

— А пилу?

— Пилу?.. Пилу, должно, Ева сконструировала...

— Неужели баба дойти могла?

— А вот женишься — узнаешь!

— Да! Тут пока до женитьбы доживешь, пять раз туда попадешь, откуда Адама вытурили.

— А ты не унывай! Случится — дак топор не забывай. С ним и в раю надежней... Я свой в случае чего обязательно захвачу. Посмотреть, как там мосты-дороги...

Все шутил...

А наутро наводила саперная рота мост. Семь осколков пронзили Соколка.

Пал он на белые бревна и залил их алой кровью. Подскочили к нему и, должно, первый раз тут не пошутил:

— Топорик-то мой сынам отвезете. Пусть помнят...

После войны вспомнили это Андреево завещание. Сапера откомандировали, сослуживца. Привез он топор, подарки семье от командования и рассказал, как сложил свою удалую головушку наш Соколок.

Ребята Андреевы уж больше стали. Петьке — пятнадцать, Володьке — двенадцать, а младшенькому, Егорке, седьмой пошел. Ребята славные росли. Учились неплохо... Мамке помогали. Петька с Володькой летом в колхозе работали. Волокуши там возить, картошку полоть-копать, веники овцам ломать — да мало ли что! Глядишь, за лето трудодней двести наберет. Подспорье матери.

Егорка — тот больше с коршунами все воевал. Оборужится рогаткой, сядет середь колхозных цыплят и стережет. Поглядеть — сам чисто цыпленок. Головка белая, пушистая, шея тонкая, носик востренький, голосенок писклявый.

Кто мимо идет, возьмет пошутит:

— Доглядывай, Алена, как бы твоего караульщика коршуны не унесли.

Алена-то птичницей работала.

Старших с годами к машинам потянуло. Петька еще до армии на трактор сел, Володька об том вздыхал. Егорка рогатку бросил, в школу пошел. Тоже при исполнении обязанностей оказался. Только нет-нет да и к матери:

— Мама, я возьму тятин топор построгать?

У той слезы на глаза. Погладит она ему головушку, заглянет в личико, а оно у него все капельки отцовы подобрало. Только взгляд строгий какой-то, без озорства.

— Возьми, — говорит, — сынок. Только не оставь... — Сама опять на работу. Ласкать-то некогда было. А Егорушка за топор да к плотникам на стройку. Другие ребяташки сладкий луб с берез скоблят, а он все норовит потесать чего-нибудь. Обрезок какой-нибудь ошкуряет, досочку ровняет. Приметит его Минейч и начнет за ним наблюдать. Глаза поволгнут, не заметит, как на усы слезинка скатится. Напоминал ему Егорка Андрея. И стал Минейч его отличать. То отпилить его позовет, то по доске прочертит, потесать даст, то покажет, как с удара гвоздь забить, — полюбился ему Егорка.

Как-то обчертил он выем в бревне.

— Ну-ка, — говорит, — Егорушка, выбери это топориком.

А сам куда-то отлучился. Егорка сперва с одного боку за черту ушел, а потом и с другого стал так же направлять. Когда расчухал, чего натворил, носишко-то и

свесил. Минеич приходит, видит, мальчонка вне себя. В чем дело? Разглядел когда — хлоп Егорку по плечу.

— Не горюй,— говорит,— когда б не клин да не мох, дак и плотник бы сдох! Дело поправимое.

И тут же показал, как исправить. Одним словом, исподволь стал приучать парнишку к отцову ремеслу. А тот и рад. Так и пропадал в плотницкой бригаде.

Когда кончил семилетку, по-настоящему стал там работать. Минеич на что молчун, на что скупой на слова был, а тут разговорился:

— Ты, слышишь, Егорка, брось силой баловать... В нашем деле взмах да глаз нужен. Глаз соврет — не в ту чатинку попадешь, взмах соврет — то перерубишь, то недорубишь. Вот ты и лови... Замечай, когда у тебя взмах и точный, и в силу. Тут и добывай привычку. И к дереву привыкай, приглядывайся. Оно, сказать, хоть и бревно, а тоже свой секрет имеет. Есть прямослойное, есть свилеватое, а то и с заворотом. Станешь сколок делать, не доглядишь и напортишь. Где сук попал — тут и разговор другой... Тут добавь удара. На вершину идет полсилы, на комель — полторы... Вот оно и равно, вот оно и славно!

А то тешет-тешет, остановится вдруг и спросит:

— Чуешь, Егорка, какой дух от дерева растворяется? Нюхает Егорка.

— Хороший! — говорит.

— То-то — хороший! Славный дух! Природой пахнет. Ну-ка, закрой глаза.

Егорка зашурится, а Минеич насбирает щепочек и заставляет его носом угадывать, какого дерева щепка. Сосна там, или береза, или осина...

— Ох и люблю же я, Егорка, этот дух! Такой он тревожный да здоровый. Слышал я, что плотники да столяры дольше всех на этом свете живут. Потому — деревянным духом дышат. Душа, значит, размягчается и сосуды всякие. Жить задорит он, этот дух!

Ну, и всякое. Про любимое дело любой молчун столько наговорит — в рукавицах не унесешь. Идут деревней с работы — Минеич Егорке дома показывает, которые вместе с Андреем рубили.

— Видишь, Егорушка. Стоят! Нет Андрея, а они стоят... В них сила его живет, мастерство его. Нет Соколка, а сила его на тепло да на радость людям жить оставлена. Да на добрую память еще. Мастерству, Егорушка, смер-

ти нет. Два глаза, две руки да десять пальцев на них человеку дадено, а если к этому еще и мастерство — другой вечно у людей на памяти останется. Я вот, видно, на покой скоро пойду, а охота напоследок для памяти себе чего-нибудь потесать. Клуб вам, молодым, что ли... Вы дольше помнить будете. Да и дети ваши... Ты, Егорка, затрави-ко холостяжник! Теревите правление, председателя — давай, мол, клуб. Мне уж по годам неудобно, да и не мастак я разговаривать. Самое ваше дело...

И провернули, слушай-ко! Председатель сперва было ни в какую. А молодежь чего удумала... Соберутся на-против председателява дома, да до вторых кочетов — гулянку. Гармошек натащут, пляс учинят, песни опять же — разлюлюшеньки-люлю! Тот было им выговаривать, а они в голос:

— Давайте клуб! Иначе до утра плясать будем. По-сменно.

Председателю они, верно, не так уж досаждали. На-мается за день — до подушки бы добраться. Да и спать здоров. А у супруги неврозы врачи подозревать стали. Не знаю через чего, а только клуб построили. Егорка с Минеичем отличались. До темного темна на лесах, бывало, торчат.

Так вот, года через два получился из Егорки плотник. На отличку по колхозному обиходу.

Старший-то, Петька, в ту пору как раз отслужился. Домой пришел. Перво-наперво женился. Зазнобушка его тут ждала. Потом строиться задумал. А топор в руках держал, когда кол тесал да отцу табак мельчил. Егорке повиниться зазорным ему показалось. Пошел к Минеичу. А тот ему:

— Чего я у тебя оставил? В плотницкой семье — чужой топор ни к чему.

Он, видишь, недовольный был, что старшие Соколки отцово ремесло обошли. Ну так и ответил. Петька к Егорке. А тот без слова:

— Ну-к, что, братка... Сегодня после работы и начнем.

Рубят. У Егорки горит дело! Петька глазом косит, пыхтит, тоже присноравливается. Смелеть начал. Один день даже самосильно простенок собирать принялся. Егорка пришел, поглядел и говорит:

— Напортил, братка...

Заскреб тот затылок.

А Егорка ему:

— Ничего, братка! Когда бы не клин да не мох, дак и плотник бы сдох. Поправим.

Петька глядит да дивится: «Вот тебе и меньшенький».

И заразился. Присох к топору... Тоже плотничать пошел. А тут Володька из флоту подоспел. Исполнил присягу. Морскими лентами с месяц девкам мозги позаплетал и тоже к братьям подался. Где двое — там и третий.

Которые ребята смотрят: «А мы чем хуже!» И тоже к ним. Так она и образовалась, Соколкова бригада. За бригадира — Минейч. Сам не работает, правда, сил нет, а догляд нужен. Да и учить ребят кому как не ему.

Другие колхозы телятник там, свиноводник ли построить, на стороне плотников ищут, «дикими бригадами» не гнушаются, ну и бедствуют. Рубли длиной с топориче выкладывают, а построечку получают тяп-ляп. Глаза замазать... А у нас — Соколки. Соколки! Заметьте!

Вот я и говорю... Дети красят человека не меньше, чем его славные дела. За что помнит народ Андрея Соколка? За шутку веселую, за ремесло доброе, за службу верную, за смерть праведную, а пуще того, что у всех на глазах отцову славу несут дети его — Соколки.

Как ударят, как ударят в топоры — перестуки-стуки-стуки!

Щепа брызжет, дерево поет — перезвяки-звяки-звяки!

Весело в деревне: шумит Соколкова бригада!

У Егорки в руках искрит, гудит, звенит, зайчиками играет отцов топор — боевое благословенье Андрея Соколка. «Пушка-дура, на войне голосит, а топор, что птичий щебеток, — никогда на земле не смолкает», — говорит он.

Крепче держи его, Егорушка, и, может, не придется тебе менять топориче на приклад.

1958 г.

ЛЕНИНСКОЕ БРЕВНЫШКО

Каждый ручеек от родничка питается. Течет он, журчит по камешкам и не знает до поры, что ему великой рекой, половодьем разлиться суждено. Гордое имя ему люди дадут, в песни свои вставят, были о нем будут ска-

зывать и долго-долго будут дивиться крохотному родничку, подарившему земле нашей такую красоту и силу. Вот мы к родничку и пойдем.

Настенькина игра

Младшенький-то у них, у Быстровых, Никанорка, по тогдашнему крестьянскому понятию, с причудинкой парень оказался. Многих он в то время озадачил. Их три брата было... Справили они по родителю «сороковины», ну и, значит, делиться порешили. Третий пай Никанорки. Мерин ему доставался, мелкороголых сколько-то... Из постройки, правда, ему ничего не выделили. Живи, мол, пока холостой, при любом брате, а женишься — какую-нибудь избенку сгоношим. Ладно рассудили мужики. И со стороны посмотреть — без обиды, по совести все. А Никанорке не тут-то...

— Пока я,— говорит,— братушки, жениться надумаю — из мерина сыромятину скроить доспеется, овечки облезут, телушка зубы источит — заботы-то сколько на мою голову!.. Поделите-ка вы их лучше промеж себя, а меня отпустите на все четыре.

Сколько ни уговаривали его, на своем стоит парень.

— Чего вы,— говорит,— робеете? При мне молодость моя останется, да две руки, да голова с мозгом — с такими ли товарищами пропасть!

«Ну,— думают старшие,— беги. Испытай... Звонки бубны за горами!.. На твои руки, если они крестьянствовать брезгуют, много охочих дядей найдется. Отведаешь солененького — прикопотишь. На чужой-то стороне и сокола вороной зовут».

Наскребли они ему сколько-то рублевков, обладили в дорогу — лети. Попервости слышно было — у купцов лес валить подрядился, потом с золотых присков письмо присылает — вон уж куда забрался. Год так-то, другой, третий... Старший, Архип, запрягает другой раз его мерина, поплывает на супонь да и приговорит:

— Потаскай уж, Игренько, плуг пока... Хозяин вот с присков вернется — в золотой сбруе ходить будешь.

Мерин с отвислой губы мух стряхнет, прищелпнет ей — и опять дремать. Так и продремал хозяина. Даже соржать ему на встречу не соизволил.

Вернулся Никанорка ночью. Не один. Товарищ с ним.

А сам-то снимает одежонку — правым плечом бережется, морщится. Умываться стал — тоже одна левая в ходу.

Братаны спрашивают:

— Что у тебя с рукой, Никанорка?

— Ай зашиб где?

— Зашиб... — говорит. — Об цареву пулю стукнулся... Расстреливали нас на приисках! Слыхали, поди?

Переждали они месяца два время, дождались от кого-то письма — опять Никанорка засобирался. Тут братаны на него не шутейно уж надели:

— Куда тебя несет? Земля есть, хозяйство какое-ни-какое оборудуем... Живи как все. Дурь-то бы уж вроде порастрясти пора. Уходил — четыре товарища уносил, а вернулся с двумя... От молодости-то хвостик, и рука вон, господи, видишь.

— Молодость, — отвечает, — верно, прошла, а руку зря бракуете. Эта рука еще свое возьмет! Да и в голове пустой породы поубавилось...

Что ты тут будешь делать! Смолоду не удержали, а теперь попробуй совладай с ним. Опять простились. По письмам известно, что в Москве он остановился. Женился там.

«Ну, — думают братаны, — теперь вовсе отрезанный ломоть. Жена из фабричных, Москва ухватиста — дай-то бог свидеться когда».

А тут война вскоре. Никанорку, как неслужилого, на завод зачислили. Детишек у него двое уж. Одним словом, пропала крестьянская душа — в самый звонкий полетарьят перековалась.

Перед революцией арестовали его, неизвестно, сколько бы он взаперти насиделся, да тут с царем пошабашили. Выпустили их всех, политических-то.

А тут в аккурат еще такое вышло.

Елизар (это средний у них) три года окопную вошку попотчевал — тоже до мозгов дозудело: два года гражданской прихватил мужик. После третьего ранения дали ему костыль, «чистую» и веселят в дорожку:

— Езжай, Быстров, на родные зеленя. Там ты через полгода отгуляешься. Опять строю согласишься.

Ехать ему пришлось через Москву. В таком разе — как брата не навестить?

Разыскал он квартиру Никанорову, стучает в дверь. Не отвечают. Он погромче да погромче. Из соседней квартиры старушка выглянула.

— Вы,— спрашивает,— служивенький, к кому?

— Никанор Быстров здесь живет? Брат он мне...

Старушка руками схлопала, фартук к глазам и запричитала:

— Опоздал ты, мой батюшка!.. Никанорушку-то под Царицыном порубили, а сама в сыпняке лежала. Второй месяц, как похоронена...

Елизара пошатнуло чуть. Однако укрепился на костыле, дальше спрашивает:

— А сироты где? Живы?

— Петрушка-то с Настенькой? Живы, батюшка, живы... В детском приюте находятся.

— Адреса не знаете?

— Как же не знаю, мой батюшка. Бываю я у них... Ленушка ведь перед смертью что наказывала: «Приедет кто из сибирских дядей, укажи им кровинок моих». Сама-то она безродная... Да вы заходите! Я сейчас соберусь, провожу вас.

— Я здесь погожу.

Отглотал Елизар слезы — пошел со старушкой. Старушка-то по приходу заведующую разыскивать пустилась, а Елизар в коридоре стоит. Слышит: песенку за дверями поют. Голосочки тоненькие... Не вытерпел — и туда.

— Здравствуйте,— говорит,— ребятки.

Они вразноголоску:

— Здравствуйте, дяденька!

И сгрудились вокруг няни.

Стоят, головки у всех стриженные, где девчонка, где парнишка — по одежде только угадаешь. Одеты чисто, а худенькие. Глядят на него, не смигнут даже. И синие, и карие, и голубые, и черные, и с зеленинкой глазенки.

— Которые тут Быстровы?

Один коротышок обежал вокруг няни, девчушку в се-редке выискал и за ручонку ее тянет:

— Мы,— говорит,— Быстровы.

— Петрушка, значит, и Настенька?

— Ага!

— Ну еще раз здравствуйте, племянники. Я вам дядя буду. Папке вашему, Никанору Сергеевичу, старший брат я.

Петрушка, видно, не доверился:

— А откуда ты,— спрашивает,— приехал?

— Сейчас,— отвечает,— из лазарета, а так в Сибири проживаем.

Он тогда на одной ножке вокруг сестры:

— Правильно,— кричит,— правильно! Помнишь, Настенька, мама нам говорила...— и к дядиной шинелке щекой. Настенька сробела сперва, костыль ее сомневал, а потом тоже приголубилась.

Тут старушка с заведующей вошли. Парнишка к ним:

— Бабушка Захаровна,— кричит,— посмотри, кто к нам приехал! Дядя!

— Видела, Петенька, голубчик, видела. Я его сюда и привела.

Заведующая узнала, что Елизар собирается забрать малых,— документы давай требовать, фамилии сличать, по телефону названивать.

Одним словом, пришлось ему за своих племянников Советской власти расписку дать.

Собрали ребятишкам паек надорогу, и покостылял Елизар с ними. На многих станциях помнят, поди, еще солдата-калеку с двумя сиротами. Солдат полено сушняку тащит, а ребята—по охалке хворосту. Угля не было, на дровах паровозы шли, вот они и старались. Дорогу-то от Колчака недавно только очистили, ну и ехали они три недели до Сибири.

Москвичи с личиков совсем пообрезались. Да ладно, у Елизаровой хозяйки корова с новотелу ходила. Аппетиту ребятушкам не занимать, а на молочке да на оладушках румянец—дело наживное. Через месяц-полтора такие налиточки Петрушка с Настенькой сделались—ущипнуть не за что. Веселые да компанейские ребятишки оказались. Деревенские-то наши, ровня ихняя и постарше которые, со всего околотка к Елизару зачастили. Писку у него в доме, щебету—воробьиное гнездо, да и только.

Петрушка с Настенькой против наших-то куда вострей были. То песенку какую с ними изучают, то стишками займутся—затейники, словом.

Уехала Елизарова хозяйка к сестре погостить—тут им вовсе простор-волюшка открылась. Елизару-то по сельсовету дел хватало, некогда за ними доглядывать. Пристрашит их насчет огня да бродяжек, кашу с молоком к заслонке выдвинет—и оставайтесь.

Раз перед вечером воротился—что тебе тут было! Посреди полу стоит Петро с топором на замахе, а перед

ним отводина от саней раскинута. Два кругляша от нее отрублены, уж и третий наклонут. Елизара с порога прямо в досаду бросило.

— Ты зачем,— кричит,— вражонок востроухий, отводину мне изрубил?

Опояску с себя — и хотел уже, грешным делом, с его штанами переговорить.

Тот потупился на секунду, потом стрелил по Елизару своими серыми и помутил мужика, ошарашил:

— Меня сейчас нельзя бить,— говорит.— Я сейчас Ленин.

— То ись как — Ленин? — замешкался Елизар.

— Ленин,— твердит Петрушка.

Наши деревенские знают, чем опояска славится,— попритихли, прячутся, одна Настенька самочувствия не потеряла. Схватила Елизара за палец и разъясняет:

— Это мы, дядя, играем так. Петя сейчас понарошку — Ленин, я — заведующая, Сема Кобзев — конь, а они,— на остальных указала,— они все — воспитанники. Владимирьич дров нам привез и теперь рубит их.

— Кому это «вам»? — осматривает избу Елизар.

— Ну, детскому дому нашему... Который в Москве...

«Стоп! — думает Елизар.— Целю по штанам, а по чему попаду? Как бы мне не промахнуться опояской-то».

— А откуда вы,— спрашивает,— такую игру переняли?

Петрушка постарше. Чует, видно, неладное натворил — вострие у топора рассматривает. А Настенька, что синичка-первоснежка, знай нащебетывает:

— Это, дядя, когда мы в детдоме были... Когда пришла зима, у нас дров не было. И днем в пальтишках, и ночью. Холодно было. Один чай теплый. Об кружки руки грели. Заведующая Нина Васильевна один раз заплакала. А потом! А потом к нам Ленин приехал. Подарки нам привез! А потом дров нам привез! А потом нарубил... Ты, дядя, Петю не ругай. Это я вспомнила... И придумала.

Елизар сам видит — погорячился.

— А ну, играйте-ка сызнова,— на скамью поместился. И тут же думка: «Дров нарубили — теперь осталось поджечь да пожару наделать».

Начали ребятишки свою игру заново.

Расставила «заведующая» деревенскую нашу мелочь в круг и указывает:

— Ты, Коля, будешь «кошка», ты, Зина, «мышка». Играйте, дети, а я уж-жасно заторопилась. Владимирьича встречать пойду.

Дошла до дверей и теперь Петра за собой ведет. «Кошки-мышки» притихнули. Малый выострил как-то бородку, голову набочок наклонил и басит по возможности:

— Здравствуйте, дети!

Наши деревенские хором:

— Здравствуйте, Владимирьич!

— Как живете, маленькие? — востренько оглядел всех Петька. Наши опять друженько:

— Хорошо, Владимирьич! Рисуем, песни поем, буквы знаем.

— А что вы сегодня в обед ели?

И опять одноголосом:

— Хлеб ели, картошку и чай!

Елизар дивится сидит: «Гляди-ко, как отмуштрованы. Как на плацу!»

А Петрушка — «Владимирьич» — дальше допытывается:

— И как? Наелись? Все сытые?

— На-е-лись!

— А кто не наелся?

Тут Кондрашка Игнатьев скорчился вдруг и навроде слезу себе кулачком вытирает.

— А ты, мальчик, наелся? — подступает к нему Петрушка.

— Нет, — говорит.

— И чего тебе не хватило? — огладил ему макушку Петро.

— Хлеба хочу... И картошки.

Резнуло Елизару по сердцу. Вспомнилось, как они от немудрященького красноармейского пайка крохи какие-то отделяли. «Москва. Пролетарским детям». Живая же правда перед глазами разыгрывается.

Петро между тем на «заведующую» разговор перевел.

— Дрова у вас есть, Нина Васильевна?

Та ему:

— Кончились, Владимирьич. Уж-жасно, не знаю, что делать. Завтра и чаю согреть не на чем.

Петрушка опять голову набочок. Поразмыслил немало и говорит:

— Трудно, дети... Подождите, дети, немного. Вот разобьют красные наши бойцы врагов — все у вас будет. Лапша молочная будет, кисель ягодный, сайки белые, крендели... А дров я вам привезу. И о сладком чае похлопочу. До свидания, ребята!

— До сви-да-ния, Владимирьич!

Петрушка поднял кусок отводины, сцепил за руку Семку Кобзева — в сенки убрались. Настька к мешку с горохом. В запечье стоял. Сложила ладоньки лодочкой, зачерпнула гороху и несет «воспитанникам»:

— Вот вам, дети, подарок от Владимирьича. Сушеные вишни это. Уж-жасно вкусные! Ешьте.

Грызут наши сибирячата. Облизываются.

— Н-но, Воронко, но! Тяни, милый! — слышался Петькин голос из сенок.

Отворяется дверь, и на четвереньках через порог Семка Кобзев карабкается. По плечу у «коня-Воронка» веревка пропущена и концами к салазкам привязана. На салазках остаток отводины. В зубах у Семена другая веревка закушена. Потоньше. Заузданный, значит. Она же и вожжи. До середины избы уж «повозка» продвинулась. «Тпру-у-у!» — внятяг струнит вожжи Петрушка. Семке щеки веревками врезало, а он знай свое фыркает, шеей мотает, «копытами» взыгрывает. Со всем усердием «лошадушка». Еле утихомирил его Петрушка. Кинул вожжи и обращается к Настеньке:

— Топор у тебя, хозяйюшка, есть?

— Имеется, имеется, — запоспешала Настенька.

— Неси-ка, — басит Петро. — Я вот бревнышко-другое на рысах изрублю.

Настенька подает. Петька принял его и косится на Елизара. По игре-то рубить теперь надо, а тот, видишь ли, накричал.

— Ну руби потихоньку, — разрешил Елизар.

Рубит Петрушка и на каждый взмах приговаривает:

— Не робей, малышатки! Сейчас я вам гарнирую тёплышка. Последнее это дело — детишкам в холоде. Ленинское брёвнушко — оно жаркое!

Переключал отводину — подает топор Настеньке:

— Держи, хозяйюшка. Разжигай. Отогревай своих воробейчиков. Завтра утречком еще привезу.

Настенька сложила поленца колодчиком и созывает свой улей:

— Дети, идите греться. Сейчас будем греться.

Сели они кружком вокруг поленец и тянут ручонки к колодчику. От ленинского бревнышка греются. В за-пазушки тепла набирают горсточками.

Подкатило Елизару к горлу — никакого слова не выдохнуть. Пришлось отворотиться от ребятишек. «Угретым так не сыграть. Вовек не додуматься», — слезу почул.

Помолчал несколько, говорит:

— Ладно. Играйте. Только поджигать не намерьтесь... не вздумайте. И рубить на улице надо. Ленин-то на улице ведь рубил?

— Ага. Мы подсматривали.

— А может, Петя, это не Ленин рубил? Ленин, может, только побывал у вас да наказал кому следует, чтоб вам дров привезли, а рубил уж другой кто?..

— Не-е-ет! — оба с Настькой на дядю встопорщились. — Он это был. Голос-то ласковый слышался. По голосу сразу можно узнать. А в шинель он переоделся, чтобы пальто свое не замазать.

Разуверять Елизар их не стал. Да и не сумеет бы... Уголька под поленцами не тлеет, а им тепло грезится. На всю жизнь отогреты. Вся его досада растаяла. Забыл, говорит, зачем и опояску в руках держу...

Миронов почин

Годов десять с тех пор прошло. Повестка дня тогда была — организация колхоза. В каждой избе про это разговор. Днем, значит, и ночью — домашние прения, а вечером наберемся в Совет да про то же самое. Табаку тот год, помню, до весны не хватило. Пережгли за спорами. Дело неизведанное — суди, ряди, гадай! Который уж и решится, глядишь, да жерёбушка, будь она неладна, отсоветует. Встретит хозяина, хвост дужкой изобразит, всеми четырьмя стукнется об землю, вызвенит голосишком и на поскакушки к нему. Пошепчет мягкими губенками в ладони, и размяк мужик. «Она ведь в колхозе и узнавать не будет меня». Уткнется бородищей в гриву промеж ушей — такой родной, занозный дух по ноздрям стегнет — до прослезит. «Эх! Свое, чужое, чертово, богово!» А тут еще «домашняя кукушка» подкукует... Глядишь, «активист» неделю и просидит дома. Своя рубашка, значит, верх взяла. Считает, считает он на ней

латки-заплатки, шьет, порет, кроит, перекраивает, как ни кинет — все тришкин кафтан в наличности. Плюнет тогда, да за полушубок, да на народ...

Жерёбушка опять круг по подворью даст и сопаткой бодаться. Ну и отведает со всей ладони: «Все бы играла, художина, все бы шутила».

Этот уж, считай, переболел. Простился со «своим». Глядишь, Елизарова полку прибыло. Тот за колхоз-то обеими руками голосовал. Не сказать, чтоб он худо жил, возле середнячка где-то межевался, но за партийную линию — первый, можно считать, боец на деревне был. Горел этим. Однако туго дело шло. Беднота да вдовы — те хоть бы и сейчас не прочь, а справный хозяин ужимается. Поживем, мол, увидим. Из таких-то Елизар больше всего на Мирона Вахрина надеялся. Тот хоть и молчун был, хоть и Библию частенько расстегивал, а вперед повострей других глядел.

Кулацкое-то восстание на памяти еще. Он тогда деревню спас. Из окошек выглядывают: «Что с мужиком стряслось? В мыло да пену лошадей устирал». А он, не заезжая домой, проскочил к церкви да в набат.

— Восстанье,— говорит,— мужики, поднялось! В Рошixe, в Ларихе коммунистов режут, вот-вот сюда отряд приведут на расправу да мобилизацию. Силом мобилизуют... Вы как хотите, а я коней распрягать не буду. На лесоразработку подамся. План нам от властей доведен — стало быть, и причина есть в лесу находиться. И семьи прикроются. Моя думка, что это опять ихние благородья мужика подседлывают. В Москву на нем въехать норовят. Коммунисты хоть хлеб у нас для рабочих забирают, а эти — головы разверстывают. На мясо погонют! На баранину!

Ну и увел мужиков в лес. Которым опасно было — с семьями ушли. Там, на заимках, и переждали всю заваруху.

После-то Мирона нашего не только деревня, а вся округа нахваливала: «Голова мужик, дескать. Министр. Даст же бог людям!..»

На этого-то «министра» Елизар и полагался. Да уж больно он на язык крепенек был. Зайдет в Совет, «здравствуйте», верно, от него услышишь, а дальше снимет шапку, местечко сесть найдет — и в поту царствие.

Тут спорят, кипятятся, до ругани дело дойдет, дедами зачнут перекоряться, прошлогоднего погребения дыпуш-

ку вспомнят, а от него только и жизни, что глаза. Сверкали они у него, как, бывает, вар оплавленный сверкает или черное стекло в изломе.

Вот Елизар и решает задачу:

«Как же расшевелить тебя, бирюка? Ежели на спор по святому писанию назваться, так не подкован я апостолов толковать».

Дело с бездельем разведет — опять Мирон на уме.

«Не может же того быть, чтобы человек без разговору жил... Глухонемые даже не могут. Эвон они чего пальцами да рожицами вытворяют. Анекдоты даже... Послежу-ка я за глазами у мужика. Не откроют ли чего...»

Вечера три и попримечал. Разговорятся мужики по-хорошему, к колхозу примеряться начнут — так-то вот, мол, ладно бы было, а так еще укладистей, про машины зарассуждают, вспомнят, как в восстание две лесные нормы сработали — глаза у него притухнут чуть. Мягче взгляд станет. Интерес в них. Опять же замечает, что Никишку-звонаря недолюбливает он. Так иной раз глазами прожжет — со стороны не по себе станет. Тот-грамоте-то ни аза в глаза не видел, Евангелием понаслышке пользовался, ну и отпускал иногда:

— Легче к верблюду в ухо пройти, нежели богатство в царствие небесное пронести.

А то зевнет, рот окрестит и того чище угнет:

— Помяни царя Давида и всю кротость его.

Не зря сказано, что у кого голоса нет, тот и петь охоч. От звонарства-то его, по случаю закрытия церкви, освободили — вот он и наверстывал языком. Молол, что мозга помнили, а в дело, не в дело — не его дело. Голова всегда в пуху, волосы из кольца в сосульку выются, в глазах спаники вчерашние, борода реденькая и всегда с каким-нибудь «подарком». То сенина в ней застрянет, то яичко всмятку, то струю кулаги через губу упустит. Колхозу он не противился, я, говорит, пролетарьят духовного сословья.

Вот через этого Никишку умыслил Елизар расшевелить молчальника. «Никифор Кузьмичом» давай его навеличивать, советоваться как с путним. Слово по слову — глядишь, и до такого разговора доберутся:

— Машины, конечно, у нас будут. И трактора, и молотилки. С народом вот только как? Надо, видно, из своих, которые пограмотней, учиться посылать... Или из

города выписать?.. Как ты, Никифор Кузьмич, смекаешь насчет этого?

Тот моментом присоветует:

— Оно, конечно, сказано: отруби ту руку, которая добра себе не желает, а с другой точки — вырви око, ты соблазняющая...

— Это как же понимать?

— Понимать надо, как нам желательней. Ни хитру, ни горазду, ни убогу, ни безногу... пути господни неисповедимы.

— Да ты о деле толкуй!

— А я говорю: молись втайне — воздастся въяве...

Глубокомысленность на себя напустит, а ты отгадывай, к чему что у него. Мирон поначалу только покрывал реденько. Потом уходить стал. Елизар видит: не выгорает дело. Наоборот даже. «Этак-то,— думает,— он и меня с Никишкой уравниет. Одного, мол, поля ягоды».

Решил поправиться.

«Завтра же Никишку в свое стойло определяю»,— думает. А назавтра его в район вызвали. Совещание там собирали. В читальне оно происходило. В перерыве, значит, кто курить, кто закусывать примется, а Елизар вдоль стенок ходит да картинки всякие рассматривает. Не угляжу ли, мол, чего нужно, мужикам после рассказывать. Двигался, и вдруг приморозило ноги мужику. Владимир Ильич нарисован, бревно несет. Сразу он санную отводину вспомнил. Петрушку с топором... После совещания народ разъезжаться стал, а он опять к этой картинке.

«Ваша,— думает,— правда была, ребята. Уж если бревна носил, то отчего бы не поверить, что вам и дров нарубил?.. Могло, видимо, быть такое...» Переживал он, переживал над этой картиной, да и не заметил как разговоривать начал:

— Владимир Ильич,— говорит,— зачем же ты, милочек, так? Ведь у тебя, поди, и раны не поджили еще как следует... Не берегешься. А можно разве?

Заведующая думала, что Елизар читает чего,— прислушалась.

— Я бы вот докторов твоих заставил кряжи-то ворочать...

Заведующая к нему.

— Чем,— спрашивает,— товарищ, интересуетесь?

Он и рассказал. И про опояску, и про «коня», и про «вишню сушеную».

— Ребятам бы,— говорит,— показать. Может, то маленькое бревнышко...

Заведующая отколупнула кнопки, сняла картину и подает ее Елизару:

— Пусть она им на память будет.

Дома Елизар показывает ее ребятам:

— Вот он, «Владимирьич» ваш... Трудится.

Петру в то время семнадцать уж сравнялось, Настенька на год моложе.

Уткнулись они в картину и молчат. Петька так ничего и не сказал, лицо только построжело, а Настенька просит:

— Отдай мне, дядя! Я ее беречь буду...

— Ладно,— отвечает.— Покажу вот мужикам, тогда и береги.

Вечером собрались мы, как в обычай за последнее время вошло, сидим, раскуриваем. Никишка наш важничать стал. Фыркает. Дым ему; видишь ли, не поглянулся:

— И как вы, мужики, сирдечную систему не жалее-те? Вить яд это! Как есть отравал! Курите, святого духа турите...

Чуть погода загадки начал загадывать:

— Как взойду я на гой-гой-гой, как ударю я в бюз-лель-лель-лель — утки крикнут, берега звякнут, ядро заорет: жив мертвого бьет... Что будет?

Нос с бороденкой заострились вовсе, заповодил он ими, глазок один кривой, другой сощурен, умаслился, хоть ты с него лукавую лису рисуй. Ну, ублажим его, отгадаем. Это, мол, по всей видимости, Никифор Кузьмич на колокольне. Довольнехонек. И что из дырявого мешка, из него сыплется:

— Как пошел я по валюх-тюх-тю...

Заметил Елизара в дверях и недотюхтюкал. Опять на нас наплыл:

— Курить бы, мужики, помене надо! Знаете небось, что Лизар Сергеичу вредно вашу пакость нюхать?!

Тот легонько отодвинул его рукой от стола и говорит:

— Не жалься на мое здоровье. Все мы здесь немочные сидим — за обедом по пирогу мечем. Вождь вот бревна ворочал, а мы все моль в бородах ловим.

— К чему это ты, Елизар? — спрашиваем.

— А вот, смотрите...

Вынул он картинку и пустил ее на круг. Следом разговор потянулся:

— Тяжело, поди... Бревнышко-то вершков восемь в отрубе.

— Хм... Расея народом обеднела... Такая держава на плечах да заграница — брёвна только ему не хватало...

— Чего же они там, товарищи-то его, глядели?.. Не допускать его надо было. Декретом не позволять!..

— Неслух он, сказывают, был. Всех профессоров вокруг пальца обведет... Обнадежит их — те и сидят, ученые бороды разглаживают. Хватются, а он уж к рабочим куда-нибудь ушмыгнул. Изловят его доктора-профессора, укорять начнут. Вы, дескать, товарищ Ленин, всю нашу медицину под монастырь подводите. Ну он им и покается: виноват, говорит, а только мне без пролетарья-ту дыханья не хватает. Вот и убежал опять.

Мирон дольше других в картинку вглядывался — однако ни словинки. «Ах ты, — досадует Елизар, — бирюк сверхчувственный! Когда же ты заговоришь, сом подводный».

В это время картинкой Никишка завладел. Поднес ее к самому огню, щурится и чего-то губами шевелит.

— Чего ты шепчешь там? — спрашивают.

— Да вот... из писания вспомнилось. Спаситель наш, господь Иисус Христос, крест на Голгофу нес, а этого бревно заставили...

Мирона ровно шершень подколол. Вздрыгнулся медведем — и к Никишке. Сошелся лицом в лицо и спрашивает лютым шепотом:

— Кто его заставил, кутья?!

Тот оробел донельзя, голосишко сразу сгугнявился, разжижел:

— А эти... как их... ну, самые... фарисен, сказать... И... иудей, то есть...

Мирон ему казанками раза три по лбу стукнул, головой покачал и говорит:

— Эх ты, звон-мякина! Кого ты сравнивать задумал?.. Спаситель-то твой кто?

— Сы... сыне божий...

— Та-ак. Сыне божий. Дальше!..

— Чего дальше?

— Разрисовывай дальше его, спасителя. Ну!

— Непорочно за... а... чат. Чу... чудеса творил... страдал. На кресте распнут.

— Еще чего помнишь?

— Воскресенье, вознесенье, не убий — заповедь...

Прост, прост Никишка, а тут смикитил: заповедь для обороны подкинул: «Не убий», дескать. Оно, верно, и со стороны жутковато было на Мирона смотреть. Как незимовалый медведь разворотился. Да еще собачья яга на нем...

— Верно, кутья. Вознесся. А нам, чадам своим, заповеди оставил. «Не убий», говоришь, сказано? А тюремный батюшка со крестом по камерам ходит да приговаривает: «Целуйте, дети, лик спасителя — завтра утречком на зорьке вас вешать будут». А полковой батюшка первым словом «За веру...» солдата на убийство благословляет, а самодержец православный, помазанник божий залпами, залпами по христовой пастве да шашками, шашками по башкам!.. «Не укради» еще сказано! А кто нашу силу жевал? Кто нашим потом пьян был? Христос нас не человеками — «овцами» назвал, а овец стричь надо. Стрижка не воровство — законный доход. Поп стригет, купец стригет, помещик с заводчиком доят, брынзу варят, царь мерлушки снимает, а урядники да есаулы тушки шомполами разделявают. Дале пойдем... «Не прелюбосотвори» сказано? А нашим прабабкам и здесь Христа утешить нечем. «Барин зовет!» Не пойдешь?! Овцу и в другую скотину переделать недолго. И вот грудь, такую же, какой сын божий вскормлен, сучкины дети иссасывают, а рожденного по образу и подобию божьему «собачьим братом» зовут. «Не прелюбосотвори», а на «веселом доме» красный фонарь горит. При чем тут заповеди, когда полицией дозволено?.. Лжа и фальшь кругом! Он нас в судный день делить собрался: на овец, мол, и козлищ... а мы поделились уж. На овец и волков поделились. Сладенькая плакса — вот он кто, спаситель твой, оказался! Да к тому же дезертир... Отведал земного — на небо вспорхнул. Ждите, мол, протрублю... Две тыщи лет скоро, как «овцы» с неба глаз не сводят! Раздолье волкам!.. А он не трубит. Или труба испортилась, или досыта еще не наплакался, на нас глядя. Как, по-твоему?

Мы сидим — рты пооткрывали... «Дочитался, — думаю, — вымолчался. Гляди, как славно Библию толковать стал...»

Никишка мнется стоит, а Мирон прямо с мохнатками к нему в душу забирается.

— Ну, дак как рассудить?

— По-моему, вирьятно, вся причина... скорей всего... Ну да! Труба подгадила.

Как грохнули мы! Ну, духовенство!.. Отчебучивает чего. Никишка тоже козельчиком зашелся: «Гляди, мол, как ловко я сшутил». Только на Мирона это без воздействия. Просмеялись — опять он к нему подступил.

— Ты под Ленина слезу не пушай, елеем его не мажь... Он другого сорта спаситель: «Пролетарьи, значит, соединяйтесь» и... своею собственной рукой, то есть. Сами себе спасители. И суд сделаем, и рай сотворим. Его на небо не вознесешь — он землю любил. Видишь, за бревно ухватился, строиться на ней хочет! Кабы мы все так-то: плечи свои под бревна... Да совесть у нас еще махонькая. Мы еще за полподковы железа да куричью потраву друг на дружку зубами клацаем. Свое-то к нам диким мясом прикипело. До его, ленинской, совести, может, только наши внуки дотянутся. А дорастут!.. Это бревнышко, которое он несет, — живая заповедь им. Подхватят и донесут куда задумано!

На другой день Мирон Минейч Вахрин заявление принес. А через неделю он председательствовал на первом колхозном собрании.

Елизар на общих скамейках сидел. Улыбался.

1959 г.

СОРОК СЕДЬМАЯ МЕТКА

Кешка — он кому сын? Андрею Куроптеву! А внучек кому? Старому Куроптю! Фамильные, можно сказать, волкодавы.

Деда он не помнит совсем, а отца — смутненько так. По четвертому годику оставался, когда Андрей на войну уходил. Чего он может тебе рассказать?.. С мамкиных слов разве...

Старый-то Куропоть — он бы еще поторил волчьи тропки-то... Не с одним серым бы еще за лапку поздоровкался — здоровенный еще чалдонище, с каленым румянцем на щеках ходил, а скопытнулся, слушай-ка, за «тьфу». Скажи вот, пожалуйста?.. Ни ночь, ни непогодь,

ни стая волчья, лютая февральская, утратить его не могли, а через несчастных зайчишек смерть принять пришлось. Оно по правде если сказать, то и дивиться особо нечему; уж больно он всякие охотничьи приметки соблюдал. Чертовщинке тоже в вере не отказывал. Через это и с попом не в ладах был.

Пошел он раз капканы доглядеть, а поп ему повстречайся да усмехнись... Куропоть — домой! Худая, дескать, примета — попа повстречать. А тот себе это на усок и замотай. Нарочно стал попадаться навстречу, как Куропоть в лес направляется. Отприветствует его по отчеству, про здоровье спросит... Куропоть аж зубами скоргогнет. Сосверкнет глазами да и назад... Плюется потом в малушке-то, честит духовенство. Другой бы на эту приметку наплевал пять раз, а он так и не переступил. Ночами стал уходить или по воскресеньям, когда поп в церкви.

Как надел лыжи — слово ему сказать не могли про волков. Обругает! А уж если с добычей идет — вовсе прищеми язык... Прибить мог. Сестра родная, годов, поди, двадцать не виделись, приехала погостить, а брата нет — на промысле. Елфимьевна — ее Куроптихой же прозывали — и без хозяина золовку приветила. Родню созвала, ну, там, наливочки выставила, самоварчик, вареньица — сидят, довольствуются. Куропоть середь пируто и зашагнул в избу с волками на плечах. Пусть, мол, туши оттают. Ну, свои-то знают порядки — сидят безо всякого вниманья, а гостя, от долгой разлуки да от наливов, и возликуй:

— Ба-атюшки! Поглядите-ка!.. Да ведь он с волками, с добычей! Пару принес... Охотничек ты наш разудалой, дай-кось я тебя расцелую!

И уж губки груздочком сложила, в Куроптеву бороду ими целится. Тот как шмякнет волками об опечек да как рывкнет на гостью:

— Черви тебе на язык, полоротая!

Одной Елфимьевне, жене своей, только позволял волчье имя упоминать. Та их, волков-то, до двенадцатого колена клянет, бывало, а Куропоть ничего, молчит.

Помер он вот как.

Истопила одна Елфимьевна баньку.

— Иди-ка, — говорит, — старик, прогрей суставы... Все на морозе да на морозе — не волчья кость, чай!

Я малинки заварю, чайку попьешь. Держи веничек, чтоб им от чумы переколеть, волкам твоим. Ступай, угар-то, поди, вышел...

Ворчит эдак ласковенько на манер самовара откипелого, а сама бельишко тем временем собирает.

Куропоть и пошел.

А через промежуток время залетает в избу — лица нет на мужике. Пал на лавку и квакает: «Ква... ква... ква...» Елфимьевна в понятие взять не может, что со стариком стряслось, а ему, оказывается, квасу надо было. Сгрел он со стола крынку и до дна ее опростал.

И тут же грохнулся.

Пока Елфимьевна за сыновьями бегала — он уже остывать начал. Обсказала она про баню — ребята туда. Там оно и объяснилось, дело-то...

У нас тот год зайцев, слушай-ка, развелось — коробами возили. Вот тут, в Дунькином овраге, бывало, полазишь часок-другой — весь ими увесишься. На огородах, на гумнах таких по порошке кружев наплетут, со роке негде след оставить. Совсем зверь истварился, всякий страх и стыд потерял. И под амбары лазит, и до того обнахалел, что собак на собак натравливать приспособился. Один с одного конца деревни забежит, другой — с другого, и несутся повдоль улицы друг дружке навстречу. За тем и за другим, ясное дело, собаки стаями увяжутся. На встретенье-то зайцу деваться некуда — он через изгородь, значит, и сиганет. А собаки сшибутся — и ну свою братву потрошить.

Вот и с Куроптем они же напроказили... Елфимьевна баню открытой оставила — не угореть бы, а они и попользовались. Запрыгнули на полук, сажай там припудрились, дымку нанюхались. Уши у них от жары обвянули, повисли, разбери-ка, не приглядевшись, что за порода. Куропоть их в таком виде и застал. Ну, в бане известно какой зверь, по тогдашнему понятию, жительство себе облюбовывал. Всякая нечистая сила. Куроптю, значит, и сдействовало... Где таз, где веник, где подштанники растерял. И на квас поманило.

Вот и вышло, что трус храброго одолел. Покойника, конечно, за эту слабинку не повинишь сильно-то. На славе тогда черти были. Все на них валили. А с черта зыск известный. Ребята, верно, этим зайцам уши пообрезали, а толку-то?.. Ушами отца не воскресишь, быть самим за главных оставаться.

Андрей — это старший — при отце охотой не занимался, по хозяйству пособлять надо было. А при таком случае не бросать же капканы в поле. Пошел по отцовской лыжне. Пошел да так ее и уминал, можно сказать, всю жизнь. Этот уж другого закала Куропоть получился. Ни от попа, ни от черной кошки не воротил, ни в чох, ни в сон не верил... А промышлял ладно. Палочку выстругал, слышь... Как взял волка, так мету на ней зарежет. До войны сорок пять волчьих душ он на этой палочке пометил. Он бы, ясное дело, за всю-то свою жизнь еще бы не одну палочку изрубцевал, да, вишь, понадобился на другое. Вызвали мужика в военкомат, машинку в кудри запустили, с солдатством поздравили — и в путь. Сын Кузьма у него в ту пору на фронте был, девки до волков неохочи, а Кешка, говорю, по четвертому году до войны оставался.

Прошло эдак года два, пожалуй... Воротился в деревню Тимофей Латынцев. Ему по ранению отгул дали. Через денек, два ли приковылял он к Куроптевым и передал семье боевой привет от Андрея. Кешке поглянулось, слышь, что привет «боевой»... Забрался к Тимофею на коленки, глазенки горят:

— Расскажи, дядя, как наш тятка воюет?

Тот, видно, пошутить хотел, ну и подзанозил парнишку.

— Какой,— говорит,— из твоего тятки вояка?! Он и там охотой да рыбалкой занимается.

Кешка на печь, да и в рев. Обидно, вишь, молодцу стало: все фашистов бьют, а его тятка — вона что.

Тимофей и шутке своей не рад. Кое-как отвел парня от слез и давай рассказывать:

— Так и так... Разведчиком твой тятка состоит, Иннокентий Андреевич. И охотничает он не на волков да на зайцев, а на самых настоящих фашистов. Проходили,— говорит,— мы один раз деревушку брошенную... И вот в той деревушке нашел твой тятка где-то на чердаке волчий капкан. Пристроил его к вещмешку и дальше замаршировал — «ать-два»! Мы дивимся... Поход ведь... В походе каждый фунт пуд тянет, а он несет да посвистывает. Командир приметил капкан и спрашивает:

— Ты, Куроптев, зачем эту премудрость тащишь?

А он:

— Пригодится, товарищ лейтенант!

«А будь ты,— думаю,— неладен мужичок! Никак и здесь волков ловить собирается. Вот заквасочка».

Встали мы вскорости в оборону. Между нашей и немецкой высотами каких-нибудь полторы сотни метров наберется. Оборона старая, укрепленная. Тут тебе и колючки в три кола понавито, и мин в земле присекречено, и каждая кочка пристреляна — жесткая, словом, оборона. Дает командование разведчикам задачу: взять «языка». Попробовали раз — не вышло, в другой раз — тоже неудача. А «язык» позарез нужен. Вот и примечаю я, что тятка твой о чем-то с командиром совет держит. Краешком уха слышу — «старинку» Андрей вспомнить хочет. К вечеру приволок он на передний край свой капкан — тут-то я и догадался, что у него за «старинка». «Языка», видно, капканом брать будем.

Ну, ладно. Сдавили, значит, пружины, развели дуги, вставили между ними деревянную распорку, чтобы до поры капкан не сработал, и за другую снасть принялись. Одну пружину намертво стальным тросиком обмотнули, а к дуге телефонный проводок приростили. К чему такая механика — не пойму.

— Зачем,— спрашиваю,— трос-то?

Андрей поясняет:

— Это заместо лески штука будет. Добычу тянуть — вываживать.

— А проводок?

— А это вроде поплавка послужит. Пока не «клюнет» — он спокойно лежит, а как «клюнет», сработает, значит, капкан, его и подернет. «Сторожок» вам такой...

— Нам?! А ты куда?

— А я с «крючком» туда подамся,— показал на капкан.

Тут же и саперы стараются. Вкопали два столбушка в дно окопа, установили барабан и тросик на него сматывают. В деревнях такой системой воду из колодцев достают.

«Ах ты, чудака-рыбак,— думаю,— чего умудрил!»

Дождались ночи. Андрей уж в полном боевом у нас: автомат взял, гранат пару, финку, а за плечами капкан настороженный. Только на распорке пока... Помогли мы ему из окопа выбраться — пополз. Саперы тросик потихоньку с барабана разматывают — тянется наш «крючок» к немцу. Вспыхнет ракета — замрет тросик, сгас-

нет — опять зашевелится. Огонь с обеих сторон сильный.

Побольше полчаса прошло, совсем остановился трос. Дрогнет чуть-чуть, а вперед не подается. Командир сосчитал витки на барабане и говорит:

— Ну, Куроптев у места. Становись на обратную тягу, ребята, а я за «сторожкой» следить буду. Я не вытерпел, спрашиваю:

— Товарищ командир, неужели он капкан в окоп к ним спускать будет?

— Нет, — говорит. — На тропке поставит. На той, что торфом у них на болотце примаскирована...

Немного отлегло у меня от сердца... А ежели бы, скажем, в окоп, то наш Андрей натуральная наживка для немца. Сглотнут, как червяка... Стоим, глядим в ночь... Ждем. За каких-нибудь семьдесят сажен уполз Андрей, а что с ним — неизвестно. И не крикнешь.

Вдруг тросик подернулся.

— Возвращается, — сказал вполголоса командир. — Знак дает. Ну, теперь, ребята, доглядывай в оба, а слушай в два!..

Вот казарки прогоготнули — старым путем-дорожкой на юг летят. Под крыльями ракеты пыхнули — эх, всполошились! Пролетела казарка, немец на пулемете мотивчики завыстукивал. Минут несколько потренировался, вдруг — «сторожок» у нас...

— Тяни-и! — аж зашипел командир.

Как налегли саперы на рукоятки барабана — вот тут и началась несусветная. Немец, который в капкан попался, дурнинушкой взревел. Чисто боров недорезанный голосит. И главное, в понятие не возьмет, какая его сила к «русю» тащит. По крику ракеты пускают, стрельбы густенько поднялось, кое-где гранатки закрывали — и «языка» нашего не слышно стало.

«Уж живой ли?» — думаем.

А сами знай на барабан налегаем.

Немец, однако, такой пронзительный попался, что и сквозь всю стрельбу повизгивает. Ну, нас и бодрит: «Жив, значит!» Мертвый-то он на кой нам?.. Нам немец с разговором нужен. Доволокли все-таки... Подхватили его на руки вместе с капканом да скорей в укрытие. А туша добрая попалась. Тащим ее, бережем, псюку, собой прикрываем — «язык» ведь. А немцы — ровно повзбесились: как принялись по нам из минометов да ору-

дий вкладывать — жарковато стало. С сердцем огонек... Часа полтора гвоздили, все досаду избивали.

А Андрея не слышно. Ребята уже поползли было разыскивать его, слышат — постанывает кто-то в воронке неподалечку.

— Ты, Андрей? — спрашивают.

— Я, — отвечает. — Помогите, братки, до траншей добраться. Раненый я в ногу... рановато герман в капкан влез.

Опускают его в траншею, а он все ворчит:

— Ишь, какая буча поднялась из-за мазурика. Где хоть он есть?

— В штаб повел его командир, — отвечаем. — А тебя, друг, в санбат придется доставлять.

— Нет, братки! С докторами погодить надо... Сорок пять волков я таким манером кончил и каждому перед смертью в глаза посмотрел! С этим не знаю, как начальство решит, но желательно мне, — говорит, — и на сорок шестого взглянуть.

Что тут делать? Положили мы его на шинелку, понесли. Докладываем часовому: главный ловец прибыл и желает лично осмотреть добычу. Тот мигом к начштабу. Через минуту сам начштаба, капитан Лихачев, распахивает землянку и кричит нам:

— А живо его сюда! А подать мне молодца!

Внесли мы Андрея, положили на топчан, а начштаба стакан водки ему...

— Погрейся-ка, — говорит, — сибирская душа!

Андрей опрокинул скляночку и спрашивает:

— Где же он — пленный, пойманный этот?

Капитан откинул плащ-палатку, и мы увидели «языка». А божинька ты мой! Ну и «язычок»... Одежда — лоскут на лоскуте, по морде ровно корчеватель прошлся: пугало нераспятое стоит.

Гмыкнул Андрей и говорит:

— Ну, с этого шкура последним сортом пойдет. Против шерсти оглажен. Спортили мех.

Капитан заспорил.

— Зря вы его, сержант Куроптев, задешево отдаете... Зверь что надо: обер-лейтенант, фашист с билетом — волк, словом, форменный.

Андрей привстал чуток и так говорит капитану:

— Так бы оно так... да жила в нем, товарищ капитан, не волчья. Тот лапы своей не щадит, отгрызет

напрочь. Волк — он, можно сказать, гордый зверь. Молчком умирает. А этот на расплату — подсвинок визгучий.

И рукой махнул.

А немец ровно подтвердить Андреевы слова захотел. Как подхватило его, как залопотал он что-то переводчику, забил себя в грудь, завсхлипывал — вот-вот на него родимчик накатит.

— Чего это с ним? — спрашиваем.

Переводчик смеется.

— Обижается, что неправильно воюем мы. За все века, во всех державах не было, говорит, случая, чтобы офицеры волчьими капканами ловили.

— Ну, это ты врешь, карась чешуйчатый! — осердился на обер-фашиста Андрей. — Всяко мы вашего брата ловили. Попытай кого постарше. Те тебе и про капкан, и про аркан, и про бороны вверх зубьями и даже про медвежью рогатину расскажут. Русской смекалке, карась, предела нет! А что она неправильная, говоришь, то тут уж даже пардону не просим... Мозги у нас так устроены, чтобы врага-захватчика любым средством в царствие небесное представить.

Капитан Лихачев аж засиял:

— Верно говоришь, сержант Куроптев! Благодарю за службу, сержант, жди награды. А пока выздоравливай, друг. Доставьте его в санитарную часть.

Андрей хоть и на одной ноге, а оттраптовал:

— Служу Советскому Союзу!

— Вот такие-то дела, Иннокентий Андреич! — запустил Кешке в волосенки пятерню Тимофей. — Зря, — говорит, — ты ревел... Хорошо твой тятка воюет! Блюдет сибирскую славу! Так что расти в батьку — не прогадаешь.

Кешке этот Тимофеев рассказ, почитай, на все ребячество слезы высушил. Когда через год с чем-то прислали на Андрея похоронную — слезинки не изронил парнишка.

— Чего же ты не поплачешь, Кешенька? — спрашивают. — Тятки-то теперь нету у тебя?..

Засопит, а выдюжит:

— Тятка гордый был! Он, поди-ка, умерал — не плакал...

Достал только отцову палочку и застрогал на ней сорок шестую метку. Фашиста, значит, того пойманного причислил.

После по-другому сообразил. Проснулась как-то мать, а он сидит, с палочкой возится.

— Ты чего, Кеша, делаешь?

— Фашиста, — говорит, — перечеркиваю.

— А к чему ты это?

— Тятка его карасем называл чешуйчатым, да и жила у него не волчья.

...Сейчас погляжу на него — вылитый Андрей! Что как жук черный — это всякий видит. А вот непоспешливость отцову, прищурку в глазу, походку с подкрадочкой — это уж, кто Андрея хорошо знал, заметит за ним. Усов только нет... Ну да то не порок. С годами просекет. Увижу его в отцовском колушке, на лыжах — вьяве мне старый Куропоть, вьяве Андрей...

Он мне, Кешка-то, стареть не дает.

Народ на похвалу да добрую память не скуп. Как, бывает, где поозорничают волки, так люди и вспомнят: «Эх, нет Андрея Куроптева!»

А Кешке каково слушать. И погордится, и растревожится, и неловко-то ему — винят будто малого...

Дедова да отцова слава, когда своей не нажито, она для гордой души, хоть бы и ребячьей, тяжела часом бывает.

Придет после этих разговоров домой, ружье отцово, как сумеет, вычистит, с палочки пыль обдует, повздыхает, да и за книжку. Мал еще. Ну да все до поры!

Повадилась одно лето волчица на деревню набегать. Нам ли уж волки в диво, а такой бандитки даже дед Михайла не упомнит. Ну, были волки... Задерут там овцу, телка — так их припугнут, и делу конец. А эта чуть ли не каждую ночь проводки справляет. У Обуховых всех гусей кончила и копешечкой сложила. То там, то тут свиньи спросонок впроголодь ревут... Телятишки бедные и мукнуть не успевали — за один щелк зубов голоса лишала. И хоть бы жрала либо волчатам таскала, а то как будто скуку сгоняла с себя.

Одна на глазах у сторожа в загон к овцам заметнулась и в каких-то две минуты двух ярок и трех маток прикончила. Олена Стружкова — она при овцах сторожем была — закинулась в малушке на засов и мелким крестиком крестится да приговаривает:

— Чур-меня... Чур меня...

Пастух уж народ всколготил. Чуть не весь колхоз сбегался: стоят, судят кто во что горазд. Дед Михайло

тоже приковылял. Глядел, глядел да как ахнет картузом об землю:

— Эта што жа за порядки пошли! На одну волчиху укороту нет! В аккурат она скоро самому животноводу горло порвет.

Захар Бурцов, животновод, оправдываться:

— А что ты с ней сделаешь. Была б она белая — видней, а то серая. Сегодня три засады сидело, а толку? Так вот каждую ночь и проведет. Ты ее здесь караулишь, а она где-нибудь делов натворит.

Олена отошла на народе — тоже голос подала:

— Э-эх, нет Андрея Куроптева... Он бы ее, покойная солдатская головушка, приструни-и-ил! Давно бы она у него на пятах шкуру сушила.

Захар, животновод, с досады на нее:

— Ты бы сама поменьше в малушке сидела, а побольше бы общественный скот обороняла... Сторожа аховые!..

Тут и увидел дед Михайла Кешку.

— Ходи-ка сюды, Кешенька!

Кешка подошел.

— Видишь?! Нет, ты видишь, чего вытворяет тварь эдакая!

— Вижу, дедушка Михайла...

Дед раскрылатился, развернул, насколько позволяли позвонки, сухонькую грудь, морщины на лице будто колдовской ветерок тронул: залучились они ласковыми соцветьями, желтенькими пчелками заворошились маленькие брови.

— Ну, когда видишь, то еще спрошу. Не пора ли тебе, Кешенька, вспомнить, чей ты сын да чей ты внучек?! Старый Куропоть — он тебе с того света благословенье сошлет... Добудь ему, Кеша, шкуру серую! Он сейчас хоть и в раю должен пребывать, а все одно ему, на мой резон, улежней волчьей шкурки ни серафимы, ни херувимы постелю не найдут.

— Я бы рад, дедушка, да поучить меня некому.

— Как это некому? Это как некому! А я на што? А ты сам на што? Берись за дело — дело медведя учит. Охотой-то балуешься?

— Хожу. На тетерь, на зайца...

— Тетерь — тьфу! Ее сонной зовут. Заяц — тоже тьфу, корм зверев!.. Ты за волка берись — волк один заячьего табуна стоит! А такая ведьма... ну, да сам ви-

дишь, какую она волю взяла. Эх, Кеша, кабы у меня ноги!

Давно убрали овец, давно народ по своим делам разошелся, а Кешка все сидел с дедом и слушал волчьи побывальщины.

— Ты, Кеша, суди волка, суди и по волку. Какая у него жизнь? Ведь самый разнесчастный зверь, ежели размыслить! Про него даже сказочки хорошей не сказано. Все царства его ненавидят... И степное, и лесное, и летучее, и людское... А он, сирота-бедняга, пожаловаться толком не умеет даже. Как взвояет — всему живому жутко делается, аж по спине мураши пойдут. Проклятый зверь!

Неизвестно, сколько бы времени старый еще жалел и клял волка, кабы Демьяныч не подъехал.

— Тпру-у-у! Здравствуйте, Михаил Тихонович!

Дед ладошку козырьком:

— А, Демьяныч! Здравствуй. Далеко ли бывал?

— В лесхоз ездил, за дегтем. В соседнем районе яшур, слышно, появился — решил, вот, деготком подзапастись... Далеко ли до случая?..

— Беспокоился, значит? Молодец, Демьяныч! Деготь при яшуре — старое средство.

— А это кого у вас тут резали? — заметил кровь Демьяныч.

— Резали, да не мы. Гостья опять нас попроедовала... пять овечек кончила...

— Волчица?!

— Она, стерва зверояростная...

Демьяныч — пружинкой из коробка на землю.

— Тэк, тэк, тэк...

Поглядел кругом и опять:

— Тэк, тэк-и-тэк...

Кешка мало знал Аркадия Демьяновича. Жил тот в совхозе, в двух километрах от их деревни — видал в лицо и все. Зато в совхозе, где Аркадий Демьянович работал зоотехником, его знали и стар и млад.

Другой человек кругом, смотришь, хорош — ни сучка, ни задоринки на нем нет, а живет почему-то непримечен. Про Демьяныча же слава да молва во все концы проникает. Оно, конечно, иная слава хуже поношения, да куда от нее уйдешь? Что бы, например, особенного в том, что человек пошел на охоту? Иди. Ни пуха ни пера!.. Ан нет! Стоило Демьянычу взять ружье, перепоясаться пат-

ропташем — попробуй-ка он пройди по совхозу, чтобы из каждого окошка улыбочка к нему на мушку не слетела?

Начало своей славе сам же он и положил. Ну, посуди... Человек принимает работу — какой у него должен быть интерес? Ясно — работа! А Демьяныч с первых же дней два фронта открыл. Покажет молодой доярке, как корове вымя разгладить, намять, и тут же про тетерь зачнет ее расспрашивать. С конторскими то же самое: кривой график по удою вычертит — и за дичь. Какая, значит, она у нас ведется, много ли, есть ли охотники, ну и прочее... Попервости-то все решили: не иначе о ружьем повитуха мужика приняла, бывалый, видать, но, когда он раза четыре без пера, без хвоста, без заячьей лапки воротился с охоты, тут уж точно его определили: «Пустострел». У нас ведь живо с этим... народ глазастый. Другой дедок вроде только в бороду себе и смотрит, а приметит, во сколько рядов у тебя дратва по подошве пущена.

Ну, пустострелу жизнь известная: бери, значит, ружье за ствол и бей его об корягу. Бей до тех пор, пока ложе не измочалится, винты не разлетятся и сам ствол в загогулину не свернется! Посля — брось. Не сделаешь так — свой же брат охотник печенку тебе испортит. Ни чина, ни седны не пощадят, в потомство пустят славушку... Бывалое дело.

Демьяныч, однако, не пошатнулся. Где бы ни зашел мало-мальский разговор про охоту — его ухо тут! Начнет разговор перемежаться — его язык тут! Он знал обо всем: и у какой собаки нос вострей, повадку всякой лесной твари знал, богиню охоты по имю-отчеству называл, только вот, какова дичь на вкус бывает, не мог доложить.

И вот здесь, возле деда Михайлы, у окровавленной земли, он чуть ли не носом запричуивал зверя:

«Была! На следу стою! А если бы ее жаканом!.. Ухх!!» Сам глазами по колкам, по плетням шарит, вот, кажись, самое волчицу узрит. Зрил, зрил — не узрил. Только кнутовищем округе погрозился:

— Ну, ничего, серая синьора... От меня-то ты не уйдешь!.. Ночь, три ночи, неделю буду сидеть, а шкуру я тебе издырявлю!

Дед Михайло — сам простота — глазами запомигивал, момент еще — и, гляди, слеза пронзит.

— Пожалуйста уж, Демьяныч! Вся надежда на вас... Займитесь вы ей, окаянной. Ведь никакого сладу...

А у самого от улыбки под усами щекотно.

Кешка, тот, верно, все за чистую монету принял.

К вечеру весь совхоз знал, что Аркадий Демьяныч идет в засаду.

Оно бы, может, и без большой огласки обошлось, кабы не теща. Демьяныч, видишь, решил поросенка для приманки взять, а теща наперек:

— Люди — в дом, а ты — из дома... Охотничек, чтоб тебя собачки по мелкому клочку растаскали!

Да поросенка-то нарастяг: Демьяныч — к себе, теща — в свою сторону.

Ну, крик с визгом и перемешался. А тут уж сам догадывайся...

Опять, значит, потеха будет. Только Демьяныч в этот раз оберечь себя малость решил. Надоело ему одному в пустострелах — прораба Щеняева с собой сманил. Тот парень молодой, недавно только из училища, не знавши-то Аркадия Демьяныча, и рискнул: поучусь, мол.

Пошли. Только до плотины добрались — навстречу им Кешка с ружьем.

— Возьмите меня с собой! Я сорок восемь из пятидесяти возможных весной выбил... Все патроны сегодня карточками зарядил. Десять штук с карточками.

Аркадий Демьяныч оглянулся на всякий случай через плотину, поросенка наземь опустил и Кешке напрямую:

— Вам что, юноша, жить надоело?! Да осмысливаете ли вы, со своим понятием, что такое вол-чи-ца?

Сказал эдак-то и замолчал: ощути, мол.

— Что — волчица? Зверь волчица...

— Нет, юноша... Нет и нет! Волчица, допрежде всего, самая свирепая и самая верная мать... Она без пощады, обчертя чем попало голову, не исповедывая ужаса, мстит за своих детенышей. Это, так сказать, рядовая волчица. А у этой, с которой нам сегодня предстоит посмотреть в глаза друг другу, у этой волченят или цыгане забрали, или они сгорели, когда весной палы шли. Она сейчас в таком обескуражье находится, что не только вы, добрый охотник у нее нижайшего пардону запросит. Она отчаянная, клыки крови жаждют, пепел волченят сердце ей жжет.

— Да уж не заест, поди... — перебил его Кешка.

Прораб Щеняев то ли алебастр как следует с лица не отмыл, то ли Демьяныч его отбелил своей речью эдак. Стоит — ровно из монастырской кельи выпущенный.

А Кешка снова просит:

— Так у нас ружья, Аркадий Демьяныч!

— Что ружья?! Ружья ружьями, а где порука, что завтра из этих стволов мы не будем палить над вашей молодой могилой?

— Да уж не заест, поди...

Демьяныч в этот момент взглянул на прораба Щеняева:

— А вы даже после работы не умылись, Геннадий. Все лицо в алебастре.

— Нет, я умывался...

— А-а-а... — протянул Демьяныч. — Тогда ясно... Так, говорите, не заест? — повернулся он опять к Кешке. — Так-так, молодой человек. Вон и известный охотник, профессор Мантейфель, такое же ручательство даст. Волк, пишет он, за всю предбывшую историю настолько затравлен человеком, что не смеет на него нападать. И я тому Мантейфелю обязан верить. Я его лично знал. Но волк-то Мантейфеля не читает! Здесь у вас, в Сибири, я слышал громадную массу рассказов, что он все-таки нападает. И даже кусаных лично встречал. — Демьяныч, не останавливая речи, взглянул опять на Щеняева. — Как это объяснить? Так это объяснить! Сибирь заселялась позднее, и сибирский волк меньше террору перенес, чем, скажем, подмосковский, кругкиевский, древний греческий, царьгородский и других держав волки.

Колесил, колесил так-то, растолковывал Кешке, как волка на иностранных языках величают. А подвел все-таки к тому:

— Нет, юноша. Живите, резвитесь, как говорится, на воле... Рисковать вашей свежей юностью я не могу.

Поросенок на этом месте схрюкал, а Демьяныч такое на лице изобразил — действительно поверишь, что он на верную смерть идет. Морщины на лбу до того напружинил, что аж загар на них побелел. Залысины отпотели, блестят, белесые брови двумя колосками над переносицей легли, шевелят усиками-то. Скулы отвердели, подбородок вовсе заострился, губы в червячков истончали и огорчились вниз хвостиками — совсем человек к голгофе изготовился.

Постоял он, постоял с таким видом и вялым голосом Щеняеву:

— Идемте, Геннадий. Берите свинтуса.

До колхозных амбаров вместе дошли.

— А можно мне посмотреть, как вы засаду будете устраивать? — спросил Кешка.

— Это — пожалуйста, юноша... поучитесь.

Прошли еще немного. Демьяныч углядел ловкое место, разложил снасть и начал:

— Что нужно для засады? Ружья, поросенок, мешок с дырочкой, длинная веревка, короткая веревка и бестрашность. Делаем мы что? Нашариваем в мешке заднюю поросячью ножку, обвязываем ее длинной веревкой... Тэк-и... Другой конец этой веревки пропускаем через дырочку мешка наружу. Ясно, для чего мешку нужна дырочка? Вижу, что ясно. Дальше... Короткой веревкой завязываем мешок и подтягиваем его под застреху навеса. Помогите, Геннадий! Тэк-и... На весу поросенка держим для чего?! Чтобы не страшны ему были ни волчий клык, ни огненный картечный бой. После этого охотник через промежутки времени подергивает длинную веревку. Получается что?.. — Демьяныч дернул длинную веревку, мешок качнулся, поросенок вякнул. — Получается визжание натурального поросячьего голоса. Ну вот, теперь все в порядке. Милости просим, голу-бушка... Запоминайте, юноша. Сгодится при возмужанье.

Кешка видит, что заделье к концу подошло, еще раз попытал:

— Я останусь, Аркадий Демьяныч?!

— Нет, молодой человек, и нет! Детям, как говорится, школьного возраста...

— Да я уже не учусь... нынче семь классов кончил...

— Все равно! Все равно. Идите к Морфею, как говорится...

— Куда?

— К Морфе-е-ю!

— Это в Союзохоте, что ли?

— Тьфу ты, господи! Ну, молодняк пошел... Морфея не знают... Сонный бог это!

Кешка двустолку через плечо переметнул, крутенько эдак завернулся и ушел.

«Сам ты иди к Морфею!.. — думал он. — Если так, я

и один сидеть не струшу. Правду, видно, дедушка Михайла говорил: «Берись за дело — дело научит».

Сяду-ка я у запруды — не здесь ли у нее переход облюбован?

Нашел потаенку, устроился в ней половчей:

— Ну, Кешка! Доглядывай теперь в оба, а слушай и вовсе в два!

Эх, гармошки-то как развоевались... Плясу там сейчас, веселья!.. Частушки поют. Мастерница эта Анюта частушки складывать... Ишь, звонкая... Чу! Гуси загоготали! Стихли... Спросонок они. А перепелка старается: «Спать пора — трактора». Ну и спи. Иди к Морфею! А туману-то вот не надо бы. Ишь, на стволах капельки собираются. По туману ей, серой, ловко... Поросячье визжанье... Подергивают, видно».

Лежал Кешка, лежал — озяб. Плечишками впередерг работает, зубы «туторки-матуторки» отчакивают... Зорить уже стало — лежит парень, только и согрева у него, что пальцами в сапогах шевелит. Вдруг на деревне взахлеб, с подголошеньем взлаяли собаки. Кешка вскочил, прислушался. Лай был злой, но с жальбой... «Так лают, когда взять бояться», — подумал он и бегом бросился туда, где брехни было гуще. Собаки завидели человека, осмелели, стаей за огороды. Отбегут немного и сгрудятся — Кешку ждут, а тот вперед — ног не чувствует.

На малоезжей, поросшей конотопом дорожке он увидел след. Конотоп-то от росы высветливается, а где она стронута, там гуще цвет. Кешка по следу. Собаки мечутся да лают — пришлось прогнать. Вот она, узенькая, темная полоска, живая еще от звериных лап. «Труском, видно, уходила... Гордость не позволяет перед собаками шагу добавлять».

Совсем уже рассвело. Проснулись пичужки, голоса пробуют, а Кешка все идет и идет. След, что магнит, тянет его. Вот и солнышко брызнуло... Ветерок зашептал... Березовые рощи, как зеленые корабли, стоят... Море вокруг них живое. Туманы солнышком выкрасило, а ветерок барахтается с ними, таскает их за розовые гривы. Силенки у ветерка с заячий чох, а озорства, что у пастушка-первогодка. Вот полянка... Здесь, видно, радуга плясом шла, рукавом трясла, цветным платочком взмахивала, да и обронила его. Каждая травинка в посверке от росных капелек, в искорках от солнечных лучей — миллионы звездочек опустились на землю.

У цветов головки алмазами полыхают... Земляничка, бедная, застыдилась таких соседей, чуть румянец из-под листка кажется.

Осинка стоит на отшибе.

«Чего покраснелась, девушка? Или молодой утренник поцеловал?»

«Ой, что вы, что вы... Это я алой зорькой умывалась. Студеная она... дрожу вот...»

А щебету-то! А гомону-то! К самому небу тот гомон из горлышек звонких взвывается. С каждой ветки живой колокольчик на тугих крылышках «серебрень-цвень» выговаривает. Это на птичьем наречье земля радостная солнышко славит:

«Серебрень-трень-цвень, солнышко!»

Но Кешка не замечает ничего вокруг. Это мне вольно по сторонам носом водить, а его след держит! Это мне некому подсказать — ставь, мол, точку, дед, или крой дальше, а ему за каждым шагом слышится: «Правильно, внучек!», «Не робей, сынок!».

...Колки, полянки, мочажинки — след не кончается. И вот в реденьком обгорелом лознике Кешка увидел ее. Тетеревиный выводок давила. Тетеревята по росе вымокли, на крыле плохо держатся, а ей и подай... Подблизится к которому, он взлететь-то взлетит, а садиться на волю пасть приходится. Задавит одного — другого ищет... За этим занятием и не предостереглась.

Кешка за куст, за кочку, опять за куст, а дальше некуда. Травка невысокая... Покажись — увидит. И стрелять — далеко... Сердчишко тотокает: на виду зверь, да возьми его! Тут тетеревенки и выпорхнули в Кешкину сторону! Волчица в четыре скачка настигла его. «Эх, поближе бы!» Кешка до сей поры не помнит, как это пришло ему в голову, не иначе старый Куропоть шепнул. Сгреб он с себя фуражку и запустил ее в волчицыну сторону. Та прыжками к ней... тетеревенки, мол. В фуражку-то уткнулась, шибануло ее человеческим духом — она и замерла на момент. Кешка ей и отсалютовал. И не копынулась...

С полчаса он около нее сидел. Клыки считал, лапы шупал, шею обмерял: в радость-то поверить — время надо. Попробовал поднимать, да где там! Туша такая, что и доброму мужику загорбок намнет.

«Идти, видно, за лошадью».

Собрал он подушенных тетеревят — и в деревню.

Бежит, что на крыльях летит... У скотных дворов увидел животновода Захара.

— Дядя Захар! Дай мне лошадь ненадолго!

— Зачем тебе?

— Да мне всего на часок... съездить надо в одно место..— Робеет Захару про волчицу-то сказать. А вдруг, мол, она ожила да ушла. А вдруг мне пригрелось.

— Ну, ежели на часок,— звонко засипел Захар,— то запрягай Упертого — как раз часа за четыре спрово-ришь.

— Ладно, Упертого запрягу.

Захар повострей на Кешку глянул: тетеревята, ружье, штаны мокрые — шутить ли тут?..

— Да что за дело у тебя такое срочное?

Глянул Кешка на тетеревят, а один ему подмигивает маленьким глазком: убил, мол, точно, чего ты?! Уверил его тетеребенок.

— Волчицу надо привезти... Убил я ее.

У Захара запоспешали ресницы:

— Значит... постой-ка... Не врешь?

— Нюхай стволы!

Захар понюхал:

— Пахнут... Истин бог пахнут! Только не волчицей — стреляным пахнут... Постой-ка... Ты, может, это тетеревят стрелял?

— Честное слово — волчицу!

— Убил?!

— Убил.

— В таком разе мы племенного Орла запрягаем! Кони-то еще в ночном... Сей момент,— запоспешал Захар. Дорогой спросил Кешку:

— А у колхозных амбаров не ты стрелял?

— Нет! А что?!

— Стрелял кто-то под утро... Семочкиной Лютре лапу отнизали напрочь.

— Это этот!.. Мантейфель... Лютре лапу?! О-ох!!! А еще Морфеем упрекал!.. Ха-ха! — раскатился на весь светлый лес Кешка.

Еле-то у него Захар суть дела вызнал.

До работы у Кешкиного двора вся деревня перебивала. Ребятишки в то утро не умывались, собаки лай потеряли, только звонкий Захаров сип не умолкал. Без конца повторял он всем и каждому:

— Тогда я, значит, решаюсь запречь Орла! На кой нам Упертый!

Часу в девятом с двустволкой в руках появился здесь и Демьяныч. Поглядел на волчицу:

— Тэк-тэк-и-тэк...— И больше слова не говоря, подошел к Кешке и подает ему свою двустволку.— Держите, юноша. Дарю. Три кольца... смертельный бой... Покойному брату по личному заказу делали.

Кешка отказываться:

— Что вы, Аркадий Демьянович?.. Зачем? У меня есть ружье.

— Ни слова, юноша! Виноват я перед вами, недооценил. Держите все три кольца!

— Да как это?.. А как же вы без ружья?..

— Обойдусь, и отлично даже! У меня ведь, молодой человек, если откровенно вам сказать, правый глаз всего сорок процентов видит. Я больше по чутью быю... Оружье, как говорится, обязывает. Про Лютру-то слышали? Окалечил собачку по слепоте. И поросенка судорогой сводит.

Кешка, однако, ни в какую! Совестится.

— Так вы продайте ее кому-нибудь, Аркадий Демьянович. А то и сами когда постреляете.

— Ни, ни, ни! Заклятье теще дал! Мне с этой машинкой опасно ходить. На браконьерство можно нарваться.

Уговорил-таки он Кешку! Потом волчицу начал расхваливать. Прекрасного, дескать, вида зверь... Кземпляр!! Кешка уж и так соображал, как бы ему отдариться, а тут такой случай:

— Берите ее, Аркадий Демьяныч, на память. Зверь — первый сорт.

У Демьяныча от волнения из сорокапроцентного глаза слеза случилась:

— Спасибо, молодой человек, спасибо! Век ваш должник... такой трофей... Вот только ободрать я ее не сумею. Все больше падеж вскрывал...

— Ну, эта беда небольшая!.. Дедушка Михайла нам хоть сейчас укажет.

В тот день Кешка застрогал на отцовской палочке сорок седьмую метку. И пошел!.. Ночь ли, непогодь ли, мороз ли трескучий — выглянь за околицу. Вот он — на лыжах, в старом отцовском колушке, с капканами, с приманками, пошагал в леса Кешка Куропоть. Волко-

дав в третьем колене! До десятка уж добирает. Свою палочку завел, теперь не свернет уж... А с Демьянычем они великие друзья стали. И так встречаются, а бывает, и на охоте. Демьяныч зайцев петлями ловит... «Мудрейший,— говорит,— зверь! Талантливый!» Недавно он подарил Кешке заячьего пуха шапочку. Теща, говорит, вязала.

Все может быть.

1960 г.

ГОЛУБАЯ СТРЕКОЗКА

Приметили лесничие по нагорью реки Ишима отменную по красоте да выросту рощу молоденького березничка. Широким длинным языком потянулась она в степь. Рыженькие, по молодости лет, стволыки деревцев дружной, тесной ватагой наперегонки рванулись к солнышку. И выходило, по расчетам лесничих, что этот березовый язычок двадцать тысяч десятин будущих пашен слизнул. Горевать, конечно, никто не стал. Сибирь по десятинам не плачет! К тому же — рядом степная казахская сторона. По прошествии лет из этого березничка десять тысяч домов срубить можно, да столько же амбаров, бань, да еще горы дров напилятся. А лесок-то какой взялся! Стройный, густой, ровенький — как будто под ершик его постригли. Что тот сосновый подрост в теневой стороне.

Одному удивлялись лесничие: как так случилось, что целые тысячи десятин одним годом осемениться могли? Примеривали, примеривали свою лесную науку к этому случаю, а остановились все-таки на стариковских приметах. Не иначе, это в тот год случилось, когда мыши набегали. Столько этой проворной живности в наших местах образовалось — шагу шагнуть нельзя стало без того, чтобы хвост которой не приступить или норку не замять. Все чистины черными бугорками, порытиями своими, испятнали. Девчонки, побрезгливей да побоязливей, и за ягодами ходить перестали. Нагнешься за кисточкой, из-под нее шмыг зверушка... Сердечко-то и обомрет, пятки-то и прострелит...

Солнышко старики тоже из своих приметок не выбрасывали. За год до этого два засушливых месяца с

весны стояли... Дождинки не капнуло. А жара — в пору собакам беситься. Земля, значит, и пощелялась... Хоть ладонь в трещины толкай. Плитки, угольнички, кругляшки на ней образовались. Осенью морозы поголу ударили. Еще рванин добавилось. А на другое лето — дожди да ветры... Вот березовое семечко по этим трещинам, мышиным порытам и засело. И давай она, береза, буйствовать! Вширь, вдаль, окрест — луг, увальчик, залежь — все под себя забирает.

Наша деревня Веселой Гривой зовется. Почему ее так наименовали — сейчас точно не установишь. Может, раньше это место звалось так, а по месту уж и деревню выкристили. В другом случае сами наши старики могли в фантазию удариться. Уж больно радостный вид отсюда открывается.

Стоит Веселая Грива над ключевым синим озером. К самым берегам его, к самым деревенским огородам просторные березовые рощи подступают. Деревья по ним редкие, кудрявые... Как с благодатных островов, доносят оттуда ветерки запахи земляники, цветов, натомленного солнцем горячего березового листа. Летом эти острова зелены, осенью — золотые. Ближе всех к нашей деревне молодой березник подступил — стали и его Веселой Гривой звать.

Верст тридцать отсюда проедешь, начинается богатая степная земля — Казахстан. Течет сквозь нее река Ишим. Пароходы по Ишиму не ходят, осетров в нем не ловят, немудренькая, одним словом, река, а вот полюбилась же она вольному русскому дереву — березе! Кругом уж степи неоглядными коврами расстилаются, а по ишимскому нагорью все бегут и бегут белоствольные рощи да перелески.

Каждый год ветер-полесовщик своими горстями разметывает вдоль Ишима-реки березовое семечко. Ишим — он излучинами течет, вилюшками. Местами такую петельку завернет, что десять верст по нему проплывешь — на сто метров вперед продвинешься. Чуть не сольется руслами: в одном рыба плеснется, в другом рыбак вздрогнет. Берега такой петельки заселило белоное березовое озорство. В кругу гектаров восемьсот пшеницы желтеет...

Вот у одной такой излучинки на берегу Ишима в усадьбе целинного совхоза и родился Ермек Сабтаганов. Мать у него работала в столовой, отец был электриком.

Когда сровнялось Ермеку полтора года, увезли его родители к дедушке Галиму и бабушке Асье. У них он и стал жить.

Да... Были когда-то и на Веселой Гриве березы-девчушки... Только сейчас лучше не поминай про это. Обидятся, братец ты мой, заворчат! Какие мы тебе, скажут, девчушки?! И раскрипятся старые лешачихи, и раздосадуются.

Жил о ту пору в Веселой Гриве Кузьма Алексеевич Пятков. Был он большим охотником с берестой возиться. Посуду всякую из нее выработывал. И под квас, и под ягоду, и под домашний цветок... В этом случае даже узоры каленым шильцем выжжет. Коньков, петушков из нее вырезал, деготь гнал, плащи непромокаемые из нее кроил, и красил, и кудрявил ее, и даже в лапти вплетал.

При этом поговорочку имел: «Влезу на горушку, обдеру телушку: не дай мне кожи-яловины — дай берестышка».

Ну и допросился... Фамилию его постепенно забыли, имя-отчество не часто употребляли — стали звать его Берестышком. Берестышко и Берестышко!..

В Веселой Гриве он после японской войны появился... Без глаза оттуда пришел. Землю пахать, конечно, не большая помеха, а только лес его почему-то больше заманивал. Поступил он в лесники... Выдали ему форменный мундир, ружье, лошаденку, лесу на избушку отпустили. В обход ему эта самая лесная Веселая Грива досталась, а потом поселился он у нас в деревне. Отсюда, говорит, хоть горой поезжай, хоть под горой, хоть лесом — все равно в лес угадаешь. Оно и правда... И опять же я про свой лес скажу. В сказках да былинах что ни место, где про лес упомянуто, то и «дремучий» он, то и «не темны-черны леса всколыбались». Наш не такой: светлый он, прострельно-звонкий, лепетливый!..

К тому времени, о котором дальше сказывать буду, Берестышко наш совсем уже дедушкой стал. Старуха у него померла, детей не нажито было — один остался. Один — да не без радости... От народа ему почет да уважение. От соседусшек — по хозяйству помога. Сельсоветские дела решать начнут — он там нашим депутатом выбран. Только первой и неразлюбимой жалью лес ему

остался. Идет по нему, бывало, легонький, сухонький, востропятьей... Шаровары на нем из белого льняного полотна, такая же гимнастерка, ремешком подпоясанная. На голове — мятая, гнутая, линиялая шляпа. Дегтем она травленная, дождями сеченная, градом битая, кострами копченая, колесами перееханная, скворчатами усиженная — в каких она переделках за сорок лет не побывала! Идет он по белоствольному раздолью, и не враз ты его от берез отличишь. «Японский» глаз ушурен, а живой, голубенький, доброй незамутимой радостью вокруг себя брызжет. Бородка у Берестышки в клинышек сведена, а усы — саморостом, как им любо, так и распушиваются. Нос широкий и в подвысь смотрит. Все ветра приветствует! Через это лицо у Берестышки всегда удивленное и по-ребячьи доверчивое. Встретишь его в лесу — то горсть какой-нибудь травы он собирал, то снизу грибов тащит...

Другая радость у Берестышки была — тополя.

На нашу Веселую Гриву заезжий народ частенько дивится. Вот лешаки так лешаки, говорят. Доподлинные!.. Это к тому, что у нас не осталось дома, возле которого бы три-четыре тополя не росло. Кругом лес, и в середине лес! Вот и дивятся...

Первый тополь Берестышко против своей избушки в огороде посадил. Лет через семь наградил он черенками соседей. А потом уж и Берестышков тополь опиливали и соседские — образовалась у нас от одного корешка целая тополияная улица. Летом идешь деревней — тень тебе лысину от солнечных ударов оберегает, brave дух дыханье твоё бодрит, и мило глазам твоим. Не закрывал бы их!..

Вот Берестышке и приятно было.

«Умру, — думает, — не сразу меня забудут... Тополя-то пошумят в мою память, погудят, пошелестят!..»

Третья радость у него была — ребятишки да сказки. Не какие-нибудь там дедами насказанные, а свои — Берестышковые. Возьмет самый заурядный случай и в такие узоры его изукрасит, так было с выдумкой перепаяет, что только сиди да побрякивай. И мухомор, и пчела, и окуневый глаз, и кукушкино яйцо — все у него на свои особые голоса заговорит. Болотная кочка — та чего-нибудь мокрыми, моховыми губищами бухтит-квачет. На всякие изломы да извороты язык свой приловчил... Ребятишки другой раз спрашивают:

— Как это ты, дедо, всякому зверю-птице подражать научился?

Завздыхает Берестышко. В уголок отвернется и буд-то бы даже всхлипнет. Потом табакерку достанет, нос заряжать начнет.

Ребятишки ждут. Окинет их ласковым голубеньким глазком и поведет:

— За неволю, голубки мои, научись... Вы вот при отце-матери безотлучно находитесь, а я до пяти годов у скворца Дразнилы в дупле жил. От него чего не переймешь!.. На все голоса птица.

Нынешних ребятишек разными там баба-ягами да кощеями не проведешь быстро-то... Ну и тут кто-нибудь не доверится, сфыркнет.

Берестышке того и надо! Примется удостоверять:

— Маленький тогда я был. Несмышлениш совсем... Вынесла меня сестренка, нянька моя, на лужайку, на свежий ветерок. Положила на одеялко, а сама убежала цветочков мне для забавы нарвать. Я тем временем уснул. И уследил меня Коршун Вострый Глаз. Подхватил за рубашонку и потащил в гнездо свое коршунячье, коршунят своих, большеротых обжор, полакомить задумал. Я сплю. Так то есть храплю, что в облаках дырки просвистываются. Укачивает меня на рубашонке-то. Теплым ветерком обдувает. Ни комар тебя, ни муха не тревожит — благодать! Потом чую, дыханья мне не хватает. Воротником горло перетянуло. Как заревел я на всю поднебесную — у коршуна лапки-то и сдрожали... Я и полетел без парашюта... Если бы не рубаха из «чертовой кожи», разбился бы на мелкий дребезг. Зацепился я ею за сухой сучок и повис на березе. Напротив меня дупло виднеется. А в дупле скворец Дразнило со своей скворчихой сидят. И оба впроголодь ревут... Посиротила их хищная зверь-рысь, попрехала ихних детушек скворчаток. Плакали они, плакали — скворец первый черестал. Вытер слезы, высморкался и говорит скворчихе:

«Новых скворчат нам теперь не завести — осень близко... Давай возьмем, старуха, этого парня на прокорменье!»

Созвали они скворцов со всего леса, и кто за волосы меня сгреб, кто за рубашку — тащат в дупло. Втащили и замяукали на разные голоса. Дразнило первым делом червяка мне разыскал.

«Ешь, говорит, наводи тело. Червей нынешний год не оберн-бери... И жирнющие...»

Ребятишки глаз с Берестышка не сводят. А он опять вздыхать начнет.

— Ну, и ты ел? — не вытерпит какой-нибудь.

— А куда же ты, голубок ласковый, одеваешься? — разведет руками Берестышко. — Ел... И жуков ел, и стрекозу, и метличков — одной лягухой только брезговал.

Вздыхнет. А у ребятишек сто один вопрос на языке:

— Как же ты зимой?.. Они ведь в теплые края улетают.

— Улетают! Верно, голубок, говоришь. И мои улетали. Только перед отлетом усыпил меня Дразнило. Такое «баю-баю» мне запел, что я как на третьем колене уснул, так до свежих червей и не просыпался.

— А как же ты не замерз?

— Да как они же меня с головы до пят пухом да мохом укутали!

— А как ты опять на земле очутился?

— Рассердился на меня Дразнило... Пять лет они собственных детей не выводили — все меня вскармливали. Я уж в ум стал входить... Примечаю, что скворец частенько по заплечью у меня шарится. А когда и ниже спустится. Раз как-то полазил и давай меня честить! И такой-то я, и сякой... «Мы со скворчихой, — кричит, — недопиваем, недоедаем, ни дня, ни ночи покою не знаем, у меня уж и темечки поседели через твою ненасытную утробу, а у тебя ни крыла, ни хвоста не растет!.. Прочь из моего дупла, поросенок неблагополучный!»

Ну и опять давай они скворцов со всего леса сзывать. Я к той поре толстый стал. Еле-то-еле совладали они вытащить меня. Добрался я после того до вашей Веселой Гривы и стал тут жить. А поскольку выпала мне судьба в лесу воспитываться — пошел я работать лесником. Так-то вот.

— А скворца ты, дедо, после того видел?

— А как же!.. Частенько видаемся. Он уж теперь не сердится. Я еще от дупла кто знает где иду, а он кричит: «Здррастуй, Беррестышко!»

При этом в такую дудочку губы сведет и до того чудно под скворчиное горлышко подделается, что ребятишки неделю после чивирикать на разные голоса будут это его «Здрррастуй, Беррестышко!».

Застанет, бывало, Берестышко кого-нибудь за самовольной порубкой в лесу, по ручке с лесонарушителем поздоровается, глазок свой в него вонзит и спросит:

— Значит, посиротил земельку?

— Какую земельку? — вроде не понимает лесонарушитель.

— А на которой живешь, голубок!

— Дык... Дак... Кузьма Лексеич... Оно самое... — запереминает язык нарушитель, — нужда, во-первых, а во-вторых, подумалось, лес по дереву не плачет... Как и море по шуре.

— Про море я тебе не скажу, — насторожит палец Берестышко, — а про лес ты, голубок, врешь! Плачет он... А коли надобность, ты бы меня спросил. Срубил бы ты лесину — я бы тебе спасибо сказал. Да еще денежку в лесничестве для тебя выпросил бы. Вон ее, санитарной рубки, сколько! Подальше только ехать надо.

Это он так разговаривает с тем, кто по неразумению топору волю дал.

Который же постоянно в лесах пакостит, с тем у него другой разговор находится. Опять же по ручке поздоровается, химический карандаш из кармана достанет. Тут же форменную бумагу составит.

— Распишись, голубок! — предлагает.

«Голубок» и заворачует. На всякие выверты... Уговаривать Берестышку начнет:

— Стоит ли нам грех заводить, Кузьма Лексеич? Да нам с тобою добра не пережить. Давай уж как-нибудь ладком-рядком это дело согласим.

Ну, и тут кабанчика Берестышке обещать зачнет. Или овцу. Кто, опять, овчинами на полушубок его соблазняет.

Только зря это! Берестышко высоко свою службу понимал.

— Я, — скажет, — милки мои, не вам и не начальству служу. Я вашим внукам служу да красоте земли еще.

А чаще так говорил:

— У тебя одна мать, а у мсня две.

— Как то ись две? — удивляется порубщик. — Ты все притчами, Кузьма Лексеич, говоришь.

— А вот и не притчами! Ты до сивой кудри дожил, а она тебе и не вприметку, вторая-то мать... Земля-то зеленая... Всемилая наша...

И тут к такому разговору подойдет...

Родная мать, мол, песенки над твоей колыбелькой пела, сладким молоком вскармливала, имечко дала, русую головушку расчесывала, а стоило тебе сделать первый шаг, как вторая мать — земля ласковая — подошвы твои розовые целовать принялась. Первая в погремушку гремит, а вторая голубую стрекозу на мизинчик тебе садит. Ты ее изловить хочешь, а она — порх! И запела крылышками. И поманила тебя... «Иди-ко, голубок, гляди-ко, голубок... много див у твоей Зеленой Матушки про тебя наготовлено. В грудку — дыхание свеженькое, сквозь цветы да мяты процеженное. Животу да язычку-лакомке — земляники, малины да любой сладкой ягоды, глазам — жар-птицы, полянки лесные, ушам — соловейшечки звонкие». Кропят твою голову ее чистые дождички, мужаешь ты под ее резвыми громами, растешь, крепнешь, зорче становятся глаза твои... Вот у первой твоей матушки и морщинки на лице обозначились, и седые стружки по косам потянулись, а вторая что ни год все моложе да красивее перед глазами твоими является. Цветет она лугами, зеленеет лесами, порхает красной птичкой, снует веселой рыбкой, прядает вольным зверем — солнышко, звезды и радуга ее охорашивают, синие ленты рек ее украшают.

И все это — от голубенькой стрекозки до молоденькой апрельской зорьки — для радости глаз твоих, для тихого ровного счастья твоего цветет, человек.

Придет час, не пустобайкой зазвонят в тебе петые-перепетые слова: «Мать земля моя, Родина», — присягой зазвонят, и двум матерям станет биться твое просветленное сердце.

Обидят вторую — в бой пойдешь. Согрубят им — ты заступничек! На красоту и счастье ихнее кто замахнется — ты того за руку схватишь, остановишь!.. А надо — и кровь, и жизнь отдашь.

Вот какие у нас с тобой матери, голубок! Родимая и Всемилая.

Порубщику после такого разговора и дар речи закупорит.

Слюнявит он Берестышков химический карандаш об затверделый свой язык и расписывается.

Приезжает одно лето Берестышко в район и докладывает старшему лесничему:

— Так и так, Никифор Яковлевич... Лес на Веселой Гриве поспел. Приметил я с пяток лесин, у которых не в пору верхушки желтеть начали.

А желтая верхушка на летнем дереве — первая примета у лесников. Дай такому лесу еще несколько лет постоять — зачернеет он сердцевиной и вовсе сохнуть начнет. А ведь не для червяка рощен.

Поблагодарил старший лесничий Берестышко за его службу и говорит:

— Загудит нынче Веселая Грива... Городскому лес-промхозу уж порубочный билет туда выписан. Скоро в твоём обходе, Кузьма Алексеевич, целый поселок построится. Казахи туда едут. Семей тридцать, однако... Так что — встречай и привечай.

— А они, — спрашивает Берестышко, — рубили лес когда, казахи-то?

— Не беспокойся... — старший лесничий говорит. — Еще нас с тобой поучат.

С неделю время после этого разговора прошло. Смотрит как-то Берестышко: что за полурота против его избушки с тракторной тележки спешивается? Они... Казахи. Только без семей. Мужчины одни. Подходит к Берестышке здоровенный мужчина, в годах уж... Подает руку, себя называет.

— Галим Сабтаганов — десятник.

Берестышко тоже ему отрекомендовался.

Предъявил Галим порубочный билет и говорит:

— Указывай, Кузьма Алексеевич, где нам тут поселок себе заложить.

— Поедемте! — говорит Берестышко.

Через месяц стояло на том месте тридцать срубленных и промышленных домиков, тридцать первый — под магазин, амбарушка, начаты были пристройки для скота, колодец.

И завизжали, запели на Веселой Гриве пилы, зазвенели топоры, завздымалась первая, легонькая пороша под хлесткими гонками стволами чудо-берез. На нее же, на порошу, скатилась и Берестышкова слеза. Знает, твердо знает, что сводить лес надо, не гниль же из него разводить, а вот ранит сердце — и что хочешь делай! К весне высились тут штабеля делового и полуделового кряжа, стояли многорядные поленицы дров, кое-где облеживались вороха сучьев.

И вот... В мае месяце это дело было. Пустил кто-то

по Горелому болоту пая. Посреди болота открытая вода... Сюда огонь дошел и сгас. К краешкам дымки подбивать стало. А тут ветер погодился! Как рвануло, как выметнуло огонь, и пошло пластать по верховой осоке. К болоту кустарники всякие прилегали, чернотал. Трава тут из-под снега вышла слеглая, плотная, ветрами ее продуло, солнышком насушило — только треск, да гул, да рыжий дым пошел. За кустарниками глухие осинники начинались. Охватил их огонь клиньями с двух сторон и жарит. Казахи трактор свой завели. Гусеницами подступы к своей заготовке обминают, лопатами траву секут...

Тут и выскочила на них лосяшка с двумя лосятами. Увидела людей — да назад. А там огонь... Она опять поворот! Люди расступились... Проскочила она с одним теленком, а второго не видать. Стали разыскивать — из-под самого огня почти выхватили. Лежит он — глазки напуганные, и всей шерсткой своей сотрясается. Нога у него повреждена оказалась. Не то сам в суматохе обо что стукнулся, не то матка на повороте копытом пришибла. Что со зверяткой делать? Подогнали казахи телегу, положили его на соломку, припутали вожжами, чтобы не ускочил, и повезли в поселок.

Дней восемь он пролежал — полегчало ноге. Вставать стал. Заприступал на нее полегоньку. Поили его коровьим молоком. Налют в бутылку, соску на горлышко натянут — и чмокай, Кырмурын. Кырмурыном его прозвали — «горбоносый», значит, по-нашему. Ребятишки не отходят от него: тот бутылку молока тащит, другой — в диковинку он им. Через месяц нога у него совсем отошла. Такой резвый сделался, такой балун — и старого, и малого распотешит. В середине лета стал он осиновые да ивовые прутики подъедать. Уйдет к болоту, поест там — и в поселок, на отдых. Приляжет где-нибудь в тенечек — поспит. Пить захочет — в лошадиной колоде вода. После этого играть начнет. В беги с ребятишками забегать. Те, значит, кинутся всей гурьбой в одну сторону, порядочно уж отбегут — он им вслед смотрит. Потом заперебирает, заперебирает ушками да как вскозлится со всех четырех. И моментом ребятишек обгонит. И вперед уйдет. Они завернутся, и он завернется. Забава детворе! Хохочут, гомонят... И вприпрыжку пойдут. А Кырмурын остановится и тоже вроде присмеивается: нижней губой шевель-шепель...

Хохоту на поляне гуще. Другой способ: сопатку вздирать начнет. В гармошку соберет ее, ноздри раздует, а зубы наголе окажутся. Улыбнулся вроде... Ребятишки попадают на траву, пятками по земле колотят. «Вай-еченьки!..— кричат.— Сдаемся, Кырмурын! Не смей больше...»

Галимов внучек, Ермек—ему тогда третий годик шел,—этот все дорывался верхом на нем покататься.

— Посади меня! — деда просит.

Галим не соглашается.

— Нельзя,—говорит.—Хребетник у него еще тоненький. Повредить можно.

— А когда я на нем покатаюсь?

— На будущее лето. Ты подрастешь, он подрастет—славные будут джигит и лошадка!..

— Я сейчас хочу-у,—захнычет Ермек.

— Ох ты,—схватится вдруг за тибетейку Галим.—Совсем старый я, из памяти выбился... Там тебе коян лепешек прислал с деляны! В сумке у меня лежат. Пойдем скорей!

Заблестят глазенки у Ермека. Уцепит деда за палец и Кырмурына из сердца вон. Кояновы лепешки!.. Славный дружок он—коян, зайка лесной! То сладкой клубники Ермеку насобирает, то веток с черной ягодой, смородиной, наломает, а когда и конфеток в берестяном кулке пришлет.

Грызет Ермек сохлые лепешки. Бабка их неделю назад пекла, завалились они в дедовой сумке, а есть ли на свете что-нибудь вкуснее «заячьей лепешки»? Заяц спек! Лесом от нее пахнет, сказкой, диковиной, перво-чудом! Коян и лечить умеет. Помнит Ермек, что дедушка Галим лекарства от него привозил. Прямо с порога закричал:

— Ермек! Коян тебе таблетки прислал! Только горькие они... Я одну лизнул—целый час плевался. И как их зайчата глотают!

— А они разве тоже болеют? —затревожился Ермек.

— Болели!.. А заяц их лекарством вылечил. Сейчас здоровенькие... Через головы уже кувыркаются. Привет тебе передавали.

— Давай лекарство, дедушка!

Таблетки и на самом деле из одной горечи были спрессованы. От расстроенного живота такие дают. Все до одной проглотил их Ермек. И ни разу не закапризил.

Галиму Бакеновичу (отчество ему русские дружки изобрели) шестьдесят лет скоро сровняется. Ходит он по деляне с двухметровой рейкой. Кубометры замеривает. При разговоре, бывает, поставит он ее рядом с собой — тут и заметишь... Вася Волков — бригадир нашей полеводческой бригады — в таких моментах воробья ему на тубетейку желает. Это к тому, что воробьиного росту Галиму Бакеновичу до двух метров недостает. Богатырь человек! Всегда он улыбается, пошмеивается... Зубы, что у двадцатипятилетнего сверкают — ни один не нарушен. Говорит ли, слушает ли — они свой режим соблюдают. Ихнее дело — бодрый дух у собеседника поддерживать: «Беседуй, мол, беседуй. Очень хорошо беседуешь». Усы у Галима Бакеновича такие, как если бы кто ласточкин хвостик ему под нос наклеил. Двумя черными узенькими жгутиками круто опускаются они к подбородку. На концах в один волосок заточены. Вот уже побольше пятнадцати лет ездит он со своей бригадой по лесоразработкам. В одном месте вырубят лес — в другое переселяются. За такое время любой степняк в лесного человека переродится. Ну и Галим Бакенович... Само понятно, если и с зайцами разговаривать может.

Хрустит на Ермековых зубах заскорузлая, неподатливая лепешка.

— А где он, дедушка, живет, заяц?

— В сучьях. Сложили мы ему высокую кучу — настоящий заячий дворец получился. Теперь ему ни дождь, ни мороз, ни сам серый волк не страшен.

— А как он меня знает? Он меня видел?

— Видел, видел... Помнишь, ты в делянку со мной ездил?

— А откуда он на меня смотрел?

— Из-за пенька.

— А кто ему сказал, как меня зовут?

— Я сказал. Разговорились мы с ним, он и спрашивает: «Дедушка Галим! Что это за мальчик вчера с тобой приезжал? Волосы у него черные, как моих ушек кончики, глаза против заячьих — узенькие, щеки толстые и много, много белых зубов во рту...» — «Это, — отвечаю ему, — мой внучек Ермек». — «Ах, дедушка Галим! Я хочу с ним дружить, — говорит. — Передай ему вот эти ягоды...» Помнишь, я привозил?

— Помню, — шепчет Ермек.

Глазенки у него заворожились, на губах улыбочка дремлет... Замечтался джигит. И Кырмурына забыл.

А тот перезимовал и с добрым жеребенком ростом поравнялся. Важничать стал. Взапуски с ребятишками уже не бегал. А покататься, если в игровом духе находился, допускал. Только далеко не повезет. Пока сахаром подманивают — идет. Схрумкал сахар — и седока на землю! Проказник пуще прежнего сделался. Утром задают лошадям овсянки — он тут. Стоит, своего пая ждет. Умнет тазик, вылижет его, в знак спасибо головой помотает и на другой промысел отправится. Идет по поселку, ушами помахивает, копытами постукивает, ноздрями принюхивает, глазами косит. Вот хозяйка удой в ведерке несет... Налетит на нее и скорей сопатку в молоко. Пока женщина причитает да ладошкой его охаживает, он уже языком донышка добыл. Зацвиркало там... Последние капельки дотягивает. После этого к магазину направится.

Сахарком его там продавец да покупатели баловали — забудь-ка эту сладкую тропочку.

Года полтора ему сровнялось — стали у него рожки проклевываться. Ребятишки ожидали, что они сразу кудрявые появятся, а он выпустил две спицы — и шабаш. Теперь уже по целым дням стал отлучаться. Дед Галим забеспокоился. Как бы, думает, его не подстрелили в лесу. Он ведь к людям без опаски... Решил пометить лосенка. Был у него обломыш чайной серебряной ложечки. Вечер плющил он ее, вечер дырки под закрепляющую втулочку сверлил, потом напильником вечера три скорготал, получился у него серебряный осиновый листок. Зубчики даже обозначены. Вытравил он на нем арабскими буквами какое-то казахское завешание, краешек уха Кырмурыну продырявил и поллой втулочкой этот листок замкнул. С серебряным ушком стал лось ходить. Издали приметно. Еще одну зиму прожил он в поселке. А на лето по целым неделям в лесу стал пропадать.

Насобирается там всякого лесного лакомства и отдыхает. Рога у него три сучка пустили. В возраст стал входить.

Ермек спрашивает:

— Кырмурын, дедушка, от нас совсем ушел?

— Нет, он придет еще... Пожирует, пока везде вода есть, а потом пить захочет и придет.

— И не уйдет больше?

— Обязательно уйдет... Есть у него в лесу подружка... Как начнет она его звать — тут он и уйдет.

— А как она его будет звать?

— Как звать будет?.. А вот так: «Кырмурын ты мой, Кырмурын,— закричит.— Где ты ходишь, господин мой рогатый?! Как у меня весной народятся телятки!.. Маленькие, робкие лосятки... Кто их от волка, от рыси защитит? А у тебя рога крепкие!.. А у тебя копыта острые!.. У тебя уши чуткие!.. Сам ты храбрый и сильный! Приходи ко мне, господин мой рогатый!» Так вот каждое утро она будет кричать. Тогда и уйдет от нас Кырмурын. Насовсем уйдет.

После этого разговора стал Ермек по утрам прислушиваться: а не закричит ли Кырмурынова подружка?.. Но был он, надо сказать, большой засоня, и все проспал. Одним утром Кырмурын ушел в леса и больше не вернулся. Его позвала подружка.

Собрались ребяташки по смородину. Ермека тоже взяли. Под условием! Идти, мол, иди, а только в лесу шагу не смей от старших отставать. Подобулся он, взял алюминиевый котелок под ягоду, хороший котелок, боевой — дед Галим кашу из него на войне ел. Заложил туда Ермак горбушку хлеба — тронулась ватага.

Поначалу дело у них друженько пошло. Лучше бы и не надо... Найдут добрый куст, окружат его, ягоду оберут и дальше всем табунком следуют. И вот попалась им заросль смородинная. Вся круговинка высокой крапивой поросла, а в крапиве смородинник. Такие-то сильные да богатые кусты выдались. Лист с них частью облетел — насквозь ягоду видно. У одного рука к славенькой кисточке тянется, и у другого. Глядишь, и споткнулись... Шлепки начинаются, плечишками друг друга запоталкивают. Третий тем моментом не зевает да скорей эту кисточку в свою посудину. Спор поднялся, шум... Один кричит: я эту кисточку первый увидел, а другой доказывает: я, мол, весь куст нашел. Надо, стало быть, и Ермеку самостоятельный куст искать. «Ладно,— думает,— такой ли я еще ягодки насмотрю... Удивляться будете!» Старшие завлеклись — и без внимания, что парнишки на виду не стало. Похваляются только один перед другим.

Ермек шел, шел по крапиве-то, и вдруг, откуда ни возьмись, заяц на него набежал. Быстренько бежал косой... Да сверкнул ему Ермеков котелок в зрачки — он и остановился. Поднялся на задние лапы — любопытствует. Он ведь, заяц, в других случаях преглуповат бывает. Воробей вспорхнет — он сломя голову, на чем только сердце в запазухах держится, побежит. А перед охотником с ружьем стойку делает. Как вот перед Ермеком сейчас. Ермек их, зайцев-то, до этого на картинках только видел. А все равно признал... Ну, умишко у него и сработал: «Дружок это мой! — думает. — Повидаться со мной прибежал...» И не успел он ему «здравствуй» сказать, как тот в сознание вернулся. Топнул лапой по земле, уши за спину да как задаст стрекача. Ермек за ним. Сапожишки просторные, хлябают — быстро в них не побежишь.

— Коян! — кричит. — Заяшка! Это я... Ермек!

Того, ясно дело, уж и след простыл, а Ермек все дальше и дальше в лес забирается.

— Не бойся меня... — уговаривает зайца. — Не убегай! Я бы тебе хлебушка дал, ушки бы тебе погладил. Ты разве не узнал меня? Погляди тогда, сколько у меня зубов много, — сразу узнаешь.

С этим разговором и убрался от своих. Зайца он больше не увидел, но все надеялся... Не за тем ли, думает, кусточком он меня поджидает. Проверит — к другому с этой же думкой спешит. Ну и заплутал! Определилось ему, что вот в этой стороне должны ребята быть, — туда и направился. Когда старшие-то схватились его, он уже краем болота, по кустам, версты за две ушлепал. Где искать? Куда бежать? Покричали поблизости — не отзывается. Часа два по кустам они лазили — нет парнишки.

Ни ягода им не мила стала, ни крапива не страшна. Нет Ермека. Исчез...

К поселку-то они еще смело подходили: отцы, матери в делянке, бабушки не враз взыщут... А то, что старших немедля известить, твердо помнят. Тут опять задержка вышла. Кому в делянку с этим известьем бежать? Поодиночке или вдвоем — робеют. Совещались, совещались — решили все идти. Миновали поселок — и бегом!

Вот уже видно стало, как деревья валяются. Дрогнет березынька, и поведет ее, поведет потихоньку в наклон. Быстрей, быстрей, быстрей разгон, слышишь, как в под-

рубе она хрюскает, как белая мякоть ее рвется, как лист свистит... Сгрудились ребяташки пугливой стайкой на прошлогодней вырубке и жмутся. Кто на смелится выговорить, что Ермака потеряли? Издали и приметил их из своего седла Галим. И по тому, что прибежали они из поселка полным составом, и по тому, как несмело несли их ноги, по частым остановкам, по пришибленным тревогой фигуркам определил Галим: неладно в поселке. И не в первый ли раз сбежала добрая улыбка с его лица.

— Зачем пришли? — спросил он их прямо с ходу.

Молчат.

— Что случилось? — еще тревожней сделался его голос.

— Ермак потерялся, — пискнул кто-то из стайки, и все они тесней прижались друг к другу.

— Где?

— У болота, на смородине...

— Жолбарыс! — крикнул Галим собаку и протянул лошадь плеткой.

Взвились из-под копыт гарь и зола после жженных сучьев, распласталась над пнями тигровой масти собака, напуганные криком и топотом, умолкали в деляне топоры и пилы.

Через малое время скакали отсюда конные, бежали пешие, и все туда, к болоту, к смородиновой заросли.

Если бы догадался кто из них разбить верховых на отряды да по разным сторонам разъехаться — может, и разыскали бы они Ермака. А так просуматошились, протолкошились след в след дотемна на одном пятачке.

— Ищи, Жолбарыс, ищи, родной! — твердил Галим собаке и хрипло кричал в затемненный лес. — Ерма-е-ек! Ерма-е-ек!

— Ерма-е-ек! Ерма-е-ек! — отзывались ему лесорубы. Съезжались они, разъезжались — ночь, она ночь и есть.

— Ищи, Жолбарыс, ищи!!

Умная собака виновато виляла хвостом, искала в темноте человеческие глаза:

«Разве ты забыл, хозяин, что я плохо причувствую, что я глазами беру?.. Не один раз, много раз я метал под твои ноги огневые пушистые тушки лисиц, настигал переярков-волчат. Верно я служил тебе, хозяин, а сейчас, что хочешь со мной поделай! Не чую я Ермака...»

В полночь спешился Галим, присел на валежину и замер. Тишь. Темнота. Облепили комары выдубленную на солнышке шею, осыпали большие натруженные руки, но не тревожат его их пронзительные жала. «Ермек... маленький мой внучек... Куда спрятали тебя сибирские леса?.. Где укрыла тебя темная ночь?»

Лизнул Жолбарыс теплым языком Галимовы щеки — соленные они... Тревожный у них вкус.

Нацелился пес в далекую мигучую звездочку и тоскливо, по-звериному завыл.

Лес — он чуткий! Лес — он прислушливый! Он догадливый — лес. Стоило Ермеку помянуть про заячьи ушки да посулить зайцу хлебушка — маленькая птичка, красногрудка, сразу же смекнула:

«Этот мальчик ищет Сказку!»

Еще не выбрался Ермек из чернотальников, а на опушке светлого леса стало известно:

«Сюда идет мальчик. Он ищет Сказку».

Наглядел пестрый дятел звонкий сухой сучок и пустил по округе мелкую дробь. К основанию сучка клювом бьет — дробь глухая, утаенная получается, к вершинке перескочит — словно серебряный колокольчик там разыщет:

«Слушай, зеленый светлый лес! Слушайте, зверушки и пичужки! Сюда идет мальчик — он ищет Сказку».

И затаился лес. В тысячи зорких глаз смотрит он на маленького Ермека. Смотрит ветка, смотрит ягодка, приподнимается на лапках полосатый бурундучок, шевелят желтенькими ресничками цветы, прободала прошлогодний лист коричневая головка грибка.

«Тише! Тише! — шепчут листы и травы. — Мальчик ищет Сказку».

Идет он без топора, без ружья, без рогатки... Несет он в руках старый дедушкин котелок... В котелке горбушка хлеба и ягоды — так только за сказками ходят. Слушайте, что выскрипывает лесная Ведунья — Береза дозорная:

«Ррезонно ррассудили. Сказки всегда живут в березовых лесах. Ищи, каррапуз, ищи...»

«Тише, тетенька, тише, — залопотали маленькие осинки. — Пусть ищет!»

И опять все поглядывают. Вот Ермек наклонился за чем-то к земле...

«Тетенька...— шепчут маленькие осинки.— Чего он там нашел? Сказку, да?»

«Нет,— чуть скрипнула Береза-Ведунья.— Это барррсучья порррыть. Корррешки барсук рррыл...»

Взлетела старая тетерка с выводком.

Так неожиданно застреляли они своими крылышками, что Ермек вздрогнул и выпрямился. Спрятались тетерки в густых листьях и вытягивают серые шейки:

«Зря мы его забоялись — он ищет Сказку».

Ворон — птица вещая. Триста лет живет... В редкой сказке не летает он за живой и мертвой водой.

И вот сейчас увидел он, черный, маленького Ермека.

«Иди прямо!» — кричит.

Дальше и дальше забирается в леса Ермек. А ворон... Ох, доброе ли ты дело задумал, ворон? Пролетит над Ермеком, найдет впереди его сухую вершину и опять кричит:

«Иди прямо!»

«Куда ты его зовешь, вещий? — спрашивает вóрона Береза-Ведунья.— И можно ли тебе верить, черный?...»

«Можно! — подтверждает ворон.— Мальчик ищет Сказку. Я укажу ему Сказку. Я сам люблю сказки. Они не по триста лет живут, а по тысяче. Иди прямо!» — крикнул он снова Ермеку, а сам полетел искать сухую вершину.

Кроме Ведуньи, росла еще в светлом лесу всеми уважаемая мудрая Старая Береза. Со всех сторон окружали ее березы-березоньки. Все от ее семечка пошли. Послушные они у нее были. Росли мирно, ровненько, в стороны не изгибались, не теснились. Сучки свои так направляли, что в случае ветер или буря подует — дружку бы ветками им не хлестать, зеленый лист да сладкую почку не обивать. Две только непутевые выродились. Это березы-близнецы. Упали они в след козьего копытца, да так, то в обнимку, то враздирку, и росли. Вершинами выше матери вымахали, а и там не ладят. То одна, то другая Старой Березе докучают:

— Ма-а-мынька, Задириха от меня солнышко прячет!

— Ма-а-мынька, Неспустиха меня ветками хлещет!

— Ма-а-мынька, на меня птичка села, а она ее вспугнула...

И спорят, и вздорят, и нюняются...

Выведут старуху из терпенья — она и пригрозит:

— Затихните, бесстыдницы! Не то вот поклонюсь Ветру-Полесовщику — задаст он вам трепки.

Близнецы и примолкнут. Слыхали небось, что с Ветром-Полесовщиком шутки плохи. Налетит, так за зеленые косы отмотает — головушки кругом пойдут. А еще слышать приходилось: грудью он бьет. С корнем выворачивает дерево богатырь Полесовщик!

И вот проснулась однажды ранним утром Старая Береза, балуется с солнышком. Тоненькими своими прутиками несмелые солнышковые лучики ломает. У птиц в это время самый-то щебетливый час наступает. Перышки встопорщат, клювы разомкнут, крылышками «кочетка» начнут выделять. Берегись, красное солнышко! Расклюют тебя лесные пичуги!

Играет, значит, Старая Береза светлыми солнышковыми лучиками и вдруг слышит — легонький стон от корней доносится. Сразу она про солнышко забыла, давай листиками промигиваться. Промигалась, смотрит на землю. И видит Старая Береза, что дочери ее, Задириха та самая с Неспустихой, зажали между стволов голову Зверя Лесного... Он и так, и эдак изворачивается, вырывается, а близнецы похохатывают в зеленые пазухи, и думки у них нет, чтобы Зверю помочь. Увидала Старая Береза, что ее доченьки вытворяют, и так огневалась, аж до последнего листка ее перетряхнуло.

— Что же это вы, негодяйки такие, делаете! Пошто Зверя Лесного мучите, глумитесь над ним?! Да я на вас, лешачих, сей же секундой Ветру-Полесовщику поклонюсь! Пошто вы Зверя в комли затиснули?

Те уж навыкли ее угрозы слушать — отвечают через усмеханьки:

— Мы, мамынька, его не затискивали. Он сам, глупый, затискался... Хи-хи... Голова с рогами...

— Сей же минутой отпустите Зверя! По пятьдесят лет, дуры, прожили, непиленные, нерубленные, дятлами не клеванные стоите — откуда же у вас труха в макушках взялась?! Не знаете разве, что об эту пору у зверей рога зудятся... Костенеют они, шкура с них облезает. Он, видно, об вас почесаться хотел, радовались бы, негодницы, что к вам Зверь ласкается, а вы — вон что! Кому приказываю отпустить Зверя!

Близнецы видят — не на шутку Старая Береза рассердилась.

Уперлись они сучками одна в одну и расталкиваются. Сверху-то порядочно расходятся, а внизу и незаметно даже. Упирались они, упирались — не выходит толку.

— Не в силах мы, мамынька, отпустить его! Он, погляди-ка, за ночь что наделал, какие ямины под собой копытами выбил. Огрузнул теперь промеж нас и вовсе завязился. Он, мамынька, даже корни нам порубил...

— Ах вы злодейки, ах вы уроды! — принялась опять бранить дочерей Старая Береза. — Что наделали вы, злоехидницы?! Да на вас весь лес плевать будет! А не я зовусь Береза Старая, если не поклонюсь на вас Ветру-Полесовщику!..

Три дня скрипела Старая Береза, три дня срамила и укоряла Задириху с Неспустихой, а Зверь Лесной все глубже и глубже уходил в землю. Ноги у него стали подламываться, тело дрожало, из безответных намученных глаз сочились слезы. Это они наделали на серой морде темных дорожек. На виду у всего светлого леса погибал лютой смертью красавец Зверь. Вот он зашатался, зашатался — сейчас рухнет, но взял откуда-то силы и опять бьется, опять изворачивается, подпрыгивает, упирается, тянется. Ворон любит падаль. А есть же какое-никакое и у ворона сердце. Поглядел он, в каких муках, с какой силой и упрямством борется Лесной Зверь за свою жизнь, и ушибло ворона жалостью. И пропал у ворона аппетит.

— А и в самом деле... — сказал он Старой Березе. — Чем без толку скрипеть, поклонилась бы ты Ветру-Полесовщику.

Старая только и ждала какой-нибудь подсказки. Поклонилась она на все четыре стороны и заголосила:

Уж ты Ветер-Полесовщик, да тугая груди!
Как зовет тебя Береза Старая,
Злое дело на моих глазах свершается:
Погибает, умирает добрый Зверь Лесной!

Услыхал Ветер-Полесовщик Старой Березы жалобу — вихрем налетел! Терянул за макушку дерсва высокие, поклонил деревья малые, подогнул крылья ворону и закричал громким голосом:

— Кто в лесах озорует? Кто в светлых вольничает?!

Указала ему Старая Береза на Задириху с Неспустихой, на Зверя Лесного.

— Твори волю свою, — говорит.

Задумался Ветер-Полесовщик. Думал, думал, потом взвился над Старой Березой, выбрал место, где у нее лист погуще, забрался туда, шепчет:

Если корни им повыверну —
Падать им не врозь, падать рядышком,
Худу быть тогда неминуемо:
Свалят с ног они Зверя слабого...
Видно, так на роду ему писано:
Смерть принять свою между двух берез.

Ворон в это время вглядывался зоркими своими глазами в глубь светлого леса. Идет там кто-то маленький, ни топора, ни ружья у него, ни копья, ни рогатки — один котелок в руке. В котелке — горбушка хлеба и ягоды. Взвился ворон и полетел ему навстречу. Тут и услышал черный, что мальчик ищет Сказку. И закричал он тогда маленькому человеку: «Иди прямо!»

Увидел Ермек Зверя Лесного, подумал, что это стоит чья-нибудь лошадь. А где лошадь — там и люди. Это Ермек точно знал. Чуть не бегом побежал... Зверь хоть и полузамученный стоял, хоть сами собой закрывались глаза, но, когда услышал чьи-то шаги, заводил длинными чуткими ушами, насторожился. Тут и увидел Ермек серебряное его ушко. Через минуту он гладил и целовал горбатую лосиную морду, наговаривал радостные ласковые слова:

— Кырмурынушко! Ты нашелся! Я нашел тебя... Дедушка обрадуется, ребята обрадуются!.. Пойдем домой, Кырмурын?!

Лось в ответ слабо застонал и опять закрыл глаза. Обошел Ермек вокруг, и хоть небольшой был у него в голове умишко, да человеческий... И маленький умишко обмозговал: чем выше стволы от земли поднимаются, тем дальше друг от друга уходят. Шире там делается, просторней... Если натаскать Кырмуруну под копыта сучьев — выше поднимет Кырмурын свою шею. Не удержат тогда его Задириху с Неспустихой.

Не причитал, как Старая Береза, не оправдывался, как Ветер-Полесовщик, — скинул он сапоги, которыми до кровавых мозолей ножонки обил, и стал собирать по лесу сучья. Наберет охапку, ломает их, в ямки складывает. Кырмурын ровно чувствует, что ему добро дела-

ется, подминает сучки под себя, утрамбовывает их копытами. Вот уже вровень с землей налегло сучьев, вот уж бугорки на месте ямок образовались... На закате солнца скользнул Кырмурын рогами по бересте и освободился. Не поверилось ему сразу-то... Маленькими шажками начал он пятиться от злых берез. А сам все глядит, глядит на них. Отошел недалеко и рухнул на землю. Пластом вытянулся. Напрасно Ермек наговаривал ему ласковые слова, звал домой, пугал темной ночью, напрасно совал ему в губы корочку хлеба... Кырмурын лежал с закрытыми глазами, время от времени постанывал и не переставал дрожать. Хлопотал, хлопотал Ермек вокруг своего товарища — лежит товарищ.

Привалился он тогда назябшей спинкой к теплomu мохнатому брюшку Кырмурына и сладко уснул.

...Старая Береза рано просыпается. Последние дни она первым делом не на солнышко, а на землю глядит. Вот и сегодня... «Куда подевался Зверь Лесной?» Щурилась, щурилась она листиками — не видать Зверя! Тогда окрест себя поглядела Береза. Поглядела и обрадовалась: вон он идет, шагает, притаптывает росистые травы острыми копытами. Не кручинься, светлый лес! Отдохнул он, сил поднакопил — мальчику вприпрыжку за ним поспевать приходится. Голенища сапог под мышкой зажал, дедушкин котелок в руке несет.

— Куда мы идем, Кырмурын? — спрашивает он у лося. — Домой идем, да? Ты знаешь дорогу, да? У меня дома сахару много... молока тебе дам.

Смекает маленький: дружба, мол, дружбой, а подсластить нелишне.

Только не домой ведет его Кырмурын. Он идет к лесному озерку — хочет пить. От озера пар курится, в осоках утки крикают... Бегом кинулся Кырмурын к воде. Заскворчало, замурлыкало под его губами озерко, Ермеку видно, как перекачиваются по лосиному горлу тугие быстрые кольца. Глоток — кольцо, глоток — кольцо...

«Надо и мне попить», — догадался Ермек и полез с котелком в воду. Кырмурын приподнял морду и шумно вздохнул. Осочка даже зашевелилась. С мокрых длинных губ роняются в озерко звонкие капли. Глядится в воду. Его ли обличье отражается? После такой передраги любой не сразу себя признает. Удостоверился —

опять пьет. После третьего приема выходит он на бережок и тянется к Ермеку мокрой сопаткой.

— Хлеба хочешь? Сейчас дам...

Вытряс Ермек из голенища початую вчерашнюю горбушку, разломил ее на две части — большую поднес Кырмурыну:

— Ешь, да пойдем домой! Дома у нас много хлеба! К дедушке Галиму пойдем.

Сжевал Кырмурын свою немудрящую пайку и пошагал. Куда он направил свои копыта — кто знает, а только, думается, напомнила ему хлебная корочка людские дымки. А за дымками мудрено ли про сахар вспомнить, про овсянку, про теплое молочко. Может быть, и вывел бы он своего маленького спасителя к дому. И лепетал бы им вслед светлый лес:

«Смотрите! Смотрите! Мальчик нашел Сказку».

И славная была бы это сказка! Сами судите... Сидит с белой, как лебяжье крылышко, бородой дедушка Ермек. Ему, аксакалу, не пять лет, а семьдесят пять! Или больше даже... Возле — внуки-правнуки — узкие глазки. И рассказывает им дедушка, как вывел его, маленького заблудяшку, из незнакомых лесов добрый горбоносый рогатый зверь с серебряным листочком на ушке.

Как согрел он ему теплым мохнатым брюшком озябшую спинку.

Как пожевали они хлебушка от одной горбушки.

Как попили водицы из одного озера.

Разве плохая была бы сказка?! Но не расскажет ее дедушка Ермек своим внучатам...

Застрекотали сороки, каркнул ворон, зашумел и встревожился светлый лес.

Едет Филька Казненный Нос по светлому лесу, мурчит ласковые слова:

— Лес мой, кормилец... батюшка... благодетель...

А птица — диким барашком ее у нас зовут — взывается под самые облака и, как только выедет Филька на болотце или мочежинку, сложит в небе крылышки и пулей острой свой нос к земле несет.

— У-би-би-би-би-л! У-би-би-би-би-л! — рыдает дикий барашек.

Это он про то, что застрелил Филька на гнезде его

подружку, потоптал Филька сапогом запаренные яйца.

— Лес мой, кормилец! — опять распускается в улыбке Филька.

А лес осуровел, потемнел, затих... Боится он хоть одним своим зеленым листочком увидеть Филькину улыбку.

— Погуби-и-ители! Погуби-и-тель! — несутся вслед Фильке сдавленные страхом звериные и птичьи голоса.

Один ворон с воронихой не прячутся. Им после Фильки кое-что перепадает. Сороки тоже знают Фильку. Полетывают они с дерева на дерево, пострекотывают, глаз своих вороватых с него не сводят. После воронов — их очередь.

Филька едет разыскивать лошадей. Сейчас сенокос. После работы напоит их Филька, нацепит смиренной кобыле Бурухе ботало¹ на шею, и паситесь ночь. Ездит Филька с ружьем. «На случай волка, — говорит, — таскаю». Только врет Филька. Не шадит его ружье ни утенка, ни тетеревенка, ни тяжелой зайчихи, ни козленка.

Зоркий у Фильки глаз — не заслезится, тяжелая у Фильки рука — не дрогнет, черное у Фильки ружье — не покраснеет... И несутся вслед затаенные звериные и птичьи голоса:

— Погубитель!! Погубитель!

Едет он шажком, не торопится. Самое-то времечко, по восходу солнышка, дичинкой разжиться. Всякая лесная живность в этот час радуется, играет, без опаски резвится. Только не зевай! Птица по росе вымокла, летает худо, не надо и пороку тратить — кнутом добудешь.

Сорок с лишним лет Фильке. Отпустил он пушистую рыжую бороду. Умысел у него при этом тот, чтобы она как можно дальше вперед торчала. Лихости тогда больше. На пирата он тогда походил бы. Увидел он его в одной кинокартине и с тех пор, волосок по волоску, учит свою бороду вперед торчать. Иногда даже разговаривает с ней. «Провозрастай, провозрастай, — оглаживает. — Приучайся». Усы — те давно приучены. Прямо из подносья они вверх завернулись. Тоже пришлось потрудиться. Зато, если сейчас смотреть на Фильку лицо в лицо, не сразу и заметишь, что у него с ноздрей неблагополучно. Но это — лицо в лицо!.. Сбоку же вся-

¹ Ботало — колокольчик на шее лошади.

кий видит темное провалище. Неизвестно, на какую он хищную птицу с левой стороны смахивает. В наших лесах таких и не водится. Уж больно крутой заклев у носа. Круче, чем у филина.

Нос ему в детстве еще собака порвала. Сам лез. Ну, ребятишки после этого и прозвали его — Казненный Нос.

Одну весну небывалая в наших местах оттепель наступила. Март месяц в половине, а снег даже в лесах огружаться начал. Потом морозы... Так заковало, что местами без лыж иди — не провалишься. Вот тут и пришла лосям да козам самая погибельная пора. Волка ноги кормят. А этих зверей ноги кормят, да ноги же, бывает и губят. Не держит их снежная корка — наст. Проваливаются они сквозь нее своими острыми копытами, до крови, до жил издирают об ее жесткие, льдистые краешки кожу на ногах. Косяками губят их в это время волки-лосятники. Остановят в сугробе — до горла низко, копыта не близко — рви. Мрут тогда лоси и от голода. И недалеко корм, а до звериного стога больно шагнуть. Кто бывал в такое время в лесах, тому своими глазами доводилось видеть кровавые норы в снегу. Пойди таким следом — он приведет тебя к ослабелому, беззащитному зверю.

Вот и лазил по лесам Берестышко... Стояло у него там несколько стожков сена. Для лесничества заготовил. Со всех сторон промял он и к ним тропы. Попадет коза на такую тропу — она ее к сену приведет. До оттепели и перестоит здесь. Лосям Берестышко тропил ивняки, валил в лесах осины. И случилось ему в одном месте на козлиные следы напасть. Четыре штуки прошло. И по каждому следу — кровь. Решил Берестышко разыскать этот табунок и тоже ему тропку к сену проторить.

Пошел. Вскорости завиднелся ему сенной одёнок. Стог отсюда был вывезен, а по дну да по краям оттайники виднеются. Следы туда ведут, а коз неприметно. Ближе, ближе Берестышко и видит — красные пятна вокруг одёнка на снегу полыхают. «Волки побывали! — мелькнула у него догадка. — Кончили табунок!»

Подошел — нет, не волки. Волк с козы кожу не снимает, волк тушки в сено не хоронит. Развернул Берестышко одну шкуру — нестреляный зверь. Ножом по

горлу резан. И недавно. Тушки еще застыть как следует не успели. От самого одёнка, чуть приметными линеечками, лыжные следы по насту вдаль утягиваются. Берестышко к тому времени двустволкой обзавелся. Снял он ее с плеча и пошел по этой варнацкой лыжне. Через полчаса на дорогу вышел. Дорога плотная, до звону наезженная: конское копыто на такой следа не оставляет — приметь-ка тут, в которую сторону лыжины повернули. Погадал, погадал Берестышко — так решил: «Доложу-ка я об этом деле председателю сельсовета. Засаду, видно, тут придется устраивать. Как бы нынешней уже ночью не наведались за тушками». Глянул на солнышко, а оно уж скорые потемки сулит.

«Э-э-э... — думает. — Пока я к председателю бегая, козлятинка лавровым листиком запахнет. Горчичкой ее смажут... Быть, видно, одному в засаду становиться».

Насбирал он охапочку потерянного сенца по дороге, выбрал куст погуше, постелился, залег и ждет. Заря еще не отгорела, слышит: скрипят чьи-то дровенки. Лошадь Берестышко признал — совхозная лошадь, а кучера не определит. Голоса не подает, в здоровенный тулуп закутался — неведомый человек едет! Неведомый, однако, тот самый, которого Берестышко ждет. Дровенки-то на лыжный след свернули. Лошадь проваливается, не сладко ей тоже по насту-то, а кучер ничего — кнутом только ее бодрит. Продрог Берестышко, а лежит. Часа через полтора возвращаются дровенки, поравнялись с кустом, Берестышко и поднялся. Кучер в тулупный воротник врос — не видит, не слышит. Полосья поскрипывают. Не долго думая легкой ножкой настиг Берестышко сани и примостился на задок. Скинул рукавичку, пошарился в сене — тушки тут. Вскоре и кучера узнал. На лошадь тот заругался. Филя Казненный Нос! «А ладно же! — думает Берестышко. — Расстроит тебя с этой козлятинки». Поближе к деревне подъехали — песню Филя запел. По всей Веселой Гриве орал, а перед совхозом затих. Привез он Берестышку к самому своему дому. Ворота стал открывать.

Берестышко ему и скомандовал:

— Руки вверх, голубок!

Филька перетрухнул было, да ненадолго. Тулуп скинул и разнахрапился:

— Кого тут черт по ночам таскает?! Я покажу — руки вверх!

— Вверх, говорю! — звонко крикнул Берестышко да как ахнет из одного ствола вверх. — Второй у меня картечью заряжен! — доложил он Фильке.

Ну тот и расквасился:

— Прости, дяденька, миленький... Век ножки мыть буду!..

— Волк тебе, вызверку, дяденька, а не я, — заплевался Берестышко.

На выстрел народ сбежался... Ну и предстал Филья!

На суде говорит:

— Увидел я их, лыжи сбросил, ножик в правую руку затиснул и пошел. Я, гражданин судья, хотел только одного, который покозлевателей, зарезать... А когда плеснуло мне горячей кровью на руки — тут на меня гип-мозг напади! И давай я резать всех подряд тогда...

— Что это за «гипмозг»? — судья спрашивает.

— Ну, значит, азарт такой, охотничий... Как бы первобытный человек я произошел. Борьба, значит, за существование...

Ишь, куда угибает!

— А видели вы, — судья спрашивает, — что козлухи суягные были?

— Они больше всех ревели.

— А вы что?

— А я что? А меня, значит, того яростней злость разбирает. Вы, думаю, Фильку разжалобить хотели, стервы! «Козлятушки-ребятушки»... Ну и им горлы по-чекрыжил.

Нечего человеку доброго в себе показать — он зверством своим похваляется. Дивитесь, мол, хоть на это. Другой прицел — судью заблудить желает: «Не сочтут ли за ненормального. Вон до чего откровенный».

— А которые тушки на чердаке у вас нашли, шесть тушек, тех тоже под гипнозом резали?

— Всех под гипмозгом!

— А ножи в нормальном духе точите?

— Тоже под гипмозгом.

Сколько он из себя дурачка ни выставлял, пришлось ему тогда три года этих коз отрабатывать.

После того правило себе такое поставил:

«Убью — домой не повезу. В лесу буду беречь. Выучили теперь!»

И еще тем подкрепился:

«С крупной дичью рисковно... Мелкота всякая — это

да. Шкуру обснимал, перо стеребил — вместо кроля либо куры съешь».

Ну, и как он был Филька — так и остался. Мелкую живность бьет, зорит, крупная тоже не жди от него милости. Застрелит — урвет какой кусок, а остальное — зимнее дело, звери, птицы растащат, летом — сгноит. Хуже волка истварился.

— Погуби-и-итель! Погуби-и-итель! — не отстают, не смолкают лесные голоса.

Тихо едет Филька. Зорко смотрит Филька. «Стой! Что это шевельнулось между белых стволов? Лось! Лось ведь!.. Ах, лес-кормилец...» Ермака из-за Кырмурыновой туши Фильке не видно. Да он и не приглядывается. Меняет дробовой заряд на картечный. Вот он вскидывает ружье и замечает вдруг на лосином ухе блестку. «Меченый! Ну и что?.. Меченого-то картеча, что ли, не возьмет?! Поглядим чичас!..»

— Бегите! Хоронитесь! — машет ветками Старая Береза.

Но Кырмурын не бежит. Он не боится людей. Зверь знает — они добрые. Люди кормили его, прикасались к нему руками, и никто ему не сделал худа. Доверчиво и небоязливо косится он в Филькину сторону. «Повыше глаза ему вцелю, и мозга насквозь...».

Зоркий глаз у Фильки — не заслезится, тяжелая рука у Фильки — не дрогнет, черное у него ружье, злая на ружье мушка. Вот он подводит ее... В этот момент наступил Ермак босой ножонкой на острый сухой сучок и громко ойкнул. Дрогнула-таки Филькина рука, но выстрела не сдержать уже было. Дохнул он огнем и синим дымом в светлом утреннем лесу, рывкнул страшным гулом. Напрочь ссекла горячая картечь крайчик серебряного ушка. Выбрызнулась кровь. Больно! Страшно! Крутнулся Кырмурын и помчался в обратную сторону. А на месте, где стоял лось, оказался мальчик. Нет у него ни ружья, ни топора, ни копья, ни рогатки — окаменел он от страха... Тихо расползался пороховой дымок.

— Го-го-осподи!.. — затряслись вдруг Филькины губы. — Хр-ра-бют! — прохрипел он и бестолково, суматошливо заподтыкал кобыленку кнутовищем. — Чур-чуров!.. Дева, радуйся... троемученица... ниже и присно, — бормотал он на скаку неведомые молитвы, а сам все живее работал кнутом...

Черный, мохнатый, уродливый страх настигал его.

Фильке казалось, что сзади него уселся в седле кто-то маленький, сморщенный, похожий на всех кикимор, на всех кощеев, и что этот маленький, сморщенный притрагивается своими легкими холодными руками к его ребрам.

— Храбют! Аллюры — три креста! Родная! — подстрекал он кобыленку к бегу. Ветер свистел у него в ушах, срывал крупные капли пота со лба и холодными струйками скользил по ребрам. — Храбют!!!

...Стих топот. От Кырмурынова ушка, от росинок крови поднимался легонький пар. Закричал Еремек, заплакал, бросил сапоги и котелок и с невидящими от слез глазами побежал вслед за Кырмурыном.

И загудел огневанный лес: «Филька расстрелял Сказку!», «Филька Казненный Нос расстрелял Сказку!»

И не расскажет ее Еремек, когда дедушкой станет, узкоглазым своим внучатам. А какая была бы сказка!

...Подскакал Филька к полевому стану бригады, слезает с лошади, покряхтывает, постанывает, еле-то-еле повод в руках держит. Маленькими куричьими шажками к балагану своему пробирается.

— Что с тобой? — спрашивают бригадники.

— В грудях всего исколело... Дышать не могу. В прошлом году доктора у меня там жабу уследили — не иначе, это она распоросилась... Вы бы, ребята, доехали кто за лошадьми?.. С Огневской поляны ботало мне чудилось. Там должны быть...

И зажался, застрадал, заквохтал...

Серьга Куроптев начал в седло взбираться.

— Ты, Серьга, дорогой-то поглядывай! — наказывают ему бригадники.

— Чего — поглядывай? — зашарился глазами по нороду Филька.

— Да казашонка...

— Какого казашонка? — сразу забыл квохтать Филька.

— Парнишка у казахов вчера потерялся... Приезжал от них человек — просили нас посматривать да покривать. Еремом звать...

— А-а-а! — каким-то не по-своему радостным голосом протянул Филька и тут же начал распрямляться, отпыхиваться. — Пфу... Пфе... Проходит вроде. Слазитай, Серьга, сам поеду. Вас не научи да обнадейся...

От стана он ехал шажком. За один куст заехал, оглянулся — не смотрят.

— Грраббют! — весело рывкнул он своей кобыленке и галопом поскакал на Огневскую поляну. «Ну и обалдуй же я обалдуевский... — рассуждал он на скаку. — В колдуна стрелял... Мальчонком перевернулся. Ить надо же такую мечту поймать! И чего я так всякой нечистой силы напугиваюсь? Как увидел его замест лося — все печеня сомлели. По всем жилкам и косточкам прострелило. Постой-ка! А ежели его найдут? Прытча получается!»

В тот самый час, когда Ермек с Кырмурыном дожевывали горбушку, поселок снова тронулся на поиск. Дед Галим в эту ночь не смыкал глаз. На рассвете побудил он лесорубов, позавтракали они наспех, поседлали коней и направились в леса. Теперь уже на отряды разделились, по разным направлениям разъехались. Женщины и ребятишки обыскивали Горелое болото. Пятеро конных поскакали по лесным кордонам, по полевым станам, по совхозным фермам.

В сенокосную да ягодную пору леса пусты не бывают. И полевые бригады их заселяют, и домохозяйки по кустам да по вымочкам своим буренкам усердствуют, пастухи со стадами передвигаются, телячьи, овечьи, поросячьи стоянки, дойные гурты — всё в это время в лесах находится. Про ягоды и говорить нечего. И в одиночку и целыми табунами за ними идут. Бывалые бабушки туда забираются, в такие глушняки залазят, где кажись, и русским духом до этого не пахло. Густенько народу в лесах обитается. И весь этот народ нужно было спешно оповестить. А то ведь как могло получиться? Не знаючи, и увидишь его, Еркека-то, а ни к чему тебе. Вон их сколько ягодничает. И одни идут, и отцы с матерями ведут. Пусть, мол, детишки свежим лесным воздухом подышат, соковой ягодой полакомятся.

Прибыл гонец и к директору совхоза, председателя сельсовета известили. И зазвенели телефоны... До этого утра Еркека только в поселке да еще у излучины Иши-ма знали, а сейчас на пятнадцать километров в окружности известно стало: жил-был такой пятилетний парень — Ермек Сабтаганов — и ушел этот парень в леса.

Большие районные начальники вынули автоматические ручки и записали на настольных календарях его

фамилию и имя. И зашумели веселогривские леса...

— Эй, пастухи! Зачем вы лес пугаете? К чему кнутами без дела шелкаете?

— Мы не без дела... Парнишечка в лесу заблудился. Может, услышит...

У тракториста Гани Бекетова трактор с гудком... Косит он широкозахватными косилками заканавные низины и гудит, гудит, гудит!..

— Чего разгуделся, Ганя?

— Знакомый у меня в лесу задерживается! Шумлю вот...

Пионерский барабанщик Володька Бородин и горнист Славка Королев собрали своих дружков и по очереди бьют в барабан, дуют в горн, голосят в дюжину глоток:

— Ермака из леса вызываем...

Звенят под брусками косы, в дело и не в дело сигналят случившиеся на лесных дорогах шоферы, шелкают пастушьи бичи, рокошет пионерский барабан... И во всех концах светлого леса тревожно теснят тишину людские голоса: «Ерме-е-к! Ерме-е-к!»

Бригадир Вася Волков объезжает сенокосные звенья. Сидит он в седле, до ржавого цвета загорелый, пружинистый, словно из литой резины его отформовали. Большой нос его нежно румянеет с кончика. Десятую шелуху отведают с него летние горячие ветры. Глаза у Васи и зимой какие-то выцвелые, белесые, а сейчас, на загаре, вовсе себя простоквашными оказывают. Но это не беда! Вид у Васи всегда мужественный. Грудь в подбородок упирается — это раз, гвардейский значок на ней — это два! Суровые морщины с его лба хоть полководцу подари, хоть полярному капитану... Любого украсят. Говорить Вася старается по возможности без улыбки. Даже брови у него при этом отвердевают. Голос у Волкова с грозой, с черной хмарой на перекатах — натуральный «генерал-бас» временами. На самом же деле Вася мягкой и предоброй души человек.

Подъезжает Вася Волков к полевому стану.

А Филька спит. Настырные и неугомонно-резвые августовские мухи то и дело тревожат его ноздрю. Филька мычит, отпыхивается, но окончательно проснуться не в силах. Не размыкая глаз, он вполголоса оскорбляет мух, натягивает на голову ватную стеганку и вразносист, с переливами, начинает опять храпеть. После встречи с «нечистой силой» всегда его сон берет...

На Горелом болоте кричат женщины, кричат ребята, на ближних кордонах выехали на просеки лесники, мелькает между белых стволов Берестышкова шляпа, зорко смотрят верховые, трещат по лесным тропинкам, по конотопным дорожкам комсомольские мотоциклетки, звенят телефоны, сотни глаз в веселогривских лесах следят, не покажется ли черная стриженная головка, не сверкнет ли за каким кустиком узенький черный глазок. Каждому стал он дорогим и близким, казахский мальчик Ермек. А Филька спит. Проснись, Филька! Укажи, в каком месте ты утром видел казашонка. Многие простят тебе за это люди!

Спит Казненный Нос... Даже во сне ему лось мерещится. «Думаешь, ты меченый, дак тебя и картеча не возьмет?!»

Нажал Филька спусковую лапку у ружья, и — небывалое дело — осечку ружье дало!

Взвел Филька опять курок — опять осечка. И вдруг из-за каждого куста, из-за каждого дерева двинулись на него горбоносые, рогатые, вислогубые хари. И не лось это, а какие-то неведомые чудовища. Сплошным кольцом окружают они Фильку. Фыркают, рогами грозятся. Выше седла рога, Фильке слышен их сухой костяной перещелк. Сейчас они сомкнутся — и!..

Филька мелко-мелко вдруг затрепетал ногами, заскулил, завзмыкивал, потом подхватился и такой исторгнул из себя рев, что повариха возле котлов вздрогнула.

— Что с тобой? — подбежала она к Филькиному балагану.

Тот бессмысленно поводил глазами, вздох хватал в себя воздух, в пальцах мертвой хваткой была затиснута стеганка.

— Да что с тобой, Филипп Панкратьевич?

Филька постепенно приходил в себя.

— Со мной?.. Эта... хвороба. Жаба опять в грудях ожила. За самое сердце кусила... присмыкающая.

— Тебе, может, воды принести?

— Ага...

Повариха ушла.

«Нашелся, видать, кыргызенок, — тревожно думал Филька. — Как есть нашелся. Иначе к чему бы такой сон?»

Повариха принесла воды.

«Ить он, азиат, расскажет, что я по лосю стрелял!.. — тянул мелкими глотками воду Филька. — Рыжая, мол, борода, чалая кобыла... Вот прятка! И как я его не доглядел... Перекинул бы через седло — за него выкуп бы еще дали! Дали бы... Навек бы «дружка» сделался».

— Полегчало? — спросила повариха.

— Послабляет вроде... — принялся растирать грудь Филька.

Повариха заторопилась к котлам. Через минуту прилетел оттуда звонкий голос Берестышки:

— Здравствуй, Матренушка! У тебя перекусить не найдется? Не завтракавши выбежал...

— Чего так?

— Парнишка в лесу...

— Не говори. У матери-то, поди, все сердце обуглело. Хоть бы зверь не тронул! Хоть бы пощадил!

— Волка покуда ему нечего опасаться... Время летнее, а он какой-никакой человек все же. Не вдруг-то насмелится... Комар ему самый враг! Злой он перед смертью, неотступный... Не зря говорится, что орды от него стонут. Над рыбой только не властен. Капелька по капельке — это сколько они из него крови высосут?

— Может, уж нашли где?

— Вряд ли! Встретил я сейчас мотоциклетку, сказывали: директор с военным комиссаром разговаривал. Призывникам на день явка отсрочена. На розыски пойдут. Спасибо, Матренушка. Тоже побегу. Комар ему самый враг...

Берестышко закинул на плечо двустволку, набодрил костылик и опять, маленький, сухонький, неустанный, пошагал в леса.

Фильке больше не спалось.

Ломал и сек чашу вспуганный выстрелом, ожаленный горячей картечью, обрызганный бисеринками крови Кырмурын.

Скакал и заклинал от «нечистой силы» сомлевший в седле Филька.

Бежал от страшного Фильки Ермек. Бежал, плакал, кричал:

— Дедушка! Дедушка! Кырмурын...

Впереди лес, лес и без конца лес. Но в эту сторону умчался Кырмурын! Неужто он совсем убежал? Нет, Еремек найдет его! Нашелся же он вчера. И еще дальше от поселка, еще глубже в леса забирается Еремек. Не чувствуют усталости его босые, исцарапанные в кровь ножонки, не чувствуют они и боли. Страх томит маленького. Целый день не смолкает в лесах его горький плач. Осипшим голосишком выкрикивает он:

— Дедушка! Любимый, милый мой дедушка! Кырмурын!..

Светлый лес хоть чем-нибудь пробует утешить его. Вот он расстилает перед его глазами круговинку алых кисточек костяники.

«Поешь, детка, остуди жажду... отдохни...» — шепчет добрый лес.

Но Еремек не замечает лесной доброты. Ты придавил его, маленького, зеленый великан, ты схоронил и укрыл его, неслётышка, от людских глаз, тебе ли, могучему, бурестойкому, тесным, корневитым братством возросшему, понять, каким голеньким трепетным комочком мечется между твоими стволами пятилетняя жизнь.

От комариных укусов лепешками вздувается и затвердевает кожа. Густыми жадными косяками, слепыми стаями рвется комарье к телу, к поту, к теплой крови, облепляет шею, лицо, руки, пронзает тонкий ситчик рубашонки, рыжей поземкой застилает легонький ребячий след.

Все дальше и дальше... Вот уже и солнышко садится. Затаиваются птичьи голоса. По дуплам, по гнездам, по развилинкам сучьев устраиваются они на ночь. Столько лесу излетано — пора спать.

Темно и тихо стало в лесу. Ни листок не дрогнет, ни веточка. Только встрепыхнется вдруг дремотная, вспугнутая приглушенным ребячьим плачем пичужка. Встрепыхнется, чивикнет что-то себе в запазушку и опять спрячет свой носик под теплое крылышко.

Вскоре и плач стихает. Еремеку кажется, что кто-то неведомый, страшный может подслушать его в затемненном лесу. Он сворачивается калачиком под большой березой, потихоньку нашаривает вокруг себя прошлогодний лист, укрывает им ноги, шею, щечки и совсем затихает, маленький и незаметный... Так прячутся робкие недельные козлята. Некоторое время он чутко прислушивается, а потом начинает придремывать. Она

тонка, как паутинка, его дремотка. То вздрогнет, то всхлипнет. Но вот кто-то ласковый, надежный садится у его изголовья. Теплой мягкой лапкой гладит его лицо, утирает со щек холодные слезинки.

«Спи, маленький, спи... Взойдет завтра солнышко...»

Как хорошо пахнет заячья лапка! Не уходи, зайчик!

А в это время черная, бесшумная, бирюковатая, краслась к Веселой Гриве грозовая туча. Краслась, чтобы врасплох, в одно мгновение, огненным своим сполохом, ревучим трубным грохотом, тугим нахлестом косых струй ослепить, оглушить, исхлестать Веселую Гриву.

Сначала насквозь просветился лес. Каждую былинку, каждую малую козявку осияло. Один миг разглядывало огненное небо земную темь и все успело увидеть.

Вот обстукивает неведомую тропочку костылек деда Берестышки. Вот вырвались из темноты лошадиные морды, седла, люди. Едет глухими осинниками с покраснелыми от бессонья глазами Галим Бакенович. Нелышно ступают в лошадиный след мягкие лапы Жолбарыса. Вот спит под березой припорошенный сухими листьями мальчик...

И грянул гром!!

Ермек вскочил, открыл испуганные глазенки, и тут же согнул его, оглушил, до земли осадил гремучий дробный смерч. Пронзали, рассекали и рвали густую темноту огненные мечи, трубило, грохотало, ревело, стонало черное небо, сжимался в страхе и бессильно выл добрый великан — светлый лес. Только что до зеленоты яростная молния в щепки, в мочало, в обугленные куски бересты, в рваный, далеко вокруг разметанный лист измельчила могучую красавицу березу. Видел лес ее ментальную смерть. Видел и устранился. Грохот, вой, скрежет, синие, зеленые сполохи — грозная, непонятная битва!.. Ермек бежал, падал, вскакивал и опять, опять бежал...

Выбирались из-под теплых одеял люди, зажигались в домах огни: «Мальчик в лесу...» Босоногая, с непокрытой мокрой головой, с черным посверком в глазах, озаренная молниями, оглушенная громами, заматалась по темным улицам и переулкам тревога. Стучалась тревога в каждое окно, в каждую дверь и каждое сердце. Люди в эту ночь не могли больше уснуть. А чуть стихла гроза — заговорило радио:

«Товарищи! Кто имеет возможность принять участие

в розысках Ермека Сабтаганова — спешите явиться к конторе совхоза. Выезд в леса через час. Захватите с собой продуктов и воды».

Подпакостил дождь полевым бригадам. Ходит Вася Волков по кошенине и гмыкает:

— Мда-а... Славно пропарило. Только после обеда и подсохнет...

Повариха первая подошла к Васе Волкову и сквозь слезы заговорила:

— Василий!.. Отпустил бы ты сегодня бригаду на розыски. Мысленно ли это дело — ребенок в лесу погибает! Мать убивается... До любого коснись...

Вася молчит. Взвешивает что-то, прикидывает. Зато Филька кочетком на повариху запривскакивал!

— Ладно придумала! Сенокос, значит, государственную задачу брось и шастай, вздеря башку, по лесу. Вот ыть, что обозначает «волос долог...».

— Одним днем не пострадаем,— поддержали повариху бригадники.— Все равно до обеда грести нельзя.

— «Одним днем... Одним днем!..» — запередразнивал Филька.— А соображаете, какой чичас день? Год кормит! Скотину, по-вашему, весной на жердях подымать?..

— В другие дни поднажмем,— высказался неожиданно бригадный молчун и большой любитель «грошей» длинноногий, длиннорукий и длинношей Павел Андросюк.

— Уж ты поднажмешь! Куда там...— заехидничал Филька.— Это тебе сенокос, а не «дядя — достань воробушка»... Поднажимальщик... сорочьи гнезда с земли зорить...

Студентка Валя Загваздина не то Фильке, не то Волкову проговорила:

— Гражданин Советского Союза Ермек Сабтаганов пропал без вести...

— Какой он гражданин?! — окрысился на нее Филька.— От горшка два вершка... Бросай теперь из-за него, из-за малекула, работу на весь государственный горизонт! Скажи, что лень вперед нас родилась! Смородинки заглотить охота...

— Ты так думаешь? Так думаешь?! — подступилась к нему Валя.— Да, может, если не леса, здесь бы уже самолеты летали — эту «малекулу» разыскивали бы!..

Филька растопорщил руки, выбодрил торчком бороду и запомахивал ею.

— Подумайте, какой принцесс потерялся! Тьфу ты, господи! — сплюнул он как бы в великой досаде. — Прости ты мою душу грешную.

— И грудную жабу... — подсказал кто-то ему вполголоса.

— Чего? — насторожился «больной».

Все расхохотались.

Опустел стан, повариха и та не отстала. Один Филька... «Жаба» опять у него заворошилась: «Чует сырость, присмыкающая». Как поджался на виду у всех, как присел на оглоблю двуколки, так и сидит. Думки, беспоконные, тревожные думки усадили.

«Двое суток скоро, как блудит, — прикидывает. — Очень возможно, что комары его могут снести. Или волк... Притом гроза была. Я, опять, выстрелил... От одного этого онеметь можно. Вот, действительно, ладно бы! Нашли его, а он немой! Слова сказать не может. Вот это прытчал! Его спрашивают: где был, чего видел, а он ни бельмеса. Ни бум-бум... А иначе раскуржавют опять мою бороду. Одно, что по лосю стрелял, а другое — почему малого в лесу бросил. Почему не собчил на худой конец... На уголовное потянет. А чего же я не доеду туда? Ведь лося-то, должно, тронуло. Лежит, может... Следы, опять, кровь...»

Заподсвистывал Филька Чалушку.

К полудню этих суток вышел Ермек к животноводческому отгону и сразу к колоде с водой припал. Одна черная макушка виднеется. Тут и заметила его дежурная доярка Фрося Калмагорова. Подбежала, подхватила его на руки.

— Дикуша ты моя маленькая!.. — прижимает его к груди. — Черноглазик мой скуластенький... Зачем ты из колоды?.. Пойдем, пойдем, я тебя молочком напою!

В это время и выехала из лесов копновозная конница Васи Волкова. Вот он сам на верном своем Серке — до ржавого цвета загорелый, грудь в подбородок упирается, гвардейский значок на ней — направляется к Фросе. Задрожали вдруг, заторопились Васины ресницы. Большие белесые глаза заприщуривались, словно им на само солнышко взглянуть пришлось.

— Ермешик! Живой?

И Ермек узнал Васю. Не один раз бригадир бывал у них в поселке. Чай с дедушкой Галимом пил.

С радостными глазками тянет Ермек к седлу руки.

— Вася! Вася! — твердит.

...На Горелом болоте человек побольше сотни густой цепью прочесывали кочкарник. Поближе к середине, где никогда не высыхала вода, рос камыш, краснели початки пуховок, цепь смыкалась и люди шли, ухватившись за руки. Самое глухое место. Рогозинник, моховая ряска, осока, камыш. Перед цепью это болотное буйство стеной стояло, но сделают люди шаг вперед, и полегает оно, смятое, потоптанное, придавленное.

В последних перед болотом лесках Вася на минутку остановился и пересадил Ермека с луки седла к себе за спину. Это чтобы не сразу его заметили с болота, чтоб взять вдруг да и показать всем эту диковинную птаху. Так, чтобы не горело, не дымило, а припекло.

«Ээ-э, да тут и из центральной усадьбы народ», — приглядывался к цепи Вася. Вот шагает конторская техничка тетя Даша. Ее держит за пальцы пионерский барабанщик Володька Бородин. Штрек Иосиф Иосифович... Старичок. Поволжский немец. Шофер Вася Черненький в цепи... Этот целый косяк ребятишек ведет. Казашата, русские... Матери тоже вперемешку. И цыган Гриша Кучеров тут. И молдаванка Василина. Понятно! Эти не только по болоту — по дорогам рука в руке ходят.

— Погляди-ка, Ермек, что ты натворил, — сделал Вася из локтя створочку. — Погляди! Половину республик на Горелое болото вывел!

Цепь выходила на чистое место.

— Ну, держись, Ермешик! Сейчас мы их по заячьему следу да на медведя... Снег на голову...

Вскинул Вася Ермека у себя над головой: «Не золотой пудовый самородок у меня к седлу приторочен...»

Сломалась цепь, разлетелась по звеньишку: крики, ахи, ребячья визготня, свист.

Потеснили Васину конницу, живым тугим кольцом сомкнулись вокруг Серка.

Чья-то ребячья глоточка не выдержала: «Урра! — заголосила. — Нашелся!» Что за догадливая глоточка!

— Ура-а-а! — подхватило все живое вокруг.

Целовались русские и казахские матери, мокрыми

щеками прижимались друг к другу; взмывали в небо ребячьи фуражки: «Урра-а-а!»

— Зачем же ты от ребят ушел? — стал допытываться у Ермека Галим.

— Я от них не уходил. Я только с зайчиком хотел поговорить.

— С каким зайчиком?

— А который лепешки мне пек, ягоды присылал... Ты забыл разве?

— И ты пошел его разыскивать?

— Я кустик смородины искал, а он ко мне выбежал. Я ему хотел сказать: «Здравствуй, зайushка!» — а он побежал. Я подумал, что он боится ребят, пошел за ним.

Дед Галим руками всплеснул:

— Глупый ты, глупый! Да разве зайцы разговаривают? Разве умеют они печь лепешки? Ведь я тебе вместо сказки это рассказывал!..

— Я Кырмурына находил.

Еще одно чудное дело!

Рассказал Ермек, как таскал он под Кырмурыновы копыта сучья, как пили-ели они, как выстрелил по ним неведомый человек.

Дед Галим сомневается:

— Не в грозу ли это тебе приснилось?

— Это утром было. Кырмурыну ушко отстрелили, с листочком которое...

— А кто стрелял?

— Дяденька на лошади стрелял.

— Какой из себя?

— С ружьем.

— А лошадь какой масти?

— Не помню. Я испугался.

Допытывали, допытывали его — никакой приметы парнишка не помнит.

«Дяденька. С ружьем... На лошади...» — вот и весь его разговор.

В поселок между тем все прибывал народ. Целыми поисковыми машинами подъезжали. Прослышали, что разыскался мальчик, ну и как же не взглянуть на него? Хозяева поселка в этот промежуток успели заложить в котлы полдюжины баранов, и бывалые носы за километр определяли — жарким дело пахнет.

Выходил на народ по-прежнему приветливый улыбочивый Галим Бакенович. Вместе с Ермаковым отцом они обносили знакомых и незнакомых мужчин и женщин пиялушками с вином. Бабушка Ася и другие казашки разносили подносы с дымящейся бараниной. Ермакова мать Жамиля вскрывала маленьким топориком ящики конфет и печенья.

— Кушайте, дети,— приглашала она ребят.

...Филька огляделся и спешился.

Перед ним на траве валялись Ермаковы сапоги, котелок и Кырмурыново ушко.

«Куда бы спрятать? — заторопился он. — Ага... в муравейник!» Прикладом ружья он разворотил муравиную кучу и кинул туда сапоги и котелок. С ухом он несколько задержался. Листок рассматривал.

— Прихораниваешь, значит?.. — отделился от белесого ствола Берестышко.

Филька схватил ружье.

— Брось! — скомандовал Берестышко и взвел курки.

Бледный Филька тяжело дышал, затравленно озирался. Страхом и ненавистью горели его глаза...

— Бросай оружие!! — еще раз приказал Фильке Берестышко.

Их разделяли какие-нибудь пять шагов.

— На! — протянул ему Филька свое ружье. Не прицеливаясь, с вытянутых рук, в упор выстрелил в Берестышку.

Виллошками, заячьими скидками бежал Казненный Нос к лошади.

Раненый Берестышко целился. Картечь пришлась по Чалушке. Окровавленная, с седлом на боку, примчалась она на полевой стан.

Через полтора часа по ее кровавым следам нашли Берестышку.

Он был еще в памяти: «...У закона ружье всегда на секунду позже стреляет... Бороду сбреет, усы сбреет — ноздрю никуда не деваает. Для уголовного розыска собачка старалась...»

— Сена на телегу, и моментом сюда! — распорядился Вася Волков.

Сережа Куроптев поскакал на стан.

— Нашли парнишку? — спросил Берестышко.

— Нашли; — склонился над ним Вася. — С зайцем поговорить хотел... ушел.

— Ну и славно... хорошо... Попить нет, Вася?

Когда повезли его — забываться стал. Бредить.

«Посиди на коленках у деда Берестышки... зайчиком, значит, она тебя поманила?.. Она уме-е-ет!.. Мно-о-го у нее всякой заманки...»

«...А меня — голубенькая стрекозка... Я ее изловить на мизинчике, а она порх — и полете-е-ла. И запела крылышками... И ты иди! Иди, голубок! Узнавать... любить... Иди».

Вернется в чувство — забеспокоится, сено ощупывать вокруг себя начнет.

— Вася... Вася! А куда подевался парнишка?

— У себя в поселке, Кузьма Алексеевич. Чай с бурсаками пьет! — бодрит его сквозь слезы Вася.

— Как — чай?.. Он только что на коленках у меня сидел?!

Есть в старых сибирских поселениях обычай... Почетным караулом его не назовешь, ни к какой панихиде не приравняешь — просто собираются к изголовью покойного деревенские долгожители, престарелые свидетели дней его жизни, и всю-то долгую прощальную ночь не сомкнув они глаз. Сплетаются в скорбный венок тихие добрые слова воспоминаний, и, сколько бы ты ни знал о человеке, здесь услышишь новое, давно позабытое, а случается — неожиданное и удивительное.

Разбирал старший лесничий Берестышковы бумаги. Акты разные, почетные грамоты, квитанции, лесорубочные билеты. И вот вдруг — старое пожелтевшее письмо.

Подправил старший лесничий очки, добавил в лампе свету.

«Товарищ Ленин!

Докладывает Вам обходчик четвертого Веселогривского обхода Пятков Кузьма Алексеев...»

Тут придется нам вернуться к той поре, когда березки на Веселой Гриве белоногими еще девчушками были.

Колчак по Сибири правил.

И сон, и покой истерял Берестышко. Оружеством хитро ли было разжиться?.. Бой кончился — одна сторона бежит, другая наступать ее устремляется, а мирный житель, подросток чаще всего, в этот момент оборужается.

Подсумки патронные с убитых снимает, винтовки, гранаты промышляет — да при добром желании саму пушку на гумне спрятать можно было.

Войска схлынут — охота начнется. Иные добычливые семейки на года дичинки насаливали. Все погребам кадкаками уставлены. Колчаку-то, ему разве об лосе сердце болело? Корона мерещилась, скипетр блазил. Лесники уж по году и больше жалованья не получали. Обходы свои побросали, да кто во что горазд. И деготь гонят, и зайцев ловят, и дуги гнут, и те же кадушки сбивают. Один Берестышко не попустился. Однако и он... Видит, что вытворяется, а управы не сыщет. Безвластие. В открытую хитничают. Всплеснет иной раз руками да проговорит:

— Посиротят землю! Как есть посиротят... Совсем народ одичал, истварился.

Ему такой довод в утешение:

— Брат на брата, сын на отца поднялись... Писание сбывается. Нас самих вот-вот на овец и козлищ поделят, а ты об каких-то рогалях стонешь.

— Сам ты рогаля! — обругает подобного мудреца Берестышко. — Рогаля и костяная башка притом. Брат на брата?.. У них, у братовей, по винтовке в руках да у каждого по своей правде-неправде за душой. Они в сознании идут, в интересе... А зверь как к этому причастен? Он безоружный, кроткий — губи его, бей, изводи! С таким понятием ты его внучатам только на картинке показывать будешь. Был, мол, зверь, да весь вывелся.

— И что ты все об наших внучатах соболезуешь? — задосадует «костяная башка». — Какая тебе забота об чужих, коль своих не заведено?

— А та и забота, дуб милый, что из-за них, из-за внучат ваших, полземли сегодня в огне горит, в громах гремит. Понять бы! А ты под эту заварушку вместо живого радостного зверя третьи рога на ворота прибил...

Громкий разговор, конечно, получался, да перед кем кричать? Все эти обчерниленные Берестышковым карандашом браконьеры возрадели, воспрянули. Царским сатрапом его за прошлые штрафы обзывают, кривым лешим, козлиным адвокатом — кому как поглянется.

Стоял как-то в Веселой Гриве штабом большой колчаковский воинский начальник. Добился Берестышко к нему приема.

— Ваше высокоблагородие! Лосей губят. Коз изводят.

Посмотрело на него «высокоблагородие», как на папуаса какого диковинного, и говорит:

— А тебя, служба, пыльным мешком случайно не ударили? У нас фронт прорван, батареи погублены, а он — с козлятиной... Притом, что такое лось?

— Зверь лось... — буркнул в бороду Берестышко.

— Ну вот... Зверь! А у меня мужики породистую конюшню разграбили. Борзых собак — породу испортили... Пошел прочь!

И пошел, конечно. Чего скажешь?

А совесть-то служебная все равно не смиряется. А душа-то тоскует. Дошло до того, что к попу вынужден был обратиться.

— Вы бы, батюшка, увещательное слово к прихожанам... Как там у вас в писании сказано: «Блажен, иже и скоты милует». Ведь переведут зверя.

Поп возвеселенный — по случаю. Только-только двух своих поповен за колчаковских писарей замуж столкнул.

— Не тужи и не кручинься, сын мой, — Берестышку по форменке похлопывает. — На развод останется. В Ноевом ковчеге всякой твари по паре.

И заподдохатывал. Ищи права, лесник.

Окончательно его из терпения дезертиры вывели. Их вокруг Веселой Гривы до полувзвода в лесах обиталось. От Колчака убежали. Некоторые с оружием. И наши деревенские, и из других мест. Берестышке-то в лес без подозрения. По службе вроде... Харч им на своей кобыленке подвозил, курево, другое прочее. И вот один раз приезжает, а дезертиры его под обе ручки подхватывают и к застолце тащат.

— Лоськом разжились, молоденьким! Отведай вот почечки.

Берестышко на них и поднялся. За берданку вгорячах схватился. А у дезертиров винтовки. Ладно, среди их братии учитель один ишимский оказался. Заслонил он Берестышка от штыков и говорит:

— Свиньи мы, парни... Нам добро, а мы — рюх-рюх. Правильно лесник угрозил! Ведь что делаем? Душу русского леса расстреливаем. Нет для Колчака ту пулю сберечь.

Ну и ради случая примеры привел: сколько таким вот беспощадным способом редкого да дорогого зверя

на земле истребили. В зверинец даже поместить не осталось.

Дезертирам неубедительно.

— Нас самих хучь в зверильницу помещай,— бурчат.

Перед Берестышком, правда, снисхождения ищут. Умиротворить его ладят.

— Бор горит, а он, соловушко, по гнездышку плачет,— пословицу подкидывают.

У него же между тем крепко-накрепко одна думка в голове засела.

Приезжает как-то в лес, чернилку из сумочки достает, ручку, бумагу. Говорит учителю во всеуслышание:

— У меня, голубок, почерк плохой... В солдатах грамоту одолевал. А про такое дело надо разборчиво... Составь-ка мне две копии. Одну отошлю, а другую сберегу. Пусть не скажут потом, что лесник Пятков Кузьма Алексеев с хитниками мирился.

— Куда писать, кому? — спрашивает учитель.

— Пиши Ленину. По всем моим приметам, ему скорее до сердца достанет. Землю-то, похоже, не на рубли оценивает.

Дезертиры уши насторожили.

А Берестышко не торопясь, не спеша, диктует.

«Товарищ Ленин!

Докладывает Вам обходчик четвертого Веселогривского обхода Пятков Кузьма Алексеев.

Большие беспорядки творятся в наших местах. Колчаковская армия служить не желает и, освирипевши от шомполов да зуботычин, неудержимо бежит в леса. Сколько ее по Сибири в глухоманях засело — точно не скажу, а только каждая деревня свое дезертирское стойбище имеет. И нет мне с таким народом никакого сладу и управы. Беспощадно и безраздумно губят они дорогого, милого русского зверя — лося и козлушку. А кроме дезертиров есть еще народ, который совести своей не чувствует, властей не знает и тоже бьет бессердечно. Подходит дело к тому, что переведется в русском лесу всякий живой попрыск, всякой сказки дыхание.

В прошлом году косил я сено. И сыпани из одного облачка дождь. Я кошенинкой прикрылся — сижу на рядке. Наподвид кочки или пенька замшелого себя оказываю. И выходит тут из кустов он — лось. Шерсть на

гем смокла, огладилась, без солнца отсверки дает. Шагов пять до меня не достиг — нюхтить начал. Сопатку навтыяжку, ноздри в дрожь — кочка я или пенек, определяет. Стоит передо мной чудо потешное, муромец звериный, князь леса сибирского, отшельник дремучий — сама сказка, сама тайна лесная ко мне принохивается. И столько неожиданной радости он мне за одну минуту в душу вонзил — до смерти не издышу эту радость. Такого вот невознаградимого зверя бьют, товарищ Ленин, бьют, снистожают, сводят с лица земли.

Есть у меня на предбудущее время одна думка... Цари, короли да султаны страшных хищников в своих гербах рисовали, зверояростных всяких драконов. Ваше первое слово, товарищ Ленин, ко всем живущим на земле народам про мир и о мире сказано было, и, стало быть, нам ни к чему в своем гербе устрашительного зверя рисовать. И вот, думаю... нельзя ли поместить в него голову зверя лесного, с распростертыми рогами? Она обозначала бы силу, могущество, богатство, красоту, быстроту и сказку земли нашей русской. И пусть бы тогда насмелился кто-нибудь стрелять в зверя, который в герб Державы сопризван. А так — беда! Грозил дезертирам берданкой, а они в меня боевые штыки устави́ли и говорят: «Поспешай отсюда, пока черны вороны на скелет твою тушку не обработали». Без государственной меры никак нельзя, о чем, товарищ Ленин, и прошу».

Выслушали дезертиры... Ну, среди них всякий же народ был. Одни раздумались, а другие на гыганьки Берестышку подняли.

— Видал что?! Лось — князь ему сибирский!.. Ленин князей страсть, говорят, как обожает!

Следом такое высказывание:

— Ему только и мечты, что про лося да про козу. Сейчас всю мировую буржуазию на произвол бросит, фронта оголит: «Спасай лосей, комиссары!»

А третий к этому присовокупляет:

— Ить и выдумает же, голова в кости склепана! Заместо, значит, двухглавого орла — двухрогого лося?! Рогатой державой чтобы Расею звали...

Терпел Берестышко. Всякую насмешку переносил. И Колчака отбили, а над ним все зудят. Под вечер со-

берутся на деревенских бревнышках вольные охотнички, и ненароком вроде его подзовут. Тот разговор, другой, а тут какая-нибудь борода и ввернет:

— Сказывают, новые деньги печатать начали... Посередке ассигнации лосиная будто бы голова нарисована. Только без рогов... комолая. Опротестовать надо.— Вслед этому такое «га-га-га» громыхнет, аж петухи на насестах встрепetyваются.

Терпел.

Дошло, нет ли его письмо до Ленина — кто скажет? А только вызывают в том же году Берестышку в РИК и вручают в его собственные руки декрет. И сказано в том декрете, что по всему государству лось и коза объявляются заповедными зверями. Подпись: «Ульянов-Ленин». У Берестышки и сердце зачастило: «Дошло! Прочитал!»

Приезжает в деревню, возле веселых тех, зубоскальных, просмешливых бревнышек «Тпру-у-у!» по-звонкому кобыленке кричит. Вынул из-под колушка декрет, зачитал его вольным охотничкам и сквозь незваны слезы грозится:

— Теперь вы у меня замрите и затихните! Первого же хитника вот под этой берданкой самолично в РИК отконвоирую...

— Есть у русского леса державный лесничий!..— ленинским декретом потрясает.

— Есть у русского зверя желатель-заступник!..— заячьим своим треухом слезу вытирает.

Одно только его в те поры сомневало: почему про лосиную голову никакой резолюции нет. Попозже, когда политграмоты ухватил, разобрался когда, к чему они, серп, молот и звезда, в нашем гербе, самому чудно стало.

У Ильича глаз прищуренный — всякий, поди-ка, примечал. Хитроватая такая прищурочка, многомудрая, на том веселом пределе, будто он в любую последующую секунду расхохотаться готов. Много про нее было писано, не раз она соратниками Ильичевыми упомянута, однако долгое время Берестышко при своем сомнении оставался: «Не иначе, на меня это он усмехается. И не иначе как за лосиную голову».

Иной раз заговорит, бывало, с портретом:

— Ну, ладно, ладно, Ильич... Будет уж. Не щурься. Понимаю свою промашку. Да ведь и ты понимай...

У кого что болит... Небось и у тебя голубая стрекозка на мизинчике сживала?..

Это с глазу на глаз собеседование такое. А на людях зайдет про Ленина разговор — как живой водички старик испил.

— Хозяин был! — воскликнет. — В огнях держава горела, в громах гремела, без числа врагов ее терзало, осьмушку хлеба ела, зябла, кровоточила, а у него промеж тысяч забот и та не забыта осталась, чтобы ты, красасавец лось, свое племя вел, чтобы ты, русская козушка, безбоязно по русскому лесу бегала.

Вся Веселая Грива собралась у Берестышкова гроба. Лежал он в нем покойный, светлый. Бородка в клинышек сведена, а усы, как им любо, так свои сединки и распушивают на ласковом ветерке.

Со всего района съехались лесники проводить в последний обход своего старого товарища.

И стреляли они над его могилой из ружей. И бросали на гроб по горсти лесной земли. И обсадили лесники Берестышкову могилу деревцами.

В изголовье — березку. Пусть лепечет она, беленькая лесная девчушка, песенное русское деревце... Что пролепечется, то пусть и лепечет.

Потом — елочки. Пусть стоят они в долгом почетном карауле у простого надгробья с красной звездочкой наверху. Много таких над солдатскими могилами.

И тополинки... Пусть напоминают они людям, что здесь похоронен человек, который украсил, угрел зеленой шубкой посильный ему кусочек родной земли.

Растут деревца. Тихо лепечет листками березка, вторят ей тополинки, шуршат колючими лапками елочки, зеленеет молодой порослью лесная Веселая Грива. А я хожу и смотрю на ребятишек. А я хочу угадать нового Берестышку... Кто? Который?..

Не этот ли вот, по грудь вымокший в дождевых веселых лужах, с голубень-синь глазками, промнет потом тропки в новых веселогривских лесах?

А может быть, тот?

А может, ты?

Чей мизинчик облюбует голубая стрекозка?

Вот и кончается моя сказка-быль.

Сказка потому, что не мог я про Берестышку домаш-

ними или книжными словами говорить. Каждый день его жизни в сказку просится.

А быть? Быть потому, что живут еще на нашей умной, зеленой, радостной земле и такие... Казненным Носом одного в наших местах звали.

1962 г.

ЗОРЬКА НА ЯБЛОЧКЕ

Я сторожем работаю. Сельповский магазин охраняю. Ну, летнее дело — душно в сторожке... Три-четыре мыльных или каких ящика разоставлю вокруг себя и сумерничаю. Глядишь — и подойдет кто. Беседа состоится. Да такая, что и бочкотара в ход пойдет. И про турку тут у нас, и про «диких зверей», как говорится, и про разное другое. Нам-то куда как славно, а председатель мой косится. Не один намек от него выслушать пришлось. Лично мне, конечно... Глаз, мол, протезный, нога деревянная, да еще разговорами бдительность притупляешь. Разу мимо не пройдет, чтобы ноздрей не подергать. А мне одному — тошно. Не могу! Притом когда-то еще обокрадут, может, и вор на мой пай не родился, а я бы наперед «лазаря» пел!

— Будьте покойны, — говорю, — Леонид Федорович... У сибирского гвардейства, — говорю, — в случае чего и деревяшка шрапнелем бьет.

Отшучусь так легонечко, чтобы на большое зло не налезти, да за свое.

Чаще других Богдан Мироныч Найденов ко мне заворачивает: «испожизненный» наш пастух. Идет с отгона — редкий раз не погостит. Работа тоже одинокая — сам, Валетко да стадо — скучает по разговорам.

Люблю я его встречать.

Присядет он рядышком, плащишко свой на коленках разместит и — ровно полянку в карманах да в башлыке прихоронил: струечку мяты нос причует, земляничка заистомляется, луговая купавка померещится, тмин-самосей полем пахнёт. Лесники еще похожий дух приносят, но тех зеленый клоп подконфузивает. Неподмесным полевым зазывистым таким надыхом пастухи одни только пропитываются. По соковой ягоде ходят, на

медогон-траве дремлют, со всякого цвет-растенья пахучие дымки, вихорки их окуривают, из-под радуги берестяным ковшичком пьют — удивительно ли? Весь витамин земли ихний!

Сейчас ему, Богдану нашему Миронычу, на шестой десяток под горку. Но стариком не назовешь. Не скажи! Кудри хоть и проредило местами, а двоих лысых шутя осчастливить может. И седины в них не вдруг-то... не щепотью, а поприцеливаешься. Брови и вовсе нетронутые. Густые навесились, кудластые. В молодости, может, кто и «соболиными» рекомендовал, а сейчас такие дворняги шевелятся — не знаешь, с каким мехом сравнить.

Лицом и так цыгановатый, а за лето вовсе зачугнеет. Приглядишься — в мелкую перекрестную морщинку человек пошел, шаг отступи — все чернота хоронит. Одни усы вразномасть. Где носом приголублены — воронные. Дальше, по ходу роста, буреют, гневные делаются, самые пики до чалой даже масти выгорают.

«Испожизненным» пастухом он себя к одному разговору назвал.

— Я — испожизненный. Пятьдесят скоро лет, как на коровьем следу стою.

— Да ведь тоскливо! — толкуем. — Один год, — вспоминаем, — свою скотину подворно пасти пришлось — день-то, он тебе за год тянется. Хоть кнутом по солнышку...

— Кому как... — загадал Мироныч. — У поля ведь мно-о-ого чуда!.. Привораживает.

— Привычка в основном действует, — высказываемся мы.

— Не одна привычка, — заперебирал он Валеткины уши. — Всякому своя солостинка зарониться может.

— Что бы это за «солостинка» такая могла быть? — интересуемся.

— А всякая, — отвечает. — Кто чему удивиться способен. Я вот, к примеру, в ребячьих еще годах новорожденного зайку изловил. Биречку ему тронул — холоденькая биречка! Палец на нее наложил, согреваю мякоткой!.. И скажи! Вроде как кожи на моем пальце не сделалось, одна нерва. Дрогнет у зайца биречка, а у меня той же секундой под ложечкой прострелит. Потайной какой-то щекоток. На качелях вниз идешь — так же ознобляет... До сих пор помнит палец, как под ним хо-

лодненькая заячья губа-раздвоешка играла-вздрагивала. Во сне даже другой раз...

Почему, говорю, и люблю его встречать. Не только плащ — разговоры полем пахнут. Про козленков глаз вот... Впрочем, глаз тут ни при чем. Не про него сказ.

Сидим как-то с Миронычем на ящиках, одна речь кончилась, другая не началась, утаились, думаем каждый свое.

По слуху определяем — молодая парочка на подходе.

— Раньше, Алеша, красивше любить умели, — доярки Наташки Селивановой голос доносится.

— По каким признакам ты это определила? — Алешка спрашивает.

Алеша — это нашего старшего механика сын. В отпуск из армии приезжал.

— Вот демон был описан... — Наташка ему отвечает. — Демон! А какой он в чувствах своих прекрасный! Насколько он к своей возлюбленной нежный, бережный... Помнишь, как он Тамару поцеловал? Чуть-чуть, слегка, лишь прикоснулся он устами... Прикоснулся... — на тихий шепот сошла девка.

— Вот что! — присвистнул Алеша. — Теперешних девушек, оказывается, демоны хороводят?! Не знал, не знал... — подыгрывает. — В таком случае нашему брату, зенитчику, отбой играть остается.

— Пусть и демоны, — Наташка говорит. — А сравни вот, как про современный поцелуй поется: «у Костромы целуются, а слышно у Саратова». Это что?.. Тунгусский взрыв какой-то! Ужас!

— Действительно! — хохотнул Алешка. — Любая дальнобойка...

— Или вот это поют... — Наташка опять приводит. — «Так ее поцеловал — еле-еле дыхала». Не дышала даже, а дыхала... дыхала!

— Это они, песельники, для красивого словца уподобляют, — Алешка определил. — Сами небось трепетливей того демона вокруг своих Тамарок.

— Я не отрицаю... — приглушила голос Наташка. — Не отрицаю, что у девушки от поцелуя дыхание на некоторый промежуток может пересекчись, бывает такое, дак об этом, опять же, вполне намека надо сказать. Загадочкой! Поберечь надо золотую эту минутку у девушки.

Дальше мне не слышно стало. Смеюсь впритишку.

Уборочная же идет, зябь пашут, а у них, видали, что во главу угла ставится? Не так поцеловали!

Шевельнул Мироныча локотком — не отыгрывает. Пригложнулся и я.

«А ведь не от большого ума хохочу!» — подозревать начал. Своя молодость завспоминалась. Тоже... хорош был... Руку алым жигалом кольнул. На предмет закляться, что вечно не забуду. Сейчас вот про собственное положение думаю, небось и холодным не кольнешь. На лешак оно сдалось! А тогда — без трепету. Кланька в румянцах, слезки вот-вот брызнут, по избе горелой кожей пахнет. Новобранцевой. Глупость ведь вот, сине море, а приятно вспомнить.

«Пташка ты наша, пташка, молодость... — думаю. — И глупенькая ты часом бываешь, да жалко — один раз прилетаешь. Раз прилетаешь и неподолгу притом годишь».

— А может, — Мироныча опять шевелю, — может, ей, девчонке, и действительно главней всего на сегодняшний день, как ее, Наташку, поцеловали? Слегка коснувшись или... хе-хе... до бездыханности.

— А как ты думаешь? — без никакой усмешки спрашивает Мироныч. — Меня вот, молодого, убить хотели даже!.. Я тебе не рассказывал, как старуху себе заполучил?

Он, Мироныч-то, в нашей деревне женатым уже появился. Поначалу неизвестно даже было, из каких они мест с молодой супругой выходцы. Таились. Позднее уж кое-что известно стало.

— Не случалось, — говорю, — но слухом пользовался.

— Это что убогом мы перевенчаны?

— Ну да!

— Я не про это! Она, Кузьмовна моя, из богатой семьи ведь происходила. Не вдруг-то за пастуха! Да за безродного притом... Подкидышем я в ихнюю деревню попал. Без имечка даже... Богданом и выкрестили. Бог, дескать, дал. У Миронихино огуричника лежал, — отсюда «Мироныч» я произошел. И фамилия — Найденков...

Засиделись мы с ним в этот вечер. Так что, когда подостигла его беда, смех, как говорится, с горем перемешались, я-то подтвержде других суть дела знал.

Наташку мы с этого вечера промеж собой «демонской невестой» вспоминать стали.

Эта-то вот «невестушка» ему и подыграла:

Началось с чего?..

Зимовка у нас в Сибири длинная. Полгода, а то и подольше, корми скотину и не греши. А нормов не всегда... Ину весну не в молоко уж корову кормим, а фуражную ее душу спасаем. На своих бы копытах в поле вышла. После такой зимовки она месяц-полтора в шерсть ест. Облинять чтобы, согласно природе. А к тому же и телом ей надо поправиться. Тут уж любой институт ей — не указ. Не постановишь, ходи, мол, лохматая, костлявая и устремляйся, как можно, в молоко работать. По пуду чтобы... А корма к этой поре подойдут — почему бы и по пуду не надаивать? Сочно всюду, зелено — самый молокогон, времечко.

Вот тут и наступит!

Первого председателя теребить начнут:

— Есть по пуду?

— Никак нет!

— Чтобы на другую пятидневку было! Сейчас не взять — когда и взять.

— Постараемся, попытаемся...

Ну и начнется.

Зимой овес в закромах лежал, а сейчас — в размол его. По полтора килограмма на голову засыпаем. Нет своего — купить устремляемся. Жмыху там или комбикорму какого. Травы по угорьям косим, грабли гоняем, клочки сшибаем. Мало этого — в яровое залезем. Горох с викой косим, рожь. По две, по три машины в день зеленой этой подкормки к стаду возим, под копыта мечем. Ночная пастба в это время проверяется, контрольные дойки устраиваются. Закипит, братец! И всюду эта поговорка слышится: «У коровы молоко на языке». На языке — и нигде больше! Дедами, мол, еще установлено. Мудрыми... Зимой нам, видишь, мудрость не в мудрость, а сейчас в районной даже газете жирными буквами про «язык» с пудом. В лежащем положении вику эту с горохом корове под губу подсовывают, на аппетит воодушевляют. Дай только пуд, родная... Пуд! Пони-маешь? Не подгадь в районном масштабе! Войди в сознание!

А она не сознает.

Знай себе линяет да потерянный вес нагуливает.

— Есть по пуду? — председателю звонят.

— Нету, — вздохнет тот в трубку.

- Соль лизать даете?
- Даем. Лижут.
- Поенье изобильное?
- От пуза.
- Когда же — пуд?
- Кто же его знает...

Так вот до осени вокруг пуда и колотимся. Выходит — мы зимой, весной корову изобидим, а она летом с нас свое возьмет. Круговерть такая получается.

И вот дожили мы одну весну, удалы колхознички, что вилы занозить не во что стало. Ни сена, ни соломы, ни мякинного охвостья. Скотина ревет — рвет за сердце. И отправляет наш председатель один обоз кочки на болоте резать, другой — «воробьятник» подсекать. Мелкий кустарничек такой... Перетрем, говорит, его на механизмах — авось что и пожуют.

Обозники запрягают, а сами и на супонь даже не поплюют. Первая примета, что не с охотой...

— Кто его сроду ел, этот воробьятник... — ворчат.

— Съедя-я-ят! — бодрится председатель. — Должны... Вещество-матерья всюду одинакова. Крахмал, сахар и клетки... Только извлекай! Лось вон, тоже парнокопытный, одно племя с коровой, а за самое лакомство этот воробьятник предпочитает. Что... хе-хе... французу устрица...

Тут наша «демонова невеста» и оказала себя. Отделилась от других доярок и подступает к председателю:

— Почему мы летом жируем? Почему летом в три горла корову пичкаем? Я вот, — оглянувшись на подружек, — при всех зарекаюсь: не надо нам летнего комбикорма, смечите в стога ту траву несчастную и вику с горохом, а зимой эту экономию верните. Сверх имеющего рациона. Если наши коровы не звонкоробрые, не в обезьянском косматом виде на пастбище выйдут, они, может, с одного подножного по пуду давать начнут.

Ничего не ответил ей тогда председатель. Только губами пожевал.

А в июне заговорил:

— Рожь подошла, девчата... подкармливать надо. По телефону опять звонили и в газетной передовице напечатано.

— Не буду! — Наташа кричит. — Не буду! Забыли французскую устрицу?!

Она, видишь, с молоденького ума как бы некоторый свой почин задумала.

— Не бывало у нас в Сибири такой роскоши, чтобы летом корове будущий урожай скармливать, хлеб ей под ноги валить,—с материного голоса доводит.

— Ты не мудри-ка...—осек ее председатель.— Пошире наших бороды есть! Строго указано—подкармливать. А что не бывало, мало ли чего не бывало! Подкормил да не надоил—корова не дала, на внутреннюю секрецию сослаться можно, а не подкормил—самого за хобот. «Недоработал. Передовому препятствуешь. Хозяйственная неграмотность». Так рассекретят—до свежих веников...

Разговор этот в присутствии Миropyча состоялся.

Смотрит он на Наташку. «Не порох,—думает,—ты, девка, изобрела, и не процветет колхозное животноводство от твоих сэкономленных охапочек да килограммов, однако...»

Дорогим ему показалось Наташкино такое беспокойство. Сшевелилась девчонка. Обет на себя берет.

Ну и подкрепил ее.

— Сейчас ведь она—самая сладкая травушка подошла,—председателю говорит.—Да еще и из сладкой ее коровья воля—самую сладкую выбрать. Сейчас я ее и в поле до отпышки напитаю. До стону накормить могу! А посевы действительно пусть на зерно стоят. Или на зеленку убрать. Всяко не прогадаешь!—подмигнул он председателю.

— Простодушные вы люди...—закачал головой председатель.—Наукой же доказано, практикой: подкормка в летне-е время повышает удои. Где вот, в котором месте я против этого возразить могу?!

Миropyч чего-то насчет по одежке, мол, ножки, а Наташка звякнула подойником, извернулась—и к стаду.

Обида девчонке. Думала, для лучшего предлагает, загад в своей работе сделала, а ей—«Не моги!». Оно ведь каждому своя придумка дорога. Пусть куцая, пусть маленькая, да не чужая—своя. Наболелая.

Расстилает Миropyч плащ на траве:

— Неправильно ты с ней, Иван Васильевич...

— Ну-ка, поучи, поучи,—подсел к нему председатель.—Послушаем...

— Я тебе, извини, про воробьев приведу. Не случа-

лось понаблюдать, как они молодняк из гнезд выводят?

— Некогда как-то было, — усмехнулся председатель.

— А птица ведь повсеместная! Любому доступно...

— Слушаю, слушаю.

— Как уж у них случается, самовольно или по родительскому наущению, не скажу... А только, бывает, иной несчетышек — раз и пал из гнезда. И полетел, глядишь! Крылушки еще несмелые, рот у дурачка полный, хвост со страху под себя ужал, а старики в этот момент ревушкой от радости исходят. С двух сторон стерегут, зовут, велят, в пух желторотику дышут, крылья свои готовы под него подстелить! Не видал!

— Чирикали чего-то, помнится... ну, ну?..

— А бывает обратная картина... Пятеро из семейства в акациях уж припрятаны, а шестого никакими червячками из гнезда не выманить. Робеет, и все тут! Тогда забирается старик в гнездо и поначалу, видимо, как ни то детское наказание молодому устраивает. Потому что — верезг в гнезде. А потом на крайчик вытеснит пелуха и грудью его, слушай-ко, грудью: «Лети! Не бойся! Пробуй!» Тут уж хочешь не хочешь, а сорвешься. Пролетит несколько — шмяк наземь! Глаза под лоб, сердечко в клюв выкатилось, а старики свое. Мамашка подлетывает — примером зовет, нежным голосом, а папаша в наскоки опять, грудью опять: «Лети! Вздымайся!» Раз желторотик ушибся, другой ушибся, а ведь достигнут! Поднимут! Глядишь — он на колышке уж за приторговывал: «Черт-не-брат, черви-козыри, черви-козыри!» Такая отчаюга потом!.. Да кто у нас воробья не знает?! Птица, говорю, повсеместная, не выходя из кабинета налюбуешься.

— Ну и к чему этот твой сказ будет? — прищурился председатель.

— А к тому, что ты девчонкам, не говоря уж грудью подтолкнуть, а ушибиться даже не позволяешь. А без этого как? Ни умной злости в человеке, ни за свое сотворенное гордости. А ты им дай... дай коготок увязить. Лови минутку. Такое в ином человеке годы да годы не объявляется. Ударь, говорю, грудью, старый воробей! Пусть ушибутся даже...

— Они ушибутся — отряхнулись да в хохотки, а мне строгаши изнашивать?

На этом ихний разговор и остановился.

Разговор-то остановился, а Наташка... Совсем в

другую сторону девку запошатывало. Раньше корову подоить — каких она только сказок ей не наговорит. Скотину гнус донимает, не стоит, рогатая, бьется, а она неотступно свое напевает:

— Ну, Вербочка... ну, ягодка... Стой, душок, стой! Вот так, вот так, соловеюшка моя.

Поглядеть на эту «соловеюшку» — один рог торчмя, другой наполовину спиленный, потому что в глаз расти нацелился, веки разномастные, мурло презрительное, а она:

— Ну, Вербочка! Будешь убегать, я любить тебя не буду. Бить тебя буду!.. Стой, лапка, стой!

И воркует, и воркует с ними дойку-то.

Сейчас к этой же Вербочке другой подход:

— Смотри у меня, девка!..

— Ты что, ведьма, угорела?!

— Да ты с ума сходишь или начинаешь?!

Глядишь, и скамеечки Верба отведала:

— Бандитка! Рахитка! Уродина!!

Дальше — больше, совсем не свое девчонка заговорила. Отпетая, мол, наша работа. Рога, навоз, хвост...

А то, ни с того ни с сего, засмеется.

— Чего ты, подружка?

— Да так, книжку одну вспомнила... Там молодежь плотину строила — следы своих ладошек на бетоне ребята оставляли...

— Ну и что?

— Да подумалось: нам, грешным, и отпечататься не на чем. На масле если — покупатели забрезгут: «Чья это тут лапа антисанитарная?» Книгу жалоб затребуют... Олгодневочки мы, девочки! — со вздохом на мотив протянет.

Ну, Мироныч же слышит... Не смолчит другой раз.

— Как это «олгодневочки»?

— А так... Люди на века работают, а мы — аппетит пока. До стола наша слава. Коротенькая. Отведу вот, — говорит, — последнюю дойку и умру, к примеру... Добрые если поминки — по стакану молока от трудов моих нальется, и аминь Наташке. Подойник — на памятник...

— Пустое ты, девушка, рассуждаешь! — закрихтит Мироныч. — От подойника таки же молоденьки на всю страну известными делаются.

— У нас сделаешься! — бровями заиграет. — В «Кро-

кодиле» разве нарисуют. «Французской устрицей» коров кормлю.

— Дело-то ведь сейчас не к «устрице» идет,— возразит Мироныч.— Берутся за корма...

— Ждать долго,— отрубит она ему.— Ты вот пятьдесят лет за стадом ходишь — много славы нажил? Где твой результат?

Скажет так, и слов против не найдет мужик.

А из нее, как из обильного рога:

— Сядешь под корову, и весь свет она тебе своей утробой загородила. Ее видно, тебя — нет! Живешь на курорках... Уехать только к черту, пока суставы гнутся.

Ну и другое подобное. Редкий день не разразится. Даже Мироныча с позиций сбила. Действительно — пятьдесят лет, а ни орденов, ни портретов. В президиумах не сиживал, оркестра не слыхивал. Он-то, правда, не высказывал этого, но я по чему сужу?

Выехал к нам районный наш рентген. Грудные клетки просвечивали. У нас с ним, да не у одних нас, затмения в легких найдены были. Под вопросом. Направляют нас в город. Там, мол, почище аппаратура — уточнят. Ну, просветились мы — никаких затмений у нас нет. Табачина просто сгустился. Районному рентгену, значит, и не под силу. Вышли мы из кабинок, подчембарились ремешками — что дальше делать? Обрато автобуса ждать долго, день не базарный. Пойдем, говорю, где ни то на радостях пивка выпьем. На страх чахотке...

— Пойдем.

И угадали мы с ним, удалы алкоголики, в диетную столовую. Город-то худо знаем.

Пива в столовой нет, однако выбивает мой Мироныч талончики — садимся. И случилось нам угадать за один стол с язвенником желудка. Творогу тот выписал. Съест ложечку и прослеживает — в тот отдел угадывает или мимо? Удостоверился, что по маршруту прошло, с язвой посоветуется — еще ложечку съест.

— А помогает все же молочное? — участливо так спрашивает Мироныч.

Сквасился язвенник, рукой махнул:

— Ножа бы ей звонкого... хирургического,— повыше пупка себе указал.

Подзакусили мы — идем по городу, мне ни к чему, а Мироныч солдата приметил. Мороженое тот стоит ест.

Ну, и к этому с вопросом:

— А тянет же, служба, на молочное?

— Да купил вот,— говорит,— побаловаться. В увольнение на всяки пустяки тянет.

— Как — пустяки? — зашевелились дворняги у Мироныча.— Это почему так судишь? Тебе значит — «пустяки», «побаловаться», а наши доярки — дождь ли, слякоть ли, гнус — до последней струйки из-под коровы не вылазь, сиди?!

— А красивые они у вас, доярки-то? — не расстраивается солдат.

Миронычу и вовсе неладно:

— Красивые?! Да с таким носатиком единая близко к загсу не рыскнет! За демона лучше...

— Но, но! Папашка...— остерег его солдат. И руки платочком обихаживать начал.

— Чего — «но»?! Чего нокаешь? — вскинулся Мироныч.— Присягу принимал, а как малютка... мороженку лижешь.

— Вы покорооче про присягу! — просмыкнул пальцы под ремнем солдат.— Покорооче, предупреждаю!

Нос у рядового краснеть начал, а казанки на правом кулаке — белеть. Глаза активные сделались.

Сгреб я Мироныча и во весь упор деревяшки тащу. Пойдем, мол, от греха. Не знаешь разве — у рядовых рука ноская...

Квартал прошли, второй — ворчит мой Мироныч, досадует.

— Баловство нашел!.. Пустяки ему!..

Вывески между тем все прочитываем. «Пиво — воды» нас интересуют. Или недietetная чайная. До автобуса-то долго еще.

Аптеку миновали, музыкальную мастерскую прошли, и попадается нам «Детский сад № 8».

— Зайдем? — остановился Мироныч.

— Это зачем еще?

— Ээ... ребятишек посмотрим... игрушки...

Что ты с ним будешь делать!

Во дворе все поместье оградками разгорожено. Голубые оградки, зеленые, желтенькие. Качели там у них, песок, «кони», «лебеди» с беседками. А посреди всего этого — ребятишки. Крику — что у сорочат с галчатами. Облокотились мы на оградку, наблюдаем.

Через малое время подбегают к нам две девчушки:

— Вам кого, дедушки? Кто у вас здесь?

— А никого,— говорим.— На вас вот посмотреть пришли.

Они друг с дружкой глазенками встретились, улыбнулись вполгубок, и застесняло их вроде, закокетило. А такие намятышки девчушки — ущипнуть не за что. Мордашки намыты — зайчиков пускают, на щеках по второй ямочке наметилось, на локотках тоже гнездышки.

— Не обедали, мои славушки? — Мироныч спрашивает.

— Нет,— заулыбались опять девчушки.

— А утром какие блюда вам подают? Сегодня вот чем кормили? — заторопился он с разговором.

— Кефир,— отвечают,— и олады ели.

— А свежее молочко тоже... тоже пьете?

— Капичное пьем. С подохлами чтобы микробами...

Тут их еще набежало — целый табунок напротив нас сгрудился. Поодаль воспитательница стоит. Прислушивается, замечаю.

Малые наперебой докладываются, кого из них как зовут.

— А я — дедушка Богдан,— Мироныч им представляется.— Коровок пасу... чтобы кефиру вам, молочка, сливок, мороженку... Любите, поди?

— Лю-ю-бим! — хором голосят.

— Вот и славно нам! — расцветает у меня Мироныч.— Вот и распрекрасно! Здоровенькими вырастете...

Воспитательница к какой-то своей сотруднице заторопилась. Переговорили между собой — к нам подходят.

— Я здешняя заведующая,— называет себя которая постарше.— Анной Николаевной меня зовут. Подслушивали мы вас, извините...

— А у нас не секреты! — обласкал ее улыбкой Мироныч.— Задушевный, милый разговор у нас...

— Не откажитесь, в таком случае, нашими гостями побыть? — приглашает заведующая.— У нас в городе,— говорит,— вашей пастушеской профессии нет, а ребятишкам интересно. Пора им знать, откуда молочные кисели происходят.

Осудились мы с Миронычем в белых халатах.

— Чего же я им расскажу? — спрашивает у заведующей Мироныч.

— Все рассказывайте! Как вы их пасете, как доите,

какие у них, у коров, характеры, привычки. Детям на свежие ушки каждое ваше слово — открытие.

Я, значит, поскольку не пастух, под «грибок» присел, а Мироныч посреди детворы оказался. Сотни полторы их подковкой его окружили. Поначалу мешался он. На распорядок дня все съезжал. А потом наладился. Про свое каждодневное — хитро ли! Повел он свою речь про то, как у коров язык «играет».

— Выгоню их по росе на подсолонок — любимая ихняя и самая едомая травушка, — вот тут оно и начинается у нас. Подсолонок-то низенький, не раз уж сощипанный — все ихние языки мне видно. Ровно веселые, такие игровитые горностайки на поляне зарезвятся. Подумаю, что это проворные шуки на росу из реки вылезли, — и на щук похоже. Подумаю, что сюда со всей деревни озорные котята сбежались, — и котята мне в языках чудятся. А если сто котят на одной полянке разыграются — это, представляете, какое веселье произведется? Журавли запляшут! Бирьки у коров белым паром отпыхиваются, а они — языки — котятки-то, горностайки, щучки придуманные — ой! — чего они только не вытворяют! То в бок, то в другой извернутся — и к ноздрям, и под нижнюю губу, и с подлизом-то, и с заворотом — как они только не отпрактикуют, чтобы вкусную травку себе добыть.

Прихватил себе ус языком и затягивает его:

— От так! — демонстрирует. — От как, мои славушки! С подхватом! Аж щелкоток стоит! Сто ведь языков!

Защелкотали ребятишки. Сияет старый.

— И вот, когда накормлю их по самую голодную ямку, начинается у нас «мертвый час». Только никак не приучу их жвачку на это время выплюнуть. Нельзя им без нее — умереть могут. И вот жует, жует которая и застывает вдруг толстым голосом.

— Обьелась, что ли, жадная? — голосок взвился.

— Нет, нет — заторопился Мироныч. — Это ты не подумай! Она не для себя. Теленочку молока надо, тебе надо, мне надо — ну и наестся до стону.

— Тогда касторрки даете? — басовитый один парнишка спрашивает.

Мироныч засмеялся:

— Она ведь не от болезни стонет, а от приятности. От сытого своего удовольствия. Им касторка ни к чему.

У них, дитенок мой, в брюхе четыре отделения. Сычу-га, значит, рубец, книжка еще...

— С картинками? — перебила знакомая нам девушка.

Расхохотались мы тут все взрослые.

А Мируныч разооооушевился — про Валетку им, про то, как бык Символ грузди разыскивает, про бузовку.

— По мелкому лесу если бегут — истинно конная-буденная скачет: хвосты, как шашки, взнесены, от топота земля гудит, и вся только разница, что не «ура» ре-вут, а «бу-у-у!».

— Бу-у-у! — отзываются ребятишки. — Бу-у-у!

Всю пастушью сумку опростал перед ними Мируныч. А под конец на могучем голосе:

— Желаю, чтобы вы толстомясеньки у меня росли, толсто.... пузеньки! Налиточки чтобы! Груздоочки!.. Здоровенькие!..

Заведующая в ладошки захлопала, ребятишки следом. Мируныч тоже... И ведь что? Прослезилось меня. Такой горячий комочек в горле — ни туда, ни сюда.

Заведующая благодарить Мируныча принялась, а у него тоже, гляжу... ус подскочил.

— Вас благодарить надо... У меня, моя славущка, кнут сегодня подорожал, кнутовище позолотилось! Ведь кому трудимся?! Они мне... они... и на пасеве теперь грезиться будут. Касторки, говорит, даете... хе-хех...

Только смех-то не тот получился. Халат глазам потребовался.

— А хотите, мы вам фотографию с ребят вышлем? — заведующая говорит. — Вам и девушкам вашим. Дояркам.

— Пожжа-луйста, Николаевна! Это очень даже необходимо. Наташка у нас там...

Ну и накоротке пояснил.

В автобусе шевелит меня:

— Простокваша до кумысу маленько разве не дошла.

«Вот те на!» — думаю.

— Один ученый, по радио это передавали, так про нее своим студентам пояснял: «Знаете,— спрашивает,— почему я веселый, бравый и шутливый перед вами стою?» Студенты не знают. «Потому,— говорит,— что я с утра, натошак, выпил два стакана простокваши».

Сказал эдак-то и подмигнул мне Мироныч.

У меня мысли к пиву вернулись:

— Промитинговал,— говорю,— дак теперь просто-квашей откупиться хочешь?

— Я не к этому...— дрогнула у него бровь.

— А к чему тогда?

— А вот сдогадайся!

Морщил я, морщил свой лоб — деревня наша показалась.

Сошли с автобуса — Мироныч предупреждает:

— Ты про ребятишек и про фотокарточку ни гу-гу пока. Нечаянный интерес девчонкам устроим. «Откуда,— скажут,— узнали нас? Да поименно еще!»

— Ладно,— говорю.— Могила.

А Наташка... Слышит на другой день Мироныч, что она про паспорт уж толкует. В город надумала или на стройку великую.

— Не пропаду! — говорит.— На крайний случай — уборщицей, а подучусь — на экскаватор сяду. Захочу — даже крик моды, как вон в киножурнале, вертеться буду, показывать.

И тут же халат свой доярочий двумя пальчиками зашипнула, верхнюю губу вздернула чуточку, ушурку такую завлекательную изобразила и пошла. Сама легкая, локоток на взлете — не девка, а Жар-птица в босоножках. Красивая, варначка! Не нам, старикам, конечно, оценивать, а только на виду же. Не отводить же глаз... Зубки с прорединками. Куснет если милого — от каждого свое гнездышко. На губе, вздирать которую любит, пухленькая сердцевинка сбежалась. Щеки кумачиком полыхают. Глаза сведет — темные, тайные делаются, волю даст — синие. Как у бабочки-солонцовки крылышки.

— Ничего особенного! — говорят ей подружки.— С твоей внешностью да походочкой не удивительно, что и моды ты будешь распространять.

— Не про-па-ду-у! — загадывает Наташка.

И правильно загадывает — действительно не пропадет!

Сколько их из нашей деревни поухало, а назад редко которая торопится. Работы — везде. Общежитие предоставляют. Замуж вышла — квартиру подавай.

Приедет в отпуск и граблей не признает:

«У нас — ванна, у нас — газ, а штапель не в моде...

По вечерам телевизоры смотрим, обедаем автоматически...»

Ребят если взять — тоже урон несем. Или по месту службы влюбится, или на стройку куда вместе со своим взводом махнет.

Пошел Мироныч к председателю.

— Наташки лишаемся, Иван Васильевич. Уезжать девка собралась. Поговорили бы?..

— Удивляюсь! — председатель толкует. — Раньше доярки, взять хотя бы твою Кузьмовну, это же трехжилые какие-то труженицы были. И стадо-то обиходят, и сено косить бегут, и на прополке, и на току! А эти одно вымя знают, и все им неладно. Ведь и жизнь продвинулась! Клуб поставлен, кино регулярное. На отгоне — радиоприемник, книжки... На дойку ехать — машину под них подгоняем. Зарабатывают побольше доброго мужика... Шей себе платья, гарцуй на тонких каблучках! Старухам-то, матерям ихним, и не снилось...

Мироныч возразить хотел: мы, мол, свои трудодни оценивали по признаку — сколь крепко они к земле нас пригибают. Принимаешь чувал с зерном, и спине твоей сладко. А молодые — им крылатый трудодень грезится. Не к земле бы который давил, а поднимал бы тебя который. Высил.

Хотел он это высказать, да поостерегся.

— Значит, ничего и не предпримешь? — у председателя спрашивает.

— А чего предпринимать? Говорено с ней. И у меня была, и в комсомольском комитете... Ты вот разве чего примыслишь? Воробьи ничего в этом случае не подчиркнут? — на прищуренном глазе так спрашивает.

Мироныча укололо. Ворохнул он своими дворнягами и без «до свиданья» ходу.

И вот что он, кудрявая голова, отпрактиковал.

Приходит Наташкина группа на вечернюю дойку — глядь, у коров... цветы на рогах. Кукушкины слезки, горицветики, кашки... Вышивальными нитками привязаны. Ни у чьих нету — у Наташкиных только.

«Что за диво, девушки?!»

Окружили Мироныча — объяснения факта требуют.

— Подошел ко мне, — Мироныч поясняет, — в летичкой форме молодой незнакомый человек, подошел, значит, и спрашивает: «Укажите мне, будьте добры, папаша, Наташи Селивановой коров».

«Пожалуйста! — говорю. — Вот Гадалка, вон Верб, а там Калымка».

«А не могли бы вы, — говорит, — попридержать мне некоторых?»

«Это зачем?»

«Рога им цветами украсить хочу».

Я попридержал.

У бригады и глаза замерли:

— А кто... как он назвался?

— Никак пока не назвался. Со временем, говорит, если приятные будут Наташе такие мои знаки чувства, она сама узнает.

— А какой он? — заторопилась бригада. — Какой из себя? Красивый?

— Волосы само красивые. Белые... мягкие... ээ... обходительный! Коровам глотки почесал...

Сидят девчата над подойником и перекликаются.

— Может, он из Вакариной! — ближнюю деревню вспоминают.

— Или из Синичкиной кто в отпуск пришел?!

— Это надо же такой специальный нежный подход к девушке поиметь!

— Летчики — они вообще... лирические, — Ольга Остроушкова подчеркнула.

На всю дойку толковища у них хватило. И после дойки. И на другой день!

А на третий — опять рога у коров цветут.

— Приходил?! — к Миронычу подскочили.

— Ага. Из колочка вывернулся, поздоровался и опять...

Тревожно бригаде жить стало. Вот и не волк вокруг стада ходит, а тревожно.

— Ты, Наташа, — советуют, — записочку в букетик и тоже... на рог. Скорей свидитесь. Ведь он, поди, обуглев от таких нахлынутых чувств!

— Еще что выдумаете! — вздерет припухлую губку Наташка. — Меня на краковяк приглашают, и то не тороплюсь разбежаться. Сказал «а», скажет и «бэ».

— Какое же «бэ» у вас должно произойти, если от одного «а» душа растворяется, — посоловеют глаза у Ольки Остроушковой.

Интересная тоже девчонка... Глаза, понимаешь, зеленые! На щеках, на носу веснушки роями, ротик умильный — такая лисичка-сестричка рыжая.

И вот, не будь эта Оляк простофиля, приспособилась девка после доек за костяником ходить. Вроде за костяником, а сама со стада глаз не сводит.

И устерегла!

Прибегает перед обеденной дойкой на отгон, корзинка пустехонька.

— Дуры мы! — кричит.

— Почему так?

— А вот придет стадо — понаблюдайте за мной. Изображу ловкость рук...

Коровы со цветами опять идут!

Оляк, ненароком будто, возле Мироныча очутилась. В ловкий момент запустила руку в карман плаща и достаёт оттуда, на виду у всех, разноцветные нитки мулине.

— Видали летчика?! — спрашивает.

— Ка-а-ак?..

— А вот так! — зверьком глянула она на Мироныча. — Вот так у нас... Своими глазами, подружки, видела, как этот изуит цветы собирал, а потом на рога их навязывал. Сличите нитки!..

Подбежали к Вербе, к Прокудаихе — цвет в цвет ниточки.

Вот это «бэ» дак «бэ»!!!

— Ты что же... дя-дя?! — с нехорошими глазами окружает Мироныча бригада. — С какой целью такую сильсификацию?

— Мне это... — растопырил пальцы Мироныч. — Мне это летчик препоручил... Выходной он сегодня... нитки дал... разноцветные.

Врать-то он не горазд, мужик, совсем не горазд. Ну и на перекрестном допросе сознался:

— Не хотел я, Наташа, чтобы ты уехала. Потому и предпринял. Грешен, девки.

— Дуры мы, — заревела Оляк.

А у Наташки из глаз чуть не искры:

— Летчиками меня привлекаете!.. Кто тебе насоветовал? Комсорг? Председатель?

— Сам я, Наташа. Прости, моя славушка! Старуху я таким же способом...

Наташка не слушает. Срывает цветы с рогов да в навоз их, в навоз.

К вечеру всей деревне об этом происшествии известно стало. Пока укрывался Мироныч в «летчицкую фор-

му» — среди одной молодежи толки шли. А сейчас и пожилой контингент воспрянул. Кто что! В складчину.

Добрые соседки в таких случаях и вовсе «милые» делают. К Найденихе с этой вестью, к Кузьмовне. Сперва про лен с коноплей, потом про пряжу, про вышивки... А там и про нитки.

Кузьмовну даже на лавку осадило:

— На рогах? — чуть выдохнула.

— На рогах, милая, на рогах! Об чем и разговор, что на рогах... Букетиками.

Старуха, когда осознала, хлесть себя по коленям:

— Ой, тошнехонько!!! Это что же он, враг мой, надо мной выделывает?!

Соседки первым делом по солидарной слезинке выдавили, а следом — по наводящему вопросу:

— И в молодости такой был?

— Да я за него, за каторжника, из-за цветов и вышла-а-а. Ничьи, бывало, а мои с незабудками на рожках иду-у-у-т...

— Да ты успокойсь, успокойсь! — хлопочут соседки. — Ты по порядку нам... Канкретна...

— Вызнал через меня женску нашу слабость и применя-я-яет теперь.

В таких случаях, хоть бы и не старушечья ревность, а все одно... Умишко-то куций делается. Что сердцу больно, то и наружу. На обнародованье.

— Не глядите, что ей восемнадцатый год... Меня эти цветочки от добрых женихов увели. Дом — полную чашу — бросила, благословенья не спросилась — в одной маринатке убежа-а-ала-а...

А про то, что ее благоверный шестой десяток добирает, ей не в память сейчас. Забыла! Молодой он, ее Богданушка! Такой, каким у поскотины запомнился: кнут на все плечо размахнут, черные кудри с ветерками играют, глаза удалые, отчаянные, беспощадная, не к добру, улыбочка.

Два ее братана, Кузьмичи, по свинчатке в кулаках затиснули, жених Сенька Смурый гирьку на ремешке из кармана тянет.

«Оставь, Богданко, свои цветочки! Убьем!»

«Убивайте! Доразу только убивайте! Живого оставите — с отцами сожгу. Пеплом ваше богатство пушу!»

«Уходи из деревни, полцыганщина!»

«Надумаю — не спрошусь».

— Жизней своей за меня рискова-а-а-ал! — живой слезой скатывается старая.

— Глони водички. Плесни на сердечушко. Конец света, видно, подходит, — накаляются соседки.

Вечером является Мируныч с отгона — сеношная дверь закинута. Постучался так, не очень авторитетно, ждет.

— Чего надо?! — рыкнула Кузьмовна.

— Отворяй, голодный я, как волчик.

— На любви своей проживете. Цветочков нанюхаетесь.

«Известились, значит», — вздохнул Мируныч.

Слышит, и избяная дверь запором щелкнула.

Потоптался он на крылечке, и в огород его поманило. Огурца там съел, морковки, бобов пошелушил — сочные корма все.

Утром слез с чердака — Валетко пузатый его встречает. А самому хозяину сала со спичечный коробок пластик, тоненький ломоток хлеба и одно яичко — в газету завернуто, на косяк выложено.

— Налей хоть молока бутылку! — позвякал он щелкалкой.

— Кобель съел! — Кузьмовна отвечает.

Идет мужик к молоканке и подозрительно много встречных ему попадает. Женский пол все больше. Которой по воду приспело, которая полыньки на веничек наломать дорогу перебегают. И каждая с приглядочкой. Как на свежего поселенца или на снежного человека глаза дерут.

«Мякины бы вам в оловяшки! — косится на них Мируныч. — Вот радиолы!»

И ведь что интересно! Неловко ему становится. Как бы на самом деле Христову заповедь оскоромил, морально разложение учинил.

Грузят фляги на машину — Наташки нет.

Подъехали к дому, посигналили — не выходит.

В дом девчата забежали.

— Не пойду! Не увидите меня там больше.

Да и впрямь, кому нужна такая славушка? Которую девушку старухина ревность украсила?

— Не пойду! — твердит. — А на этого несчастного жулана, — сквозь окна на Мируныча указывает, — в суд передам.

Ну, дойка не ждет. Поделила бригада Наташкиных

коров — подошла день. А на другой — Мироныча заставляют. Олька эта Остроушкова...

— Садись! — скамеечку подает. — Не все цветочки — поголубь вот Ягодку...

Вечером заворачивает он к моей сторожке:

— Выручай, друг! Окружили меня смех и горе. Мечтал — для государственного интересу, а угадал в Гришки Распутины...

— А может, действительно, бес в ребро?.. — подначил я.

— Не болтал бы...

И ставится мне задача «просочиться» к Кузьмовне в избу, а потом хозяина каким-нибудь способом запустить. Не двери же мужику ломать.

Позвал я свою Клавдею Митрофановну за магазином присмотреть — отправились мы.

Кузьмовна, замечаем, у калитки стоит.

Подходим ближе — не убегает. Наоборот — к супругу посовывается.

— Пакет тебе! — тревожно так сообщает. — Бандероля какая-то.

У нас сейчас же догадка: «Детский садик это!»

Зашли в избу, разрываем конверт — так и есть.

В два тетрадных разворота картонка, а на ней ребячьи фотокарточки. Каждый в кружок взят и назван. Соловьев Володя, Курзюмкина Надя, Лихих Петя... Кузьмовна тоже подошла, заприщуривалась. Лампу давай выкручивать.

Ну, где удобнее момент найдешь!

Рассказал я ей про язвенника, про солдата, про то, как в белые халаты мы наряжались.

— С этой точки, — говорю, — и цветы оценивай. Дело тут никакое не сердечное, а само натурально — государственное. Мужик с общественным сердцем, а ты его голодом моришь, на чердаке ночует. Девки вон под коров сядят...

Старуха чует — каяться надо... Да хоть одна из них каялась сразу-то!

— А зачем не спросился? Зачем самовольно?! — обиду изображает.

— Да ведь для государственного интересу! — подчеркиваю опять. — Вот, синее море, убыль тебе какая?

— Мало их, этих цветов, растет... — подбурчал Мироныч.

— Сколько ни растет — все мой! — повела по горизонту руками Кузьмовна.

Изловила Миронычевы глаза и подступает к нему:

— Без спросу единой незабудочки чтобы не смел! Все мой! Слышишь? — И даже раскраснелась. И даже, ей-богу не вру, помолодела.

— Да твой, твой, моя славушка! — приобнял ее Мироныч.

На другой день, после утренней дойки, побежала бригада к Наташке. Сфотографированных ребятишек с собой несут, письмо ихнее.

— Смотри, подруженька! Читай, подруженька!

Ну, и в семь голосов Мироныча превозносят.

— Такого лирического старичка — в комитет комсомола только! — Оля Остроушкова кричит.

И вот какое прострельное слово случается.

«Здравствуйте, дорогие наши няни!» — ребятишки пишут.

Оно, конечно, не ребятишки, но как бы и ребятишки. От ихнего имени.

Прочитала Наташка первую строчку — и шабаш. Слезинки вдруг накалились, губка дрогнула. Няни?!

У нас, в Сибири, старших сестренек принято нянями называть. Под чьи «баюшки» возрос, чью шею ручонками оплетал. Желанные они маленьким-то, сестренки-няни, с материних рук на ихние бегут. До седых волос иной братик доживает, а старшая сестра все — «няня». Даже по смерти. Не скажет — сестру, няню, скажет, похоронил.

Наши няни...

А ведь если обдумать эти слова, обдумать если!..

Крепким сном спят еще матери... Раскидались в своих кроватках, разбрыкали розовыми пятками свои одеяльца завтрашние заселенцы земли. Золотая почка на неисцветаемом народном дереве. Улыбчивые сны им грезятся... С потягушками. Со сладкой слюной на щеке... Вдох — выдох, молочное брюшко. Спи. Не спят твои няни. Звенят подойниками няни.

Не гудят еще утренние заводские гудки, не ушли еще в шахты ребята, не ступили еще городские девчонки в свои цеха, физзарядка еще не играна, а уж хлопочут у всесоюзной застолы молочные наши няни.

Славен русский хлеб. Славен квас с луковкой. А славно же и ты — родное русское молочко!

Из ваших подойников, няни!

Я, случается, зайду ночью домой, спичек там не станет или махорка кончилась... Зайду домой — не спит моя Клавдея Митрофановна. Складет руки на грудь и нянчит их: «Рученьки вы мои! Матушки вы мои!» Тридцать лет продоила! И морозу и бруцеллезу досталось. Открываю я тогда чекушку с денатуратом и начинаю ей суставы растирать. А одно время подошло — кончился денатурат! Чем ей боль унять?

Взбодрил я голос и по возможности веселей:

— Не стони,— говорю,— Клавдея! Вашему брату, старым дояркам, памятник в Москве сотворяют...

— Какой такой памятник?

— На одном камне с Гагариным,— говорю.— Он будто бы перед полетом земным видом насытиться вышел, а ты ему в этот момент крыночку молока протягиваешь. Испей, мол, сынок, земного. Гончарного еще производства крыночка,— разрисовываю ей.— Щербатая такая...

— Почему же щербатая? — напугалась старуха.— И почему именно меня поминаешь?

— А кого же,— говорю,— поминать, если не тебя да не вас. Кто их, таких ребят, вскормил-вспоил? Из щербатой крыночки...

Врать-то я весело начал, а набрел на эту думку — самому волнительно сделалось.

— Поищи,— говорю,— по белу свету таких старух! Ни рожна нету нигде таких старух!

Затихла моя Клавдея Митрофановна.

Рукам-то, может, и не легче, а душе — воскрыленье. А сердцу-то и радостно.

Многое искупили они — звездолазы наши. На льдинах потеплело, в горячих цехах посвежело...

— Нету таких старух! — шумлю.— Взлетают ребята лейтенантами — садятся майорами! Это же... Сине море...

Вот и твои, Наташа... Улетят, белозубые, улетят, синеглазые, туда улетят, что ни с крыночкой к ним не дотянуться, ни «творожку на рожку» подать. Ступят они, смелые твои «братики», на чужедальные запредельные неземные тверди, а ты им, бесстрашным,— няня.

Самый радостный в мире атом несешь ты в своем подойнике. Царь-витамин! Первочудо умной зеленой Земли! Солнечные зайчики ребячьего хохотка, разворот

богатырских плеч, витые тугих жил, могучий мосол недробимой широкой русской косточки...

Не плотины из-под твоих рук встают, не сады расцветают — самая радостная и удивительная красота. Румянец на щеках у родного народа — вот твоя золотая слава. Твоя и подружек твоих молодых, нецелованных.

Звонких же вам петухов, веселых и ясных зорь вам, народные наши няни!

Вот Наташку слово-то до слез и прострелило. А к этому — мордашки ребячьи.

И не уехала наша Наташка.

Ходит со скамеечкой за известной Вербой и напевает:

— Будешь убегать — я любить тебя не буду. Бить тебя буду. Стой, душок, стой!

И послушайте, что говорит по этому поводу Мироныч.

— На солнышко, — говорит, — я удивляюсь. Вот кто труды свои украшать умеет! «Зацвети! — от каждой согретой выращенной былинки требует. — Зажгись!» Яблоко, к примеру, взять... Мало, что круглое оно, сладкое, душистое наспело, мало, что пчелиные следки розовой искоркой по нему пролегли, мало этого солнышку — дай еще зорьку на самом глядельце зажгу!

Вот и людским трудам тоже бы... Не только сальдо-бульдо, а еще и каждому свою зорьку. Как Наташке... Одна маленькая словинка, один теплый лучик из чьего-то умного сердца, а какая правда вдруг ожила, засияла: няня! Удивительного завтрашнего народа няня! В миллионы молочных зубок улыбается ей сегодня краснощекое горластое державное племечко!

Вот и все пока. Кому мало — навестите мою сторожку. Мироныча позову с Валеткой-пчеловодом... Этот хоть и не говорун, а тоже его люблю. Тоже... дикой полянкой пахнет.

1962 г.

ДЫМКОВО БЕССМЕРТИЕ

Счастье-то люди по-всякому понимают. Один берет бессмертную, скажем, свою душу, кладет ее на пачку трехпроцентных облигаций, накрывает сверху сберкнижкой, стягивает все это хозяйство резинкой, пристав-

ляет к нему волкодава поклыкастей — и комплект. Весь апогей и перигей тут. Другому опять апрельская зорька, журавлиный клич да непойманный пескарь спать не дают. Третий — картавого лепетка-щелетка не наслушается, чем ребячья теплая головка пахнет, не надышится. У четвертого — любовь...

Я не про такое счастье начал...

Проживает с недавних лет на центральной усадьбе нашего совхоза некто Ефрем Матвееч Тилигузов. В пенсионных годах уж... Одинок. Путевки никакой не предъявил, подъемных не требовал. «Печник я», — и все тут. Ну, печник на целине — должность громкая... Дали ему сразу же квартиру — живет. Кладет в новых домах печи да плиты, без остановки при этом громадную с крышкой трубу сосет да бессловесные какие-то песенки себе под нос мурлычет.

В конце первого месяца вызывает его прораб в контору.

— Сколько, — спрашивает, — сработали, Ефрем Матвееч?

Другой блокнотик бы там развернул или — невелика цифра — по памяти ответил, а этот вдоль окна по конторе ходить принялся. Ходит, свежие трубы на домах определяет и нараспев ведет:

— Дымок... другой... третий...

В двери даже выглянул, чтоб досчитать.

Отпроцедурил так-то и докладывает:

— Шесть дымков пишите... Шесть дымков над вашим Сибирем засмолил.

Сказал так и трубку набивать принялся.

Строителям, которые тут случились, и потешно немного, что он дымами перед прорабом отчитывается, и опять же уловили: со своей гордостью старичок, с загадкой. Поначалу на кисет все уставились. Не поступит ли, мол, оттуда какого разъяснения... Потом самого разглядывать принялись. Каждую морщинку на лице испытывают. А они умные высеклись, морщинки-то, приметные... Смешливая. Гневливая. Для задумчивого часа... Каждую определишь. По нужде пролегли, а не как у другого: от сна — всмятку, от верхоглядства — вразбежку. Стоит сивенький, присугорбленный, шоферской комбинезончик на нем, борода — на клинышек, усы — без затей, трубку свою расчмокивает. Табачинки стреляются. Добился настоящей затыжки, помохнатей да покудрявей папаху

дыму выпустил, голицами тут же его разогнал — и на выход. И вот так в конце каждого месяца.

— Шесть дымков пишете... Шесть дымков над вашим Сибирем засмолил.

И сочинилось ему на эту его особенность такое прозвище — Дымок. Дымком стали звать. Хоть и позаглаза, а с почтеньем... Так он благополучно да нетревозно и до последней переписи населения дожил. Переписчиком по ихней улице Антошка Мандрыка угадал. Завклубом наш. Он, этот Антошка, до нашего совхоза и до своего завклубства в зенитных войсках служил. Видом боевой, грудь кочетком, ерш на голове, румяный, белозубый, голос старшинский... Пальцы по баяну пустит — ровно чертики вприсядку заскачут. Колескопарень... Солдатского присловья этого принес — короб! Ко всякому случаю присказулька. Задумает в песенники какого призывника завлечь, тот отказывается: «Голосу нет». А он: «Сорока не присягала, да поет, волк не служил, да воет — какой же ты солдат будешь?!» Про себя особо любил подчеркнуть, что он, Антошка, на три метра в землю видит. Девчата его за это «геологом» прозвали. А впоследствии по совокупности — «Ветру брат». Напроказил он им, видимо...

Ну и вот, ходит, стало быть, эта военная косточка из дома в дом, перепись ведет. Вопросы задает круто, ответа требует, чтобы «четко, ясно и коротко», а ведь народ то не все под его началом «действительную» служили.

— Верующий? — у Дымка спрашивает.

Тому бы уж без задержки отвечать: грешен, мол, или — «Никак нет!», а он закашлялся, слезы завытирал. «Геолог» кинул взгляд в передний угол — небольшой божок на полочке стоит. «Ясно», — думает. А что в божка шило было воткнуто и три пачки махорки рядом лежали — внимания не обратил.

Месяца через три приготовилась у него в клубе лекция с концертом. Сам же Антошка и лектор. Для неверующих объявление выкинул, верующим персональные приглашения разослал. В том числе и Дымку. Все как у добрых людей... Ну, собрались! Взошел Антон на трибуну, пальцы по-под ремнем просмыкнул и приступил. Бога, говорит, дикарь изобрел... Грозные силы природы его к этому принудили. Гром с молнией, ураганы, землетрясения. Робел он перед такими явлениями, не понимал их, в бессилье впадал. Рухнет эдак ничком на мамонто-

вую шкуру, уши загкнет — и черт те что ему в дикие неразвитые мозга заползает! После бедствия барана освежает, сожжет его в отблагодаренье, что живой остался, и опять злаки собирать. Или пещерных медведей бить... Кратенько ведь и излагал, а через двадцать минут ни на пророках, ни на апостолах живого места не оставил. Куда Савел, куда Павел... Под конец для оживления рассказал еще, как один зенитчик роту чертей огневой подготовкой замучил. Потом воды выпил и спрашивает:

— Вопросы есть?

Ну а как без вопросов?!

Стали интересоваться, из какого рода войск происходил тот солдат, который целый год черта в табакерке протаскал. И какой тогда был год: нормальный или високосный... Народ молодой большинство. По комсомольским путевкам приехал. Местных сибиряков взять, дак тоже забыли, когда в последний раз крестом осенялись. Погоготали, и сошло. Только поднимается посреди хохота Дымок и спрашивает у Антошки:

— А вы, молодой человек, сами лично Библию читали?

— Нет,— Антошка отвечает.— Я на политподготовке, да вот популярную книжечку разыскал... Отсюда почерпнул...

— Тогда я к вам больше вопросов не имею,— Дымок говорит.— Политподготовку я тоже проходил. Без пригласительного билета даже...

Заявил так — и к выходу. За ним старушек божьих несколько. Антошка забегал: концерт, мол, православные, еще будет, а они: «Спасибо, сынок. Насмотрелись».

До Антонова начальства эта история дошла.

— Я,— поясняет Антошка,— не начетчик какой, а зенитчик. Мое дело — ориентир солнце, на два лаптя вправо, бе-е-глы-ы-ым!.. — На одном только стоит, что эту «ехидную специю» — Дымка — он еще в перепись раскусил: — Кашель, видишь ли, его пронял! Сектант, наверно, заперщенный... Он и парнишку к своей присяге приводит.

— Какого парнишку?! — встревожилось начальство.

— Подсобником у него, Невидимка. Огурцы воровал...

Ну, у Антона коротко все. Я вам поподробней.

Этому Невидимке, ввиду переезда родителей, одна

свободная зима выпала. Не учился — баклуши бил. На другую зиму опять переезд. Учителя сменились, пропуск у него образовался. Парнишка и расклеился. Прилениваться начал. Первые годы, верно, переползал из класса в класс, а потом и застревать начал. В школе — улита, а на улице — первый прокурат. В огород к кому забраться, из чужих мордушек карасей вытрясти — это он, поискать умельца. Отец разъездным механиком работал, мать — телефонисткой, догляду нужного за ним нет. «Невидимка» — себе прозвище дал. Так, значит, свое шkodничество оборудует — ни одна душа... На плесах проказит — медная трубка при себе. На случай, если в воде придется отсиживаться. В огородах ужом-ежом совьется, проползет — поискать, говорю, разведчика. Ни чистый, ни грязный ходит, как жучок, загорелый, нос облупленный, глаза — бесенята, ватажка за ним неотступно следует. И вот наметилось этому Невидимке к Прохору Суковых в огуречник забраться. Наши сибирячата, хоть и поменьше, а отговаривают командующего:

— Не надо, Бориска... Дяденька этот быстроногий, волчий охотник, хитрый!

Приезжие тоже остерегают.

Не послушался. Ватажка за частоколом прячется, а он — в гряды. Сколько-то огурцов спровадил за пазуху и поймался. В волчий капкан ступил. От капкана, от дужки, звонок к Прохоровой кровати был проведен. Когда рванулась дужка, ему подъем и сыграло. Определил он, какой зверь в гряды наведалься, кричит жене:

— Давай, Марья, двустволку! К нам волк в капкан попался. Достреливать сейчас будем!..

— Где ты его видишь? — та подыгрывает.

— А вон между гряд сидит... Вон!

— Ой, батюшки. А глазищи-то как горят! — ужасается Прохориха.

— И зубами клacает, — подсказывает Прохор.

А Невидимка и в самом деле клacает.

— Сейчас я его с обоих стволов польсну, — Прохор проектирует.

— Да бей перво с одного... — Прохориха советует. — Во-первых, шкура целей, а во-вторых, пешней добьем.

— Д-дяденька, н-не стреляй! — заверещал Невидимка. — Я не волк... Я — Бориска Курочкин...

— А зачем ты, Бориска Курочкин, здесь очутился?

— Огу-у-урцы воров-а-ал.

— Дело! — протянул Прохор. — Пойдем, когда так, в казенку, добрый молодец. Пересидишь до утра...

Капкан, хоть он тряпьем был обмотан — «ноги бы не перешлолкало варначатам», — Прохор с Невидимки все же снял. Пожалел. В остальном же — под замок кладовку запечатал и даже фуфаечки под бок не бросил. А утром подогнал телегу, на которой известку возил, в волчью «обувку» опять Невидимкину ногу заправил и в сельсовет его повез.

У всех на виду Невидимка.

— Ай, варвары же вы, сибиряки! — качает головой Дымок. — За несчастный огуречик дитенка так истязуете! А кто же из нас яблоков не крал?

— Я не крал, — Прохор говорит. — У нас ведь цитрус — огурец. А кроме того, я не первого таким макарон воспитываю... Люди потом получают.

У Невидимки дома скандал. Мать к отцу приступает:

— Говорила тебе — надо его в пионерские лагеря отправить!

— В награду за второгодничество?.. — бухтит отец.

— Он голенастый у нас, он малокровный у нас... На днях футболом в нос попало — кровинки не высеклось...

— Ценный, значит, нос, — повеселел механик. — А что голенастый, говоришь, — статья у них, тринадцатилетних, такая. Самые журавлики... Работать его надо, чертенка, заставить! На прополку его!..

А вечером к ним зашел Дымок.

— На однолетках сейчас нехорошо ему быть, — говорит. — Просмешки пойдут, да и самому пареньку совестно... Давайте его мне.

Стал Невидимка у Дымка подсобником. Заберутся вдвоем в дом, и вся тут бригада.

Вот Антоново начальство и затревожилось. С одной стороны, по Антошкиным словам, неизвестно, какой масти «трясун», а с другой — молодая душа на ущербе. Что может получиться? Нехорошо может...

А Антон знай нагнетает:

— Таких сам Емельян Ярославский от суеверства не отречет.

Походит, походит и опять:

— Копыта откину, а разоблачу! С катушек собьюсь!

Ну и, конечно, упоминает, что на три метра в землю видит.

А заведующий отделом культуры — Помпей Помпейч

он имя-отчество носил — такая перина по комплекции был: на один вздох две лошадиные силы тратил. Вот ему, значит, до некоторой степени и приятно, что кадры у него такие... Ну, настырные, зоркие, юркие. «Он, может, от своей живости и беседу запорол,— думает.— Потом опыта нет,— размышляет.— А парень — колобок! Живчик парень!»

— Ладно,— говорит,— наблюдай там пока... А вскорости я сам подъеду.

В уборочную и подъехал. Уполномоченным от района к нам был назначен. Ну, совхоз большой, обязательства взяты высокие, директив много, а тут еще погода гадит — он даже похудел несколько. Впрочем, чтобы нашего директора, извечного хлебороба, заставить семенное зерно сдавать — тут, я думаю, не один Помпей похудел. Дар речи все-таки надо было иметь... Получилось как? Квитанции от Заготзерно авансом взяли, а в бункерах пусто. Была одно время такая система. Только когда приказал наш Петро Васильевич, со всякими матерками, семенные амбары выгружать, тогда только вспомнил Помпей про свои прямые обязанности: «Посмотреть, однако, что за старик».

Ну, поздоровался. Недокладенную печь пошлепал. Про свод, под, дымоход кое-что разведаль, обогревательными оборотами поинтересовался. А когда этот разговор иссяк, спрашивает:

— Вы, папаша, как пожилой человек, не смогли бы пояснить...

— Что изволите? — отозвался Дымок со стремянки.

— Непонятное мне место есть в Библии, в самых заповедях... «Не убий», «Не укради» — это ясно. Это даже в уголовном кодексе подчеркнуто... А вот как понимать «Не вари козленка в молоке его матери» — ума не дам.

— Не вари, значит, козленка... — задумался Дымок. — В материнном молоке, значит... Хм... чего ж тут мудрого... У козлухи-то сколь чаще всего козлят нарождается?

— Два или три бывает... — предположил Помпей.

— Ну-й вот... Тут всякому Авелю ясно... Если я выдою козлуху и сварю в еёном молоке козленка, то второй козленок не сосамши останется. Верещать будет...

— Не-е-ет... — протянул Помпей. — Тут другой смысл должен быть... глубокий какой-нибудь, в другом надо зерно искать.

У Дымка и стремянка скрипнула:

— Зерно, говорите? Можно и к зерну применить... Семенное вот сдаем... Ведь это же истинным образом козленка в молоке его матери кипятят! То же... в уголовный бы кодекс...

— Это как же понимать? — колыхнул грудью Помпей.

— Землю примем за мать, за козлуху, значит... Семенное зерно — это молоко. Директор наш — козленок...

Тут он не то что позапутался, а Помпей его обезьязычил.

— Вы, может, и повара назовете? — с загадом спрашивает.

«Болтаю, — мелькнуло у Дымка. — А чего знаю, болтаю... Может, сорта меняют. Может... да мало где меня не спросили».

Ну и — воды в рот.

Помпей, однако, на ус себе:

«Вон ты как трактуешь?.. Действительно — специя!»

С тем и уехал.

Остался Дымок при собственной трубке. Сосет ее до свисту, молоточком по кирпичам постукивает. Постукивает, потесывает их, бессловесные себе песенки под нос мурлычет. Антошка прислушивается другой раз: «Псалмы — не псалмы, лявониha — не лявониha. Пожалуй, псалмы. Потому что — без слов. Замаскированным образом. Так, так...» А тут еще, как на притчу, после Невидимки подсобника Дымку немного дали. Поговорить бы Антошке, а как? На пальцах-то про бога поди-ка размаячь.

Подошло опять лето. Невидимке — каникулы... Снова он к Дымку. Сам пришел, попросился. Матвейчу, конечно, приятно это. Стал он по-настоящему паренька к мастерству приучать. Даст ему урок и наблюдает. Видит, ладно дело подвигается; кирпичиков поднесет мастеру, глинки замесит. Не отвлекает. Так они обороты прошли, два свода парнишка своими руками поставил, к другому приглядывается. Чуть минутка посвободней — чертежки себе для памяти чертит. Затронуло парня. Не торопится с себя глину отмывать.

— А что, Бориска... — завел как-то Матвейч. — Почему это печи другой раз очагами называют?

Парнишка задумался.

— Вот еще говорят; защитим родные очаги. Умрем за них...

— Это, наверное, в стихах так да в песнях, — задога-

дывался Бориска.— Ну да... Неудобно же запеть: умрем за родную печку. Смешно получится.

— Действительно — неудобно... — согласился Дымок.— Ну, тогда вот так скажем... Вот стоит дом,— повел он вокруг себя рукой.— Проконопачен он, покрыт, оштукатурен, застеклен, пусть даже будет побелен и покрашен — печи только нет. Дом это? — прищурился старый.— Нет, скажу я тебе, не дом. Сарай покуда... гараж, склад! Разоставь ты в нем красивую всякую мебель — зеркала там, диваны, шторы повесь, ковры постели, цветами убери, музыку даже включи — все тебе удовольствия, кроме тепла. Что получится? Неуют. Дикая красота получится. Ко всему этому печи именно и не хватает. Мы души с тобой в дома вставляем. Веселые, добрые души... Семейные такие солнышки! Вставим, а потом человек всю жизнь вокруг него свою орбиту и водит.

Бориска губешками дрогнул.

— Не так, думаешь, сказал? — дернул усом Матвей.— А ты погоди... Купали тебя маленького где?

— В ванне, наверно... В жестяной.

— Правильно. В ванне. И обязательно, заметь, поближе к печке ее придвигали. Тебя чтоб, поросенка, не застудить. А кашку где варили?

— Кашку на керогазе можно...

— Х-хе, хлопчик!.. Керогаз-то, он чуток тебя постарше. А тысячи лет до него за все печь отвечала. И за баню, и за квас, и за Бородинское поле. Да и сейчас... Три раза за стол садишься — с кого спрос? С нее. Озябнул, измокнул — где грудку, спинку погреть, где одежонку просушить? Откуда угольков взять штанцы погладить? Даже пустяк — ус побрить-поголить, и то горяченькой водички надо. Это не говоря про каждодневное ее тепло. Оно незаметное нам, а в лихой час... Ой, парень! Почему солдату, когда он на боевом поле лежит, неотступно печка грезится?.. Запеть неудобно... А только в нашем краю люди свои пепелища по печам определяли. У кого петушками была раскрашена — по петушкам, у кого цветиками — по цветикам, у кого ничем не раскрашена — все равно свою печь узнавал. Падал с нее, от тяткиного хлыстика на ней хоронился, дедовы сказки слушал, ягняток обсушивал, тысячу, может, коржиков из нее съел. Каждая царапинка... Главную-то присягу, Боренька, человек возле родной печки принимает. Здесь

его родина начинается, отсюда!.. А ты говоришь, запеть неудобно...

Вот так, где прямиком, где обходами, а подведет парня. Укажет ему звездочку на ремесле. А это великое дело — звездочку увидеть. И в мраморе, и в глине. Кротовья без нее жизнь.

Парнишке и засияло. Две смены готов передник не снимать. И все сам до всего дорывается, сам, своими мозольками надо. И хорошие эти Матвеевы слова напеваются: «...Души в дома. Семейные солнышки...» А тут еще со штукатуром у Дымка схватка произошла — вовсе...

Случилось как-то в одном доме, что и штукатурили его тем же часом, и печи ставили. Народишку густо... В таком разе без перекура редко случается. И вот разлакомился один штукатур веселые истории про печниковское сословье рассказывать. С очернением авторитета все. Ну, там, как печник фуражку у генерала напрокат брал. Не Бориске бы, верно, и слушать, да куда ты его подеваешь. А штукатур завернет и похохатывает.

— Было такое дело, было... — подтверждает Дымок и тоже посмеивается.

Штукатур еще.

— И это было! — не отрицает Дымок.

Штукатур все поскребышки на кон.

— И это было. Даже то было, что печник после вора первым человеком на земле числился.

— Как это? — осклабился штукатур.

— Прометей... слышали такого? — наострил на них бородку Дымок.

— Это — который к скале прикован, орлы терзают?..

— Который огонь у богов украл, — загадывались.

— Именно! — подтвердил Дымок. — Украл да людям дал. Именно после этого вора Прометей и есть первый человек на земле — печник!

Сказал так и замолчал. Раскушайте, мол. Потом нацелился чубуком в штукатура, с расстановочкой по словечку продолжил:

— И если бы тогда на Прометей уголовное дело возвели — сидеть бы и печнику с ним на одной скамейке...

— А его-то за что? — свел брови штукатур. — Печника-то с какого боку-припеку?

У Дымка и петушки в голосе заиграли:

— За су-у-ча-сти-е! За укрывательство краденого

имущества-а! Огонь-то... в печь-то его, под заслонку его кто?.. Вот оно, парень, откуда наша родословная берется.

У штукатура неясность образовалась:

— А как же тогда... хы... Добры соучастники!.. Одно-го к скале приковали, орлы ему сердце рвут, а другой четвертинки... Как же печник-то ускользнул?

— А он глиной вымазался...— дробненько захохотал Дымок,— глиной, говорю, вымазался—боги его и не узнали.

— Силен ты, дядя, загигать, я посмотрю,— сплюнул цигарку штукатур.— Глиной...

— Да. Глиной...— смаковал Дымок.— Глиной! А тебя хоть самой алебастрой обделай, хоть по самую маковку размалюй— все равно ни с какого боку к Прометею не приживишь.

Засопел штукатур, задосадовал.

— Без нас с Прометеем ты бы снова шерстью оброс,— окончательно доконал его Дымок.

Тем оно, мастерство, и славно, тем и высится, что верует всякий мастер: сгинь оно, изведись— и труби труба архангелова. Ведь это не сию минуту придумано— про шерсть-то! Почему я бывалых мастеров с «ванька-встаньками» всегда и сравниваю. С какого ты боку ни сшиби, как ни переверни— он встанет. Само мастерство его торчмя держит. Вот и штукатур... Поработает с Дымково— тоже себе своего Прометея заведет. Он уж и сейчас... расговором бьет, гладилкой трет, а сам себе в «соучастники» красивого бога ищет.

Бориска лукавым лисенком на него поглядывает.

Матвеч, ровно сытый кот, мурчит.

Горит на мастерстве звездочка, лучики испускает.

А в Помпеевом отделе между тем про Дымка не забыли. Приехал в наш райцентр лектор из области. Попутно со своей работой сильно он интересовался всякими сектами, «старцами», бродячими игумнами и при всякой возможности в беседы с ними вступал. Изучаю, говорит, арсенал противника. Ну и к нашим обратился. У вас, мол, братцы, нет ли где «лизнуть»?

— Есть!— вспомнили «братцы» про Дымка.

— У всех на виду лекцию покинул, старух увел,— Антон подчеркивает.

— Библейскую ерундистику к сегодняшнему дню прииначивает,— свел губы в рюмочку Помпей.

— Парнишку охмурил — второе лето от него ни на шаг...

— Ядовитые, ехидные вопросы задавал, псалмы поет.
— Там лизнешь — язык спекчи можно!

Ну, без дальнейших разговоров поместились все втроем в машину и — айда к нам в совхоз. Антошка расспросил строителей, в котором доме печные работы ведутся. Заходят.

Бориска с алюминиевым квадратиком как раз возится. Табличка по технике безопасности. Краску с нее кирпичом сдирает.

Их, этих табличек, две тысячи штук одна добродушная артель нашему совхозу выслала. За деньги, конечно. Чистой выплавки алюминий! Хоть тарелки из него формуй, хоть самолеты строй. И оттрафаречена на них всякая предосторожность. «Имей защитные очки», «Подбирай волосья...», «Не стой в кузове...», «Не заглатывай бензин...», «Не спи на ходу...», даже «Не при на рожон» одна попалась. Шутники-то, видно, артелями жить стали. Ну, штук шестьсот их, где только можно было развесить, развесили. Приколотили. А остальные куда?..

Поздоровались вошедшие с Бориской. «А где главный мастер?» — спрашивают.

— Болеет, — отвечает Бориска. — Просквозило на чердаке и, пожалуйста, — воспаление легких. Я без него вторую печку уж докладываю.

— Сам? Один?! — удивился Помпей.

— Один, — проглотил слюнки Бориска.

— А это для чего? — потянулся к алюминьке Антошка. Бориска ее за спину.

Антон руки в дело, пошучивает, похохатывает... Ну и заполучил.

На алюминьке — письмена... Ножичком выбраны, кончиком или уголком стамески. Как вот на фронтовых портсигарах звезды выбирали, сердца, танки, надписи всякие. Тоже алюминий в дело шел. Простреленные котелки, кружки... Сдвинулись приезжие голова к голове — читают: «Печь № 2. Поставлена Курочкиным Борисом Владимировичем. Целина». Пониже — число, месяц, год проставлены, подпись мастера выведена и еще пять слов: «Учился у Тилигузова Ефрема Матвеевича».

— Это ты для чего? — заинтересовало лектора.

— Выюшки, что ли, такие вставляете? — поторопился догадаться Антошка.

— Зачем вьюшки...— покосился на него Бориска.— Ефрем Матвееч в кладку их замуровывает.

— В кладку? А зачем? — по возможности ласковой — не отпугнуть бы парнишку — спрашивает лектор.

— Печи-то не век стоять будут... Ну и найдут будущие люди, прочитают... известно станет.

— Что известно станет?

— Вот жил, скажут, на заре коммунизма печник Ефрем Матвееч Тилигузов... Целину тогда поднимали для изобилия... Хорошие печи ложил людям. Помянем же его, товарищи, добрым словом из нашего светлого века. Он и для нас, старичок, потрудился, вложил свой кирпичик.

— Это кто же так задумывает? Ты?

— Я только вторую, — потупился Бориска. — А Ефрем Матвееч... Он без вести в войну пропал... извещение у него... Не хочу, говорит, больше без вести пропавшим быть...

— Ну, а ты свои для чего замуровываешь? — не отступал от Бориски лектор. — Ты ведь сам будущий «людь». Сам до этого века доживешь.

— Теперь-то доживу, наверно, — улыбнулся Бориска. — А вообще-то я в капкан уже попадался, с обоих стволов хотели...

И захохотал. Как взрослый, над бывшей своей ребячьей проказой захохотал. А от ответа уклонился.

— Матвееч так делает, и я — по его.

Антошка видит — дело табак, решил быка за рога брать.

— А расскажи-ка, чего это он про Адама все тебе трактует. Ну-ка... Я ведь на три метра в землю вижу! — предупредил он Бориску.

— Это не мне... — гыкнул Бориска. — Это он с печами разговаривает. Как новую печь растоплять, так и про Адама.

— А чего... чего он про Адама? — сшевелился Помпей.

— Ну... знаете, что бог Адама из глины слепил? — спрашивает Бориска.

— Ну, ну... — прикивнул Помпей.

— А потом душу в него вдувал?..

— Ага... вдувал, — подтвердил Антошка.

— Ну и вот, как печь растоплять, так у него приска-зулька.

Бориска подошел к челу печи, присугорбился, слова мятые у него получаются, жеванные, как будто он трубку во рту держит. Сует алюминьку в печь вместо полена и приговаривает:

— Бог из глины, и мы не без глины... Бог душу, и мы душу... Вот тебе березовой чурочки! Вот тебе сосновой стружечки! А вот тебе и серничка. Дыши, милая, дыши, протягивай!.. Как с живыми разговаривает! — выпрямился Бориска.

— А ты — талант! — восхитился Антон. — В самодеятельность тебе надо...

— Ефрем Матвееч меня «обезьяном» зовет.

Делать больше было нечего. Лектор развернул блокнотик, Борискину запись стал заносить, а наши к машине не направились. Помпей во все тяжкие вздыхает, а Антошка хорохорится:

— На три метра...

— Прекра... Прекратишь ты, концы-го в концах, свои метры? — задохнулся Помпей. — Во что ты меня перед человеком вбикал? — шепотом спрашивает.

Антошка — полководца на выручку:

— Метры не мои, — шепчет. — Так Суворов солдату определял видеть...

— Суво-о-оров, Суво-о-оров!.. — перекосячил Помпей. — Вам с Суворовым что? Холостяки оба... выдумываеге! А тут — семь душ, теща и разрыв сердца на носу. Геологи, такую вашу...

Ну и обругал обоих по совокупности.

Потом лектор подошел. Карандашиком до пуговицы на Антошкиной гимнастерке дотронулся и говорит:

— Когда, молодой человек, с народом работаете, поменьше надо в землю глядеть. На людей надо глядеть...

— Зенитчик я! — вялым голосом отбрыхнулся Антошка.

«Пальцем в небо ты зенитчик!» — чуть не вырвалось у Помпея. На ходу уж язык закусил... Вспомнил, что в одном расчете они сейчас, — молчком в машину полез.

А Бориска... Бориска через несколько дней в школу пошел. И вот сидит как-то под вечер на уроке, смотрит в окно: легонькие такие дымки из труб потянулись. Стручками вначале, маревцем... Потом погуще охачочки выметывать стало. Вскочил он за партой и к окошку тянется.

— Ты чего, Курочкин? — учитель спрашивает.

— Там печи... Печи мои затопили! Разрешите, сбегать!..

— Конечно,— говорит учитель,— сбегай. Беги, Боря. Только двери по школе заговорили.

Стоит перед домом — головенка задрана, локотки на взлете, в глазах синё. Губешки играют — и улыбнуться-то их разводит, и степенство надо соблюсти, закусываются. В окнах народ. Бабушка Максимовна присядку там какую-то устраивает, руками взмахивает, кричит.

А дымки играют, свиваются, гривами разметываются...

Богатый человек Бориска... На два дымка богаче других! И счастливый! Это для него, «голенастого журавлика», людскими улыбками окна нового дома сегодня расцвели: «Взлети, Невидимушко! Обогрей в своих дымках крылышки!»

А из другого окна, из больничного, глядит на них, на дымки, старый мастер и незванные две слезинки в ресницах таит, прихоранивает:

— Нянюшка! Запалили бы вы мне трубочку?

— Трубочку нельзя!

— Запалите, нянечка...

— Строго-настрога врач запретил!

— Запалите... Две задышечки... Счастливый я сегодня... Дымки мои по Сибири...

...Вот я и раздумываю: «Дымки... Дымки.. Не на сберкнижку их, не под замок, не в карман, не в мешок... Да чего там! — в горсти подержать нечего, а у одного крылышки-то, локотки на взлете, у другого — серебрянка слезы на усах. Драгоценное оно, это счастье, которое без волкодава на белом свете живет. Трудовое! Мозольное! На весь народ поделенное и себе с избытком».

Ну и еще про Антошку.

Заходил он к Матвенчу на квартиру — божка определить. К какому виду святых его отнести. Пригляделся когда — что за дивушко?! У «божка» партизанская красная лента нанскось папаху обозначена, и громадную с крышкой трубку «святой старец» сосет. Щурится он на известного нам зенитчика, и трепетно тому: а ну как вынет сейчас трубку изо рта и спросит ехидным голосом: «А вы, молодой человек, лично Библию читали?»

Колодцы роет сейчас наш «геолог». До двадцати восьми метров дошел, а воды все нет. Там он в висячей

бадье на дне этой скважины и задумался: «Как дальше жить буду? По суворовским, значит, присловьям или заочником куда устраиваться?»

1964 г.

СТОИТ МЕЖ ЛЕСОВ ДЕРЕВЕНЬКА

Летописцем Илью Стратоныча недавно прозвали.

По выходе на пенсию задумал он историю родной своей деревни написать. Сорок лет бессменным сельсоветским секретарем отбыл — всякое событие на памяти, всякий житель перед ним, как на блюдечке, — кому же, если не ему, этим делом заняться? Завел себе дюжину клеенчатых тетрадей, авторучкой вооружился, очки сменил, ну а прозвище «Летописец» народ ему сочинил.

И скажите пожалуйста!.. Самое безвредное занятие себе старичок придумал, самую неответственную штатную должность избрал: ни штрафа, ни взыскания от него, а на людей между тем сдействовало. Затревожились. Заподумывали. «А под каким видом-образом я в эту самую Стратонычеву летопись угадаю? А вдруг перед потомками и перед грядущими поколениями оконфузит?» С этой мыслью на свою жизнь заглядывались, свои поступки-проступки применительно к летописи соизмерять начали.

Одна мудрейшая механизаторская женка, по прозвищу Оксютка-барыня, дабы не ехать на сенокос, ногу сама себе гипсом вымазала. Кость, дескать, треснула. Ясное дело — разоблачили... Три раза к Стратонычу прибегала.

— Ты не пиши! — шепчет. — Вычеркни! — шепчет. — Я тебя, селезня белого, по смертный твой час мягким калачиком и яишней с салом кормить буду.

Всячески улещала. А только без воздействия.

— Зря, дева, порох тратишь, — Стратоныч ей отвечает. — Что я действительно белый, это ты правильно подметила... А что история за яишню не продается — недоучла. Хоть жемчугами теперь корми селезня!.. Ни за птичье молоко!

Оксютке вычеркнуться надо было, а киномеханику Захарке Бадрызову наоборот — вписаться. Этот, будучи

навеселе, тешины иконы порубил и печку ими растопил. Теща в суд подала. За оскорбленные верующие чувства и стоимость двенадцати апостолов с Захарки взыскивала. Вот он и трактует Стратонычу:

— Ежель мне срок присудят, так и запиши: «А был он, Захарка Бадрызлов, воинственный безбожник. И не мог он, Захарка, терпеть под одной крышей всякого разного опиуму. И не водка на него окончательно со влияла, а антирелигиозный, про папу римского, кинофильм. За что и под кодекс угадал...»

Каждому свое, как видите.

Спешит деревенской улицей Илья Летописец. Согнули годы старого.

Ноги хоть и проворят, а лысины обогнать не могут. На вершок, да впереди она. Как будто боднуть кого вознамерена. Загар по ней ржавыми пятнами лег. Вокруг белым оснеженьем сияют остатки кудрей. И весь он, Стратоныч, белый. И борода, и усы, и брови. У Маремьяновны на что глаза ослабли, а его издали примечает. Глядишь, и заторопилась навстречу:

— Ты, Илюшенька?

— Я, Маремьяновна.

— Вписал моих?

— Не дошел еще, Маремьяновна. Первые выборы описываю.

— Ты не забудь,—заторопилась Маремьяновна.— Старший—Степан был, за ним—Кирилл, дальше—Егорушка, Вася, Алеша.

Пять сынов, пять румяных груздочков, проводила на фронт Маремьяновна, и хоть бы один... Мнится ей, что вот впишет Стратоныч ее горьких солдат в свою летопись, и отнимется у праха-забвения какая-то сущая долька живого, не навсегда, не бесследно истребятся на земле ее Степа, Кирилл, Егорушка, Вася, Алеша. Хоть малой частицей воскреснут они из кругленьких буковок под дрожащим пером Летописца.

— Не забудешь, Стратоныч?

— Как можно, Маремьяновна! Допишусь до этой страницы—всех поименно назову. У самого двое там...

— У Егорушки зубы рано прорезались. За грудь кусал... Все до болятки, все до болятки... Запиши для памяти.

Стратоныч достает из-под ремешка желтую клеенчатую, с самодельным алфавитом, тетрадь, открывает ее

на букве «М» — Маремьяновна. «У Егорушки рано про-
резались зубы», — записывает.

— А Степа, баловник, пистону деду в трубку заложил. Взрыв у того под носом получился, — поспешает Маремьяновна.

И про «пистону» пометит Стратоныч.

Много исписалось у него тетрадей, много накопилось в них потешных и горестных, геройских и житейских деревенских былей, а конца летописи не предвидится. И не будет конца. Не вчерашней ли ночью вписал он на свежий листок тревожным бессоньем рожденные строчки: «Ребятче сердце в неправой обиде, что птичий подранок...»

Так у Стратоныча начинается быль о Савостыке Горошке.

Шел он, Савостыка Горошек, из школы домой. Не сказать, что веселый шел. Денек весенний, голубой да звонкий выдался, над пашнями маревца струят, скворцы кошек передразнивают, на дровосечных делянах сладкий березовый сок из каждой конурки цедится, а у него, у Савостыки, две двойки портфель отягчают.

Учительница опять рассердилась:

— Яровые принялся сеять?!

Осенние Савостыкины двойки она называет «озимыми». Все с подкусом да с подковыром!.. Эх, жизнь, жизнь третьеклассничья!

Домой Савостыке не к спеху. Не к спеху, не к радости. Он останавливается перед огромным тополем, раздумывает, вздыхает. От корней до вершины измеряет глазенками дерево.

«Великанище. А когда-то ведь тоже лозинкой был. Прутичком. Желтых гусят таким в табунок сшевеливать».

Тоненький гибкий прутчик был посажен в честь рождения Савостыкина деда. Также Савостыяна. Сейчас его так и зовут: «Савостыянов тополь». Впустил под него прадед в давние годы круговинку земли, нацелил тугой верхней почкой в апрельское солнышко — и расти тополе. Зеленая сказка сынку. Единственному. Долгожданному.

Сейчас этот бывший прутчик двум дядькам не обхватить. По чайному блюду листы выметывает. Пушить начнет — на полдеревни пороши наделает. И ложится от него на дорогу тень, как от черного, грозового облака.

Солнечный зайчик не прошмыгнет. Корни наподвид толстых удавов вокруг по земле расползлись, извиваются. Сила дерево! У всех на виду, всем вприметку. А в честь кого посажено, в чью память цветет, того давно уж в живых нет. Пал Савостькин дедушка смертью храбрых у стен Кенигсберга. Пал, когда Савостьки Горошка еще и на свете не было. Только по чужим рассказам знает он своего геройского, отважного, таинственного дедасолдата. Он-то, пожалуй, не дал бы сегодня Савостьку в обиду. Не причитал бы, как мать, разные жалостные слова, не разыскивал бы, как отчим, некую вещь, имя существительное которой — троехвостка. Усадил бы старый Савостьян малого к себе на колени, щекокнул бы боевой бородой его стриженую макушку, и запели бы они вдвоем какую-нибудь военную песню. Вот эту хоть:

Наши деды — brave победы,
Вот кто наши деды!

А потом шепнул бы ему дед скрадком на ухо некое курино-петушиное слово, и не стал бы Савостька носить в своем дневнике ни «яровых», ни «озимых». А что?! Старики, они много всякого разного волшебства знают. Да опять та же беда... Нет деда у Савостьки. Только тополь. Летней порой взберется Савостька проворным соболькой под его лепетливую крышу, где ярко-зелено буйствует густой, непроглядный лист, взберется Савостька под лепетливую крышу и затаится неведомым миру зверяткой. Укромна и обжита надежная развилка суков. Коль обидели крепко — горстку терпких слезинок на зеленую тополиную грудь прольет. Слово бы деду на гимнастерку... Не обижен — выдумывать, сочинять чего-нибудь примется. По тихой погоде рискнет иной раз на самую высь, на самую гибкую тополиную вершинку вскарабкаться.

«Не видать ли с нее Кенигсберга?»

Перелески да пашни, стога да стада, недалекие соседние деревеньки, затемненная сизая крепь лесов, а дальше, до самой окаемочки неба, ширь да простор — песенные журавлиные угодья.

Не видать Кенигсберга.

Спустится Савостька до заветной суковатой развилки, обовьет ствол худенькими исцарапанными руками и опять надолго-надолго затихнет. И слышит, причуивает его левое ухо, как от самых корней до вершины

пронизывает тополиную сердцевину неумолчный печальный гул.

«Соки ходят,— догадывается Савостьяка.— А может, не соки? Может, плачет, тоскует по-своему? Конечно, тоскует. Ведь они с дедушкой как братья-близнецы росли. Перед фронтом, сказывают, обнял его старый Савостьян. В письмах упоминал...»

И еще крепче прижимаются Савостьянины ребрышки к тусклой прозелени ствола.

Высоки тополя по Сибири растут. Через горы им видно. Через доли им слышно. И недремны их вещие зоркие очи. Тыщу дней и ночей да еще сотни дней и ночей неотступно глядели они на кровавый закат, где нещадно и смертно сражались сибирские грозные роты. Оседала одна пыль под их сапогами — вздымалась другая, иставала одна лыжня — проминалась другая. Из-под огня на огонь, из огня да в полымя, из полымя в пекло: «Командир! Где геенна?!» По бессмертью шагали, с легендами венчались, с былинами махоркой делились, с преданиями по сто граммов наркомовских пили.

И все дальше и дальше, туда, на кровавый закат.

«Ты прости, мать-Сибирь, что не кажем лица, что спиною к тебе тыщи суток стоим — недостойно бесстрашным твоим сыновьям даже малым мгновеньем глаза от врага отвести».

Скольких же, скольких их, беззаветных, упавших лицом на кровавый закат, не досчитались вы, тополиные вещие очи?

Не видать Кенигсберга.

«Дом твой, дедушка, мама на снос продала. Иструхлявел снизу. Двор теперь бурьяном да крапивой зарос. Журавель у колодца сломался... А у меня все двойки, все двойки. И силы почему-то мало. Всякому поддаюсь. Кому не лень, щиплют меня. За вихорок. «Горошек, дай горошку». А еще девкиным сыном зовут. Потому что у меня не отец, а отчим. Когда любит, когда нет. Я его никогда не люблю. Боюсь. А еще...»

Все свои обиды-горести поведает дедову тополю Савостьяка. И никнет белая неприласканная головка. В синих глазах дальняя-дальняя, совсем не ребячья думка. Даже любопытной, рядом присевшей пичужки не замечают они. Вот задрожали, сломались вдруг губы, и гасит тополиный шелест их горестный шепот:

— Дедушка, дедушка! Почему не дождался Савостьку? Вместе бы смертью храбрых пали...

Однажды по сумерочкам пригорюнился он вот так же, обнявши тополь, и не заметил, как подкралась к деревне гроза. Гулко и неожиданно рывкнул вольный гром. Поначалу Савостька от каждой внезапной, прострельно-огненной, яростной молнии сжимался в тугой обреченный комочек, жмурил до боли глаза, а когда приобвык — даже интересно стало, даже храбро и весело делалось.

И привиделась ему тут Кенигсбергская битва.

Стенами вражеской крепости стал высвеченный молниями Деньгин лес. Проголосные басовитые грома — тяжелой дальнобойной артиллерией. Молодые, суматошливые, дробные громочки — минометами, пулеметами, автоматами. Сами молнии — «катюшами». А теперь стоило только закрыть глаза — и вот он! Вот он! Савостькин дедушка.

«Вперед, сибирская рота!!» — покрывает грома, расстояния, года воскресший в грозе его голос.

Дед бежит по гремучему, жгучему полю, и с каждым шагом своим к Кенигсбергу высится, высится, вырастает. Вот уж вровень со стенами его борода, выше стен Кенигсберга его боевая пилотка.

«За мной, сибирская рота!!» — громогласно зовет он бесстрашных и верных товарищей. Бессчетно пуль пронзило дедову грудь, без числа снарядов и мин осколками дедово тело порвали — любой бы пал, но деду надо пасть смертью храбрых...

Рядом стены, а не дошагнуть до них облитому алой кровью Савостькиному деду.

«Храбрая?.. Храбрая?.. Ага!»

Дед снимает сапог и бросает его через стены: «Я не дошел — мой сапог дошел!»

Потом отрезает разведческой финкой половину своей бороды, наматывает ее на гранату и бросает гранату под стены: «Я не дошел — моя борода дошла!»

После этого пал.

И содрогнулась под ним вражья земля.

И рухнули стены Кенигсберга...

Да, да! Сапог бросал, бороду финкой обрезал... Так и рассказывает Савостька Горошек про храбрую, героическую смерть своего неведомого, таинственного деда-сол-

дата. Всем рассказывает. Даже Илье Стратонычу — Летописцу.

Погладит Стратоныч ему вихорок и приулыбнется чуть:

— Савостька, Савостька!.. Какой же ты, парень, выдумщик! Не было у твоего деда бороды. Двадцати семи лет на войну уходил. Медовый ус носил, сахарный зуб, беговый глаз... С молодыми девчонками на круг плясать выходил!

Только не убедить Савостьку. Никому не убедить.

— Была борода! Была!

Стратоныч задумчиво щурится:

— Будь по-твоему. Твой дед — не мой...

— Мой. И была у него борода, — оставит за собой последнее слово Савостька.

...Скворцы кошек передразнивают, над пашнями маревица струят, на дровосечных делянках сладкий березовый сок из каждой конурки цедится, стоит перед тополем солдатский внук Савостька с двумя «яровыми» двойками в дневнике. «Залезть или не залезать»? — востроношенько принюхивает он первую смолку, источаемую побуревшими блестящими почками.

Оглядевшись, Савостька замечает подвигающихся в его сторону Захарку Бадрызлова с бензопилой на плече и Володю Целинника с топором.

Должность киномеханика Захар оставил по собственному желанию.

— Не могу! — убеждал он общественность в тайной надежде на смягчение судебной ответственности за порубленных апостолов и оскорбленные тещины верующие чувства. — Не могу! Насмотрюсь антирелигиозных фильмов, а после ши мне мощами пахнут и на тещу злостный рефлекс. — Сам между тем, дабы утихомирить истицу, раздобыл где-то ей завалященького Георгия Победоносца и для лампадки — веретенного масла четушку.

Теперь Захарка работает на разных работах в совхозе. Вот и сейчас куда-то с бензопилой поспешает. Толстые улыбчивые губы, как всегда, приоткрыты. Сверкают из-под них три «благородных» зуба — золотой, стальной да серебряный. Румянеет первым загарцем провисший долу нос. Не фуражку носит Захарка, а малиновый берет. На мизинце — перстень с голубым, как гусиный глаз, камушком. Поравнявшись с Савостькой,

чего-то под нос посвистывая, сворачивает Захарка к тополю. За ним — Володя...

— Дяденьки! Вы зачем с топором... с пилой? — ознобило Савостьку.

— Тебя, узкоплечного, не спросили, — лениво отстраняет его с дороги Захарка.

Здрав голову, он поодаль обходит вокруг тополя.

— Куда его внаклон ведет?

Примерившись, командует Володе Целиннику:

— Подрубай с той стороны!

— Дяденьки, не надо! — заметался от одного к другому Савостька. — Это дедушкин! Он смертью храбрых пал...

— Вот и этот сейчас хряпнется, — запосмеивался Захарка. — Подрубай! — кивает он еще раз напарнику.

Володя Целинник медлит.

— Здесь, малый, на этом месте, — поясняет он Савостьке, — клуб наметили строить. Видишь, колышками размечено... Грунт вон из тех ямок на пробу брали.

— Не надо клуб! — заслонил тополь Савостька. — Это мой... Это дедушкин! — торопливо, испуганно бормотал он.

Захарка отшвырнул Савостьку. Затрещала пила, и вот уже сотни стальных безжалостных молниек бензопилы готовы со звериным рыком вгрызться в податливую сладкую мякоть тополя. Вскочивший с земли Савостька кинул под зубья портфель. Взметнулись вспоротые лоскуты клеенки, вспорхнули странички «Родной речи», от корки до корки сжевало Савостькин дневник. И все это в миг, в птичий пописк. Во второй миг увидел оторопевший Захарка в двух шагах от себя обескровленное, в темных искрах веснушек лицо Савостьки. Только на тоненькой шее дрожала синяя жилка да под белесым зализом вихра лоснился в потном туманце лоб. Неподвижные большие глаза бесстрашно сближались с жаркой, гремучей россыпью солнечных зайчиков, искрометно сбегающих с яростных зубьев пилы.

— Обеспамятел, что ли?! — схватил его за острые локотки Володя Целинник.

— А пу... пусть не трогает! Пусть не трогает! — заизвивалось в Володиных руках судорожное тщедушное тельце.

Напуганный Захарка заглушил пилу, коршуном налетел на Савостьку, скрутил в шершавых разлапистых

пальцах парнишкины уши и, до хруста сдавляя хрящики, поволок его на дорогу.

— Рахитик несчастный! Ты чего?! Душа у тебя в самоволку ушла или вполкумполо работаешь — под самую пилу лезешь?

Боли Савостьяка не почувствовал. Он рвался к тополю. Рвался защитить свое маленькое счастье, приговоренное рухнуть, искорчеваться, осиротить и опустошить его и без того неласковую жизнь.

— Дяденька Захар! Миленький! Не пили... Это дедушка... дедушка мой!..

— Подрубай! Я попридержу! — заторопил Захарка напарника.

Володя, вяло размахнувшись, вогнал топор в землю и глухо проговорил:

— Не буду, Захарка...

— Чего?

— Не буду... У меня тоже дед...

— Чего — дед? — все крепче досадовал Захарка.

— Тоже... там... — махнул Володя рукой в сторону Кенигсберга.

Захарка затейливо выругался и решительным шагом двинулся к пиле. Савостьяка обогнал его. И снова тоненьким жертвенным одуванчиком вытянулся вдоль могучего ствола дерева.

— Ну, не буду. Не буду, — заотступал Захарка. — Мы утречком. На коровьем реву... — донес ветерок до Савостьяки утаенный Захаркин голос.

...Как известно, много позаписано в тетрадках Ильи Летописца веселых, грустных, геройских и саможителей деревенских былей. Если бы спросить его сегодня, почему и отчего так яро дорывался Захарка со своею бензопилой до Савостьянова тополя, ничего, пожалуй бы, не ответил Стратоныч. Надел бы очки, разыскал нужную тетрадь, развернул ее на алфавитной букве «Б» — Бадрызловы — и предложил бы: «Читайте!»

И вот что у него там записано:

«По деревенским преданиям, случай этот имел место произойти в середине примерно прошлого столетия. Некто зажиточный мужик Агафон Бадрызлов в один день и в один час поженит своих сыновей-близнецов Свиридона и Спиридона и, дав им родительское благословение, ушел в пустынь замаливать какие-то грехи.

Поначалу братья жили дружно. Дела у них по хо-

зайству спорились, жены подобрались работающие, скотинка велась, земля плодоносила... Все равно было — одно не равно. Прошло десять лет — вокруг Свиридона пятеро ребятишек щебечут-лепечут, а у Спиридона ни дочки, ни сына. И купил тогда Спиридон борзенького щенка. Детному Свиридону братова прихоть-причуда не поглянулась. Есть на подворье Полкан, есть Жучка — на кой ляд борзенький?

— Дармоеда завел,— не раз и не два выговаривал он бездетному Спиридону.

И вот одно время исчез борзенький щенок. Неделю разыскивал его Спиридон — исчез.

И началась между братьями ссора да грызня.

— Ты его невзлюбил, ты его погубитель! — резал в глаза Спиридон Свиридону.— Я твоих пятерых, наравне с тобой горб гну, кормлю, а ты мне щеночка не дозволяешь!

Жены подключились.

Такой шум-разлад пошел, хоть урядника зови.

И порешили близнецы делиться.

Скотину поделили, инвентарь, землю, постройки, урожай, домашнюю утварь, птицу, кошек, собак — все, кажись бы. Ан нет! Стояла у них в кладовке преогромнейшая, здоровенная кадка с квасом. Решили и квас поделить. Ковш Спиридону, ковш Свиридону... Ковш бездетному, ковш детному... Когда дочерпались до гущи — переглянулись братушки. Лежит на дне утопый борзенький щенок.

— Гы! — сказал детный Спиридон.

— Ге! — сказал бездетный Спиридон.

И загрохотали, засмеялись они, может, до слез, а может, до болей в пупках...»

Голого борзенького щеночка на соседнюю ограду подбросили. Глухонемому Евдокиму Горохову. Савостьке он каким-то прапрапрадедом доводится. С той поры и повадились близнецы озоровать. Сдохнет курица — через тын-забор ее к глухонемому. Околет поросенок — туда же. Гусенок — к нему же.

А что же глухонемой Савостькин прашур?

А вот почитаем, почитаем у Стратоныча.

«Евдоким Горохов, глухонемой, мелконький мужичонко был. В ссору с близнецами не ввязывался. Подберет дохлого подброшенного курчонка, закопает его на задах, и вся недолга. Сам же молчун меж тем гото-

вил близнецам премудрую каверзу. Одну весну, как только оттаяла земля, занялся он копать на огородных межах хрен. Ведер шесть корневищ заготовил. Мелко-мелко, длиной в наперсточек, порубил их и одной ночью рассеял по бадрызовскому огороду. Близнецы этот хрен запахали, заборонили. Ну, а овощ известная... Дай только за землю уцепиться, а там и в корешки и в вершки пойдет. И не выравить, не выполоть потом эту зловредную специю. С тех пор, с прошлого, сказать, века, в изобилии зарастает бадрызовский родовой огород непроходимым свиреным хреном. Люди по два раза картошку пропаляют — Бадрызовы по три да по четыре. В потомстве отомстил глухонемой Евдоким озорным близнецам. На века смех и горе заделал. И неистребима с тех пор неприязнь между бадрызовской и гороховской фамилиями, как неистребим хрен на Захаркином родовом огороде».

Понятно поэтому, с какой охотой и готовностью принял Захарка прорабское указание: спилить, искорчевать Савостьяна Горохова тополь. Хоть маленькая, да пакость. Хоть дереву, да отместка. Парнишка, жаль, помещал, ну да ничего. Утречком. На коровьем реву.

До позднего темного вечера просидел голодный Савостьяк на тополе. Продрог — плечишки, как у плясавитого цыганенка, сотрясаются, зубы «Камаринского» отстукивают, а все ждет, когда погаснет свет в Захаркином окне. Погас — он еще с полчаса просидел, чутко подслушивая реденькие скрипы калиток.

Мать спала. На столе под полотенцем Савостьяк нашел горбушку хлеба и полкринки молока. Наскоро, жадно поел. «Что делать, как отвести беду?» — обжигал и студил мятежную ребячью головку недоуменный, немилостивый вопрос. «Разбудить мать?.. Рассказать ей?.. Заругается, и все. Савостьяк знает. Неужели же нельзя на другом месте клуб? Грунт им понравился... Дед! Дед! Что же придумать, дед?!»

Далеки стены Кенигсберга. Сыра и нема земля. И безгласны цветы на могилах...

«Двустволку!» — выпрямила Савостьяку отчаянная, пугающая мысль. Отчим давал ему выстрелить... Знает, как переламывается, как патроны... как взводится... Чуть дыша, он прокрался к стене, снял ружье, вынул из патронташа две увесистые гильзы и на цыпочках отступил к печке. Нашарил на теплой печке дырявые свои

валенки, надел телогрейку, неслышно выбрался в темноту.

Спит деревенька под звездами. Гладит мальчонка похолодевшие стволы.

«А как я ее на тополь подниму? Не залезть ведь...»

Вернулся во двор. Отвязал и засунул в карман телогрейки бельевой шнур. Возле тополя присел. Расковырял ржавым гвоздем дробовой пыж, ссыпал в ладоньку дробь, разметнул ее. Второй патрон остался заряженным.

На зоревом журавлином рассвете скрипнула бадрызовская калитка и заспанный Захарка с бензопилой на плече направился к тополю.

Савостьку затрясло.

— Дядя Захар! Не подходи! Я стрелять буду!

Захарка обопнул, остановился, долго выскивая слившуюся с серой корой тополя Савостькину фигурку.

«Из чего ему стрелять? — прикинул он в следующую минуту. — Кто ему ружье доверит? Страшает еще! От настырная порода!»

— Слазь! — зашагал смело к дереву. — Слазь, не то вместе с тополем загудишь!..

— Не подходи!!! — зарыдал, заколотился на суках Савостька.

Захарка не остановился.

Деревеньку разбудил выстрел.

Сбежался народ.

Осмелевший, но все еще бледный Захарка, потрясая бензопилой, указывал на Савостьку:

— Одиннадцатый год, а он — пожалуйста! Под уголовный кодекс лезет. Убийством занимается! Ей-бо, мимо уха картечь мявкнула...

— Обманываешь, дядя Захар! — тихоньким прерывающимся голоском отозвался с тополя Савостька. — Я порохом стрелял. Если бы ты не остановился — тогда...

— Слышали! — завертелся Захарка. — Видали, какой жиган растет? Что я, по своему личному желанью-сердцу твой тополь пилить собрался? Прораб велел. Архитектором предусмотрено...

— А я и прораба... И архитектора, — снова заплакал Савостька.

Отделилась от толпы горькая вдова Маремьяновна. Раскинув руки, неверными шагами двинулась к тополю.

— Детьнька ты наша храбрая, — заголосила ста-

рая.— Никто не трог его! — развернулась она к народу.— Никто! Он дедушкину память обороняет!

Рядом с Маремьяновной встала Савостькина учительница. Шагнул к ним Илья Летописец.

И зароптала, загнувалась деревенька.

Вырвали вдовы у Захарки бензопилу, сорвали с головы малиновый берет, били Захарку вдовы.

— Вы же видите, видите? — оборонялся дюжий Захарка.— Колышки видите?! Клуб на этом месте будет!

— Не будет здесь клуба! — властно выкрикнула Маремьяновна.— Другой пяди земли не нашли?!

Вытирал рукавом телогрейки похолодевшие слезинки Савостька.

«Ребятче сердце в неправой обиде что птичий подранок... — впишет потом в свою тетрадку Илья Стратонич.— Отчаянным становится оно, отважным, неустрашимым. Отвага та чистая, безгрешная, неподкупная... Вспыхнет ею сердечко и так воссияет враз, так озарит окрест, что много других, все изживших, изведавших, до неожиданной и тайной слезы обожжет...»

— Слазь, Савосюшка, слазь, голубок! — звала деревенька солдатского внука.

Приняли двустволку, бережно подхватили мальчонку, и поплыл он, поплыл, не коснувшись земли, на горячих людских руках. От вдовы ко вдове, от вечной невесты к невесте, под седые бороды, на хриплые груди солдатских отцов, на жесткие протезы сельчан-инвалидов, в крепкие порывистые объятия учительницы.

«Народ мой,— запишет потом в тетрадку Стратонич,— не исцвела твоя память, не изболела боль, не исплаканы слезы о грозных сибирских ротах. Слышишь, слышишь братских могил голоса: «Ты прости, отчий дом, отчий край, отчие звезды и солнышко... Ты прости, мать-Сибирь, что не кажем лица. Не летают от нас самолеты и не ходят от нас поезда».

Удивительное дело, но никто за последнюю неделю не дернул Савостьку за чубчик, не попросил «горошку». Ребятня стайкою вокруг него обитается. Вот и сейчас. Сидит Савостька под тополем, строгаёт тросточку, а с ним рядом: Колька Третьяков, Васька Петелин, Женька Суковых — да много.

— Савось! — подтолкнул локтем его Женька.

— Чего? — отозвался Горошек.

— У тебя дед му-у-у-удрый был...
— Почему — мудрый?
— Тополь тебе оставил...
— А мой ничего не оставил,— вздохнул Колька Третьяков.— Не знал, что на мину наступит.
Замолчали ребяташки.
Через минуту опять Женька.
— Савось! Я посажу своему деду тополек рядом с твоим?

Савостька перестал строгать. Просияли веснушки.
— Это ты мудрый! Конечно, посадим! Ведь они в одной роте были.
— А я, Савось? — поддернул штанишки Колька Третьяков.
— И ты... Все садите! Пусть у нас тут будет дедушкина роща.

Разбежалась ватажка по дворам за лопатами. Полетели с Савостьянова тополя черенки с тугими клейкими почками.

На шум-гам да галдеж подвернул сюда вездесущий Стратоныч.

— Это что за воскресник, ребяташки?
— Мы... дедушкину рощу! — доложил-выпалил ему чумазый счастливый Савостька.
— Тогда вот что... — облизнул белый ус Стратоныч.— Тогда вот как... порядочком надо. По шнуру. Пусть, как в строю, стоят ваши дедушки.

И опять забелели вокруг Савостьянова тополя колышки. А к вечеру на место их ровненькими шеренгами выстроились тополиные черенки.

Наутро Савостьку подняла Маремьяновна:

— Срежь мне пять черенков, Савосюшка.

Ладят Колька, да Васька, да Женька помочь Маремьяновне ямки вспушить.

— Я сама, я сама, голубятки... Последняя моя баюшка.

Набежали с подмогой к Стратонычу — тоже всех отстранил.

— Сам, сам осилю.

Назвались Аграфене Кондратьевне, Савостькиной учительнице, и эта «сама».

— Дедушка Илья,— зашептал Савостька Стратонычу,— кому она сажает?

Стратоныч тоже вполголоса:

— Ее тогда Груней звали... Связала она одному пареньку перчатки... Ему и сажает. До самого Берлина чуток только не дошел.

Третий день режет черенки Савостька Горошек. Дедам, мужьям, братьям, отцам, сынам, женихам зеленую память творит деревенька. Пришел и Захарка. Помялся — сообщает Стратонычу:

— У меня ведь тоже дед был. Тоже под Великими Луками...

— Обращайся к Савостьке, — указал костыликом Летописец. — Он комендант...

— Обидел я его, — вздохнул Захарка.

— У них сердечки чуткие, праведные, — кивнул опять на ребят Летописец.

Выслушали ребятишки Захарку — порешили солдатские внуки:

— Дед не виноват. Да! Дед не виноват.

...Стоит меж лесов деревенька, зеленеет в ней роша героев. Сегодня стар и млад огораживает ее штакетником. Одной Маремьяновны нету. Зато голос слышен. Она привязала и шлепает по лукавым губам свою единственную животину — козу Машку:

— На святынь? На святынь покусилась, фашиска!

Илья Стратоныч развернул тетрадку и аккуратной стопочкой складывает в нее трешки, пятерки, червонцы. Это деньги на камень сносит народ. Скоро поедет Савостька со Стратонычем на Урал. Подойдут к горам, поклонятся низко и скажут:

«Урал-батюшка! Ровная у нас земля. Далеко окрест нет на ней ни галечки, ни плитнячка. Дай нам, Урал, камня. Камня белого, крепкого, вечного».

Даст Урал камня, и пойдут Савостька со Стратонычем к Старому Мастеру: «Мастер, Мастер! Дал нам Урал камня. Камня белого, крепкого, вечного. Выбей, высеки, Мастер, на нем имена:

Савостьян Горохов — под Кенигсбергом.

Маремьяновнин Степан — под Варшавой.

Егорушка — в Сталинграде.

Кирилл — на безымянной высоте.

Алеша и Вася — в танке сгорели.

Захаркин дед — под Великими Луками.

Кому Аграфена Кондратьевна, Груня, перчатки связала — под Берлином.

Всех обозначь на вечном камне, Мастер. Никого не забудь».

Привезут Савостька со Стратонычем камень в родную деревню, в дедушкину рощу, и на вечную переключку с людскими сердцами и памятью встанет грозная сибирская рота.

...Стоит меж лесов деревенька.

Спит деревенька под звездами.

На петушиной зорьке приходит к Савостькиному изголовью кенигсбергский дед. Огнем, дымом и порохом от него пахнет. Видит Савостька каску, может потрогать автомат, вдыхает запах последней грозы от мокрой плащ-палатки, но только лица... не кажет дед лица.

И бормочет в раскиданной дреме солдатский внук:

«Дедо! Была у тебя борода? Стратоныч в летопись безбородым тебя записал...»

1966 г.

О ЧЕМ ШЕПТАЛ ОЛЕНЕНОК

Детинка с сединой везде пригодится... В Крыму гостил — яблони окапывал, за Байкалом — внучонка доглядывал, а в Заполярье... впрочем, здесь сказ не на час.

Заболела в школе-интернате ночная няня. А на Севере с кадрами дело известное. Недостает народу. Пришлось учителям ночами дежурить. Не оставишь же ребятшек безнадзорными. Один вечер, гляжу, и мой собирается — сам директор школы... Ну, гость, гость я у него, а надо же и гостю совесть чувствовать.

— Ложись-ка, — говорю, — Владимир, да спи. И так ни дня, ни ночи. И учителей своих больше не тревожь. Пока живу — подежурю.

— Ладно ли будет?.. — замылся сын. — Женская должность... Да и тебе доука. Неудобно.

— Все ладно, все удобно, — твержу. — На рогожке сидючи, о соболях не рассуждают.

Стал он меня инструктировать. Ребятишки, поясняет, в интернате разноплеменные. В основном ненцы, а там дальше и ханты есть, и манси, и селькупы, и коми, и татарчата. Есть и первогодки. Только-только из тундры. За этими особо доглядывать наказал.

И вот в первый же вечер обзавелся я на старости

лет новым прозвищем. Набегает на меня один оголец и при всей ребячьей массе спрашивает:

— Дедушка Нянь! А вас как зовут?

— Алексей,— говорю,— Елисеевич.

Дудки брат! Не прижился «Алексей Елисеевич». Глаза свои черные узкие шурят на меня, бесенята, и со всех сторон зудят:

— Дедушка Нянь, который час?

— Дедушка Нянь, в окошко глянь!

Постарше возрастом на розыгрыш меня берут, а нулевички, которые по первому году русский язык изучают,— эти от чистосердечности:

— Дедуска Нянь, ты зубы цистись?

Ну, я смирился. Пусть Нянь буду. Лишь бы порядок велся.

А порядок какой?.. Вспетушатся — разнять, пристрожить. Вовремя спать уложить. В умывальники воды налить. А в самое ночное время и сторож я, и доктор, и пожарник... ну и побудить еще некоторых обязан, дабы не «нарыбачили».

Заприметился мне в первый же вечер ненецкий парнишка один из нулевого класса. Петя Поронгуй звать. В умывальнике холодной водой на себя плескал, визжал при этом. Полведра воды извел, а глядельце свое на сон грядущий так и не удостоил сполоснуть. Черноголовый, черноглазый, зубки, как у песка, востренькие, бсленькие, нос в пуговку сплюснутый — словом, мальчонка весь в свою нацию. Я бы, может, с первого вечера его и не заметил, если бы той же ночью разговор у нас с ним не состоялся. Обходил я потихоньку спальни, и заскрипи вдруг дверь. Он как подхватится, как встрепешется! Глаза диковатые, удивленные и не на меня смотрят, а мимо да сквозь — вдаль куда-то.

— Чего ты соскочил? — спрашиваю.

— Ко мне... ко мне Тибу сейчас приходил.— На дверь все смотрит.

— Это кто — Тибу? Сродственник?

— Олененок мой.

Вытер будто бы на школьном крылечке четыре скорых своих копытца и, звонко поцокивая, похрустывая ими, взобрался на второй этаж. Одну дверь понюхал, другую понюхал — в третью вошел. Одного парнишку понюхал, другого понюхал — третьим Петя оказался. И зашептал, зашептал олененок горячими мягкими губа-

ми в Петино ухо. О чем шептал — не помнится, куда сбегал — неведомо.

Когда Петя вскочил, он уже в дверях мелькнул. Только белый короткий хвостик показал.

Потрогал я у парнишки лоб — нормальный лоб. Приласкал его, успокаиваю:

— Здесь ведь не чум, а школа... А оленей в школу не пускают. Ни-ни! И разве догадается олень вытереть ноги, снег с копыт сбить? И разве умеют олени ходить по лестницам? Подумай сам! Сон это тебе приснился, детка. Греза.

— Чесны октябратское, приходил! — заклинается мой нулевик. — Вот сюда потихоньку разговаривал, — на ухо себе указывает. — Целовал немножко... Силюнжавый...

— Ну ладно, — твержу ему. — Ладно. Верю. Во сне каких только чудес не происходит! Скучаешь, видно, вот он и приходит, оленько твой. А ничего с ним не случилось. Живой да веселый, скачет да пляшет.

Заулыбался. Шепотком, сколько по-русски владеет, принялся мне про своего любимца рассказывать.

Мать у олененка, оказывается, волки разорвали. Стал он «авкой». Так ненцы оленьих сироток называют. Их запускают погреться в чумы, ласкают, надевают на шею звонкие веселые колокольчики. В первый же день Петя скормил сиротке целую банку сгущенного молока. Частично, конечно, сам съел. Кое-что по щекам да по носу размазалось. Пустяк совсем. Олененок за два зализа всю эту сладость с него языком смыл. Петя даже пободался с сироткой, чтоб не очень он по матери тосковал. А теперь вот сам Петя тоскует. К 8 Марта воспитательница Нина Александровна письма мамам писала — Петя наказал своей: «Поцелуй моего олененка, моего Тибу. Семь раз поцелуй».

Шептался, шептался — уснул наконец мой оленевод.

А на другой вечер невеселый, белых зубок не кажет. Ходил, ходил неприкаянный, потом достал из своей тумбочки ком пластилину, лепить принялся. Олененка, говорит, леплю. Тибу своего. Вокруг тумбочки все эти селькупы, ханты, манси, ненцы, татарчата сгрудились. Наблюдают. Советы дают умные. Голова, туловище, хвостик куда с добром из-под Петькиных пальчиков формируются, а с ногами полная неустойка. Вылепит то-ненькие, какие бы и полагались олененку, — они его сдерживать не могут. Давит их туловищем. Крендельком под-

гибаются, в стороны их разводит. Олешек, бедный, то набок свалится, то, как богомолец, на колени опустится, а с третьей попытки и вовсе на хвост сел. Наблюдатели до живой слезы ухохатываются. Где же это было видно в тундре, чтобы олень на хвосте сидел! Сделает Петрушка поголще ноги — опять неладно. Со слоном олененка начнут сравнивать. Или со школьным бухгалтером Захаром Захаровичем, который одышкой страдает. Востроглазая публика! Терпел, терпел мастер разные реплики — рассердился. Шлеп свое искусство по носу, шлеп по хвосту — кикимора получилась. Спрятал пластилин, спать улегся.

На другой день заступаю на дежурство — опять лепит. И опять ноги.

Глядел я, глядел, говорю:

— Каркаси́к, Петя, надо изгото́вить. Из проволоки. Тогда у тебя и ноги и роги в пропорцию получатся.

— У оленят рогов нег, — заулыбался он над моей обмолвкой.

— А в каком ты его образе хотел вылепить? — спрашиваю.

— Что — образе? — не понимает.

— Ну... на бегу, на скаку, в игре, в драке?

— В драке! — глазенками сверкнул.

— А как оленята дерутся? — испытываю.

— Передними копытцами дерутся.

— Хорошо! — говорю. — Будет тебе завтра каркаси́к.

Через неделю подвожу к Петькиной тумбочке сына Владимира.

— Показывай своего драчуна! — мастеру говорю. Покраснел, застыдился, но достает.

— Вот... Тибу мой...

Олененок предстал как природный. На задних копытцах напружинился, вздыбился в боевой позиции. Белый короткий хвостик вот-вот оживет, задрожит... Ноздри раздутые, лихие. Не то чтобы злые или свирепые, а так... ребячьи. Простодушные. На игру склонные. Головка на спину запрокинута, а ушки начеку. На груди бубенчик. Передние копытца до того игровито в подвысь взнесены, что, кажись, стукнет он ими сейчас парнишке в кулянку, и затеется та развеселая кутерьма, по которой долго тоскуют в школах нулевички ребята, а в тундровых чумах их дружки — авки-оленьята.

— Ты посмотри, как он душу живую схватил... под-

стерег! — восхитился Владимир. — Это же птица на взлете!

— Это Тибу, — Петрушка его поправляет.

— Тибу?.. Тибу.. Как же это на русский переводится? — обернулся Владимир к старшеклассникам.

— Попрошайка, — отвечают.

По словарю проверили, точно — Попрошайка.

— За что же ты такого красавца Попрошайкой назвал? — спрашивает Владимир у Петки.

Оказывается, есть за что. Чистенький, сытый, красивый... Все его в чуме балуют, лакомят, ласкают. Ну и прирастался. Перед Петинной мамой храпит, танцует, слюну вожжой пускает: «Дай моему языку сладкий кусочек!» Сестренку Катю бодает: «Добром отдай лакомство!» У Пети по целому часу обнюхивает рукавички: «Не запрятана ли там печенюшка? Не припасен ли там кусочек сахару?» И только к папе не подходит. Подходил, а потом перестал. Папа заложил Попрошайке за нижнюю губу щепотку табаку. Думает, если самому вкусно, то и олененку. Не-е-ет! «Сам соси табак, папа Поронгуй!»

Недели через две засадили Петкиного олененка в фанерный ящик, провазелиненной ватой со всех сторон обложили, и полетел его Попрошайка-Тибу на выставку всяких ребячьих поделок. Мастер рад. Просит меня собачий каркасик ему изготовить. Как вольная минутка — за пластилин. Лепит и тут же песни по ходу сочиняет. Когда собаку выделявал, про куропаточью охоту пел:

Э-эх, возьму я капроновые петельки,

Э-эх, уйду я далеко в тальники.

Э-эх, зимой снежной птице куропатке

Не добыть, не поймать жучка-червячка,

Не достать из-под снега сладкой ягоды,

Только почки тальника она ест...

Час сидит — час будет петь, полтора — и на полтора песен хватит. Тут и как он петельки настораживал, расскажется, и как, чтобы сова куропаток не расклевала, он капкан на вершинке хорея, в снег воткнутого, устанovit, поведается.

Э-эх, ты хитра, сова, ты мудра, сова,

Э-эх, а Петя Поронгуй хитрей тебя:

Выну из капкана коченелую

И отдам собаке: «Ешь, Дунайко!..»

«Дунайко... Дунайко... Откуда же я знаю эту собачью кличку? — сам себе думаю. Где-то рядышком с памятью из дальней, дальней были наплывает воспоминание и тут же, не доходя до сознания, истает: «Дунайко... Дунайко...»

— Это почему же, Петя, у ненецкой собаки русская кличка?

— Дедушка так ее назвал. У дедушки все собаки Дунайки. Он слепой был...

«Индейко с Дунайкой!» — выкрикнулся в памяти из дальней, дальней были голос командира отряда Особого назначения Ивана Глазкова.

Ну, вспоминай! Вспоминай же, старая голова!

Да... Незадолго перед первой мировой войной это случилось. Не пурга, не ураган ворвались тогда в тундру — пронеслась по оленьим угожьям страшная зараза — «сибирка».

Начисто скосила «сибирка» и небольшое стадо Осипа Поронгуя. Бежал с семьей от падежной поляны. Ладно, что у каждого ненца, кроме оленьего тынзяна, еще две ухватки в руках. Рыбачья с охотничьей. Пошел Осип к купцу Туркову. Купец муки дал, чаю, соли — не перемрет семья голодной смертью. А еще купец ружье дал, порошу, пуль, отвез Осипа в таежные займки к охотникам-соболятникам, наказал им:

— Обучайте. Он мигом...

— Заблудится, поди-ко, Василий Игнатич. Несвычен в тайге...

— Не заблудится! Этот народ левой ноздрей дорогу находит. На всякий случай отдайте ему Дунайку. Дунай выведет.

Чей соболь в тайге?

Да ничей. Тайги — государыни-матушки вольный сын. Жирует он в ней, гордый зверек, резвится. В гибком пружинистом попрыске играет под драгоценной шкуркой дикая прыть жилок и мускулов. Белее белого снега алмазки зубов, под кедровый орешек глаза. Но горяча, неотступна собаки Дунайки погоня, ровно бритва, остер глаз безоленного ненца Осипа Поронгуя.

Чей соболь, жемчужинка черная, под охотничьи лыжи пал?

Купца Туркова соболь.

Не поил, не кормил зверья Василий Игнатьевич. Не тропил снега, не выслеживал. Хрящеватым носом своим только и знал что обнюхивал шкурки, да тощую бороду в мягкую ласку подшерстка любил окунать. Мех о мех тер... Не взвьется ли искорка... Дымно шурил глаза... В дюжины шкурки связывал. При этом не забывал повздыхать, посокрушаться.

— Чезнет зверь! А когда-то этого самого соболя дрекольем били, коромыслами.

Потом «прощал» Василий Игнатьевич Осипу долги. Муку прощал, соль прощал, сахар прощал. Ружье, порох, пули да чай — не прощал.

— Должен ты мне! — орлиным клювом впивался в неведомые Осипу буквы да веда желтый костлявый купецкий палец.

И так из года в год:

— Должен!

— Должен!

Чей соболь в тайге?

Купца Туркова соболь.

Чей пещи, горностаи в тундре?

Купца Туркова пещи, горностаи.

А инородец чей?

Купца Туркова инородец. Василия Игнатьевича.

«Сибирка» олешек похитила у Осипа, а Василий Игнатьевич само имя его из обихода изъяс.

— Я... я... я... — начнет хмельной заикаться перед собутыльничками, гильдейцами-купчиками. — Я Индейкой его нарек. У мериканцев индейцы охотники, а у меня И... Индейко, хе-хех! Шапку с перьями ему закажу. Рожу суриком выкрашу. Пу... Пу... пусть ходит на манер Монтигомы Ястребиного Когтя.

Поближе к весне с рек, из тайги, из тундры снаряжал олени обозы Василий Игнатьевич. Рыбу, меха грузил. Бесценное чадо свое, Митьку Слюнтая, на торги вывозил, к делу купеческому приучал. В каюры Индейку брал. Пусть поглядят на ярмарочных стрельбищах да игрищах, каков его Монтигомо Ястребиный Коготь. Таких-то стрелков да гонщиков поискать по Обдорью. Не зря на него местное купечество с приезжими об заклад бьется. Азартный в гонках. Чуть ли не за хвосты оленей кусать готов.

На одной ярмарке познакомился Индейко с веселым

человеком — ссыльным цыганом Миколкой-конокрадом. Мороз, а он без шапки. Нос горбатый, а ноздри на волю смотрят. И какие ноздри! Пещеры темные. Дал щелчка себе по носу — ровно шаманский бубен сыграл.

Обессилел Индейко со смеху. А цыган — черная борода в гости его к себе зазывает:

— Чаю нагреем. Винка попьем!

Угостил Индейку Миколка-цыган чарочкой и повел разговор: нельзя ли ему на турковских упряжках в родной табор побег совершить?

— Мне бы только из снегов выбраться, а там я коня раздобуду. Пойдешь проводником — на самой рысковой цыганке женю!

Нет, Индейко не пойдет проводником. Индейко не тронет чужих оленей. Спасибо, Миколка-цыган, за чарочку.

— Ну и век бы тебе воли не видать! Как ты есть проклятьем заклеянный, так им и останешься! А я уйду! Не снегами, дак водой, не водой — к гусиным крыльям привяжусь! Где моя гармоза?

Ой, играла, ой, пела Миколкина гармошка! Не знал, не ведал до этого часа Индейко, как тяжело вольному горностаю в ловушке, как отчаянно рвутся из тонких силков куропаткины крылышки. Никогда не болело, не объявлялось Индейкино сердце, а сейчас... Пошто тесно в груди ему стало? Пошто плакать Индейке охота? Пошто лебедем белым в бездонное звонкое небо взлететь и грудь расшибить о звезду зовет да велит ему стоголосая шаманка? Вот и верный Дунайко, что по целым неделям без бреху живет, что на зримо близкого зверя лишь голос дает, — вот и верный Дунайко седую суровую морду поднял и запел под гармонь, и запел, и запел по-собачьи, по-волчьи, по-птичьи, по-заячьи.

И не смыслит Индейко, чего говорит:

— Ах, Миколка-цыган! Ты продай! Мне гармошку продай... Индейко научится.

Скинул цыган ремень с плеча:

— Х-хе... Продай!.. А что дашь? На кажин лад по вошке?

— Соболя, Миколка-цыган, дам!

— Соболя? Сейчас?!

— Сейчас нет, Миколка. Другую ярмарку хожу — принесу.

— Ло-о-овок! До другой ярмарки тебя семь ведьме-

дей в тайге задерут, а Миколка гармошкой рыскай. Да и врешь про соболя?..

— Нет, нет, Миколка-цыган! Индейко никогда не врёт.

— Ну привози. Тогда и гармошку получишь. Вот дива будет! Ни один ведь еще самоед на веках не играл. В Питенбурх поедешь. С Обдорским маршем... «Тпру-у, тпру-у, Боже, храни царя и... оленя»... Хе-хех...

В тот вечер затвердил Индейко на ладах запевную строчку: «Славно-е мо-ре, свя-щен-ный Бай-кал...»

Как на нездешнее чудо смотрел он на свои грязные пальцы.

— Вези. Не бойсь! — жарко блестел зубами Миколка-цыган. — А про гармошку, кто потом спросит, рассказывай, что я ее тебе подарил. А что? Очень просто! Побратански...

И опять рвал мехи и сыпал кудрями Миколка-конокрад.

Ты мой брат, я твой брат —

Делай по-братански.

У тебя, у меня

Волосы цыгански.

«Ах, Миколка, Миколка! Какой ты веселый шаман!..»

Остановится соболятник Индейко где-нибудь под тихим таежным кедром, и зазвенят, зазвенят ему стальные иглы: «Сла-а-а-авно-о-ое мо-о-о-оре-е, свя-яще-е-енный!..»

Худой слух, однако, по тайге да по тундре ходит. Прогнали царя... Кто позовет Индейку в «Питенбурх»? Кого повеселит он «Обдорским маршем»? И Василий Игнатич не едет... Трижды цвела тайга, трижды медведь просыпался... Почему не зовешь ты, Василий Игнатич, своего Ястребиного Когтя на ярмарку?

Позвал Митька Слюнтяй.

Шагнул в охотничью избушку — здоровый, румяный, морозный, сопливый. Ледяшек еще из бороды не выпутал — подарочек Индейке преподнес:

— Винтовка образца девяносто первого года! Насовсем твоя. Тятин подарок. На ярмарку нынче поедем, товарищ-гражданин Индейко...

Ласковый. По плечу хлопает. Ребятишкам конфеток привез, вина выставил.

Не рыбу с мехами на нарты грузил в этот раз Василий Игнатьевич, а старые нюки от чумов да облезлые

оленьи шкуры. «Кто купит их?» — гадал, удивлялся Индейко. Под шкуры винтовки прятали. Индейкину тоже под шкуры. И с Митькой неладно. Слюной реже всхлипывать стал. Гоготу от него по округе меньше. Может, женился — потому?

И вот едет с диковинным этим обозом Индейко, под малицей легкую соболью шкурку везет. От купецкого сыска сберег, от приказчицких глаз укрыл, жене не сказал, наезжему попу не покался — один Дунайко знает.

— Скоро Миколка-цыган, скоро... — шепчет Индейко.

Вот и Обдорск. Притормозила передняя нарта, пугливо затрепетали ушами олени.

Винтовочка, бей, бей,
Винтовочка, бей!
Красная винтовочка,
Буржуев не жалей!

Из-за поворота выступил вооруженный отряд. На рукавах полушубков и малиц красные повязки.

— Ань-торова! — окликнул из строя Индейку знакомый ненец Николай Вануйто. — Бросай свой купца Тряси Нос! Иди наша дружина-отряд! «Какой такой начальник Николай Вануйто?» — откинул капюшон малицы Индейко. — Некогда мне дружина-отряд ходить, Николай. Меня Миколка-цыган ждет. По-братански надо делать».

— Трогай... — заскрипел Василий Игнатич. — Рад зенки палить...

Остановились в этот раз на подворье купца-миллионщика Чупрова. В тот же вечер встретился Индейко с Миколкой.

— Вывези ты меня из снегов, для-ради бога! — в первую же минуту заканючил цыган. — Летось по воде сплыть вознамерился — господа-купечество зашутковали, посередь Полуя меня за борт выбросили. Не гармошка с воздухом — затонул бы. Политическим всем, понимаешь, воля, а конокрадам — что при старом режиме, что при новом. Не дают вольных бумаг, и баста!

— Я соболя, Миколка, принес, — зашарился под малицей Индейко.

— Хороший ты мужик... — вздохнул цыган. — Не хватает моей цыганской совести тебя забижать. Гармошка-то, знаешь... подмокла. Четыре лада фальшивят. Вот если бы нам из снегов...

— Играй, Миколка, «Славное море...».

И опять пойманным горностайкой трепетало Индейкино сердце.

Часом позднее зашушукалась прислуга в доме миллионщика Чупрова:

— Девоньки!.. Бабоньки! В бане-то... В бане... Индейко-самоед в бане на гармошке играет. Во всю дурнюшку растягивает...

— Господи! Тошнехонько. Уж не нечистик ли там?

— Глаз навзничь вывернись — Индейко!

Слух как огонь. Загорелось внизу, загорится и вверху. Вывалилось из горниц хмельное купечество. Обдорские и прочие потешку чувствуют, а Василий Игнатьевич язык покорить не может:

— Гы... гы... гы... где взял? — подступил к Индейке, головой трясет, на гармошку указывает.

— Миколка-цыган дарили.

— За... за... за какие такие дивиденды-проценты?

Индейко, как цыган, поучал:

— По-братански. А что? Очень даже просто...

Грохнуло купечество от брюшенька:

— Цыган гармошку подарил! Га-га-га-га-га!..

— Он тонул... В Полуде его в прошлом году утопляли, и то ее над головой держал — оберегал.

— Подарит, когда на плечи кудри взойдут.

— А... а... а ты не украл ее? — пронзился догадкой Василий Игнатьевич. — Может, украл? Скажи — украл! Ну? Ястребин Коготь! Признавайся от смелой души. Награжу молодца за ухватку!

— Не украл я, — потупился Индейко.

— То... то... тогда вот что... Митька! Бери его за шиворот — к цыгану поведем.

Туркова уговаривать начали:

— Потерпел бы, Василий Игнатиш... К чему раньше сроку собак травить? Не сквалыжничай по медным — серебром сочтешься.

— До... доброхоты! — отмахнулся Турков. — А ежели он пушнину утаил? За самоедские глаза, что ли, гармошкой завладел? Веди, Митька!

Не закидывает крючка Миколка-конокрад, невелико цыганское богатство. Только вот соболь разве... Разбередил он, ознобил нетерпением Миколкину вольную душу. Не остудили злы-яры ветры горячего Миколкиного сердца, не затуманили даль, тайга да пурга расставших твоих слезинок, молодая цыганка. Пусть загнали Микол-

ку туда, где коня не украсть, не продать, где какие-то рогатые твари, вислогубые хари, языком, как собаки потеют, палкой понужаются, не кованы, не заузданы бегают, овса в рот не берут, родниковой воды не пьют... пусть. Миколка примчится к тебе на удалом коне, молодая цыганка. Кинет на смуглое гибкое плечико драгоценного соболя: «Помнил тебя, Зара».

Старый Турков еще в притворе задохнулся:

— Со... со... соболишко?

— Соболишко,— подтвердил цыган.— Не желаешь ли, дядя, совершить купчую?

— Я т-т-тебе покажу купчую! — взвизгнул да всхлипнул старый Турков.

— Не серчай, дядя,— погладил соболя Миколка.— Я тебе тоже могу показать... цыганское колено, чтоб твое сердце не болело.

— Изгаляться, пор-рода! Я сейчас к уряднику!..

— Опомнись, дяденька! Нету урядников. Кончились. Лапти сушат...

— Отдай соболя! Митька, бери его впереверт!

У цыгана неизвестно откуда здоровенный кинжал в кулаке засиял.

Весело, беспощадно спрашивает:

— Которому первому икру выпускать? Старому или молодому?

Турковы задком, труском, вразворот да ходу. Индейко тоже кинжала сробел.

Уж больно глаза у Миколки недобрые. И ноздри свирепые.

Дорогой его Турковы полегоньку били — не настиг бы цыган, озирались, ну а в чупровской ограде — до полного ублаговорения.

— Скимость! Гнида! Снистожество!!! — с поскоком совал в Индейкины губы сухой кулачок старый Турков.— Допусти, Митька, я ему вздохи отшибу!

— Я сам, тятя,— бухтел Слюнтяй.

— По блину его! По блину!..

Индейко упал.

Старый Турков рвал гармошку:

— Хлеба наелся — музыки захотел! За цыганскую рынду со... со... соболя?! Цены полперста не знает, а куда же... Сделки сотворять.

Отдышались.

— Брось его в сенник,— подопнул недвижимого Ин-

дейку старый Турков. Закрутил, закрутил тошей шеей, зажалобился: — Удушает меня чего-то. Хоть пьявиц подпущай... Запри, Митя, ворота.

...Воду для кухни и прочих нужд в наше расположение с Полуя возили. В то дежурство дружинник Акеша поехал. Томский студент. В отряд к нам он из самой глубокой тундры пришел. Кочевал там от стойбища к стойбищу, незван, негоним, ненецкие песни, сказки, пословицы собирал, обычаи, поверья записывал, людей, оленей, собак, зверей зарисовывал. Говорок у Акеша напевный. Русая борода кудрявилась. Очки от близорукости. И еще что запомнилось — ребячьи песенки любил петь. Для самого дошкольного возраста. Вот и в тот раз... Сидит на бочке и по привычке мурлычет:

Шарик Жучку взял под ручку,
Пошел «польку» танцевать.
Славный песик — наш Барбосик —
Стал на дудочке играть.

Попоет, попоет — с лошадкой перебеседует:

— Но-но, милая! А то ударю...

И замечает вдруг Акеша: человек с ружьем и с собакой вдоль заборов себя скрадывают.

Остановился, спрашивает:

— От бога или от людей хоронитесь?

В ответ ему невнятно так, по словечку:

— Котора места... нарьяна тью... красные рукава?.. Друзына нада. Николай Вануйто надо.

— Дружину тебе? — засуетился Акеша. — Садись. Садись в передок — мигом доставлю.

Разместил и по лошаденке:

— Но-но, милая, а то ударю!

Вот так-то и появился у нас в отряде Индейко. Губы расхлестаны, нос расплылся, от глаз щелочек не осталось, на малице кровь печенками смерзлась.

— Кто тебя так изуродовал? — спрашиваем.

Молчит. Зверком озирается. Озноб его немилосердно бьет.

Чаю горячего дали. Кровь с лица мокрой тряпочкой сняли. Молчит. Пришлось Николая Вануйто с поста сменить. Прибежал — залопотали по-своему.

А так и не сказал! Ни Николаю, ни нам не признался, что купцы его разукрасили. На неведомых людей сослался. А зря. Потянули бы за ниточку, глядишь бы, и до клубка... До змеиного гнезда. Впрочем, винить его за это особо нельзя. Боялся, что мы за соболью шкурку тоже вором его посчитаем.

Вотряд нового дружинника под собственной фамилией записали — Осип Поронгуй. Только бесполезно. Отвык он от собственной у купца. Построение, бывало, начнется — Дунайко с правой стороны от хозяина место займет. На перекличке: «Поронгуй! Поронгуй!» — голосят.. Не откликается Поронгуй. Глазков, командир наш, в порядке шутки как гаркнет тогда:

— Индейко с Дунайкой?!

— Я! Стесь! — грудь выбодрит. И собаку тихонько ногой подстрекает: отзывайся, мол. Дунай знай блох ищет. За всю свою службу голоса не подал.

Стали мы новорожденного Осипа товарищем Индейкой звать. Тут нелишне сказать, что и самому ему приятное это имя было. Кто на гонках всегда побеждал? Не Осип, а Индейко. Кто первейшим стрелком назван был? Не Осип, а Индейко. Как бы спортсменскую и охотничью доблесть оно собой являло. Внушилось так.

Висел в нашей казарме портрет Владимира Ильича. Студент Акеша из старой газетки перерисовал. Индейко поначалу ничего. А как осмелел, обзнакомился — спрашивает:

— Это кто такая?

— Ленин, — отвечаем. — Неужто не слышал?

— Которая такая — Ленин?

Не слышал! Не знает, оказывается!

Ну, против него из нас всякий комиссар. Поясняем:

— Вождь мирового пролетарьята он.

— Председатель Совнаркома.

Индейко хлоп-хлоп глазами.

Покосился на нас Акеша, приглашает его к себе на топчан.

И вот как у него насакалось... Поначалу «самоедскую песню» вспомнил. В том, говорит, еще веке записана. От пьяного ненца. Отдал меха за «веселую воду» и лазит в ногах у купца. Поет. «Благодарю тебя, знатный брат, ты дал мне водки, сделал меня пьяным. Я, негодный, дурной, кланяюсь до земли, благодарю тебя, целую тебя».

Индейко приулыбнулся. Знакомая картина. Акеша, наоборот... Серьезный сидит.

— Не так ли,— говорит,— и народ твой, Индейко, богами, попами, шаманами запуганный, царями, властями поруганный, есаулами, урядниками битый, сеченный, турковским, чупровским зеленым вином одурманенный, к гупому покорству и скотству почти приведенный, не так ли и народ твой, Индейко, земно кланяется своим грабителям, целует преступные руки своим умертвителям?

Затихла казарма. Только распевный Акешкин голос по ней:

— Едет в тундру Ленин на белых оленях. Три светлых заветных ленинских слова, как три поднебесные вешние радуги, на оленьих кудрявых рогах сияют...

Поднимет Ленин с колен обесчещенный, изнемогающий, вымирающий народ твой и скажет ему первое заветное гордое слово: «Ненэць» — «Человек».

Ленин окликнет ограбленный, истираненный народ твой и скажет ему второе заветное слово: «Ерв» — «Хозяин». Хозяевами жизни, земли, воды и неба своего назовет ненцев Ленин.

И радостно будет видеть его глазам, слышать его ушам, как обнимаю я тебя, как говорю тебе третье его заветное слово: «Папако. Пебя. Нюдя ня» — «Брат мой. Желанный мой младший брат».

С этими словами действительно крепко, скула в скулу, обнял Индейку: «Ленин велел, папако».

Индейко наш задышал, задышал неровно, глаза все сузились:

— Скоро придет? — на портретик указывает.

— Он бы давно уже здесь был,— вздохнул Акеша.— Не допускают его.

— Кто?! Котора не допускают? — схватился за берданку Индейко.

Ну, тут уж из каждого угла разъяснения:

— Кулачье, бандюги...

— Контра офицерская из тайги повылазила.

— Купчики-голубчики... Старейшины ваши, вотчинники.

— А шаманы?! Шаман — он тоже психиатр.

— Избили ленинские олени янтарные копыта свои,— досказывает-распевает Акеша,— посекали жгучие пули кудрявые их рога, заледенели олени слезы, из ноздрей

сукровица сочится, а не могут, не могут прорваться они через вражьи лихие заслоны...

Опять вскочил Индейко:

— Где олени? Говори место. Индейко выведет!

Индейко выведет... И ничегошеньки-то он не знает, соболий охотничек.

Не знает, что от Алтая и до Березова свирепствуют по Сибири кулацкие банды, полыхает восстание, что вся полнота власти на Tobольском Севере на нашем жиденьком войске держится. Стоим мы здесь под командованием товарища Ивана Глазкова как отряд Особого назначения, и задача наша — до последней, до крайней возможности охранять и защищать Обдорскую радиостанцию. Через нее единственную держит Москва связь с островом Диксон, а через Диксон — с Дальневосточной Республикой.

— Понимаешь теперь, какую надежду на тебя да на твою берданку товарищ Ленин содержит? — спрашиваем у Индейки.

Нахмурил черные брови:

— Понимаю.

— Тут не соболей стрелять...

— Купеца Туркова? Митьку Слюнтя?

— Возможно, что и Слюнтя.

Я говорю: Индейко ничего не знал... Многого не знали и мы. На другой день ударил по Обдорску набат, а в подголоски ему — стрельба. Из чупровского подворья, из прочих потайных берлог вскосматилась против нас разномастная контра. Первым делом ревком да радиостанцию захватить норовят. Председатель ревкома Иван Владимирович Королев из-за угла убит был. Командир отряда Иван Глазков в перестрелке погиб. Начальник радиостанции Иосиф Волков команду принял¹.

— Держать, ребята, радиостанцию!

Держим. Отстреливаемся. На неделе еще несколько лобовых и обходных приступов отбили. В дружине урон. День ото дня редеем, редеем. Больше половины боеприпасов истрачено.

На одном из рассветов видим: всадник со стороны противника в нашу оборону скачет. Вслед ему заполошную стрельбу бандючки открыли. Миколка-цыган скакал. В чупровскую конюшню пробрался, жеребца обратал,

¹ Фамилии подлинные.

выждал момент, когда ворота откроют, и наудалую. Только косоворотка на горбу пузырится. На шее соболь повязан. По соболю — кровь. Скулу пулей чиркнуло. Соскочил с жеребца — кричит:

— Вы мне вольных бумаг не давали, а я вам, как отцам родным... Добра желаю!..

Желал добра, да недобрые вести Миколка привез. Сообщил цыган, что из Березова к обдорским крупная банда на помощь подходит. Разведка наша подтвердила. В таком числе подходит, что не нашими реденькими штыками сдержать ее. Между дружинников много коренных, обдорских, было. У этих семьи.

Когда определилось, что нет нам другого выхода, кроме неминуемой поголовной смерти, решили мы отступать в тундру. И полетела в Москву последняя с Обдорской радиостанции телеграмма. Такие писались слова: «Коммунисты Тобольского Севера, истекая кровью, шлют пламенный привет непобедимой РКП, дорогим товарищам и нашему вождю Ленину...» И партийным, и беспартийным ее зачитали. Индейко поначалу не разобрался что к чему, а когда дотолмачил, подхватил свою малицу и бегом в аппаратную.

— Индейко тозэ... Тозэ, товаришу Ленину просяльный привет!

Иосиф Волков кивнул. Передам, мол, Индейко.

На два отряда разделились. Наш в тундру двинулся, а Сергиенко решил через Урал на Печору, к своим пробираться.

Тогда-то я поел дохлой оленинки. Вспоминать страшно. Кабы одни, а то детишки с нами, женщины. От зверской кулацкой беспощады уходили. Тундра — пустыня. Ни обогреться, ни обсушиться. Олени из сил выбиваются, падают, а ко всему этому со дня на день, с часу на час обдорской бандитской погони ждем.

Двое девчонок умерло. Раненые на нартах застывают.

Посылает командир Индейку к сородичам. Нарты дает, денег дает.

— Любым способом разыщи чумы, вези в отряд оленьи. И хлеба. Хоть детишкам...

С Индейкой в провожатые Миколка-цыган попросился:

— На деньги, может, не продадут, дак я соболем рыскну,— командира обнадеживает.

И тоже на нарты.

Чупровского украденного жеребца съели. Пришлось цыгану с оленями спознаться. Хореем подцеливает, ворчит:

— А, мамынька, моя мамынька! Да поглядели бы твои глазыньки, на какой безобразьи родимо твое жигитует.

Отправили их.

Закупили они полмешка муки, шесть туш мяса да к упряжкам по паре свежих оленей добавили. Сытые едут, довольные: вот, гляди, обрадуют отряд.

Вдруг — выстрел по ним.

Оглянулись — с полдюжины нарт вдогонку идут.

— Алюры, родненьки! Алюры, золотки! — засуетился цыган с хореем.

Прикинул Индейко: не выиграть ему на этот раз оленьи гонки.

Поравнял свою нарту с Миколкиной, кричит цыгану:

— Скоро-скоро отряд ходи! Индейко стрелять будет!

И выпал из нарты.

Стрелял по оленям. Две упряжки остановил, остальные его обезоружили.

— Ваше благородье! — дуриком заорал подоспевший Митька Слюнтяй. — Ваше благородье! Это же наш Индей! Вот и Дунайко с ним! Дунай, на-х, на-х, на-х, — за-подманивал он собаку.

У офицера потемнели глаза:

— Чему обрадовался, долдон?! Пулю он тебе в башку не поместил?

— Пре-ат-личный стрелок! — забрызгал слюной Митька. — Мы с тятей со своим умыслом его в Обдорек привезли. Он бы знаете скольких этих кумоньков улобанил, кабы не гармошка... В ножик, в лезвие, на шесть шагов попадает!

— Неужто? — прищурился на Индейку офицер.

— Истинный бог! — перекрестился Митька. — Картече пополам рубится, а на ноже синие чатинки от свинца.

— Лю-бо-пыт-но...

Офицер снял с японской винтовки ножевой штык и воткнул его рукояткой в снег.

— Отмерьте шесть шагов и отдайте ему ружье, — на Индейку указал.

— Ястребин Коготы! Не подгады! Не обстрами турковское оружие! — заприплясывал Слюнтяй.

Индейко выцелил, выстрелил, штык клюнулся в снег.
— Подайте,— приказал офицер.

На стальном полотне штыка по обеим сторонам обозначились синие полосы.

Посвистел, посвистел благородье — подает штык Слюнтяю:

— Выколи глаза!..

— Кому? — спятился обробевший Митька.

— Своему пре-ат-личному стрелку. Ну!..

На Митьку родовая заика напала. Заквакал наподобие тятеньки:

— Ва... ва... Ваше благородье... Мне это... Ужасьте не дозво-ляет выкалывать... Я его из обреза лучше...

— От-ставить из обреза! — визгнул офицер. — Ты, — Индейке на Митьку указывает, — застрелишь его?

— Застрелишь, — кивнул Индейко.

— Ну и атлично... Без соплей.

— Ваше благородье! — заметался, затошновал Митька. — До... до... дозвоьте, я обтреплюсь... обветрюсь... Притом... собаку убрать надо. Порвать может.

В семь жгутов плетеным тынзяном привязали Дунайку к Митькиной нарте.

Индейку свалили.

Склонился над ним Слюнтяй с японским штыком в руке.

— А-а-а!! — настигнул Миколку-цыгана приглушенный верстами, похожий на стон, протяжный Индейкин крик.

Насторожил чуткие уши полярный
волк.

Куропатка в тальниках вытянула
шейку.

Перестал на минутку мышковать песец.

Плавил в белой тундре снега
горячая Индейкина кровь.

Грыз в семь жгутов плетенный
тынзян Дунайко.

На стоянке пережевал Дунайко белым каленым зубом последнюю нитку оленьей кожи и намахом пошел по обратному следу.

Неведомо куда брел по тундре его хозяин.

Ищет Дунайко человечьи глаза и не находит глаз. Отпрянул пес. Седую свирепую морду к звездам поднял и неумеючи, жутко завыл.

— Дунайко! Дунайко...— бережно звал его слепой. Подошел. Дал огрызок тынзяна нащупать.
— В чум, Дунайко... В чум веди!

Годы вы, годы... Вихреввраждебные.

Королев, Глазков, Терентьев, Обухов, Рочев¹, Акеша-студент на Ангальском мысу в братской могиле покоятся. Из отряда Сергиенки, который на Печору уходил, три человека только уцелело. Остальных, голодных и обесиленных, у зауральской деревушки Ошвары перестреляли, перерезали зырянские кулаки. Дошел ли до Ильича ваш «пламенный прощальный привет», тундровые коммунисты?

Не забудь их, суровая северная земля. Взрасти им цветы.

А про Индейку... Доходили слухи потом... Везут сородичи от стойбища к стойбищу Темного Ненца. Где чай он пьет, где ночует он, собирается там народ. И рассказывает Темный Ненец: едет, едет в тундру Ленин на белых оленях. Три светлых заветных слова, как три молодых вешних радуги, на оленьих рогах сияют, горят...

Дальше Петрушкиному ребячьему рассказу доверюсь.

Довезли слепого Индейку до таежной избушки — плачь, семья, радуйтесь, белки, соболя, куницы. Два сына у него подрастало. На турковских, видимо, оленях из тайги вывезли в тундру. Имя «Индейко» постепенно забылось. Стали его соплеменники Темным Ненцем звать.

Власть Советская долго до пустынных тундровых просторов дойти не могла. По всем законам пенсию бы надо Индейке выплачивать, да кто знал, кто думал об этом.

Дунайко семью спасал.

Привяжет его Темный Ненец за поводок к поясу, капканы с приманками на маленькую нарту сложит, и тронулись. Глаза незрячи, зато пальцы... Дунайко на следу остановится, носом своим обнюрышки звериных лапок укажет хозяину — определяй, кто здесь пробежал: волк, лиса, песец, горностай. Пальцами и отгадывал. Ловушки тоже ощупью настораживал. Куда бы ни за-

¹ Фамилии подлинные.

брели, Дунайко прямою дорогой в чум приведет. Где бы ловушки ни расставили, Дунайко тем же порядком одну за другой наутро разыщет. Весь промысел на нем держался.

Ненцы редко ласкают собаку. Погладить ее за грех считалось. Бог Нум, видишь ли, голой ее сотворил, а шкуру, оказывается, она у злого духа уж охлопотала. Темный Ненец плевал на это поверье. В обнимку с Дунайкой спал, лакомого куска не жалел, разговоры вел, целовал. С годами примечать стал: стареет пес. Дремотный сделался, в прошлогодней шерсти, не облинявши, ходит, резвость не та. Заказал тогда Темный Ненец цепочку медную. Один конец цепочки на Дунайкиной шее закрепил, другим — молодого щенка к старику приковал. Учится молодой Темного Ненца по тундре водить, чутким своим носом обнорышки звериных лапок ему указывать.

Удивляло сородичей в Темном Ненце и вот еще что... Знают: слепой он. Шило к глазу неси — не отпрянет. А людей узнает. Не по голосу — по походке, по дыханию. Соседство в триста верст, не встречались годы, а он приезжего за три чума опознает, по имени называет. На памяти остался и тот случай, когда он докторшу спас. Каюр у нее тайком допьяна напился, а ей к срочному больному надо. Рискнула одна ехать. Оленей-то посреди тундры и упустила. Пешком шла. Обессилела. Застывать начала. Никто ее криков не слышал — Темный Ненец услышал. Все стойбище взбудоражил, направление указал.

Погоду предсказывал. Здесь, конечно, раны... Глаза. Стали его в тундре как бы за провидца какого почитать.

Второго Дунайку Третий сменил, Третьего — Четвертый...

Много новостей слышит за последние годы Темный Ненец. Рассказывают ему зрячие сородичи, что летают над тундрой крылатые железные нарты-самолеты, ходят по рекам белые красавцы теплоходы, по вечерам в поселках зажигаются «русские звезды» — э-лек-три-чество. «Умные говорящие деревья» — ра-ди-о — веселят сердца людей музыкой, песнями.

А еще рассказывают сородичи, что появились в тундре белозубые бородатые люди — ге-о-ло-ги, построили бу-ро-вы-е вышки и сейчас железом долбят, грызут сту-

деную, мерзлую землю, ищут газ — «голубой огонь», который осветит и согреет чумы, подарит ненцам «второе солнце».

— Саво (хорошо), — кивает головой Темный Ненец.

А однажды задрожала на бойце Индейке старая ма-
лица: Ленин в тундре! Пришел!

— Где?! — сорвался голос у Темного Ненца. — Где?!
Не слышу бега его оленей!..

— Пришел! В поселке! Стоит на высоком камне ли-
цом к сиянию, рукой к сиянию...

— Дружинника Индейку... не звал... не искал?..

— Он молчит. Он неживой. Он — па-мят-ник.

В жизни не слышал такого слова Темный Ненец. Сму-
тился старый, озадачился. Однако в тундре же Ленин...
В тундре! Как Акеша говорил...

— Живы ли его белые олени?

— Нет оленей у Ленина. Даже серых нет.

— Есть ли у него чум, еда, чай?

— Нет чума у Ленина. Не пьет он чая. Он — па-мят-
ник.

— Есть ли у него ружье, собака, одежда?

— Нет ружья у Ленина. Нет собаки у Ленина. В лег-
кий пиджак одет Ленин. В руке фуражку сжал. Голова
лысая. Лицом к сиянию. Но ему не холодно. Он — па-
мят-ник. Застыл. Не движется.

— Разве иссякла тундра мехами, разве перевелись
в ней белые олени? — задал сородичам последний вопрос
Темный Ненец.

— Не иссякла тундра мехами, не перевелись в ней
белые олени, — ответили Темному Ненцу сородичи.

...Известный всем в районном поселке милицкий
старшина Иван Иванович, имеющий к тому же прозвище
«Самособой», шел на жиденьком заполярном рассвете
с дежурства домой. Шел, размышлял, чем жена угостит
его: оленьим ребрышком или рыбной котлеткой? Чайку
опять же крепкого — дна не видать «капитанского» —
выпить жаждалось. И вдруг неожиданно-негаданно ре-
гистрирует он своим старшинским взглядом небывалое
в милицкой практике нарушение. К памятнику Лени-
на лесенкой приставлены нарты; к нартам три белых
олени привязаны, и люди в малицах исхитряются надеть
на бронзового Ильича... малицу.

— Эт-то што?.. — оторопел, приостановился, спросил
сам себя Иван Иванович. — Это как понимать надо?

По улицам народ движется. Иному уж на работе надо быть, а он остановился и наблюдает, как Ильича, симбирца-волжанина, северянином обряжают.

— Ребята! Ребятюшки...— дал голосом «петуха» Иван Иванович.— Вы это... само собой... чего удумали?

С постамента — слово по-русски, два по-ненецки, кое-как поясняют:

— Приказал Темный Ненец одеть Ленина в малицу. Худо ему на ветрах да морозе с голой головой. Зябко в одном пиджаке стоять в нашей тундре. Разве иссякла она мехами? Разве перевелись в ней белые олешки?

Окончательно растерялся Иван Иванович. С одной стороны посмотреть — теплом да любовью своей народ Ильича одаряет, с другой — нарушение же! Притом скопление публики... И посоветоваться не с кем — прямого начальства нет. Одному и немедленно вопрос решать надо.

Оглядел Иван Иванович еще раз окрестности — сам один должностное лицо.

— Это что за стратегик такой у вас — Темный Ненец? По темноте, само собой, знаете чего натворить можно?.. А со скульптором вы согласовали?! Может, он в корне за основу не примет! Притом, местные власти есть, хоть и в командировке... Где он, ваш Темный Ненец?

— Хотел сам приехать... Заболел шибко. Нас послал. Сорок лет Ленина ждал...

— Не положено, ребята, поймите мое разъяснение, — принялся убеждать Индейкиных соплеменников Иван Иванович.— Вон, посмотрите! Вон, пожалуйста... Главный геолог экспедиции идет... Думаете, куртку, шапку, унты свои пожалел бы? А вон хирург! А вот начальник аэропорта... Да любой из здесь стоящих не токмо что форму — последнюю рубашку, как говорится... А не положено.

Стало быть, и не положено, раз старшина говорит. Трое суток добирались до своего стойбища Индейкины посланцы.

В сознании еще Темного Ненца застали.

— Отдали вы Ленину белых оленей?

— Отдали, — кивают.

— Стрелял ли он из моего ружья?

— Стрелял, — кивают. — Песцу в ушко попал.

— Приласкался ли к нему Четвертый Дунайко?

— Приласкался. Погладил Ленин его.

(Дунайко в соседнем стойбище оставлен был. Пусть в светлой вере умрет Темный Ненец, дружинник Индейко.)

Под утро забываться стал.

— Владимир Ильич... Дунайко собака хоросая... хоросая... хоросая...

Похрипит, побулькает грудью и вдруг — песня:

Винтовоцька, бей, бей,
Винтовоцька, бей!

Вихри враждебные снятся. Снятся до смертного часа старым бойцам.

— Скоро-скоро отряд ходи, Миколка! Индейко стрелять будет!

...Второй месяц пошел, как я дедушкой Нянем зовусь. И с ненцами, и с хантами, и с татарчатами передурился; и с селькупам. Теперь уж про себя песни слышу:

Дедко Нянь, дедко Нянь,
Нам воробушка достань.

А где я им в Заполярье достану воробушка?.. Смейтесь, огольцы этакие. Индейкиного внука, однако, наособицу огличал. Сидим как-то в моей дежурке, и лепит он по памяти своего дедушку — Темного Ненца. Мне, ясное дело, любопытно. Вдруг задает мне Петрушка такой вопрос:

— А почему нельзя Ленину в малице? Почему заругался Иван Иванович?

Как ему объяснить?

— У скульптора, — говорю, — он без малицы отлит, и неправомочны мы...

— Не был он в тундре! — загорячился, заобижался на скульптора Петька. — Разве правильно это: в одном пиджаке, голова непокрытая... В тундре так никто не живет. И Ленину так нельзя.

А что, думаю... Может, им, ненцам, действительно нехорошо, несвучно в таком одеянии Ильича видеть? И не только для глаза — для сердца ущербно. Даже известно, может быть. Ведь, ишь, говорят: «Разве иссякла тундра мехами?»

С этой догадкой отвечаю Петрушке:

— А ты вылепи его в малице! По-вашему, по-тунд-

ровому... И будет вериться всем: хорошо ему в тундре, тепло, родной и домашний он здесь человек. Олешки на север идут — он им вслед глядит, олешки с севера — он новорожденных оленят считает...

Не успел я досказать, схватил меня Петрушка за руки: губешки приоткрыты, побледнел, сполох в глазах...

— Пойдем! Пойдем, дедушка Нянь!..— тормозит меня.

— Постой... погоди,— выручаюсь я от него.— Куда пойдем?

— К памятнику. Посмотреть хочу!

— Завтра бы, Петушок... Поздно уж...

— Сейчас, дедушка Нянь!

Ну, оделись мы с ним, спустились на крыльцо и прямо под сияние угадали. Взыграло — полнеба горит.

У ненцев ни в сказках, ни в песнях про красоту эту дивную ни словечка не сказано. За обыденку им. А у русских старожилов сочинилось. Дни в это время коротенькие становятся, вот иная бабушка и догадывается: «Линяет солнышко, роняет перышки... Летят в полночи, извиваются, и чудны светы с них изливаются: девушке-Весне — на сарафан, красну Лету — на узорчатый кафтан, Грому ярому — на радугу-дугу, Ване малому — сказал бы он «агу».

У таежных охотников своя песенка: не спят-де в такой час глухари. Со всех суков, со всех вершин тянут они свои шеи к сиянию. Бородки будто да брови на этом свете себе румянят-закаливают. А в сказе опять говорится, что это жар-птицы токуют. По-всякому наслышишься.

Стоим мы с Петькой перед памятником, а сполохи по нему струят, струят. И вызеленит его, и выкраснит, и серебряным маревом высветит. Петька свое выскивает, а я думаю.

Далеконько же, думаю, ты, Владимир Ильич, заселился. Ни от оленеводов, ни от геологов не отстаешь... Да что говорю: ведешь их!

Не успел додумать, ка-а-к высвистит да взгудит, да вззоет неведомо какое чудовище на правом берегу, аж содрогнулись мы с Петькой. Обернулись — снега горят. Хоть перекрестись — снега горят!

И тут-то как зарыдает по местному радио вне себя от восторга:

— Бра-а-атва-а! О-олухи сонные!! Третья буровая газ дала-а-а!

Одно окно светом откликнулось, другое... Через минуту весь поселок огнями сиял. Двери по морозцу заскрипели, в гаражах пускachi на вездеходах затрещали, рыбокомбинатский гудок не в пору взревел. А тут и народ... Что подкуренная пчела взроился.

Набежал на нас с Петькой главный геолог, стиснул моего нулевика за ребрышки, вскинул над головой и без складу-мотива запел:

— За-а-апомни этот миг, ма-а-алый!! Засеки миг! Студеная твоя земля великое тепло народу отворила! Вот оно, твое «второе солнышко»!

Пока он Петьку кружил да подкидывал, заметил я, что не в унтах наш главный из дому выскочил, а в ночных шлепанцах. Вот до чего! Отпустил Петьку, к памятнику подшагнул:

— Товарищ Главный Геолог!.. Газ!

Больше ничего не выговорил. Всхлипнул, полбородой закусил и помчался в своих черевичках к гаражу.

У моря студеного сполохи, сполохи. За Тазом-рекою горят-золотятся снега... Сказка, быть ли? Обронило ли солнышко еще одно перышко? Стоит Ильич с двух сторон осиянный. Отсверки по нему, блики, зарницы.

— Он улыбается, дедушка Нянь! — дергает меня за рукавицу Петрушка.

— Ага,— подтверждаю.— Как не улыбаться... Олухами по радио обзываются, по морозу в шлепанцах бегают, без мотива, по-шамански, поют, бородой слезы вытирают, а ведь он, Ильич, смешливый. Даже бронзовый не выдюжил... Потом, слышал, Главным Геологом его называют? Геолог, а тут открытие...

— Ленин не геолог! — замотал головенкой мой нулевик.

— Геолог, Петя,— говорю.— Такие драгоценности в людских сердцах разыскал!.. Ну да подрастешь — узнаешь. Пошли спать.

Весь режим мы с ним в ту ночь нарушили. Ответственности, верно, мне нести не пришлось. Газовый фонтан всех побудил. Да и на второй день от занимаемой должности «Нянь» освобожден был. Прежняя выздоровела. Шепнул ей, чтоб Петрушку не притесняла, искра, мол, в нем, и распрощался со своим «интернационалом».

Перед отъездом захожу в сторожку — лепит мой Петя, поет:

Сейчас маленький, маленький Тибу,
Подрастет — вожаком в упряжке пойдет.
Держись за нарту, дедушка Ленин:
Быстроногий Тибу-олень.

Ну, и другое прочее в своей песне выдумывает.

Заглянул я ему тихонько через плечо — Ленина лепит. В узорной малице Ильич, в откидном капюшоне. Улыбается. Лакомство олененку подносит: Тибу-Попрошайке, по-видимому. А тот коленца свои у него на груди сложил и всей своей принюшливой сопаткой торопит: «Скорей, Ильич!»

Стою, шепчу над стриженной черной Петькиной головой:

— Не оленько твой авка-сиротка на грудь Ильичеву копытца сложил — то народ твой, бывлой горемыка и па-сынок, к великому верному сердцу припал... У великого сердца воскрес...

Петрушка обернулся:

— Чего рассказываешь, дедушка Нянь?

— Чего рассказываю?.. Талану твоим пальчикам желаю, Петушок. Не напрасно, зная, разбудил тебя олененок... пошептал в ушко.

1966 г.

СКАЗАНИЕ О РЕКЕ И ЕЕ КАПИТАНЕ

*Старому капитану
Вронскому Владимиру
Александровичу
посвящается*

На носу корабля в этот час голосисто и людно. С борта левого — солнышко, к борту правому — тень.

Косячок молодежи, забросив костяшки и карты, полужфронтом обсел говорливого старичка-северянина.

— Всея тайги старожитель, — достойно представился он паренькам. Ребята прищипнули на «Дуняшку с Песней» — так был прозван взволосатевший владелец крохотного, но пронзительного радиоприемничка — и

теперь без помех внимают в два уха покатою и скорой, как мелконький бисёр, речи приобского дедушки. Или годы к тому старика понуждают, иль воистину неистребимо оно, это племя ведунов и балясников, неумных, неумимых этаких бахарей... Не намй примечено, но редкий вид транспорта обходится без нештатного своего краведа, в меру и без меры прославляющего родное гнездовище. Даже будучи к авиакреслу привязанным — не помолчит.

Дед в ударе. По румяно-прожильному, небезгрешному носу пробирается к негим истокам усов капелька пота. Борода постоянно жива, соучастлива в речи-беседе: где-то вширь, вдоль улыбки распушивается, где-то вдруг штыкового нацелится — спора ярого жаждет. В кой-то миг старожил беглым взглядом обследует юные лица: верят, вникают?.. Или уже перестали?

Парни первым заходом сплывают на Север — деду этого можно и не объяснять. Гни, побрехивай знай... Кое-кто, правда, усомнится легонечко, подстрахуется полуулыбочкой, для большинства же каждая дедкина поплетушка, каждая прошлого века и вчерашнего дня «подивинка» — живое свидетельство старожила. Пословичную заповедь — не всякой бороде верь — ребята постигнут позднее. Пока же вот именно бороду слушают, запоминают... Повествует она в сей момент про некоего охотника ханты, которому в последнее время «тайгу понарушили»:

— Шестьдесят лет он по ней блукал-пешествовал. Сосны-ровесницы, в детстве которые были примечены, под облака уж возгудают, соболя на них щенятся, а евоный охотничий век все еще не кончается. В жмурках мог всю тайгу пройти и тебя, дальнотрящего, вывести. Где застигнет ночь, там и поночует без горюшка. Ну и в этот раз... Разживил огонь, занес лапнику — сладко дремлет-спит. И вот на свету кто-то как зыкнет ему по-над самым-то ухом:

— Доброе утро, товарищ!

Прянул он, зыкнул округ себя, кинул взгляд по верхам — вот оно, вотушки!.. Здоровенная посеребренная башка с соседней сосны на него покушается. Хайло округлила и говорит:

— Сегодня понедельник, шестнадцатое число...

Э-эхх! Как взвинтил он, дитенок природы, от этого места, как набрал лосью гонную скорость — докуда не

задохнулся, родненькой. Пал плашмя, поприслушался, а башка его издали настигает:

— Руки вверх! Вверх, не задерживая дыхания!
Опять помчал.

— На месте стой!! — орет башка. — Переходите к водным процедурам!..

А у него и без того мокро.

Версты через две на геологов набежал. На базу свою возвращались. Пал на единоплеменные человеческие руки, нос синюхой взялся, глаза в подворотню ушли, зубы дробь секут.

— Помирать буду, — мнит и твердит. — Хозяин Тайги самолично привиделся. Голова блесит, рот — как колодец. «Руки вверх и кончай дыхание!» — сказал.

Дедко выкроил малую паузу для сопутствующего хохотка.

— Темнишь, тезка! — губит бесцеремонно дедову байку владелец транзистора. — Почитывали! У них медведь — хозяин, а ты радиолокол приспособил...

Стервенеет у бахаря борода:

— Ему про Фому, а он про Ерему! К чему и сказывалось, что не медведь, а геолог. Сменились, парень, хозяева!

— А верно, нет, — кто-то самый молоденький медведем опять же интересуется, — верно, нет, болтают, будто женщин в берлоги они утаскивают? Ягодниц. Врут или действительно случаи были?

— Утаскивают, — обогрел любопытного отрока взглядом дедок. — В последние годы пошто-то кавказок бакинских облюбовали, татарок казанских, башкирок, волжанок. Умыкнул в тайгу и смакует там обоюдный мед. Малинушка!..

Дед опять добродушно поводит назревшей громадой мясистого носа, ищет, кто бы дополнил вопрос. А ребята молчат. Сторожатся «покупки». От такого таежного доки всего ожидай. Вишь, буравит глазами!..

— Вы тоже себе умыкнете, — раскрывается дед. — Похолостякуете по тайге лет пяток, в отпуск съездите и тоже котору-нибудь длинноногую да скуластенькую... В берлогу себе. Не зазря же горшки да соски на Север сплавляют. Хе-хе-хе-хе...

Распространился смешок по окружности. У «Дуняшки с Песней» губы вовсе вналив пошли. Омедовели.

И никто пока не заметил, никому невдомек, что караулит досужую эту легкую беседу стороннее чуждое ухо. Он ревниво прислушиваясь теперь, старый наш Капитан. Все, что молвится нового, непривычного о его Реке, все, что касается Ее дел и Ее берегов — будто бы наждачком по предсердию проведено, будто память твою раздевают. Вот и это — про горшочки да соски. Правильно, погрузили. Как предметы первой необходимости погрузили.

...Иное нейтральное, совсем безобидное слово настолько прострельным да метким случается, что с подлета уже сшибет с него капитанскую форменную фуражку и унесет, унесет ее на отлогие берега далекого прошлого, на золотые пески Первореченьки. Вот и кличут уже «пескарем» Капитана, и всего-то шестой ему год.

Они струятся — не иссыкают, не иссыхают в родниках памяти реки нашего детства. Прибегали на водопой крутогривые, огнематые кони-радуги, как прирученные, опускали сопла в Светлую заводь. Брызги звонкими были, стрижи — остроклювыми... Восемь кож сменишь, искупайся потом в четырех океанах, явись лысина — божья пашенка, не избыть тебе, не исчувствовать знобной оторопи, теплой неги своей Первореченьки.

«Пескарем» зовут... Доколь солнышко, доколь не усядутся по отмелям сонные чайки, противоборствуют теплым струям острия твоих худеньких плеч, с облезлой чешуйчатой шкуркой, наливаются силой, сноровкою завязь мускулов. Поскокнув потом на одной ноге, стряхнешь воду из уха. Жадно ешь потом, сладко спишь потом... Спишь, пока не окличут, не вспугнут в новом утре солнечную твою дремотку голоса легкокрылых артельщиц — чаек. Мамкин блин — и с разгону опять в свою Первореченьку!

У Капитана она называется Томь. Томит память. Светло, сладко и... вспуганно.

Ходили по ней с кудрявыми дымными гривами купеческие пароходы-колесники: «Святой Николай», «Андрей Первозванный», другие посудины, снабженные именами из «Житий святых и угодников». Пароход уж терялся в излучах, скрывался по трубы из виду, а дымное облако, уменьшаясь в далекой дали до бараньей овчинки, до грачиного крылышка, еще долго маячило по горизонту над излучинами неспешной Томи.

Забросят девчонки венок из жарков — алеет, алеет он на реке и избудется.

Обронят пролетные лебеди перо на волну — белест, белест оно и избудется.

«Куда течешь, Реченька?» — допрашивают нескончаемую подвижку воды пригрустнувшие ребячьи глаза.

Отец служил на ней бакенщиком. Заправляя фонари и лампешки керосином, зажигал по фарватеру добрые огоньки, «глаза» корабля зажигал. Он охотно садил огольцев своих в лодку, и не уставала тогда лепетунья-река все являть и являть намагниченным взорам ребят свои сокровенные тайны.

Дико высится темный пахучий бор, липкой, светлой слезою заплакавший полдню в ладони. Овевают его богатырскую крепь летние ветерки. Ластятся к «пескариному» носу, пробираются в грудь, пахнут земляничной истомой, ремезиными гнездами, молодыми козлятами. Чу! неожиданно прохлада дыхание твое просквозила... Сразу Бабой. Ягой и Бессмертным Кощеем повеяло. Свежий оползень... Не то корни лесные из яра торчат, не то бивни безгласного мамонта из суглинков повылезли. Сосна-выворотень... Ххе! Корова на задних копытах!.. Сколько чудес и сколько их впереди?.. «Куда течешь, Реченька?» — пронизывают журавлиную даль взыскующие новизны и познания ребячьи глаза.

— В Обь твоя речка падает, — пояснял отец. — Обь твоей Томи вроде нянька. Сестра старшая. Ухватывает ее за голубой локоток и ведет с собой. Тыщи верст бегут одноструйно, аж до самых студеных льдов пробираются. Тамо нерпа-зверь поджидает их. И белуха-зверь повстречает их. И медведь морской, белокипенный. Здеся — ты искупнешься, а на том конце — медвежата. Один нос только черный у них...

— Нос моют?

— Обязательно. Не в пример тебе...

Были сны. Много раз во сне бежит по зыби, не тонет, сминает солнечных зайчиков на волнах голубая девчушка с оттопыренным голубым локотком. Убегает она без оглядки к студеному дальнему морю. Там, на кромке иззубренной льдины, стоят и поводят блестящею смолкой носов белые, белые медвежонки. Ждут девчонку. Его Первореченьку. Окликал во сне, ревновал, сквозь дремотку страдал.

Отца через несколько лет стали звать на Томи стар-

шиною по обстановке, а подросший ревнивец принял от него фонари и лампешки.

— Ма-а-азы! — дразнит «Дуняшку с Песней» скосотившийся до непохожести старожитель тайги. — Против божьей коровки той мазью напиваться, а не против сибирского комара. Он, соколик ты наш удалый, в настырности жисть не щадит. С чертом скрещенный! На Север, ежели рискуешь, не мазь волоки, а упрямота подзапасай. Пароходы-то, парень, туда и обратно ходят. Самолеты летают... — ужаливает он невзлюбившегося «Дуняшку». Про себя дед, должно, еще и не так честит парня: «Олух с песней. Балбес. Тезку нашел, судорога...»

Парни плывут туда, в молодое и легендарное королевство, где, по слухам, геологи, их современники-сверстники, умываются чистой нефтью из свежепробуренных скважин, коренным и попутным газом просушивают носовые платки и портянки, где поют-распевают свои забавные и гордые песни:

Мы — короли, мы — нефтяные короли!
Умрем — оставим королевичам наследство.
А нам в берлоге танцевать,
А нам медведиц целовать,
Мы — короли! И это наше королевство.

Неведомо отчего, а только славно на душе у ребят. Быть и им внедолге «королями». За тем и плывут. Притом дедка такой пройдисветный, веселый сопутствует.

— Вы на Реку смотрите, — присоветывает парням старожитель. — На Реку. Она, работяга, без слов и речей свой текущий момент обрисует. Государственная Река на сегодняшний день. Боевая жила этого организма, — обводит дедок забережные дали. — Все письма на Ней, все тезисы!

Смотрят на Реку парни.

Смотрит на Реку Старый наш Капитан.

Сколько воды... не для словца, а воистину! Сколько воды утекло с того ясного утра, по которому он, юн да зелен, ступил впервые на палубу корабля?!!

«Куда течешь, Реченька?»

Было в ту пору ему шестнадцать волшебных годков, шестнадцать — как зоревые, наливные, росные яблочки.

Раздавались еще и вширь, и вразверт его дюжие плечи, каменели булыжины мускулов, пробивался нецелованный сахарный ус.

Восемнадцать... Деятнадцать...

Любили тогда на Реке эту бравую братву: «Слово матрос — мужского рода, завлекательного падежа, ветереного склонения». Плачут, бывало, клянут, тоскуют, поют пристанские береговые девчата:

Полюбила я матроса —
Утопиться мне в реке:
У матроса папираса,
Якоречек на руке.

Река была разная. Разноликая. В акватории, где целовали матроса азиатские знойные губы тобольской татарки, Река представляла в видениях татаркой. Из глубины подсвеченных месяцем вод являлась матросу заплаканная Фатима, казалось, шептала ему, отрекаясь сама от себя, горячие, сумасшедшенькие слова:

— Матроса, матроса!.. Озябло... Горит мое сердце! Целуй мое сердце, Володя-матрос!

Река в забытии утаенно и сладко стонала.

Текла она дальше.

Между отягченных небитою шишкой мансийских кедровников Река представлялась мансийкой — тайноглазой и гибкой охотницей:

— Матроса, матроса!.. Возьми мое сердце! Возьми — или я скормлю его соболю!..

В тундре река становилась скуластенькой ненкой. Наивной. Молоденькой. Бестелесной в широком покрове мехов:

— Матроса, матроса!.. Оленя мой белый! Умчи далеко... Умчи, унеси мое сердце!

Огнезубым, зазывистым, с намагниченным сахарным усом жил в девятнадцать своих невозвратных сегодняшней наш Капитан.

Самых лучших и самых румяных девчат увозили матросы с собой. На зимние квартиры. Вступали в «законный». Нарожденные матросята были отменно живучи и по первому зубу уже щипали папоньку за зеленый его якорек и просились на речку.

Ходил сегодняшней наш Капитан на пассажирском пароходе «Жан Жорес».

В тридцатом году, двадцатипятилетним молодцем, окончил он речной техникум, исплавал младшие команд-

ные должности и вот уже тридцать семь лет капитанствует на этой Реке. Ныне каждый ее крутояр, островок, островочек, протока, излучина, оползень много тщательней карт прорисованы в памяти. «Главной извилиной в череде» называет он Реку. Грусть и радость его, праздник-будни его, деловые часы и бессонница — даже вовсе окольный иной интерес — все стекается к Ней, все вмещает Она.

Шестерых братьев, шестерых сыновей пересадил старый бакенщик из уютной лодчонки своей на высокие капитанские мостики. Отец родной и власть Советская. Над двумя фамильными капитанами приспустили корабли флаги, один по преклонному возрасту списан на берег, а трое, встречаясь и расходясь на просторной могучей Оби, окликают брат брата, капитан капитана световой отмашкой, гудками и вымпелами. Передав погодившемуся «салажонку» штурвал, оставляют братаны рубки, крепко тискают и вздымают в пожатии свои ладони, и всегда-то в такие минуты вспоминается им домик над Томью, голоса легкокрылых чаек, матушка, смазывающая гусиным перышком их свирепые, застарелые цыпки, вспоминаются пропахшие керосином бакенщикоусы, золотые пески Первореченьки.

Многое сберегается в памяти.

Первые капитанские годы... Река была поделена на лоцманские участки, и на каждом из них корабли проводили лоцманы. Поднимался на мостик неприкасаемый дядя с соломинкой, застрявшей в похмельных усах, и тогда уж не капитан, а он, тот дядя, командовал кораблем.

— На церкву правься. Видишь, галка сидит на кресте? Кривая ишо на один глаз...

Правился молодой капитан на церкву. Тщетно в бинокль кривую разыскивал галку.

— Теперь на тот оползень вцеливай. Где зелененька ящерка греется...

Вцеливал на тот оползень...

В особо рискованных местах, на перекатах и мелководье, отбирали, случалось, лоцманы у капитанов штурвалы, и тогда командир корабля чувствовал себя чем-то вроде испуганной курицы. Достоверных, надежных карт не имелось, фарватер по каждой весне изменялся — неожиданные мели, пески-перекаты, а жмоты-лоцманы отнюдь не торопились выдавать молодым капитанам

профессиональных своих секретов. Не только что мели и прочие каверзы, козни, подвохи речные; но даже названия прибрежных селений, бывало, утаивали.

— Какая, дядя, деревня?

— Деревянная,— приготовлен ответ у лоцмана.

— А это какая?

— Береговая...

Особо назойливых и неотступных побивали советом:

— Покличь попа в «матюгальник» да расспроси. Евон приход — не мой.

Матюгальником на Реке назывался жестяной покрашенный рупор. Ох уж этот прибор-инструмент! Признитесь, и вздрогнешь. Вместе с первой приличной сибирской посудиною появился он на Реке, с основания сибирского флота безраздельно властвовала его нецензурная пасть над сходнями, над палубами, над пристанями. Капитан, отдавая команду, набирал в свою грудь резервного воздуха, и упаси бог, если у замешкавшегося матроса или сплывавшей команды не сразу дельно все получалось. Дополнительные разъяснения сопровождались таким звонкоковым, густотертым «голословием», под которое мигом все поправлялось, налаживалось, горело и плавилось... Бодрела и «умнела» команда, распутывались узлы, растворялись заторы и пробки, снимался с мели корабль, и не болели гипертонией и желчной болезнью отцы-капитаны.

Вспоминается история одного боцмана, самородка, виртуоза и кладезя в смысле «богов с боженятами». Всего-то два слова команды отдать, а как предварит, как подступит! Профсоюз поставил штрафовать его за каждое нецензурное ругательство на один рубль. В первую же вахту он спустил две получки. Во вторую достигло на полнавигации. В третью боцман перехитрил профсоюз. Прежде чем поднести «матюгальник» к устам, он выделял всякие безголосые вскидки, целой серией выполнял несказуемые вольные упражнения, и уж после того к нему возвращался дар речи.

— Трави носовой! — плаксиво и изобиженно, общипанно и обстриженно произносил он бескрылую, куценькую команду.

На реке, как нигде, живуча «словинка», живучи обычай, традиция. Мучились с жестяным «пережитком», пока не явился взамен микрофон. Пришлось кой-каким излагать психику: регулировать гром-

кость голоса, вычищать зык и рык из родимых привычных команд, цитировать в глухом одиночестве приемлемую для современного пассажира стерильную расстановочку слов. Ибо стоит пустить в микрофон хотя б одного «соловья» — плывущие вздрагивают. На всех палубах, в каждой каюте — акустика... Если повнимательней вслушаться в команды нашего Капитана, мы тотчас уследим в них слова-довески. Это постоянное — «будьте любезны».

— Будьте любезны... Отдать носовой!! — упрасивает он первогодка-матроса.

Явное следствие микрофонной переподготовки.

Смотрят на Реку парни.

Смотрит на Реку наш Капитан.

«Все письма на ней, все тезисы. Боевая жила этого организма...» — стережет его ухо старожителивы слова. Гордынюшка-дед! Комара и того в обиду не даст. С чертом, видишь ли, скрещенный!

Дизель-электроход оставляет по борту суденышко какого-то нефтяного торгового урса. Товары мирского широкого потребления плавит суденышко. В свое время по памяти бы обревизовал Капитан «торгаша». Соль, чай, сахар, спички, табак, сушка-крендель, дробь, порох, капканы, масло, мука, ситчик, спиртшко — вот закадычный тот перечень, которым лет десять назад грузились для Севера трюмы. Ну, нитка, иголка еще... Сегодня сгружают суденышки урсов на теплом медвежьем следу ковры, телевизоры, книги, заграничную мебель, легковые автомобили, транзисторы, причуды своей и наносной импортной моды, косметику, витамины... и эти... действительно, соски, горшочки... И всего этого пока еще мало и мало. Коротка навигация, и не очень-то расторопно сибирское урсовское «купечество».

Идут нефтеналивные баржи. Уважительно смотрит Старый Капитан на их низенькие борта, где чуть ли не полуметровыми буквами оттрафаречено — «огнеопасно». Такой «синичке» не дивно и море поджечь.

— Фартовые бороды все натворили... Геологи, — кивает на баржи дедок. — Не они бы — лось грызи осину, а медведь — малину. Дичала бы эта тайга и болотина до второго пришествия. Зверя вот только вспугнули...

«Если бы одного зверя... Если бы зверя...» — усмехается Капитан, вспоминая свою прошлогоднюю оторопь. От обыкновенного тепловозного гудка шарахнулся. Случилось это чуть ниже Тобольска. Первым рейсом в ту навигацию шел. Знал, читал, не однажды по радио слушал — пробивается на Север железная дорога, завтрашняя работающая подружка Реки. Что — читал?! Мачты оберегал, проплывая под новым железнодорожным иртышским мостом. И, однако же, так неожиданно рявкнул по борту гудок, что, ей-богу, пружины в коленках ослабли. Чуть бинокль из рук не скользнул. Абортаж померещился. Вот так каждую новую навигацию и озирайся. Не кури на воде, поезда приветствуй... Впрочем, этот курьез — не курьез. Для усмешечки. А вспомнешь вдруг да оглянешься...

Война. На судне в составе команды девяносто процентов женщин. Сарафан вместо флага вывешивай. Исказилось и слово «матрос». Женский род обозначило. Они же — грузчики и кочегары и прочие службы. Беззаветные бабоньки — вспоминает сегодня их Старый наш Капитан. Сейчас от Омска до Салехарда одиннадцать суток расчетного ходу. В ту пору, при всяком везении и мыслимом благополучии, отсчитывали двадцать два календарных числа. Угля не хватало, дров на пристанях не было — шли «на подножном корму». Выбиралась на берегу роща, мобилизовывались команда и пассажиры, в двадцать пять пил сводили ту рощу с лица земли, раскряжевывали на долготье и в плечевую по зыбким трапам переносили кряжи на палубу. На ходу и разделявали. До другой рощи. Рычали и злобились пилы, с накряком ухали колуны, звенели железные клинья — корабль-батюшка жил. Только в один конец рейс пожирал по две с половиной тысячи кубометров дров. Беззаветные бабоньки!

Одной осенью ледостав приморозил корабль в пути. На буксире две баржи. На баржах три тысячи тонн — консервы и рыба. На самом корабле семьсот человек мобилизованных северян. Вот тогда-то без всяких мандатов и сделался наш Капитан чрезвычайным комиссаром пустынной округи. Сто подвод было собрано им вокруг замерзшего корабля, чтобы вывезти мобилизованных в Омск. Всю ту зиму один за другим приземлялись вприпрыжку к баржам «дугласы», вывозили на транссибирскую магистраль фронтовые консервы и рыбу. Вот тогда

воля, чувство единоличной, единоначальной ответственности пособили ему одолеть брюшной тиф. Перемог на ногах. Кто не верит — пусть примет за сказку. Жила была, мол, кишечная палочка и... Капитан. Отстреливался от волков. Серые «рыбаки» из окрестных лесов частенько наведывались к барже с осетриной. Спал в антрактах между волчьими концертами и ревом сныжавшихся «дугласов».

Дизель-электроход разминулся с «германцем». Так именуется наш Капитан суда, построенные на верфях ГДР.

А есть на Реке еще «венгры».

И есть на Реке еще «финны».

«Румыны» есть.

Сойдутся да заголосят — «интернационал»!

Но независимо от того живо и браво в преданиях Реки доблестное сказание о первоявленной домодевной посудине, вскоптившей во время оно зевластыми трубами непорочные небеса Прииртышья. Не без помпы и не без загада купцы нарекли корабель «Основателем». Основатель флота сибирского. С размахом замысливалось! Да поднакостил делу благому тюменский монах-богомаз. Или был он похмелен зело, или глазом не очень тверд — здесь предание раздваивается, но взамен десяти букв сумел разместить только шесть: «ОС-НОВА...». Далее писать стало некуда. Острие носа... На второй борт разворачивать? Некогда... Большая вода не ждала. Запыхтела «Основа» Турой да Тоболом, устремляясь проникнуть в Иртыш. Паниковали, не дюжили православные старушонки в прибрежных селениях, стремглав укрывались в свои потаенки, в запечья, открещиваясь от зыковатого, дикого, железного зверогласия.

Лиха беда начало.

Купцы видели: не взять, не добыть им Севера, не приголубить по желань-аппетиту его отдаленных богатств без достойного флота. Разливанное благопоспешество вод, тысячеверстные туземные палестины по их берегам, «царская» рыбка — осетр, «царский» зверь — горностаюшка, златобархатный соболек, тундровая собачка — песец — все почти задарма: нитка бисеру, медна бляшечка. Некогда, брат во христе, остальные буквы дописывать.

Становился сибирский купеческий флот.

Позднее томская купчиха Фелицата Корнилова собственноручно навесит пощечин непотрафившему капитану. Матушка-судовладелица! У капитана седая была борода, и в нее хоронились бессильные, стыдные слезы.

Колчаковщина оставила на пристанях кладбищенскую тишину. Остовы кораблей. Случившиеся кое-где в «живых» даже гудели-то с «насморком». От «лошадиных сил» — одно звание, борты и трубы исклеваны пулями, на палубах порезвились «дюймовые». Не по разу горели посудины. У разбитых корыт... Сам Ильич обратился в ту пору к водникам.

На сибирских пристанях обычные недели сменились «неделями трудового фронта».

Уже весной голодного 1920 года с Обь-Иртышья по адресу: «МОСКВА. ПРОЛЕТАРСКИМ ДЕТЯМ» — было отправлено сорок две тысячи пудов осетрины и нельмы.

И зажигал уж в тот год маленький бакеншик, старый наш Капитан, золотые огни на своей Первореченьке.

...Сейчас Капитан командует «чехом».

Вот так и заселялась Река — от «Основы» и до речного интернационала.

Корабли-«европейцы» давно не диковина на Ее многоводном просторщике. Пол-Европы в регистры свои прописала. Назвала легендарными именами нестигаемых генералов, звездными именами первопроходцев космоса, полюбились, по нраву пришлось невоспетым водам Ее композиторы: «Алябьев», «Мусоргский», «Римский-Корсаков», «Балакирев» — экая «могучая кучка» гудит-возгудает на волюшке. На две тысячи семьсот сорок один километр, от Омска до Салехарда, растянулась их белая лебединая стая. На периферийных линиях сии маститые магистральные витязи Реки встречаются с «меньшими» своими братьями — нумерными ОМ, ласково прозванными на берегах этих «омьями», нумерными МО — соответственно «мошками». «Мошка ли, блошка — везет понемножку». Запривередничай летняя авиационная погода, и — муравейниками кишат пристани. Из всех окрестных глухих урманов, из комариных царств, из «перспективных на поиск» тундр стекаются на огоньки дебаркадеров взыскующие Крыма курортники, позеленевшие от формул заочники, отцы семейств с таежными выводами, командированный люд, разоча-

рованный люд... Встречным потоком сбегает на берег студенческие отряды, с засученными уже рукавами, столичные закройщики и парикмахеры, которым осталось до пенсии год-полтора, вездеходы-кавказцы с ходоковыми «субтропиками» для торгов, сезонники на пути-ну, краеведы, разыскивающие кого-то по кладбищенским надписям.

Франтовато ступают на сушу отбившие вахту молодые матросы — воспитанники мореходных училищ, проходящие практику под началом нашего Капитана. Эти зовут его «дедом». Одного видел «дед» со скуластой, должно быть, башкирочкой. Уфу расхваливала. Другой в чем-то клялся и присягал черноглазой кавказке с Горно-Правдинской пристани. Хохотала и сдерживала третьего за пуговку с якорьком затронутая до алых румянцев чувашенка. Прочие нации... «Это в скольких же видах-обличьях должна ребятишкам являться Река?» — вспоминает свою холостяцкую пору седой корабельщик — курсантский кумир.

Украинская мова, белорусский распев, казанские «нефтяные» татары, мордвины, марийцы, домашние заселенцы Реки: ханты, манси, селькупы, коми и ненцы — чем не столпотворение, не «смешение языков»? Вот он что понаделал-затеял, бородастый тот парень, товарищ геолог!

Геолог?.. О нем-то особо. О нем-то высоко!

Щедрый бродяга века с лосиною жилой в ногах, с такой же защобной судьбой. Нет, не ты ему, сердобольная сибирячка, краюшку хлеба на участь бродяжью по старообычаю, а он тебе, он! Миллиардами ахает! Нефть. Газ. Золотое дно Родины будто бороною чует.

Геолог...

Слово, неведомое ни хантыйскому, ни мансийскому, ни ненецкому языку, — сегодня это слово поется, рифмуется, на алых цветет полотнищах, звенит из колоколов репродукторов, идет в набор, отстукивается телеграфами, заселяется в самых дальних, глубинных чумах и стойбищах. Геолог. Нефть. Газ. Слова эти стали быденными в этих широтах, как извечные, каждодневные: хлеб и вода. Он, геолог, свой в тайге. Он обжил тундру. Он возмутил реки. Он заварил здесь Мировую Обскую «уху».

«Пожалте к моему Шалашу! К моему Костру, современники!!»

Лось грызи осину,
А медведь малину...—

повторяет случившийся ненароком «стишок» всей тайги старожитель и победно при этом глядит на парней. Так глядит, словно он-то и есть тот, из сказки петух, что вдруг взял да и снес им в ладонь золотое яичко. А что? Его край! Его берега.

Над Рекой, где-то вровень с гусиными кличами, переkreшиваются чашами изоляторов стальные опоры, провисают провода высокого напряжения. В прошлую навигацию этого не было. Было кумачовое «ЛЭП — КАК ХЛЕБ!» и голые берега.

А сейчас паучком копошится на вязи опор поднебесная чья-то судьба, комсомольская чья-то путевка. На семь ветров, на самые чистые свежие воздушы выписана.

— Погадай ему, — зашепел по карманам дедок, заприметив цыганку с колодой в руках, с шестилетком у юбки.

— Кому? — послунявила пальцы цыганка.

— Во-о-он! К божьему ушку взбирается, — указывает на верхолаза дедок и протягивает подержанную рублевку.

Гадалка, как и во все века, — оптимистка:

— Сядет он, сокол, не на голый кол. Сядет он, сокол, за свадебный стол... Два пульса горячих о нем содрогаются. Сердешный пульс на бело плечико урониться его созывает, казенный пульс железы к сердцу ему несет... Ордена, надо быть, — поясняет гадалка.

— Грамотная оракулка, — подмигивает ребятам дедок.

— Мой, шалопутный, тоже где-нибудь тут, — зашвыркала носом цыганка. — Разыскивать еду. Спал — и нефть эту саму во сне открывал...

— А тпррру... А аллюру не вскрикивал? — раскатывается старожил.

— Возьми свой постылый рупы! — взвинчивается цыганка. — Думала, ты пожилой гражданин, а ты — изгалятель!.. Где он, рупь?

Рубль между тем наглухо запропастился в бесчисленных юбках.

— Стихни. Утихомирись, — гладит повинный дедок цыганенкову голову. — Купи ему шоколатку в буфете. Лампасеек ли... Кем будешь — вырастешь? — ластится дед к цыганенку.

— Капитаном. Как дяденька,— указывает на старого корабельщика, выдает его присутствие востроглазый малыш.

Старожитель оглядывается и сникает.

«В меру ли возносил... возносился? — перебирает он в памяти свое толковище-беседование.— Бывалый же человек рядом слушал стоял. Испожизненный здешний речник...»

— Засиделся я с вами,— дарит дед по улыбке парням.— Вы на Реку смотрите... Впечатляйте носы! — словно бы расстилает он широким взмахом на их погляденье грядущие воды Ее и Ее берега.

Разостлал — и сам первый в тревогу ударился:

— Это что?.. Ребятишки... Капитан... У вас глаз потверже...

Под обрывистым глинистым крутояром, со следами паводковых недавних обвалов, горел высокий костер, а поодаль некие существа, похожие на рыжие пни, сорвавшиеся со своих корневищ, заделывали бесноватый танец. Среди этих невнятных кикимор просматривался человек. Похоже, девушка. Похоже, косынкой корабль призывала.

Место было глухое, от сел, пристаней удаленное — Капитан заспешил в рубку. Корабль сбавил скорость до самого малого и потихоньку начал подваливать к берегу. Пассажиры заполнили борт, волновались, гадали.

— Закончат вот танец, зажарят на этом костре, и прощай, молодость,— предсказал «Дуняшка», когда среди пляшущих и дико взывающих леших была явно опознана девушка.

По ее знаку танец померк. «Пни» присели, затем прилегли и начали выползать из своей рыжеватой коры. Ногами вперед... Обыкновенные ребятишки, девчонки. Целый отряд. Теперь они вместе с вожатой сбежали песчаной косой до урезу воды, махали, кто только что содранной с себя шкурой, кто — просто руками, восторженно голосили:

— От-кры-тье-е! От-кры-тье-е!

Близко к берегу Капитан не рискнул. Еще мель поцелуешь. Спустили шлюпку. Вскоре на корабле появилась вожатая — молодая хантыйка с возбужденной, горластой оравой своих следопытов. Доставили и «открытие» — тяжеленный, целехонький, без единой зазубринки-трещинки мамонтов бивень.

— Семи кораблям стреляла, и ни один не остановился,— оправдывалась перед Капитаном девушка.— Последний патрон израсходовала,— открывала она на погляд переломку-двустволку.— Говорю тогда: «Разводите, ребята, костер, натягивайте на себя мешки и пляшите. Корабль удивится и остановится».

— Там... Если копать... Если дальше копаться... Там, может, само мясо мамонтово лежит... Замороженное! — азартно выкрикивали следопыты, сверкая чумазыми рожицами.

— Давайте выкопаем,— расплылась старожилева борода.— На коклетки пропустим, съедим по коклетке — сразу мамонтовая сила прибудет.

Черноволосый коротышок между тем натянул на себя бумажный, из-под цемента, мешок, упрятался с головой и конечностями в его полую емкость, опять превратился в «пень». В мешке только прорезь для глаз, черта носа и рта, устрашительные усы прорисованы углем.

— Это я придумал,— глуховато доносится из мешка.— От комаров и от оводов...

— Как же ты пылью... цементом не задохнулся, эдак лихо отплясывая? — присел против прорезей дед.

— Мы их выполоскали,— бухтело в мешке.

Пассажиры шупали бивень.

Солнце в такую пору долго высматривает-выскивает над горизонтом укромную западенку. Схорониться на пару часов, подремать. На одной щечке спит в эту пору солнце. Второй стережется. Не проспять — петухов разбудить, шмелю крылышки обсушить, елке «свечечку» обогреть.

Оттого-то и белые ночи. Оттого на Реке и дивы...

Начинаются дивы всегда на изгарном закате, когда солнце — не солнышко уж, а всего от него косачинная алая бровь над хребтами Уральскими остается. Вот и она потихоньку смигнулась, упряталась. Над незабудковым простором воды распростерлось — вдали, впереди, между двух берегов — протяженное узкое облачко.

Солнце да облака, они — старые волхвователи, давние чудотворцы... Подожгло это облачко схоронившейся косачиною бровью, осияло недремною солнцевой щечкой — и взгорело нещадным румянцем, вспылало, оплавилось, до самой последней кудряшки, до самого

тонкого перышка пронзилось закатом надречное длинное облачко.

Капитан перед вахтой обходит корабль.

Ночью вахты несут капитаны.

На корме собралось население от трех до семи. Тут же и цыганенок.

— Трави носовой! — отдает он команду и вослед ущемляет татарчонку-ровеснику нос.

Тот не скулит, не робеет. В свою очередь зажимает меж пальцев цыганское нюхальце и тоже по-уставному командует:

— Отдать носовой!

— Трррави носовой! — гундосит цыган.

— Отдать носовой! — пыхтит крепышок татарчонок.

Теперь до чьих-нибудь слез не расстанутся.

Самые малые, прильнув к зарешеченному барьеру, ограждающему борты, следят, не смигнув, подкрашенное закатом неистовство струй, выпирающих из-под винта.

— Как каша кипит, — находит сравнение один.

— Каша белая. Скажи, как кисель, — поправляет второй.

Гладит, походя, ребячьи головки наш Капитан.

Тихо, тихо смеркается.

Красные бакены, белые бакены — каждый сам по себе умница и «колдун». Сам определяет: светло на Реке или уже потемнело. Явись туман или ранние, от обложных туч, сумерки — каждый сам себя зажигает, сам по себе горит. Фотоэлемент. «Где ты, где, семирадужный тятенькин керосин? С Кавказа везли, а по нефти плавали... Дивы!»

Зажигает Река красные и зеленые «правила».

Капитану на вахту.

Ночью вахты несут капитаны.

Есть ли запах у древностей?

Капитан уверен, что сейчас ему «мамонтом» пахнет. Бивень сложен на нижнюю палубу, а на мостике, будьте любезны, запах пронзает, навевает.

«Вот ископаемый! — размышляет-беседует сам с собой Капитан. — Через миллионы лет клык свой явил! И ни чатинки. Ни трещинки, ни зазубринки...»

Трогает кончиком языка свой подъеденный зуб: «Не болит, а шатается. Живьем последние растеряешь. Век не вытерпливают».

Вспомнил «творческого индивидуума»:

«В которой каюте он? В двадцать восьмой, кажется. Как это он о коротком знакомстве?.. «В зубки посмотреть ближнему своему». Сынишку везет рекой подышать. Все с блокнотом подстраивался. «Узелки биографии» интересуют. «Взлеты, шлепки и падения». «Очерк о вас написать попытаюсь». Был таковой обо мне. Был, дорогой. «Душа Иртыша» назывался. Ду-ша Ир-ты-ша... От мамонта — клык, от меня — очерк...»

Капитан усмехается:

«Индивидуум», действительно! Стопку выпьет, а куражу, словотворчества!.. «Пить так пить! Чтобы дым за кормой шел!» — подстерегает очередную чью-нибудь занятую биографию... На полпути заявляется: «Примите шефство над творчеством, Капитан. Кредитуйте до Салехарда полсотни. Проконьячился нерасчетливо. Потомка кормить не на что».

— А дым за кормой, будьте любезны, окончился?.. — Ну вот, дорогой. Дам буфетчице я указание. Парнишку твоего пусть кормит под пряжку, а тебя, будьте любезны, на рубль в сутки. Без «дыму». Эдак и до «голосов» додымляются. Русалки за бортом скатерти им растилают. Бывалое дело на кораблях...

Третий день теперь на рубле плывет.

На крутом повороте Реки Капитан забывает про «двадцать восьмую», настороженно всматривается в огни, в огоньки. Дизель-электроход оставляет по борту сухогрузные караваны барж. Кирпич, цемент, блоки домов, щебень, стекло, арматура — плывут караванами новые города и поселки. На Север! На Север! Скорее на Север!.. Солнышко на одной щечке спит — Река не спит. От льдов и до новых льдов — непрерывный рабочий день. «Боевая жила этого организма».

«Индивидуум», тоже на Север. «Языковый котел», говорит, «Современник в ассортименте»... Как это он портрет мой описывал? Вслух, под собственную диктовку в блокнот заносил. Не поступит ли с моей стороны возражений. «Умеренно грузен. Стрижен под «бокс». Фасад золотых зубов. Румян, но не склеротически. Не скле-ро-ти-чес-ки?..

Фу! Опять Капитанушке мамонтом напахнуло. Запах необъясним, но, убей, истинно: мамонтом.

«Вот ископаемый! Хоть на борт сих останков не допускай. Как-то раз позвонок его вез — то же само о

вечности думалось. О тлении, нетлении и бренности... Через миллионы лет, будьте любезны, бивнем своим достигает!

Может, добавить в «двадцать восьмую» рубль? До Салехарда еще трое суток без мала плыть. Замрет. Вдохновения после не соберет. Кто их раскусит, «творческих»? На что упирает! И Ной, дескать, пьян бывал, а корабль-ковчег рассчитал. Откуда и капитаны пошли...

До оголенных чувств моих все добирался. Каковы они, неподмесно-пронзительные, в служебно-житейских победах и передрягах. Подай ему их в первородстве и свежести. Хе, парень. Сам оголяйся, если сумеешь. Душа не карман — не выворишь. Не побренчишь мелочью... Записал, что румянец не склеротический, и шуруй в отдел кадров. Там — анкета, там наградные листы. С последнего, свежего, и перебели. «Старый Капитан — имярек... Тысяча девятьсот шестого года рождения. На речном транспорте работает с 1920 года. В том числе тридцать пять лет (теперь, считай, сорок) на должности капитана. В течение двадцати лет (теперь, считай, двадцати пяти) назначается старшим капитаном по отстою флота...»

«Вот, к примеру, я втайне цыганом в насмешку себя называю,— продолжает негласно беседовать с двадцать восьмью каютою наш Капитан.— Цыганом! А к чему, почему — супруге на мягкой подушке не выдамся. У нее поход в гости спланирован или билеты на знаменитость заказаны, а ее благоверному в тот самый час на Иртыш записпичило. И сбегу! Выходные дни, а я — на Иртыш. Старший капитан по отстою флота. До трехсот пятидесяти кораблей зимуют в порту... Не пройдусь вокруг них, и насмарку мои выходные. Насмарку! Неужможно тебе, неугревню, знаменитость не в знаменитость, на домашних досада никчемная, кровь в тебе вроде недо-соленная, сна нет... И тогда привстаю потихоньку, как тот беззаветный цыган из рассказов отца.

Конокрад семикаторжный жил. Добрую лошадь заводит — седалищный нерв у него вскукарекает, шпоры из босых пяток растут. Полгода будет охотиться, а обра-тает ее, ненаглядушку. Со временем разбогател. Лоша-дей, что у меня кораблей. Косяки. Пастухов завел, на всех ярмарках торговал, имя его в каждой драной цыганской кибитке славится, а спать, будьте любезны, не может. Не может — и баста! Снимает тогда среди

ночи уздечку с гвоздя, весит на локоть и к родимому своему табуну. Яко тать, тень, старый волк... Часами скрадывает себя, чтоб пастухов провести. В росе вымокнет, в конском горячем навозе извазгается, а само-лучшего рысака оголубит. Свисту тут, вопля! Восторгу, гиканья!.. Круга в два обметелит, освищет табун на «украденном» жеребце и из ручек в ручки его пастухам. «Те-те-ри!» После этого, будьте любезны, уснет. Вот такая зараза и у меня. Только что корабли не ворую. Начинает весенний лед созреть — тут и вовсе петуший сон. Почему, может, и румянец не склеротический.

«Чувства»? Оголенные и пронзительные? В первородстве и свежести?.. Случалось, парень, оно и такое. Случается... Иногда сам не подозреваешь, что соседней секундой наскажется. Не ум-мудрец, не язык-блудня, а именно чувство слова твои составляет.

Орден Ленина мне вручили.

Являюсь домой, а навстречу внук пятилетний — Серега. Выше челки на нем моя старая форменная фуражка, вскинул пять пальцев под козырек и картавит, лепечет навстречу:

— Деда! Поздравляю тебя с высокой нагладой! Сто лет тебе, деда, плавать. Шесть футов тебе под килем!

И завис мне на шею, теплый румяненкокий мой якорец. Понимаю и знаю, что старшие этим словам обучили его, а вот сместилось дыхание — и баста.

Два портрета висят у меня: батя родной и Владимир Ильич. Упрятал я нос во внуково ухо, и понесли, понесли меня ноги к простенку с портретами.

— Отцы мои, бакенщики!.. — вроде к рапорту голос напряг. Еще чего-то душа силилась высказать, да всегда ли ее кличи разведает и на внятный язык поместишь? Только ночью осмыслил, к чему я вдруг Ленина в бакенщики воспроизвел. Огни на Реке Человеческой?! Отец — на Томи, Ильич — на Реке Человеческой.

— Отцы мои, бакенщики! — потом уже в прозрении шептал.

Сон сбежал.

Поднялся и принялся внука рассматривать. Очень успокоительное и жизнерадостное это занятие — смотреть-наблюдать, как сонное брюшко у маленьких дышит. Потом на Иртыш повлекло. К кораблям. По морозцу...»

Ветерок понарушил чуть рдеющий глянец Реки. Встречаются и расходятся корабли. «Алябьев» на горизонте. «Кто там из «моих?» — припоминает седой корабельщик. Да. Приходится припоминать. Редкое судно разыщешь сейчас в пароходстве, на котором не бодрствовали бы его «салажата». Капитанами плавают. Старпомами... Новое офицерство Реки. Молодое и образованное. «Может, оно и есть нетленный мой «бивень?» — приветствует «Алябьева» Капитан.

Белая ночь.

Возобновляется молчаливое собеседование с двадцать восьмою каютой. «Ты, парень, тоже не от резвости и любопытства лишь души «откупориваешь». Тоже свой «бивень» отращиваешь. Канут годы, уйдут поколения, а строчка твоя возьмет да и выветится. Засвидетельствует нас. Был, мол, век и жил человек... И росла во славе Река... Вот, послушай, чего расскажу. Уж откроюсь маленечко...

Как сего Капитана провожали однажды на пенсию. Четыре года назад «торжество» это правили. Ворох подарков! Именные золотые часы (не опаздывал бы анализ снести в поликлинику водников), хрустальный сервиз («склянки» играть), магнитофон с записью гудка моего корабля (печенку травить). Стопа адресов. Двадцать две папки... Речи. А в тех речах опять я — «душа Иртыша», «живая легенда Оби».

Стихи поднесли: «Шлют привет тебе чайки речные». Разжалобливают, будьте любезны, разнеживают. Хрусталь резной жароптичками заиграл. Спектры света сию изучаю сквозь пленочку слез.

А зачем же вы эдак, ребяташки? — сам себе думаю. — Ведь если мать ребенка от груди, к примеру, отучивает, отнимает, нешто станет она сладость груди своей расписывать? Напротив всегда! Полыню, горчицей сосок натирают. Колючую щетку взамен из кофты выпрастывают! А вы?... Без вас знаю, сколь сладка она, Реченька, сколь мила и зазывиста. Больше вас знаю!! По весне — первый гром во льдах — загляните-ка в поликлинику водников. Болеют, казнятся и усыхают отставные старые капитаны. Сто семь хворобин, сто семь обострений у каждого вдруг приключится. А хвороба-то, будьте любезны, — одна. Журавлиная. Льды на Север идут, и тянут шеи на Север, скрипучих сухих позвонков не щадя, отставные старые капитаны. Вздрагивают

изостренные кадыки. Тоскуют глаза. Щепочками в Реку балуются... Только что не кричат, не курлычут сивонькие журавушки.

Вот так, товарищ мой творческий, в душе напевалось, насказывалось. А предоставили слово — на понюшку от той заготовленной речи осталось.

— Товарищи! — президиуму сказал. — Ребятушки! — голос в зал надломился. — Сорок шесть лет я проплавал на ней... Позвольте, будьте любезны... пятьдесят...

Сам собою народу поклон получился, и кончилась речь.

— Оставить «деда» на мостике! — кличи по залу пошли.

— Река дедова! — салажата мои нагнетают.

А я ослабел. Всегда в кулаке себя тискаю, а тут — хрустали... Спектры света сижу преломляю.

Ну и попробуй супруге о том Расскажи! Хе, сивко-бурко!..

Плаксе, что ли, детей народила? Корабль — место не мокрое...»

«Надо добавить все же «индивидууму» кредиту. Сам видел — сынок ему два ливерных пирожка в бумажной салфетке нес. Мудреный народ — эти творческие! Тот же Алябьев... Запузырил на всю поднебесную «Соловья», и пожалуйста... Гордость России. В теплоход, будьте любезны, обратился. Добавлю кредиту «индивидууму». Интеллигентно попридержал, а теперь добавлю».

Дизель-электроход обгоняет целый караван барж, груженных крупнодюрмовыми трубами. Под нефть или газ уготованы. Их полые зевла сложены поперек барж в огромные высокие треугольники.

Поравнялись.

Трубы пронзило зарей. Сейчас они похожи на пчелиные соты, текущие розовым медом.

Дивы на Реке. Дивы!..

Открывает Капитан в рубке дверь. Чу! На палубе разговор.

— Сейчас они, зори, у нас что невесты в соку и на выданье, — доносится снизу басок старожителя. — Молодые, неуснутые, просиянные — кровушка с молоком! А вот осенью по-другому... Густеют по осени. Мраку в них больше. Как железо при разогреве... Почему за-

приметил — на глухаринные прииска в это время хожу.

— Куда, куда?

По голосу опознал Капитан своего задолженника.

— На глухаринные прииска, — не смутясь, отвечал старожитель. — Обсыхает одна крупнопесчаная грива. Косой зовем или кошкой. На той гриве — беленький мелконький камушек с гор Уральских весенней водою наносит. Глухари разрывают песок и тот камушек с радостью склеивают. «Жернова» на зиму в свой зоб запасают. Есть там один обрывистый берег. Заляжешь на нем и дивишься. Ровно стадо баранов на гриве пасется. Сотни, сотни, ежель не тысячи птиц сюда из таежного округа слетывают. Аж песок под когтями поет да щебетают клювы. «Ах вы, умницы, — думаешь. — Ах, хозяйева!» Раз не вытерпел — выстрелил я. Заря мне в глаза падала. Как железо при разогреве... Как взнялась их тьма-тьмушая, на эту зарю-гром, братец мой, из-под крыльев взрыдал! И не стало зари.

— Это надо мне записать, — зашелестели странички блокнота.

— Токо что записать и осталось, — поскуучнел басок старожителя. — Выбили их. Прямо на прииске выбили. Камушка-то — нигде, кроме склонной уральской той гривы, нет. А в тайгу что ни человек поселяется-едет, то и новое человеко-ружье. Я вот хорохорюсь перед ребятенками, бренчу — нефть, газ, геолога восхваляю, а на душе — кошки... Почему оно так у нас получается? Говорим: Отечество одаряем, а край родной шиплем?.. Ежли ты истинный сын страны, то живи ты, трудись не за ради ясной пуговки на мундире!

«Запиши, запиши, — мысленно подстрекает наш Капитан владельца блокнота. — Здесь душа... И без «дыму»...»

На Реке появляются ранние «мошки» и «омики». Повстречалась прострельная кокетливая «ракета». Пыхтит, поспешает куда-то еще стародавний плавающий угольный кран. От льдов и до новых льдов неумолчна Река. Она в работе. Авралит. Вздрыбила сегодня главную волну в извечно покойном течении своем. На горячем медвежьем следу растут по Ее берегам города, встают нефтепромыслы, станции и подстанции, опоры мостов, искрят напряженные линии электропередачи, пульсируют голубые и черные жилы газонефтепроводов, заселяют Ее берега искусные мастера и неискусные

пареньки. И все это скоростное развитие питает Река. Тысяча четыреста сорок притоков сбегаются к Ее рабочему стрелу.

Тропинки глубокой разведки.

И ведут, и ведут капитаны «мошку» ли, «блошку» ли по узеньким неизведанным речкам. Везут высокие парней — геологов. Берег к берегу ластится кронами кедров. Здесь на мачты доподлинно прыгают белки. Здесь мотают башкой, грозясь кораблям, круторогие дерзкие лоси. Здесь нога человека... нога Человека. Ступи, добрая! Совестьливая. И разумная.

Дивы на Реке, дивы...

Далеко, далеко от Ее берегов до Москвы. Далеко — а из Кремля смотрится. Державная ныне! Державную высит волну. Державную правит судьбу.

— Река века! Столько лет тебя знал, негромкую, неспешную, и вдруг — Ре-ка ве-ка, — словно бы первокурсник «маму», находит и видит в слогах Капитан. — Так круто! И годы под горку — так круто...

«Ну, хорошо, — ревниво опять адресуется к мамонту. — Ты бивень сберег? А я? Они, «салажата» мои, погудят. Походят за льдами. А я? Ты мороженный, а мне зябко. Ведь отлучат. Годы отлучат. Придет час, и не скажешь: «Братушки, дозвольте!..»

Ночью вахты несут капитаны.

Ночью в рубках случаются дивы.

Сгонишь мамонта, является в бликах рассветных волн заплаканная Фатима:

— Матроса, матроса! Горит мое сердце! Целуй мое сердце!.. Володя!

— Тсс-с, глупенькая! На пенсии я. Из милости на Реке. Если б снова с матросов начать...

Убегает, сминает босою ножкой солнечных зайчиков на волнах голубая девчушка с оттопыренным голубым локотком... К черным носикам беленьких медвежат. Это зябко, коль реки от нас убегают.

«Беги, девочка. Вечно беги! Если б снова — «пескарь»... Если б снова — с матросов!.. Кого стариковская ревность украсила? Разве что поликлинику».

Годы ли, предчувствие ли скорого расставания, но все доверительнее, чаще и сокровеннее беседует с Рекою наш Капитан. Давно она перестала быть для него текущей водой, географией, давно почитает он Ее за близкое понятливое существо.

«Куда течешь, Реченька? Куда, дикая и державная?..»

«В Великое завтра, мой Капитан. В Страну Могущества Русского», — распрастывает и высит свою рабочую озаренную огнями грудь Река.

Уцепились, до чьих-нибудь слез не расстанутся татарчонок и цыганенок:

«Трави носовой!»

«Отдать носовой!»

«Кто эти дети? Куда ведешь их, Реченька? Куда несешь?»

«Это грядущие мои капитаны, — крепчает рассветной волною Река, — На стрежень века несу. В Великое Завтра».

«Не забудешь хоть старого? Пятьдесят лет у Твоей груди!..»

«Блемм-м, блемм-м, блемм-м» — разбиваются встречные волны о нос.

«Ты станешь моим кораблем. Назовут», — так вроде бы говорит Капитану Река.

Невнятные волны.

Не разбирает их слов Капитан.

Дивы на Реке, дивы!..

1969 г.

КУЗНЕЦЫ

Веселое заведение — кузница! Веселое и дозарезу необходимое. Пойщи-ка такую деревню, где не дымила бы, не искрила бы она, кузница, малая индустрия державы, крохотные уралы, разбросанные на тысячи километров окрест по колхозно-совхозной земле?!

Был бы металл да уголек, нашлась бы бычья кожа для меха да звонкая наковальня — железная лечебница будет. Без нее сироты... Без нее захромает конь, рассыплется телега, изоржавеет плуг, без нее сам «дядюшка» трактор пардону запросит. Трудно перечислить все беды-злосчастья, угрожающие деревне, не стой там на отшибе прокопченная амбарушка, созывающая к себе бойким заутренним звоном народ честной.

Пронзительно голосит забияка-молоток, басит пудовая матушка-кувалда, взбивает прострельную искорку

горн, кряхтит и плющится жаркая поковка, а посреди этого огненного бой-дела — Он, Мастер. Умелец. Работяга кузнец, чей инструмент-молот пролег с угла на угол по державному гербу Родины.

Слышал я про один иноземный обычай, по которому путь героя усыпается лепестками роз. Познакомившись с кузнецом Кузурманычем, я задумался: не драгоценнее ли и не щедрее ли наш советский обычай, при котором путь — нет, не героя — просто честного мастеровитого человека украшают добрые и мастеровитые же слова. Розы вянут, доброе слово из неподкупных уст народотруженика не исцветает. Это о нем, о Кузурманыче, записал я неофициальные живые речения, почти в пословицы скованные, сиювотминутную молвь:

«Конь сам ему копыто протягивает».

«Седьмой разряд... Ежа без чертежа может...»

«К святому дню кулич откует».

Вот так в словесности... Густо, щедро, с «наваром», присадисто! Тоже — ежа без чертежа... А послушайте, как говорит о своем мастерстве Кузурманыч. Скромно. Скупо. И тоже «наваристо»:

— У кузнеца рука легка — была бы шея крепка...

— Ну и как она, шея? — спрашиваю.

— Дюжит пока, — отвечает.

Кузнец высок, жилист, крут в движениях. Немного словен и вдумчив при разговоре. Выслушивая собеседника, вздымает лохматую правую бровь. В коже лица прижились синеватые звездочки охладевшей окалины. Постоянное горячее соседство горна и раскаленных тяжелых поковок наложило на подбородок и скулы льготный круглогодичный загар. Серые, как железо в изломе, глаза. Улыбается редко, зато уж не через кривую губу. Весь твой.

Девятилетним пошел Кузурманыч к отцовскому горну, допущен был раздувать-веселить огонь. На тятку люди смотрели почтительно и с уважением. Невелик богач — три пуда железа в наличности, а первыми торопились картуз приподнять: Мастер идет.

Кузнец и кузнечонок любили во страсть голубей. Идут от огня, чумазые, углем и железом от них навева-ет-попахивает, а пестрые, сизые, белокипенные — из-под всех застрех над кормильцами... Мелкотрепетно бьют крылышками над картузами, спешат занять местичко на плечах, на протянутый палец лепятся.

— Васька,— спросил однажды кузнец кузнечонка,— ты чувствуешь ли, когда тебя голубь когтем по ладошке скребнет?

— Чую, тятя.

— А я ни рожна. Кожа вся отбронела.

Вскоре «отбронела» кожа и у Василия. Полюбилось, взгордилось тяткино крутоплечее мастерство. На всю жизнь унаследовал.

— Василий Константинович! А кем был ваш дед?

— Тоже кузнецом.

— А прадед?

— Кузнецом.

— А прапрадед?

— Вот тут затрудняюсь... Не могу точно сказать.

Общая наша беда. Дальше прадедов корня не помним. А ведь, возможно, пращур кузнеца Кузурманыча, того самого, что рубашку цилиндра на наковальне сейчас выворачивает, возможно, тот пращур еще вешему Олегу коня ковал, меч закалял? Не бережем родословную — не княжеского рода. Впрочем, у Кузурманыча лично все на виду. В трудовой книжке, в грамотах...

Горы железа за сорок пять лет перебрал, вагоны угля ссыпал малым совочком в жаркие солнышки горнов.

По пенсионному законодательству, люди «огненной» профессии уходят на пенсию в пятьдесят лет. Испытал и это. Три месяца выдюжил, а на четвертый открыл он в себе две болезни: «печаль плеч» называл он одну, а вторую — «закись всех мускулов». Пришел в родной механический, попросил «на полчасик» передника и... «У кузнеца рука легка...»

Люди, которым по каким-либо причинам не довелось воевать или удалось не воевать, одинаково равно не любят об этом распространяться, нести информацию. Кузурманыч же с приметною даже гордостью заявляет: не воевал.

— Броневой кузнец. На брони был. Однажды, правда, призвали, но вскорости возвратили. Армия, говорят, по генералу плачет, деревня — по кузнецу. Всю войну трактора ремонтировал...

...Из толстого круглого железа выгибал Кузурманыч какой-то замысловатый вал для трансмиссии. Молотобойцем у него новичок. Штрафник. Не поладил парень с автоинспектором — и вот на шесть месяцев... Кувал-

дой наградили. Он потеет еще, и одышечка, Кузурманыч же знай утешает:

— Ничего, парень. Поначалу у меня все штрафники потеют. Это после вольготной жизни. Вот побалуешься с месяц,— указывает он на кувалду,— спружинишь, собьешь тело — сушей будешь. И животик уйдет.

На порожке сидит, пригорюнившись, еще один молодой шофер. Вчера он так «нежно» разъехался со встречным цельнокузовным самосвалом, что крючки бокового борта с заводскими корнями повывдрало. С надеждой и тихой робостью поглядывает парень на Кузурманыча. Томится. Вдыхает. Рядом с ним восседает дедок с потной бородкой. Этот принес в кузницу диковинных размеров лосиный рог. На широком, словно лопата, материке с дюжину могучих отростков.

— Ежели вот здесь дыру, да здесь, да здесь,— размечает дедок находку,— да ввинтить в дыру по железной ножке, знаешь какое сиденье будет! — громко втолковывает он «свое разумение» шоферу, следя взглядом: слышал ли кузнец?

— А на этот отростель руку складывать,— переходит на выкрики дед.— Что ты, брат! Я сразу увидел — кресло мне получается!

— На стульях тебе не сидится,— недобро буркает молодой шофер.

— На стульях — всяк дурак... А тут сиди в лосином рогу и покуривай! Не на гниль его зверь отращивал... В дело произведу.

Дедок — не исключение. Одолевают кузнеца ширпотребовские заказы. Кочергу хозяйшке негде купить. Тому скребница для обуви перед крылечком понадобилась, этому — пилу окоротить, третьему — крюк для люльки загнать... Да мало ли мелконькой деревенской нужды, которая ни в одном ГОСТе не значится?! Но это все — после работы. А сейчас срочно потребовалось сцеп для автомобильной тележки поправить.

Огромная, похожая на рельс, железяка ложится в горн. Кузурманыч усиливает дутье, подсыпает угля, шурует жигалом. Ни одного лишнего движения. Инструмент он берет не глядя, из-за спины. Железяка на наковальне. Дерзай, пока горячо! Навесь!!

Молоток Кузурманыча к поковке пока не притрагивается. По соседству пока «дирижирует». Бочком эдак, резвым железным бесиком по наковальне позвякивает,

боевые места указывает, молотобойца затравливает:

— Дай-дай-дай! — кувалду науськивает.

— Нна! Нна-ах!! — крикает кувалда.

— Бог мой! Ох! Ах! — вздыхает наковальня.

Поковка орет, визжит, стонет, всхлипывает: попробуйте-ка между молотом и наковальней... Как хотят ее, так и бьют, куда хотят, туда и гнут. Вот на нее опускается еще и молоток самого Кузурманыча. Молоток — кувалда, молоток — кувалда, молоток — кувалда...

— Ох! Ах! Бог мой! — частит наковальня.

Красивая, сильная, затравчатая работа!

Поковка снова ложится в горн. Кузурманыч проворно шурует жигалом уголь.

— Да покури ты, парнишко, иди, покури! — зовет кузнеца дедок. — Не грешников, чай, поджариваешь!..

— А некоторых бы поджарил, — кивает кузнец на шофера. — На ползарплаты эдак поджарил бы...

Молодой грешник не знает, куда упрятать глаза.

— Зачем пожаловал? — спрашивает кузнец дедка-рогоносца.

Тот с готовностью указывает на лесную находку:

— Ежели вот тут дыру... Да вот тут...

— Только волк из сказки ко мне не приходил еще... не просил, чтобы я ему голос козлийный сковал, — разводит руками кузнец.

— А то не сковал бы? — льстит открыто дедок. — Саньке Уланову шпынь в протез вставил — как Конек-Горбунек бегаешь...

Пора. Поковка искрит. Снова в молоты.

— Строговат? — спрашиваю я шофера.

— Кузурманыч-то? — вскидывает пушистые, как одуванчик, ресницы шофер. — Конечно. А как еще с нами?.. — покаянно вздыхает «грешник».

— Ему сделает, — подключается к разговору дедок. — Машина же стоит. Хоть после работы, а сделает. Эго знаете что за человек, — кивает на Кузурманыча дед. — Свое право выковал! Кувалду ему на плечо — и иди в коммунизм... Кувалда вместо пропуска!..

Гудит горн, плюется горячей окалиной железо, сладкой гарькой пахнет удалой жизнерадостный воздух кузницы...

— Дай-дай-дай!.. — науськивает молоток.

— Нна-ах-х!.. Нна-ах-х!! — ахает кувалда.

Дед с осторожностью допрашивает: «Быть или не

быть лосиному креслу?» От кузнеца ни привета заметного, ни отказа конкретного... А тут еще кроме шофера дюжая молодница с ломом в руках к наковальне протискивается.

— Что у тебя? — спрашивает ее на коротком досуге кузнец.

— Затупился. Все жало помялось. Лед колю в молоток — одне только брызги...

— Это моментом.

Нагревали. Плющили алые острия. Двугранное. Четырехгранное. Потом, по-горячему, мелкосечкой — слесарной пилой доводил и ровнял им рабочие «жала» кузнец Кузурманыч. Потом закалял. Утопит на мгновение в бадейку с водой и на воздух: «Чтоб железо не задохнулось». Напоследок совсем утопил. Забулькотала бадейка, заворчала по-кошачьи. Двугранный конец... Четырехгранный... Охлажденный и закаленный лом снова ложится на наковальню. Зачем? Ага! Василий Константинович берет напильник и с силой, с надавом проводит им по остриям. Скорочет сталь о сталь. Размахнувшись, кузнец ударяет двугранным оттягом в кирпич. Кирпич — вдребезги, а рыжие искры!.. На острие лома ни блесточки, цела синева закалки.

— На! — легкой рукой протягивает он румяной молоток свое железное произведение.

— Творец! Ну, скажи, — не творец?! — восхищается не без умысла дед-рогоносец. — Богу звезды, пра слово, ковать!..

Дедкин выкрик заставил меня усмехнуться. Вспомнил я еще одного кузнеца. Если Кузурманыч воистину только творец, то псковский коллега его был еще в придачу и критиком. «Куда целишь, тетеря!..» — слышался мне из далекой, далекой военной весны возмущенный его тенорок.

Разоренная, сожженная Псковщина.

По ее земле шла на передовую маршевая стрелковая рота. Чуткое к голосам войны, бдительное солдатское ухо издали, за двадцать почти километров, улавливало глуховатый бас фронтовой канонады, угадывало ее угробное густое рычание. Окрест лепетали звонкие болтушки-ручьи, захлебывались прибылой водой захмелевшие лесные речушки, свистела, чирикала внешняя птица

в вершинах деревьев, но не чуяли птичек солдатские уши. Дальний гул, прикоснувшийся к ним, подминал и обесценивал прочие легкие пустяковые звуки. По неласковой апрельской дорожке шла навстречу канонаде стрелковая маршевая.

Лес кончился. Завиднелись печи и трубы сожженной дотла деревеньки. В свежевырытых землянках развели военные погорельцы свои камельки, и синеватые свитки дыма метались над остывшими пепелищами.

И здесь повстречал нашу роту какой-то неожиданный, несогласный с войною и канонадой, праздный, ухарский звук.

— Журавль,— предположил кто-то из солдат.

— Какой те журавль!.. Ешак так ревет.

— Откуда бы тут ишак взялся? Кавказ тоже нашли...

Звук доносился отчетливей, громче, и вскоре рота увидела... кузницу. И настолько диковинной была эта кузница, что сопровождавший маршевую роту лейтенант неожиданно для себя скомандовал:

— Привал.

Случись это в другой обстановке — выбрал бы солдат бугорочек посуше, положил бы под сапоги вещмешок (кровь бы от ног откатила) и, блаженно сомкнув глаза, отдыхал, отдыхал бы... Сейчас же, окружив плотным кольцом небывалую кузницу, глазели сюда рядовые, усиленно крякал сержантско-старшинский состав, а лейтенант, расстегнув планшетку, что-то торопливо записывал в походный свой дневник. А может, еще и зарисовывал...

На подстиле из кирпичей стояла чугунная печька — «буржуйка». Она заменяла горн. А мехи... мехами служил здесь трофейный немецкий... аккордеон. В перламутровой его душе была просверлена дыра, в которую башковитый псковитянин втиснул резиновый шланг. На втором, на «горячем», конце шланг соединялся с обрезком змеевика от самогонного аппарата. Выпрямленная трубка змеевика соседствовала с огнем. Она наглухо была замурована в поддувало печурки. В метре от печурки на охапке сосновых веток сидел мальчуган лет двенадцати. Он нагнетал воздух, вел дутье. Парнишка вспотел... Растягивая аккордеон, малый нажимал сразу до десятка клавишей. Вернее столько, сколько помещалось под его ребячьими пальцами. Инструмент ревел, выл, вопил всеми немислимыми голосами, до тех пор во-

пил, пока его блестящая утроба предельно не заполнялась воздухом. После этого мальчуган попускал клавиши и потихоньку сводил мехи. Нагнетенный воздух высвистывал, бил струей через шланг, через змеевик в печурку. Березовое уголье жарко, яростно вспыхивало. Малиновели у печурки бока.

— Ну и... артисты! — восхищенно выдохнул пожилой солдат. — Действительно, голь на выдумку...

Возле наковальни, закрепленной на комлеватом стояке-чураке, хлопотал расторопный старикашка в дореволюционном еще картузе. На роту он не обращал никакого внимания, словно не две сотни глаз жадно следили за каждым его движением, а просто... ну... прилетела любопытная трясогузка... Повертится и улетит. Он деловито совал через крышку печурки в огненное ее жерло заготовки, подсыпал угольков, пробовал ногтем скуденный инструмент, подправлял сползающий на глаза козырек картуза.

Зато молотобоец потупился.

Это была девушка лет семнадцати. Прядка волос выбилась из-под солдатской ушанки, трепетал и разметывал ее апрельский молодой ветерок. Природа ли наградила девушку несмываемым ярким румянцем, молодые ли парни из стрелковой роты смутили ее... Она горела. Пылала. Пальцы ее слепо и торопливо перебирали шершавый заструг рукоятки кувалды. Над верхней губой росинками выступил пот.

Дедка же, как ни в чем не бывало, добыл клещами из печки заготовку боронного зуба, уложил ее на наковальню и бодреньким петушком кукарекнул, скомандовал:

— Ну-ка, Сонюшка, уважь... Припечатай.

Девушка отшвырнула вдруг рукоятку кувалды, слепо и немо протиснулась через плотное кольцо рядовых, без оглядки помчала к землянкам.

Рота смотрела ей вслед.

— Совестится, — хихикнул дедок. — Удару у нее еще настоящего нет — вот и совестится.

— Тяжело ей с кувалдой-то, — укоризненно пробурчал пожилой солдат. — Мужиковское дело — и то по выбору... Не на всякого...

— Зна-а-а-ю!.. Зна-а-а-ю... — пропел дедок. — Да ведь весна! Она ведь не два раза в году. Умирать собирайся, а нивку паши! Сеять, чего-ничего, надо — вот и куем под

господней крышей. Три скомороха — четвертый кардион, — подмигнул псковитянин пожилому солдату.

Мальчуган фыркнул.

— Над прозвищем моим насмешается, — пояснил роте дед. — Меня в партизанском отряде за эту кузню Кардионом прозвали. Смейся, смейся, глупый, — повернулся дед к мальчугану. — Одна нам с тобой слава. Я — Кардион, ты — Кардиненок, хе-хе-хе... Дуй знай!

Инструмент заревел с новой силой.

— А ну-ка, граждане солдаты! У кого рука не отсохла?..

И дедок указал на кувалду.

Рота ковала боронные зубья. Мастер ловко выуживал из «буржуйки» раскаленные заготовки, лихо наигрывал молотком по наковальне и на каждый замах кувалды пел-приговаривал:

— В горрр-ряченькое! В горр-ряченькое!!

Стреляла искрами «буржуйка», ухала кувалда, подвывал аккордеон, приплясывал мастер.

— Серьга, — крикнул он через плечо мальчугану, — бросай дуть! Беги, тащи эту железу от вашего турника. Сошников нет. С Сонюшкой мне ее не оттянуть...

Дед командовал ротой.

Рота оттягивала сошники.

Кувалдой завладел длиннорукий солдат Вася Хиря по прозвищу «Художественный Свист». После очередного нагрева дед насторожил на наковальне неразмятый еще конец турника и скоренько бормотнул:

— Давай, парень!

Кувалда с грохотом, со звоном сыграла по клюву наковальни.

— Те-те-ря-я!!

Мастер поднес к Васиному носу свой молоток и свирепо, досадливо покрутил им перед его изумленными ноздрями:

— Куда целишь, те-те-ря? В железо бей! В горячее... А не для звону...

У меня материал — слово.

Не согретое в горне души, оно — как холодное железо: шершавое, упрямое, неподатливое. Не тронь холодное — один звон.

Но если вдруг... слово засветится, если почувству-

ешь; что оно горячее, обжигается — не медли! Укладывай его скорее на «наковальню» и бей, заострай, закаливай, доводи!

Если ты отковал лом, даже лом, — опробуй, по Кузурманычу, дробит ли он кирпич, не мнется ли у него «жало», годен ли он колоть лед, долбить мерзлоту?

Вырастил розу — просмотри лепестки: не затаилась ли в них тля?

Дерешь больные зубы — не оставляй гнилого корня и... береги здоровые.

А если не получается, брось немудрящий свой инструмент и беги. Беги, как Сонюшка... Народ незлобиво скажет в твой след: «Совестится. Удара у него еще настоящего нет».

А совестится, брат, надо. Не то поднесут тебе трудовые мозолистые руки молоток, клещи ли под самодвольные ноздри и уже не тенорком, а доподлинным басом скажут: «Куда целишь, тетеря!»

...Учите, учите меня, кузнецы! Куда бить. Во что целить. Как горячим выхватывать слово из горна...

1971 г.

И БЫЛ НА СЕЛЕ ПРАЗДНИК

*По мотивам
народных празднеств
в Абатском, Сладковском,
Казанском районах
Тюменщины*

Мудро, трогательно, задушевно и святобережно опозитизирован в русском фольклоре пресветлый наш хлеб. В обрядах, в поверьях, в месяцесловах и празднествах. «Кукушка колоском подавилась». Пословица. Заколосилась, стало быть, рожь. Затаеннее птичьи звенят голоса, а кукушка-гадалка и вовсе умолкла.

«Воробей под кустом пива наварил». Пословица. Урожайная, значит, выдалась осень. Даже этому прощелыге-бичу на «пивишко» подбросила.

«Завязать Илье бороду». Поверье-обряд. Заканчивая жнитво, оставляли клочок ржи на корню «под будущие урожаи».

На масленой неделе пекла Россия блины. Блин —

символ солнца, наступившей весны. Сжигали «зиму» — потешное соломенное чучело.

Каждый год, в марте, пекла моя бабушка «жаворонок». Этакое художественное тесто. Получались незамысловатые хлебные птички с подобием головки и клювика, с приподнятым острым хвостом.

— Ешь! — подавала мне птенчика. — Сорок пташек сегодня на Русь пробираются, сорок птиц — летят. И жаворонок с ними.

Птичка, которая, по поверью, «колосок к солнцу манит и зеленыя опекает». И еще бабка верила: эта птичка голодные годы отпугивает.

Осенью из нового помола пекла наша бабушка «сеголетошних лебедят». Пекла, приговаривала: «Бел как лебедь — хлеб, бел как лебедь — хлеб...» Эти были уже попримягднее. Кудреватая розвихрь хвостов, изогнутые шейки, глазки из сушеных ягодок черной смородины.

Так и запомнилось: пышущий жаром лист, а на нем стаи белых превкусеньких птиц.

— Большой путь вам, резвы крылышки! — крестила бабушка лист. Поднимала с него самого зарумяненного, поджаристого «лебеденка», протягивала мне: — Золотого — Ванюшке, золотого — Ванюшке!..

Память вам, Пелагея Васильевна, птичья скульпторша, птичья песенница. Так и остался в моем восприятии, так и сияет, живет в моей памяти он — новый хлеб — золотым лебеденком детства.

Праздник этот ни в каких календарях не помечен, дня-числа для него не назначено, и именуют его на селе по-казахски, по-русски и плюс по-газетному. По-казахски звучит: «сабантуй», по-русски: «отсевки», по-газетному: «день последней борозды». Не важно, что лучше, но праздник такой соблюдается.

Хлебец выбрызнул, захмелела в межах перепелочка, тракторист в жаркой баньке намылил удалую голову. Для него праздник с бани всегда начинается. Баня же — с головы. До свистков-сквозняков прочищает от пашенной пыли «форсунки» в носу. Из одного уха азот достает, из другого — селитру и фосфор. В бороде — на предплужник бери — залегли плодородные почвы.

«А и славное же ты учреждение — баня русская! Мама вытопила. Сибирская вдова Куприяновна. Знает толк. Сама — старейшая механизаторша».

В запасном тазу, в кипятке почти, млеют веники. До-спевает метелка и лист. Приподнимешь, воду лишнюю вытряхнешь — и вот задышал, задышал, прошлогодний березовый сок.

Не спеша, выбрав знойное и раскаленное место на ка-менке, поддает туда ковш — и второй! — захмеленной на мятах воды.

«Мама знает, где духи живут. На цвету, на бутонах той мяты. Нарезала, в теневом сквознячке притомила... Сколь ты славен, дух леса сибирского!»

Еще ковшик, и можно скакать на полок. «Жарь-жарь-жарь! Жги-жги-жги!» — начинает тракторист с боевой приговорочкой.

«Сыпь-сыпь-сыпь! Кусь-кусь-кусь! Взять-взять-взять!» разъяряет он и науськивает в суматошном нахлесте бе-резовый веник.

Извивается на горячем полке механизатор широкого профиля. Парится членораздельно и нечленораздельно. После яростной трепки хребетный массив с протягом отодрать норовит, с умысленным, хитрым таким шку-росъемчиком. Спина... Плеченьки... Они же насквозь, до мездры просолились, родимые.

Один веник, бедняга, в мочало оттянут. Облиться хо-лодной водой, чуть-чуть отдохнуть.

После второго захода ослаб человек, захмелел. До малиновой спелости бойцы-веники допекли его, разуде-ляли. У мускулов все сцепления ослабнули, в грудь вто-рое и третье дыхание пришло. Теперь время в предбан-нике полежать...

А и дерзкое ты заведение, баня русская! Заново че-ловек народился. Слава славной вдове Куприяновне!

Лес для празднества выбирают.

Здесь он сплошь, безраздельно березовый. Невест изумлять. По поговорке: в еловых — богу повиноваться, в березовых с молодым целоваться. Почему район и богат двойняшками-близнецами. Погуляй-ка в силошном кислороде...

Лес нужен для празднеств не всякий березовый, а приподнятый. Который на гривках окоренел. Кото-рый над уровнем пашен, лугов и озер возносился бы. Пожилой, соковой, редкоствольный, прозрачный, про-стрельный, закудрявый, раскидистый... И чтоб между

стволов, у подножий берез, подлесовничек-травушка стлалась бы, взор влюбляла...

В окружении таких вот приподнятых мест должна непременно присутствовать развеселая тоже, отрадная взгляду поляна. Чтобы вся в незабудках, в глазастеньких ягодниках, в белянках-цветах. Они в эту пору всей брызгой несметной цветут. Поляну особо всерьез облюбовывают, ибо здесь на сегодняшний день — праздничная Площадь.

Но и это не все. Слушают, есть ли в окрестностях иволги, подают ли свое вдохновение кукушки, порхают ли дятлы, поют ли у дупел скворцы. Праздник — днем. И нужна к нему, значит, дневная, веселая, певчая птица. Кукушке да и иволге конкурентов здесь нет.

На поляне разместятся грузовик для президиума с коврами по днищу, с микрофоном-трибуной на правом борту, грузовик для артистов агитбригады, ларьки и торговые точки, танцплощадки и пляс-пяточки... Тонет твоя в незабудках, черт начищенный — сапожок!

Поляна — площадь. Леса — кулуары. После массовых мероприятий облюбуй себе чудо-березыньку, стели свою щедрую скатерть в тени, зови друга с женой, всех друзей, сколько нажил, полни по душеприемлемую отметку стаканы и... повремени. Повремени... Слышишь, как иволги чисто поют? Слышишь, кукушка тебе многолетствует? Слышишь, как птенчик родившийся в горлышке пробует звон? Слышишь, как травы растут? Слышишь, как душу твою навестило сейчас откровение высокое, светлое, клятвенное... Вот тогда поднимись и скажи:

«За Родину, други! За первозданную, милую... До братской могилы — единственную!!»

Хлебопашенные районы Тюменщины ждали, молили дождя. Ах как нужен был дождь! Такие чудесные вспыхнули всходы! Пашни плотной зеленой шубкой укрыли себя. Грач чуть виден, ростки журавлям по сустав. Влаги, влаги грядущему колосу! Весна нынче в солнце влюбленная шла, взора не отвела, каждой лужей по милому высохла. Земля вдосталь и сверх того пропечена, прогрета, пресытилась зноем до жаждушки. И он той предпраздничной ночью прошел, прогремел. По райцентру пустынный совсем, игровой. Но по тракту стали нам попадаться, встречаться по выбоинам натуральные синие

лужицы. Секретарь райкома Дмитрий Михайлович про-
сит водителя постоять. Это уже четвертая остановка. Он
минует в полуботиночках рассолодевший кювет и, слегка
утопая во влажной прилипчивой пашне, продвигается
метров на двадцать внутрь юных пшениц. Там, в кото-
рый раз уже, втыкает свой указательный палец под кор-
ни зеленых ростков и чего-то тем пальцем в глуби ося-
зает, причуивает.

И вот слышу его торжествующий крик: «Встрети-
лись!» Это значит: влага дождя пропиталась, проникла
до почвенной. Материнская сила кормящей земли уве-
личилась вдвое. Жить молодым хлебам! Секретарь улы-
бается. С удовольствием очищает полуботинки от
грязи, душеприязненно плещется черными пальцами в
лужице.

Километрах в пяти от села повстречали мы главного
агронома совхоза. Та же поза и та же картина. Палец
по корень воткнул между всходов и исследует, анали-
зирует... Собственной кожей чертознайствует.

Думаю: сколько же их, трепетных указательных паль-
цев, воткнулось сейчас вот в сибирскую нивушку. При-
чуивают потихоньку. Причу-у-уивают... Пульс у зерныш-
ка шупают. Судьбу-самочувствие грядущего колоса на
черной ладони земли предугадывают. Помнить: с паль-
чика хлеб...

Дождь под праздничек — дар. Освежил листву, иску-
пал траву, взвеселил цветы. У стариков кровяное давле-
ние понизилось, а жизнедеятельность и настроение повы-
сились. Кашлять стали не оптом, все вдруг, а по очере-
ди. Сидят в голубых незабудках, голубенькие, бываль-
щину слушают.

...Это было на севе. У родственников Викторова на-
парника случился пожар. Бросил тот сеять — помчался
на беду. За трактор сел Виктор. Тельцовское поле, тель-
цовский массив... Сто сорок гектаров готовой под зер-
нышко, сладко вздремнувшей на зорьке земли. С этой
зорьки и начался отсчет. У напарника после пожара вто-
рая случилась беда. Плеснул лишнего в честь победы
воды над огнем. И остался Виктор в полях односменщи-
ком. Сдал смену, принял смену. Сдал — принял. Два-
дцать четыре года парню. Комсомолец еще. Неженатый
еще. Сорок полных часов сеял, сеял и сеял он хлеб...

В центральной конторе совхоза поднялась руководящая паника. По линии техники безопасности. «Это как же, вопреки природе и трудовому законодательству?.. Он ведь, сон-государь, придет, милый, да и повалит силой. Бывалое дело. «Запашется» парень в овраг или в реку, а то — в лес, на таран пойдет».

Секретарь парткома Владимир Георгиевич срочно выехал на тельцовский массив. Сеет Виктор, прилежно и цепко машину ведет. Зубы Витькины — белые, глаза Витькины — красные, в бороденке овсюг пророс... За сорок-то часов прорастет!

— Слезай, Витя, — остановил его Владимир Георгиевич.

— Нет уж, — уперся Виктор. — Досею. Немного осталось.

— Сле-зай!! Тебе надо поспать.

Пошли пререкания.

— Досеять хочу! — Откуда у тихого парня настырность взялась?

И только приказом был снят с горячего трактора всего комсомолец еще, Витька... Виктор Тюменцев.

— ...Заслужил таковой поощрения и премии? — ставят на кон вопрос старики — сивы голуби.

Ставят, и своим солидарным, высокоответственным кругом на него отвечают:

— Достоин вполне. Заслужил.

— Наше яблочко...

— Устремленный парнишко, оказывается! — берет его на заметку Куприяновна.

«Парнишко». Для них он, конечно, парнишко. Внуки по возрасту. Свои есть, подобные. Ревнивое дело — свои. Лесами, болотцами, тайными тропами пробираются первоназванные трактористы России на голос, на бронесказуемый голос внуков своих.

Трактористы тридцатых, танкисты сороковых, черношлемные витязи, броневое чело Правды-Победы. Являются тайно ко внукам и дотошно, придирчиво, ревностно инспектируют фамильную пахоту, фамильные посевные загонки. «Огрех — наш грех». Прослушивают на отдалении бой-рокот моторов, невидимками ползают по бороздам, оценивая пласт, отвал, глубину, досматривают, как заделан, разделан крутой поворот...

— Нут-ко, Сеня, дай место. Гляди, я тебе покажу. Усекай.

Оторви-ка, попробуй, его от руля-рычагов, сживи с трона, если он занюхнул газку.

— Погоди, погоди. Еще круг...

Празднество, а деды в комбинезоны наряжены. Берегут их, как берегут генералы шинели простреленные.

Сибирская вдова Куприяновна тоже «подкомбинезонилась». С лет девичества полюбила железо гремучее. Провожали на пенсию — подъехала, как условлено было, к совхозному Дому культуры на тракторе, юные пионеры повели в президиум. Сперва ладно шла, барабан ей бьет, горн звенит-поет, а потом вдруг замедлила шаг, заревела да вспать. Раскинула руки, вслепую нашла радиатор.

— Кормилец ты мой! — целует железо бесчувственное. — Нареченный ты мой...

Ребятишки притихнули, а у взрослых ком к горлу подкатывает. Правильно, что кормилец. Трех сынов подняла на нем Куприяновна. Ордена ее, слава, депутатские знаки — все вдвоем с ним.

Правильно, что нареченный. Из горячих возлюбленных рук по началу войны приняла его Куприяновна. «Твой теперь», — сказал муж. С двадцати шести лет — зноен хмель цветет женской силушки — честно вдовствует Куприяновна.

— Нареченный мой! Я ведь Ваней тебя звала, Иван Силычем.

Сроду лекарств не пила — тут накапали...

Между тем микрофон с динамиками объявляют официальную часть. Все идет с применением техники: и доклад, и вручение грамот. Назовут на трибуне фамилию — радиоколокола, как зевластые говорящие филины, на березах ухают. В честь названной каждой фамилии играет народный оркестр духоподъемную бравую музыку.

Но вот что-то новенькое. Вызываются к столу президиума... Целым списком вызываются... наши сивы голуби. Становятся строем, лицом на народ, бодрят позвоночники и грудь. В левом фланге, зарумянившись красною девицей, пристраивается в своем комбинезоне солдатская вдова Куприяновна.

Слово предоставляется девчонке из школы механизации. Речь не писана, говорит посоветовано, что от сердца наскажется юного. Щеки алые, ямочки белые. Маков цвет с сердцевинкою.

Лизнув губку проворненьким язычком, обращается она к торжественному стариковскому строю:

— Железные наши дедушки!

— Среди нас, извиняюсь, и бабушки есть,— Тимофей Суковых прервал.

Промигалась девчонка и видит: действительно, бабушка — в штанах. Стала вся алая. Замолчала... и запела:

— По дорожке по вольной, по тракту ли...

Подключился баян, взвился девичий голос.

Что нахохлились, сивы голуби? Или многое вспоминается? Прибегала в поле синеглазая... Целовала тебя до затменья в глазах... Поднимал на могучие рученьки... Уносил до межи, словно перышко... Заплетал васильки в косы русые..

Отвлекись-ка! Что она там говорит?

— Железные наши дедушки и железная наша бабушка! Ваши внуки, принимая от вас плодородное поле Родины, клянутся беречь его, любить, защищать — nasledовать ваши геройские биографии.

И не успело суматошное эхо возвратить слова эти, как перед каждым старинушкой из какой-то засады в момент появилось... по внуку. Родной перед родным. Заранее, видать, было спрограммировано.

И подносили те внуки своим родным дедушкам по букету полевых диконьких цветов.

И согибали те внуки своим дедушкам стабильные твердые шеи сильными уже руками, и целовали дедов в свежеевыбриту щетину.

Пионеры к дедам мчат.

И у каждого востропятого спиннинг в руках и транзистор. Оплели огоньки-выюнки стариковский строй. Разумного и полезного отдыха строю желают.

Куприяновне же скороварку-кастрюлю на все голоса рекламируют:

— Свиные ножки варить полчаса...

— А гуся с капустой — пятьдесят минут тушить.

Суковых Тимофей запросил себе микрофон. Запросил — был пожалован. Дунул в него — отзывается. И загудело в березах, зауhalo:

— За спиннинги от всех нас, внучатых механизаторов, единогласное спасибо. Заверяю рабочий президиум и всех праздноприсутствующих, что ни щука-пройдоха, ни лапоть-карась от нас не уйдет.

За легковесную переносную музыку — повторное наше

спасибо. Сидишь, рыбачишь, уху окуневую ешь и — связь с внешним миром поддерживаешь. Опять же, советы специалистов по отраслям... тут тебе про жабу грудную, и рака желудочного, и вред табака... Спасибочко. Но трижды и трижды спасибо за добрую память о нас, стариках!

В ответную благодарность есть у меня предложение. Пусть хозяйства отдадут нам, старым механизаторам, завалящую, списанную сенокосную технику. Мы ощупаем ее досконально, до винтика, где схитрим, где смудрим, но на «когти» ее восстановим. Я, к примеру, берусь создать свою ровню, радикулитное...хе-хех... механизированное звено, и поставить на этой технике полтысячи центнеров сена. Как, сива гвардия, откликается на мое предложение? — к заспиннигованным старикам обращается.

Сивы голуби — на «ура!».

— Или корова нас съест, или мы корову съедим!

— Повариха уже есть! — на Куприяновну и ее скороварку указывают.

— Нет!! Я тоже за руль...

Далее — непрослышина была. Вся площадь всплеснулась, захлопала старикам.

На том официальная часть и закончилась.

— Двадцать минут перерыва, — оповестил микрофон, — а затем ожидают вас парад сельскохозяйственной техники и другие праздничные нарядные зрелища.

«Первую пятилетку» изображал конюх Тихон Васильевич. Выбор пал на него потому, во-первых, что он конюх, во-вторых, тощий.

Запрягает он в лесочке коня, поперек дуги кумачовую ленту внатяг расправляет. На ленте зубным порошком означена надпись. Вверху: «Первая пятилетка», внизу, в скобках: «одна лошадиная сила». На немазаной скрипучей телеге должен первым проехать он через площадь поляну. Ехать и по пути сбрасывать с воза Серосеку Антона в кулацком обличье — пузо из двух пуховых подушек составлено — и Огонькова Евлампия в изображении купца-торгаша.

Подушки, зверь-бороды — все Тихон Васильевич с собой на телеге привез, а «купцу» с «кулаком» — уведомяют его — третьеводни по пятнадцати суток обоим су-

дья зачитала. За мелкое хулиганство в общественном месте. Отдыхали они перед этим в доме отдыха. И при-
страстились там взвешиваться: кто сколько весу набрал.
До трусов растелешатся и ревниво да пристально до по-
следней граммулечки свои прибыли уточняют. И скажи
ты! Грамм в грамм идут, риска в риск. Питаются оди-
наково, режим один и тот же, как ни взвешаются, так
ничья.

По два раза на дню стали взвешиваться. И вот на
последний день пребывания обошел Огоньков Серосеку.
Сразу на триста тридцать два грамма прибыл. Так им
и в путевке отметили для отчетности профсоюзу: «Серо-
сека добавил кило и четыреста граммов, Огоньков — на
триста граммов больше».

После этого три недели, пожалуй, прошло. Как-то
встретились корешки в выходной, поллитровочку усо-
сали, и вот тут Огоньков, смягчив сердце, при-
знался:

— А ведь я, Андрей, свой привес не питанием на-
брал.

— Витаминки, что ль, использовал?

— Не-е-ст. Помнишь, в охотничий магазин накану-
не ездили?

— Ну-ну. Дробь брали, порох, пистоны, картечь...

— Картечь, именно. Я столовую ложку картечи утром
проглотил. Она-то и совляла.

— Ло-о-вок, ловок мужик. Интенсивный откорм при-
менил!

— Знаменито тебя нагнул?!

— Фальшификация! Никого не подранил, случайпо-
стью?.. Не с нее ты пожелтел, нос на дятла смахи-
вает? А я в своем теле хожу. На полпуда тебя перстя-
ну, точно.

— Ох уж на полпуда!

Затравились опять мужики, раззадорились.

— Айда, взвесимся,— Серосека топорщится.— Куда
бы пойти.

— На животноводческие веса,— предлагает ему Ого-
ньков.

— Так тебя на мошенство и тянет,— заметил Серо-
сека,— у них балансир сбит. Пойдем в магазин. Там ма-
териально ответственные веса.

Отправились в магазин.

У прилавка народ. Дефицит дают.

В доме отдыха, как помянуто было, в трусах лишь они взвешивались. Ну, и здесь к такому мнению пришли. Весы-то чуть на отшибе, а народ увлечен...

Огоньков Серосеку сосчитал... Теперь Серосека прикинул дружка.

— Ну, адъютант кощей бессмертного! — победительно выкрикнул.

Продавец глянула — охтимнеченьки! — сдачу выронила. Потом вопль:

— Срамцы! Бесстыдники!

Покупательницы отплеваются. Чисто символически, конечно. Но, однако ж, кричат:

— На весах хлеб вешают, а они в трусах... В сан-эпидстанцию их!

В это время подъехал закупить сигарет участковый милиционер.

— Одевайтесь, голубчики.

Экспертиза: нетрезвые. Суть проступка: в общественном месте — в трусах.

А судья — только институт кончила девушка — как про трусы прочитала — засмушалась. И в смущении — на всю катушку по пятнадцати суток им зачитывает. Вот ведь как иногда получается.

Ни «купца-торгаша» нет у конюха, ни «кулака». Такой замысел — и насмарку пошел.

Только... глядь-поглядь! Появляются! Председатель рабочего комитета на легковушке доставил.

— Гримируйтесь скорей, — говорит.

— Здоров, первая пятилетка! — приветствуют конюха. — Амнистия нам ради праздника. Где бы взвеситься, подтощали!..

— Потом... после взвеситесь, — суматошится конюх, — в сумке тут колбаса у меня, хлеб. Закусите по-скорому, и на выезд нам. Да оденьтесь, оденьтесь сперва, на ходу подзакусите. Даже лучше: купец с кулаком колбасу жрут, а трудящийся... Почнет вас из телеги выкидывать пузами оземь!

— Ты поаккуратней, — сквозь колбасу говорит Огоньков. — Поаккуратней, полегче. Не знаешь, сколь мягкие нары у внутренних дел? Ребра мозжат... Не молоденькие.

А и впрямь — не молоденькие. Этих самых купцов-кулаков вживе видели. Кто первейшие на деревне сказители да сочинители? Огоньков с Серосекой. В частуш-

ках со сцены попа да купца с кулаком высмеивали. Артисты, гармонисты, певцы, орелики. Эти взвешивания, балагурство, сегодняшние мизансцены с телеги в народ — все это отголоски, отзвучья той самодеятельности. Новая бражка на старых дрожках.

Ну, нарядились дружки, запузатились и, пока без бород, волчьей торопыю колбасу крушат.

Микрофон объявляет: «Начинается механизированный парад «Идут по земле пятилетки».

Ну, и начали...

Показалась дуга в алых лентах. Конь. Телега. На телеге три личности. Две колбасу с хлебом по полным защецинам мнут, третья же, в косоплетках-лаптях и онучах, направляет трудягу-коня. За телегой ползет на прицепе однолемешный плужок. Сохи нет. По всему району искали — не выискали. На плужке цеп — основная техника на крестьянской Руси.

Серосека — «кулак» — пытается взгромоздиться на конюха, давит пузом его, душит пальцами. «Купец-торгаш» тоже на Серосеку прыгает. Вдвоем посоюзней давить. Такая идет пирамида. Терпел-терпел мужик-лапотник, да и поднял горб, выпрямляться стал. Понатужился, понатружил, сгреб обоих за хрип, за грудки, да и выбросил. Одного — по левому борту телеги, другого — по правому. Да еще кнута «кулаку» отпустил, вне сценария. Серосека завыл, но его заглушил микрофон:

«Перед вами прошла сейчас техника, с которой вступала Россия в первую пятилетку. А сейчас перед вами появятся... Внимание, колонна! Старт!»

И вздрогнули, стронулись — колесные, гусеничные. Взгремели, рванулись, пошли красногрудые, кумач полыхает поперек радиаторов. На кумаче биографии:

«МТЗ-5, «Беларусь». Один человек и пятьдесят лошадиных сил».

«ДТ-75. Один человек и семьдесят пять лошадиных сил».

«Т-100. Один человек и сто лошадиных сил».

«К-700. Один человек и двести двадцать лошадиных сил».

«К-701. Один человек и триста лошадиных сил».

Идут по земле пятилетки...

Шепчется на березыньках лист, сотрясается незабудковая поляна, стихли иволги.

Грохочут, рокочут, гудят красногрудые. Железные птенцы, неумолчные жаворонки поля советского.

Идут и идут по земле пятилетки.

«Начинаем парад малой механизации села!» — возвышают праздничный тон динамики.

И въезжает на площадь-поляну «победительская» машина Георгия Минеевича Маркова, полученная им за комбайнерский рекорд.

...Есть лица, которые без ухищрений, без лишней улыбки, с первого видения располагают к себе. Мужественные и — добродушные; спокойно-уверенные и в то же время — застенчивые; суровые, но исполненные вековой доброты. Лица без лицедейства. Лица — рельеф сердца. Таким во всем и заранее хочется верить.

Георгий Минеевича мне «выдали» на полчаса. На комбайне его подменил главный агроном колхоза. Некогда, брат, «кудреватых мудреек» в блокнот рисовать. Присмотреться лишь к внешности. Живой голос, особинку речи засечь да накоротко записать что-то главное, важное. Остальное придется дознать из окрестных источников. В деревне любой ее житель до мелких суставчиков местным рентгеном просвечен. Знают, у кого в котором боку сколько ребрышек.

Герка Марков...

Неласково, ох, неласково обходилась с ним земля.

Изгорбатить хотела, ссутулить, заспать в борозде.

Ведь отцы наши, дедушки, зная, ведая, как убойно земля тяжела, бережно да исподволь приручали к ней свою синеглазую поросль, грядущих своих младопахарьков. Не вспугнуть бы. Не надломить. Не заронить неприязнь-отчуждения. Пока нёмысль ты — вольна пашня твоя. Пострадай в бороздах грачей, покатайся верхом на Полканушке, на телегу ляг, подремли во сласть в духе пашенном. Вечеру, словно птаха угнездившись меж отцовских колен, бери вожжи в ручонки, сынок, правь Игреньку домой. Шевельнешь вожжу правую — конь направо пойдет, тронешь левую — он и тут весь твой. Помни, сынка, явление свое Черной матушке, словно дивную сказку, по-радостному.

Стал поцепче, посамовитее, поманило на лошадь вскарабкаться — вот тебе под сидельце потник, вот — поводья Игренькины. Нут-ко, сам! Нут-ко, попробуй, сынок, бо-

ронить! Вот как мы! Ай да парень у нас!.. Но опять же, опять, не до истомы ребячьей концы концевать, а в охотку, для гордости.

И уже через годы, сторожко: «Попробуй-ка, сына, пахать. Поглядим на твою борозду».

Вот так, ненатужливо, бережно, пока в силу да в жилу не войдет, опекал отец-пахарь своего молодого наместника, отдавал ему опыт, сноровку, душевную «тягу к земле». Так было испокон, так велось и при колхозах, когда цвел русский пахарь и в силе, и во множестве. Особый лишь случай мог смять и порушить этот наследуемый от отцовства к отцовству лад.

И он подостиг, подстерег нас, о с о б ы й для русского поля с л у ч а й.

Подростки и дети Великой Отечественной...

Зазвенели их несломавшиеся голосенки над горькими, тяжкими пашнями.

Слой за слоем слезают у Герки мозоли с ладошек. Он пахарь. В упряжке быки. Тринадцатилетний Микулушка Селянинович кормит далекую «дружинушку хобрую».

Возил Герка хлеб по ночам из колхозной глубинки к железной дороге. Были тогда не мешки, а к у л и, рассчитанные на дюжий загорбок мужчины. Было всякое. Засел ли по ступицы в грязь, сронилося ли колесо — выход только один. Облегчать надо воз. Боролись они в одинокой ночи, русский куль и тринадцатилетний подросток. Куль молчал, а Герка только кряхтел. Кто кого укладет.

С воза легче — попробуй на воз...

— Однажды ребята ушли вперед, остался я в поле один. Не осилю последний куль — хоть реви. Но под «волчью гармонь» получилось... поднял! Как воспели они вокруг вразнотон, ниоткуда и сила взялась. И бычишки, как кони, пошли.

Косил сено, метал собственные и менные стога. Кособокий, в наклон — значит, Геркин. Без сноровки еще. Зимой вывозил это сено ко скотным дворам. Дела да работа сугубо мужицкие, а кость да силенка — гибконькие. Недоспели еще. А питание? Волчьи выводки по осени выли, а мальчишкино брюшко скулило почти круглый год.

Мы фашизму еще не зачли всех народных потерь. В те жестокие военные и послевоенные годы перенату-

живалась младопашенная поросль обезмужиченных деревень. В иную деревню вернулись с фронта «рука да нога»... Для миллионов и миллионов солдатских сирот кончилось отцовское воспитание земель — началось испытание земель. Всеми пахотными меридианами навалилась она на тоненький незакрепший хребетик, на мяконькие хрящи молодого подростка России. Приплюсуй себе это, фашизм!

Но Герка выдержал. Все глубже и глубже «запахивался» парнишка в землю, хозяйничал, одолевал, сотворял. Летом сорок четвертого года он владычит на «колеснике». Через год перешел на гусеничный газогенераторный. Через три года керосиновый «натик» в руках. Погрохотала его биография.

Собеседуем мы с Георгием Минеевичем в заветрии под стогом сена. Сено с ягодкой — значит, июльское. Правая рука Георгия Минеевича на колене его утепленных простеганных брюк. Третья декада октября — Сибирь утеплит. На плечах телогрейка. Ее смело можно относить к легковоспламеняющимся веществам — так она пропиталась горючим, маслами и смазками. На голове немудрящая шапка-ушанка, из-под которой стекает вкось лба посивевший, но молодецки бодрящийся чуб. Выгоревшие брови тяжело легли на припухшие от бессонницы веки. Но все это по сравнению с владыкой-рукой, на которую я все смотрю, — проходные детальки. Ручища! Рука!! Вот она где, биография.

Лежит на колене... Такой инструментище, что если его приподнять и резко затем опустить, скажем, на наковальню — наковальня, ей-богу, должна зазвенеть. Она, рученька, и с поглядом, по внешности-то, металлическая, малость лишь до вороненой стали «недоворонела». В кипящих маслах не была, не калилася, но остальные стихии, хоть малым единым зубком, отметились и зашрамовались на ней. Морозило, жгло, изводило зубилами, стачивало на наждаке, плющило под молотком, трясло током, закапканивало между цепью и шестернями... А она в ответ все росла, рученька, матерела все, гягестнела. Про такую-то, вызревшую, не хвалясь говорят: «Свинцом налитая; смертью пахнет». Выделила на ладонях защитный покров в виде ороговевших покатых мозолей, в виде толстой, потрескавшейся на квадратики, ромбики, треугольнички кожи.

— Должно быть, и в баше не враз отмываются?

— Где там! — гладит ладони Георгий Минеевич. — В отрубях часа два надо перво отпаривать, потом — рашпилем. Рашпиль чисто берет...

«Запиши, запиши-ка, Иван. Рашпилем! Такова-то вот кожа, с чьей ладони — твой хлеб...»

Прошлая осень, казалось бы, обрекла урожай на квашню. В солод, в сусло его подзаквасить решила. Под неопрытным, нудным дождем прозябали на нивах полтора миллиона гектаров хлебов. И каких хлебов! Такие не родом, а голом случаются. Золото! Золото под ногами! Упасть на него и завывать от бессилия, отчаяния.

Любители образности частенько комбайн именуют степным кораблем. Представьте, почти оправдалось. Пришлось им в ту пору и «плавать», пришлось и «на мели сидеть». В штатном расписании страды появились такие спецединицы, как трактора-подстраховщики, дежурные трактора. В их чрезвычайных обязанностях только и было маневра: выволакивать из раскисших низин, из свинцового гнета набрякших доломом солонцовых проплешин увязнувшие до пупка «корабли». Промокшие «капитаны» выдирали из барабанов вязкую, похожую на мочало солому, чертыхали прогноз, поминали богов.

Где-то в конце сентября впервые развеялись тучи, ослепило неяркой голубизной протрезвившееся наконец небо, в две ноздри засвистал, двадцать метров в секунду помчал теплый просквозной ветер.

«Окно»!

— Расскажите, Георгий Минеевич...

— Что рассказывать?.. Приценюсь к своему комбайну — зверюга же, зверь — «Сибиряк». Сам от первого до последнего винтика направлял его да отлаживал. Приценюсь к урожаю — набористый хлеб, добрый хлеб, бункер стонет от эдакого. «Можешь, Георгий? — себя тайновнутренне спрашиваю. — Можешь ты рекордсменам это самое... перышко из хвоста выщипнуть?». Бес мой внутренний, подъярыга-зуда, отвечает: «Могу! Почему не могу?»

С полуночи, по морозцу да звездам, пошел весь и сказ...

— Вот про «беса», Георгий Минеевич, вы поминали. Каким его себе представляете?

— Ни рогов, ни хвоста, ни копыт, ни шерсти. Человеческое самолюбие твое. Соревновательная такая пружинка. Как взвелась — дай ей капсюль разбить. Изоржаветь, ослабнуть может без «выстрела»...

Рассказывает Петр Иннокентьевич, председатель колхоза:

— Шоферы при Маркове тоже должны были сутки работать. Зерно на тока от комбайна возить. И начал один засыпать на ходу. Разыскивает меня, говорит: «Хоть режьте, хоть ешьте — концы. Не могу. Аварию совершу».

Пришлось заменять мужика.

Весовая ведет самый строгий учет. Через двадцать три непрерывных часа было взвешено 127 намолоченных «марковских» тонн.

— Слазь, Георгий! — шоферы, смертельно уставши, кричат. — Кончай! Слазь!

— Нет уж! Сутки так сутки.

Еще час Марков молотил.

Сошел с мостика черный медведюшко. Поздравляли его среди ночи, жали руку.

— ...А она у меня онемела, отерпнула. Подаю ее, как деревянную. Мне жмут, а я боюсь, давану, думаю, КПД не рассчитаю и обезручу людей-то. Железо сутки держал...

И вот ведь как оно получается!..

— Выделили ему «Москвича», а выкупать не на что, «купило», как говорят, притупило. — Это уже рассказывает супруга Георгия Минеевича, Галина Павловна. — Конечно, не из-за «Москвича» он старался. В прошлом году орден Трудового Красного Знамени получил. Совесть у него такая... бессонная. Про машину ни слова ни загада у нас в семье не было. А придется как-то выкупать. Вся деревня нас подстрекает, даже совестит. Колхоз ссуду дает.

На минутку умолкла. Гладит младшему, Юре, головушку:

— Отработаем! Правда ведь, Юрочка?

— Отработаем! — подпрыгивает, заверяет мать третьеклассник сын.

...Юра, Андрюша, Толик Марковы проезжают сейчас по Незабудковой площади на папкиной «победитель-

ской» машине, машут старшим сестренкам и братьям — девять ребят в семье Марковых. «Урожайная», дружная семья.

А динамики нагнетают:

«Перед вами сейчас появится деревня Кукуй, почти полностью усевшаяся на собственные колеса».

Историческая справка: шли три мужика — Клюсов, Викулов да Клишев. Шли, сибирскую землю глядели, копали да щупали, место для поселения себе выбирали. Присели чайку вскипятить ходоки. И будто бы тут им, над костерком, скуковала вещунья-кукушка. Викулов говорит: «Это она нам, мужики. Селимся здесь. На неурожайном месте они не кукуйствуют».

Свое поселение назвали Кукуй.

Сейчас проживают здесь двадцать два двора Клюсовых, восемнадцать Клишевых и четырнадцать Викуловых. Три рода первых трех поселенцев.

Итак, внимание! Сейчас перед вами появятся потомки тех ходоков, которым два с лишним века назад облюбовала сибирскую землю кукушка. Внимание! Старт!!!

Ликует Незабудковая площадь. Строгим богом стоит инспектор ГАИ. Вдоль поляны на каждом десятом метре — нештатные автоинспекторы. Ответственность! Деревня же целая едет, со стариками, старухами, детьми, декретными матерями. Тоже кукушка, видать, со влияла. На неурожайном месте она не кукуйствует.

Сотни! Сотни моторов деревню везут. Десять семейных машин — пока десять — по завязку загруженных. Малышня в два этажа, в три! — на коленях у мамок, у бабок сидит. Младенчество гроздьями, наливными румяными яблочками облепило сиденья.

Мотоциклы всех марок, мотороллеры, мопеды. Течет радуга праздничных ярких нарядов девчат, всецветье косынок, ребячьих рубах, модных пестрых галстуков.

Гремит и грохочет лесная поляна. То-то ревушки, то-то грохоту!!

Обходчик нефтепровода, уроженец Кукуя, даже и прицепную тележку к своему «Уралу» приплацкартил. И люлька полна, и тележка на всю емкость наполнена. Да еще собачонка среди ребятни кажет народу язык.

Автоинспектор нахмуривается. Не на собаку. Деся-

тилетный парнишка ведет мотоцикл! Но сейчас уже не выгонишь. Нетактично получится.

А давно ли, Россия, тебя называли страной телег?

«Внимание! — включается микрофон. — Сейчас состоятся соревнования лучших из лучших механизаторов по пахоте. На скорость и качество. Участвуют...»

Называется в микрофон шесть фамилий, среди них Николай Серосека и Кузьма Огоньков, сыновья наших «штрафников». Те — опять на телегу: «Давай, первая пятилетка, к старозалежи!» — Тихона Васильевича торопят.

Доярки — механизаторские жены-подруги посматривают на часы. И дойка обеденная подостигает по времени, и состязания по пахоте. Вот ведь производствущко! Хоть вселенский салют, хоть всемирный потоп, а корове — свое: подои, накорми, напои. Раздухарившиеся, разбурьяненные от незадачи, уговорили бригадира отодвинуть дойку на час-полтора. Больно уж раззадорены.

Железные рыцари пашни... Они на слуху у народа. Их знают по снимкам в газетах, им пело радио. Сейчас у них схватка. Выйдут в бой мастерство, опыт, нервы. И честолюбие.

Я оболгал бы своих героев, не назвав их совладельцами такого всечеловеческого «порока», как честолюбие. Умышленно беру слово «порока» в кавычки. Беру потому, что рядом с честолюбием ведут цепкое смысловое существование слова: тщеславие, кичливость спесивость, зазнайство, карьеризм, чванство, амбиция и еще дюжина родственных синонимов, отнюдь не украшающих человеческую природу.

Согласимся, разные бывали на веках честолюбцы. Одни сжигали храмы, другие же, соревнуясь в красоте и изяществе, возводили их. Одни превращали черепа врагов в кубки, другие, не страшась смерти, испытывали на себе средство от холеры. Одни громоздили пирамиды, другие устремлялись подковать блоху.

Былинный герой Микула Селянинович соревновал дружину хоробрую повыдернуть из земли кленовеньку сошку. Дружинушка запросила пардону. Честолюбие пахаря торжествовало.

Два мужика ставили петухов. Петух петуху гребень.

порвал, мужик мужику череп проломил. Бытовая травма на почве честолюбия...

Силачи, голубятники, плотогоны, собачники, кузнецы, звонари, песенники — кто только не соревновался, не состязался, не тешил честолюбивого беса на веселой матушке-Руси. Подвигало честолюбие человека к самоутверждению и соревнованию.

— Обязательно — к соревнованию!

Легче, пожалуй, отыскать снежного человека, чем человека, лишенного честолюбия, в какой бы сфере деятельности он ни подвизался. И если отместить, ответить всю шелуху, отодрать все словесное ренье, паразитирующее на понятии честолюбия, вернуть слову его перво-родное благородство — как засверкает оно! Каким могучим и добрым союзником возвысится рядом со словом «соревнование».

Соревнование — силушка дивная!

...На старте семь ярко раскрашенных «Кировцев». Басовито, степенно, без конского баловства, по строгим законам механики дышат, ворчат, погрохатывают их богатырские железные груди.

У каждого на хвосте многокорпусная система плугов, почти отшлифованных на посевной, изостренных, самозаточенных, яро жаждущих врезаться, впитаться, вонзиться в материковую закрепить земли.

Забавно: сивы голуби, вроде бы отлученные от солярки, мазута и праха земного, в комбинезоны вырядились, а эти, кому взаправду пахать — в отглаженных темных костюмах, в белых рубашках, ботинки — глядишь в них и галстуки поправляй. Такое уж святое дело — соревнование при всем честном неподкупном народе. Бейся в чистой рубахе, как встарь было принято на Руси.

Сидят по кабинам, ждут старт.

Меж собой они пошучивают, сравнивают себя с концертной агитбригадой, будто вся их задача — развлечь, взвеселить районный народ, исполнить свой номер. Пошучивают, а потрогайте пульс...

Публика по географическим признакам разделилась. «Искра» собралась отдельно, «Партизан» своим «партизанским» станом стоит, «Октябрьский» теснится к «Октябрьскому».

Сместились сердца деревень. Притихнуло детское озорство.

Сибирская вдова Куприяновна, корень-бабка сибирская... Вокруг нее теснятся три сына, четыре невестки, четырнадцать внуков и внучек, сваты, кумовья. Сын ее, Алексей, которому баню вчера зверояростила,— под вторым номером. Так и скакнула бы к нему легкой ножкой в кабину: все ли ладно у малого, все ли предусмотрел?

Старозалежь размечена голубыми флажками. Семь загонок отмерено, в среднем на полчаса рассчитаны.

«Приготовиться!» — поднимает ракетницу шеф от ДОСААФ.

Конь всхрапнул бы, покосился бы огненным глазом, «Кировцы» же, хоть и не кони, тоже, смотрите, дрожат. В семи голосах, в семи поднапорах катков растет, накаляется нетерпение борьбы.

Отпущено время, дано им пространство.

«Старт!»

И рванули, рванули, пошли красногрудые!

Земля под ножами плугов, словно черное масло, легко и красиво ложится в отвал. Каторжная для заступа, неподатливо тяжкая для Игренькиных и Буркиных плеч, сейчас она кажется детски беззащитной, пощеньчи податливой. Обозначились семь огромных пирогов, у которых свежая пахота — тесто, борта пирога, а старозалежь — начинка. И начинка сия на глазах уменьшается. Пожирают ее разверстые зевы стальных корпусов.

Тихон Васильевич взывает к лошади:

— Дремишь, скот? Довольный, что за тебя управляют? Ты хоть бы должность члена суда исполнял, качество вспашки оценил.

— Качество у них — по линеечке, — отзывается сосед слева. — Тут все — лучшие. Победа по скорости решится. Двойка вроде вперед вышла...

— Типун тебе на язык! Погляди! — кричит конюх. — Двойка-то!.. Словно блох ловит.

С «двойкой» действительно неладно. Средний плуг у нее почему-то не пашет, а елозит лишь по дерну, отворачивая на свой след тощенький, в оладышек толщиной, пласт.

Крики, свист, прочая сигнализация.

Петька первым сорвался на помощь отцу:

— Папка! Пап-ка-а!.. Стой! — пронзил старозалежь отчаянный мальчишеский крик. Пацан, обогнав трак-

тор, стал перед самым радиатором, бледненький. «Стойте же, стой!» — вскинул руки.

«Двойка» остановилась. Отец, оглянувшись, сразу все понял. С одного корпуса сорван был лемех. Подносились, ослабло, устало железо — и вот результат.

Припрыжками, вскидками помчался Петька вдоль изуродованной борозды. Уткнулся в пахоту, по-барсучьи сунулся носом в нее, начал рыть, теревить, раздирать прошитые корневищами трав неподатливые дернины-пласты. А на помощь Петьке мчались уже Куприяновна, четыре невестки и три ее сына, четырнадцать внучат, сватья, кумовья. Следом кинулась ферма. За фермой подвинулась «Искра». Словно кто-то, как встарь, подал клич: «Наших бьют!»

Соревнование! Силушка дивная!

Праздничный, разнаряженный люд, позабыв про обновки, обламывая сгоряча ноготье, лихорадочно роет горячими, нетерпеливыми пальцами свежепыхань, парные отвалы земли. Да роет-то попусту. Где схоронился лемех, сама борозда откровенно и точно указывает. Здесь его и вытаскивают Куприяновна с Петькой.

— Держи! — заполошно протягивает лемех сыну старая механизаторша.

— Поздно, мать, — отрешенно, устало и виновато улыбается Алексей. — Оставь. Сама знаешь...

— Двойка ты, и больше никто! — кричит Петька отцу и, чумазый, в слезах, бежит прочь вдоль примолкшей отцовской загонки.

А шесть красногрудых сжимают грудью свое заповедное поле...

На телеге, в тени, курит Тихон Васильевич. От него же разжились табачным зельем судьи и свободный люд. Сейчас небольшой перерыв. От старозалежи народ движет к Незабудковой площади.

Под табачок, а еще деготьком от телеги попахивает, хорошо философствуется. Основную струю ведет конюх: растревожили его трактора.

— Жизнь пошла, мужики, с применением техники. Дров на зиму себе напилить — с применением. Кур зимой облучаем. Бабка Васи́ха поросят под электрическую грелку на ночь кладет. К свинье нейдут поросята, а под грелку — бегом!

Свадьбу-женильбу сыграть, отплясать — с применением. Три машины, на радиаторах куклы посажены, по бокам — пузыри голубые и розовые. Ну, куколки, ясно, понятно, что к детям, а к чему пузыри, убей бог, не пойму. Предсказание разве какое?

Коню, бедному, тут и шагу ступить не осталось. Удален от скорбей, отчужден от торжеств... Оно, искренне говоря, и кони-то на сегодняшний день лишь прообраз один. Который обучен стариками еще в упряжке ходить, у него, бедняги, от трудов многоправедных копыта клешнями пошли. А молодых обучать некому! Конюха в большинстве своем старики. Латаные, на давлении живут, на анализах. Протез протезу голос подает... Вот и перерастают конишки, дичают от вольности. Есть по семи — девяти лет пустоплясам — а ни разу не запрягались. Подступись-ка его обучать, обуздай попробуй — он тебя в космос-то заметнет!.. Отец, мать его, дедушка ли по-прежнему воз волокут, а он, пустоплас, взирает на них да посмеивается. Смеяться, гад, научился. Обезмолвленно так зубы выщерит на предков своих — ему юморно. А все — техника... Не она — тоже вкалывал бы...

В самом центре Незабудковой площади разместился автопогрузчик с приподнятым ковшом.

«Аттракцион с применением техники! — объявил микрофон. — Разыгрывается «приз молодой семье». Кто изловит живьем петуха, тот получит в придачу к нему этот необыкновенный, загадочный приз! Ловите петуха! Ловите петуха!!»

Среди публики, особенно той ее части, которой не противопоказан загс, произошло заметное оживление. Только где же они — петухи?

Шофер в автопогрузчике словно сфинкс улыбается.

А динамики знай нагнетают:

«Кто изловит живьем петуха — счастливейший человек! Ловите петуха. Для вас уготован приз!»

Но вот загудел на коротких и длинных гудках, включил мотор автопогрузчик. Ковш его шевельнулся, поплыл вверх, поднялся по предел — чуть не вровень с березами. Здесь и замер. Шофер из кабины снял с ковша затемнение — брезентовый старый чехол — и тут, ослепленные солнышком, явились народу они — петухи! С заполошным криком, с ревушкой взлетели они из

ковша сперва вверх, а потом, согласно закону Ньютона, повлекло их всех вниз. В ковше они томились четверо, все разноперые: белый, рябенький, радужный и один — во прах золотой! Пикировали из-под синего неба на изумленно взрепевшую публику. Все смешалось. Под петухов кинулись все слои населения — холостяки, женатые, разведенные, солдаты-отпускники, возмужавшие второгодники. Капитаны местных футбольных команд — Женихайло с Михайлом — сшиблись лбами, стремясь схватить вместе рябенького. Крик, свист, улюлюканье, петушье вопление. Один прорвал цепь и вознесся, помчал беззаветно в сибирские лисичьи леса. За ним молодь вдвоем урезвила.

Второй петушишко, отчаявшись и смешавшись в рассудке, слепенько ткнулся в комбинезоновые шароваристые штанины вдовы Куприяновны. Тут она его, касатика радужного, и оголублила. Бурные аплодисменты:

— Замуж бабу!

— Старика ей румяного призвать!!

Через шесть-семь минут молодецко-девичьего гона были пойманы и представлены на соискание и остальные. Который в леса устремил, того второгодник, беленьку, под мышкой несет. Женихайло с Михайлом тоже изловили своего. Огнеперенького, на горе-беду его, достигнул журналист Ездаков.

«Владельцев петухов просим подняться на эстраду», — зовет микрофон.

Эстрада — большая грузовая машина с откинутым задним бортом. Четыре владельца мигом-моментом туда взобрались, а Куприяновна совестится. Готова и петуха отпустить.

Сыновья, однако, не позволяют:

— Иди, мать, иди!.. Пахоту проиграли — на петухе паверстаем.

Принудили, чертушки.

Стоят счастливицы с петухами в руках: каковы-то вы, призы загадочные?

И подносят к каждому петуху... ну, естественно, по беленькой курочке. У курочек голубенькие ленточки вокруг белых шеек повязаны, на зобах бантики образованы.

— На обзаведение молодому хозяйству! — подают второгоднику курицу.

Второгодник такого не ожидал. Смех ребячий сметнул его с эстрадных подмостков. И петуха зашвырнул парень.

Женихайло с Михайлом степенно и вдумчиво приняли приз.

Ездаков перед курочкой даже расшаркался.

У Куприяновны же рядом с улыбкой вот-вот и слезы появятся. «Приз молодой семье»... Где-то он — ее молодой, ее Ваня? Двадцати шести лет отобрала, сгубила его охальная девка — война. Скрестил там рученьки и чутко подслушивает, как плывут-гудят над его Первозданной, Живой, Спасенной Россией праздники, праздники, праздники...

Все шло ладно и весело. После концерта занюхнули, чем пахнет в киосках, ларьках, и растекся, расширился праздничный люд по всей-то лесной необъятности. Под березами белые скатерти. Не самобранки, но есть над чем слюнку сронить. Гармони, гитары, песни.

Женихайло с Михайлом забрались в овраг, порезали там призывную парочку. Идут к Куприяновне:

— Бабка, дай скороварку твою обновить. Будем птиц варить. Умнем вхолостую. Суп-приз сварим.

И никто в этом многолюдном застолье не заметил: нет Петьки. Петьки-то нет!

Приметил отец.

Потихоньку ушел от компании, стал искать.

Петька нашелся в овраге. Сидел на искривленном стволе овражной березы один на один с тишиной, с молодым тeneвым комарем. Голубела рубашка, перемазанная зебровидными полосами, снятыми с влажной, парной пахоты. На щеках, на носу, на ушах, на шее — та же самая пашня, рассоленная, разведенная ребячьей слезой.

— Да ты чего, сынок? — положил на мальчишеские плечи тяжелую руку отец. — Стоит ли по таким пустякам...

Петька не дал ему договорить.

— Тебе пустяки? Тебе пустяки? Тогда и не брался бы! Не умеешь лемех прикрутить — и не брался бы...

— Ну, кончай, перестань... — виновато и ласково уговаривал Петьку отец. — Не последнюю весну живем. На

тот год дам тебе все ключи, все болты с контргайками — сам досмотришь, подвертишь... Да.. Видно, начал я, Петька, стареть. Без помощника видишь, какие дела получаются?

— Надо было сказать... я бы ночь не поспал...

Отец про себя улыбается: «Чудушко ты мое мазаное...»

— Пойдем, сынка. Бабушка там без тебя петуха изловила, курицу в премию дали. Ты голодный поди?..

— Сами ешьте своего петуха!

— Брось ты, брось. Пойдем вон туда, к родничку, вымой руки и хрюшку. Злость у тебя очень правильная — с техникой связанная, а вот слезы совсем ни к чему.

Петька съел сбереженную для него петушиную ногу. Куприяновна, оказывается, тоже заметила его отсутствие. Собрав куриные и петушиные косточки в газету, отсылает обратно внука в овраг:

— Брось там. Пусть лиса, либо волк, либо хорь нанюхтят. Лю-ю-юбят куриные...

«Забойтся, нет? — косится на Петьку. Одновременно обследует взглядом именьшеньких. — Знайте, волки в овраге ведутся. Не бегайте».

Аккуратно сметает со всех четырех скатертей в одну общую грудку хлебные крошки. Крошек целая горсть. Кинуть наземь в лесу негрешно, только следует ли на глазах-то у маленьких?

Куприяновна берет из горсти по шепотке хлебной мелочи и рассеивает вокруг себя. Рассеивает и приговаривает:

— Иволге. Дятлу. Голубю. Скворушке. Дедушке Филину. Поползну. Бабке Сове.

— Оставь зайчику, — запросили ее младшенькие.

— И зайчику тоже...

Опять по шепотке пошло. Крошек много набралось — застолье большое.

— Зайчику. Ежику. Козлику дикому. Барсучонку. Лосенку. Мышонку. Волчонку...

— Волчонку не надо. Он — волк вырастет, — пояснили бабушке младшенькие.

— Оо-ох... Когда еще вырастет! А сейчас пусть маленько поест. Он вырастет — и вы вырастаете. Тогда и застрелите.

— Кормили, кормили, а потом сами стрелять?

— Можно и не стрелять. Пусть для сказки живет. Не будет волка в лесу — не станет и сказки про волка. А хлебушка пусть маленько поест. Всем он сладок — хлеб человеческий. Наш Пестря попервости тоже волком ходил. Дала я ему раз в лесу хлебушка...

И праздник кончается сказкой.

1974 г.

СВОЯ РАДУГА

Есть у Ивана Ермакова образ-воспоминание. Как-то отец взял его с собой. На выезде из деревни повстречал их дождь-косохлест. «Прянул и убежал». Оглянулся мальчик, а «над деревней, над лугом, над стадом, над пашнями, над умытыми звонкими рощами играла, полыхала на запятках дождя высокая яркая радуга. Она тоже на глазах убегала, смещалась, кудесила. Орала ей вслед захмелевшие с поднебесной капельки журавли. Мокрые кукушки срывались с белесых сушин и с хохотом, с воплями бросались за нею в погоню. «Пок-ррась перрышки! Пок-ррась перрышки!» — извивала в мочажине, кляпча, птица-дергач...

За второй деревенькой их опять повстречало упругое белое облачко. Рассыпалось тысячью маленьких блесен на солнце и — не чудо ль? — опять и над этой деревней, наливаясь румянцем, сняла такая же радуга.

— Тяга? Что ли, у каждой деревни своя?..

— У каждой своя, — посмеиваясь, отвечал отец.

Своя радуга! Была она и у Ивана Михайловича Ермакова — в каждой из его книг.

Я познакомилась с ним в Тюмени в начале шестидесятых годов. В отделении Союза писателей подошел ко мне крепко сбитый человек лег сорока со светлыми веселыми глазами, сказал шуточно. «Иван Ермаков. Молодой писатель» (его незадолго перед этим приняли в Союз). И тут же начал рассказывать что-то потешное, и тотчас ж нам потянулись товарищи, заранее улыбаясь.

Первое впечатление было не в пользу Ермакова: его шумность, ершистость показались мне наигранными.

Вечером выступали в Доме офицеров. Как водится, поэты читали стихи, прозанки — отрывки из нового, я рассказывала об уральских писателях и о журнале «Урал», в редакции которого работала.

Слушали плохо — ждали танцы. Ведущий уже собирался закрывать вечер, когда неожиданно встал Ермаков, подошел к краю

сцены и задорно сказал: «Ну-ка, братцы, послушайте еще меня, старого солдата». И повел, казалось бы, безыскусный рассказ шуткой, побасенкой о ратных трудах, о родимой земле, о неунывающем никогда и нигде солдате, о его озорстве и великодушии, о русской смекалке, которой «предела нет». И сразу взял за живое какой-то ошеломляющей раскованностью, доверительностью, радостной увлеченностью своего рассказа, в котором удивительно вольно было сибирскому говору и добрым мыслям о Человеке. Не часто увидишь, чтобы так дружно, от души хохотали и чутко замолкали, подталкивая друг дружку — не пропустить бы слова...

Нет, в нем не было никакой наигранности. Он естественно жил в своем особом сокровенном мире, где царствует выдумка, «примечудинка» и мудрость народа, где рождается слово знакомое и новое, согретое сыновней любовью к родному краю, к милой своей «баюшке».

Шестидесятые годы были очень плодотворными в писательской судьбе Ивана Ермакова. В уральской и сибирской периодике все чаще и заметнее встречается его имя, складываются первые книжки и выходят в издательствах Тюмени, Москвы, Новосибирска, Свердловска — «Богиня в шинели», «Голубая стрекозка», «Атаманово подаренье», «Солдатские нескучалки».

Однако нельзя сказать, что публикации не доставляли ему хлопот. Он неизменно работает в малом жанре, скромно именуемом сказом, и неизменно чуть ли не каждая рукопись вызывает в редакциях споры и возражения. Почему? Отталкиваясь от замечательного опыта Павла Петровича Бажова, Ермаков искал свой путь создания современного сказа, но привычка иных редакторов и критиков судить всякий сказ по «бажовским меркам», по практике его последователей, собирателей и интерпретаторов горнозаводского фольклора Урала, мешала принять самостоятельность и новизну тюменского автора.

А у Ивана Ермакова действительно сказ «тот и не тот». Нет в его повествованиях никакой фантастики, тайной силы, никакой чуди (за исключением «Голубой стрекозки» и «Атаманова подаренья»). Страницы заселяют наши с вами современники, — солдаты Отечественной войны, ветераны гражданской, пахари, доярки, пастухи, плотники, лесники, кузнецы, трактористы. И традиционный рассказчик тоже из их среды. Не сказитель старины, а сказыватель «бывальщины». Балагур, насмешник, ермаковский «повествователь» принадлежит к тому неистребимому «племени ведунов и балясников, неумных, неутомимых эдаких бахарей», что так родственны общительности деревенской натуры писателя, его приращенному комедийному дарованию.

Основной отличительной чертой сказового жанра всегда считалась близость стиля устной народной речи. В ермаковских произведениях разговорная интонация чувствует себя необыкновенно свободно, поражающе естественно. Ему не надо было записывать, «творчески обрабатывать» фольклор — он был в основе его языка, его народного мироощущения.

Кому посчастливилось в узком кругу слушать устные рассказы Ивана Михайловича, тот, конечно же, помнит, как самозабвенно разыгрывал он свои «нескучалки», как необходим был ему собеседник, слушатель. В такие минуты глаза его становились хитрющими, руки беспокойными, а речь озорной и бурливой. (Кстати, замечу: слушать его импровизации, особенно на солдатские темы, иногда оказывалось «небезопасно» — так крепко заряжались они ядреной шуткой, принесенной из гущи суровой мужской жизни.)

Распространенное суждение: кто хорошо говорит, плохо пишет — не подходило к Ермакову — в произведениях его всегда сохраняется терпкость и пленительность многокрасочной устной речи, ощущается редкостное совпадение особенностей дарования и формы выражения ее.

Какое же удовольствие в наш век усредненного, слишком грамотного литературного языка прочитать хотя бы такие строки о солдате Афонюшке из сказа «Память»:

«Младочертом глядит с фотографии. Левый ус, как всегда, в развихрень, в распыл мелки бесы раздернули, правый, бдительный, тоже проказу и шустрость таит для предбудущей шкеры...

Приключенчечкой жил мужичок.

Звонкоговный, в журавлиную силушку, голос имел, некорыстный ростик, зовомый «попу до пупка», востропятую поспень в ногах и проворный сметливый ум. Грамотешка церковноприходская, а на выдумку, вымысел!.. Упомянутый поп его иезуитом за глаза называл. Потому как Афоня со сцены персону сию не отпускал...»

Подчас кажется: Ермакову не хватает обычных слов, и он «ткет» какие-то свои узоры, поворачивая слово и так, и эдак, придавая ему то ласковый, то уменьшительный, то насмешливый оттенок. Нет, наверное, необходимости множить такие примеры, но очень хочется привести еще отрывок из рассказа колхозного сторожа («Зорька на яблочке»).

«Присядет он рядышком, плащишко свой на коленях разместит и — ровно полянку в карманах да в башлыке прихоронил: струечку мяты нос причует, земляничка заистомляется, луговая купавка померещится, тмин-самосейка — полем пахнёт... Неподмесным полевым зазывистым таким надыхом пастухи одни только пропитываются. По соковой ягоде ходят, на медогон-траве дрем-

люют, со всякого цвет-растенья пахучие дымки, вихорки их окури-
ва-от, из-под радуги берестяным ковшичком пьют — удивительно ли?
Весь витамин земли ихний!»

Густо заправленный просторечиями, сибирскими озорными сло-
вечками, природным юмором — язык Ермакова иногда и нарушал
привычные «нормы». Встречались у него на первых порах пере-
хлесты, излишества и перегруженность образностью, но эти из-
держки шли не от изыска или нарочитости, а от естества поистине
народного таланта.

Не из словаря Даля, не из памятного неперменного писатель-
ского блокнотика вливалась в его язык стихия местного присловья,
поговорок, пословиц, поскладушек — они его коренные, впитанные
с детства, с опытом жизни.

Родился Иван Ермаков 27 января 1924 года на юге Тюменской
области в деревне Михайловке Казанского района. Богаты эти
места и светлыми березовыми лесами (что будут шуметь во многих
его сказах), и тучными нивами, и сенокосными угодьями, и хлебо-
сольными песенными праздниками.

В большой крестьянской семье Михаила Тихоновича и Анны
Михайловны росло двенадцать детей. Климат дома был здоровый:
работающий и безунывный. Многое взял Иван и от неутомимой в
работе бабушки Пелагеи Васильевны, что пекла внукам «превкус-
ных хлебных жаворонков и лебеденков», и от дедов Михаила и
Тихона — «с бусорью чуток», и от веселого нрава отца, но больше
всего от матери Анны Михайловны — человека неистребимой ду-
шевной силы. До преклонных лет, живя уже в Тюмени, сохранила
она свой бесценный речевой дар, удивляя и радуя всех, кто бывал
в доме писателя Ермакова.

В деревне трудовые навыки воспитывали сызмала. «Пятилет-
ним вывез меня отец на пашню,— вспоминал Иван Михайлович.—
Впрочем, кто из моих деревенских сверстников не побывал в таком
возрасте на пашне... Неискушенные наши предки вряд ли подозре-
вали, что именно этим вешним весенним деньком открывают сне-
глазые сопливые колумбы первозданную красоту луговых и березо-
вых америк, что именно в этот первый выезд в широкое, как мир,
поле ребячья ладонька, впервые после материнской груди, прилас-
кается ко второй, теперь уже вечной кормилице-земле, что именно
вои здесь, в борозде, разминая пахучий комочек весенней земли,
обретает маленький россиянин шестое чувство — чувство Родины».

Многое закладывает в человеке детство, особенно в художнике,
и счастлив он, коли соединятся в чистых истоках его горячая
любовь к родной земле и радость труда во имя ее.

Рос Иван Ермаков в суровое и интересное время, когда под

напором нового трудно переворачивался старый вековой уклад, когда еще свежа была в семьях односельчан память о кровавых расправах Колчака, зверствах кулацкого митежа, о героизме первых коммунаров. Но уже гудели на колхозных полях машины, девушки заводили вечерами любимую песню того времени: «Прокати нас, Петруша, на тракторе, до околицы нас прокати», а в переполненной читальне деревенские активисты ставили антирелигиозные пьесы с частушками собственного сочинения.

Рано проявилась актерская жилка и в Иване Ермакове. Мать писателя Анна Михайловна до сих пор вспоминает, каким непоседой, озорником был Иван, все придумывал чего-то, «поплетушки плел». Председатель не раз грозился: «Не пущу больше парнишку на поле — как начнет кого-нибудь представлять, все и работу бросают, хохот стоит».

И совсем не случай привел Ивана Ермакова после окончания седьмого класса в 1939 году в Омский областной кукольный театр, где он, пятнадцатилетний, сразу был зачислен в штат актером-кукловодом. Работал и одновременно учился в театральной студии драматического театра.

Хорошело сибирское предвоенное село, поднималось раслой порослью Ивановых сверстников. Отсюда уходили они в сорок первом, тысячи мирных пахарей...

Через год Иван Ермаков стал курсантом 2-го Омского пехотного училища. В апреле сорок третьего был направлен в действующую армию командиром стрелкового взвода. Участвовал в боях на Волховском и Ленинградском фронтах, был дважды ранен, награжден орденом Красной Звезды...

Скупые строчки биографии. А за ними — яростные дороги войны, гибель отца и брата, тепло фронтовой дружбы, солдатского братства, свято сбереженного на всю жизнь, и победные дни, когда «ходили мы без вина пьяные, выше сердца гордые, по звездочку счастливые, вовек непобедимые... В смертный час эти денечки вспомню».

Демобилизовался лейтенант Ермаков в 1947 году в Эстонии и несколько лет работал там в культурно-просветительных учреждениях. В 1951-м вернулся домой. Заведовал сельским клубом, потом районным Домом культуры, учился в Тобольском культурно-просветучилище.

Больше десяти лет до переезда в Тюмень прожил Иван Михайлович в Казанском районе. Горькой нежностью и болью вошла в него послевоенная сибирская деревенька, где не исплаканы еще были слезы «о грозных сибирских ротах», — деревенька безутешных матерей, вдов и недоедающих ребятишек, на плечи которых легли многие тяготы обескровленного войной хозяйства.

Много сил отдавал Ермаков клубной работе: организовывал самодеятельность, писал для нее, ставил спектакли, сам играл, сочинял целые программы новых сельских праздников, но главной любовью его оставался кукольный театр. Делал куклы, обучал ребят, выезжал со своими артистами в самые глухие села. Как же ждали, как бегали на эти представления и стар и млад!

Дар рассказчика, потребность общения выливались пока так. И не счесть, сколько доброго, светлого посеял Иван Ермаков в эти годы в прииртышских хлебородных местах. Здесь, в родной Михайловке, он и женился, здесь родились дети.

Дочь Светлана Ивановна вспоминает: отец всегда был с людьми, всегда на людях. В дом вечно кто-то заезжал, заходил — то написать письмо, то «бумагу», то просто за советом и помощью...

А память бережно хранила события, лица, судьбы. И когда в 1956 году, в тридцать два года, Иван Ермаков напечатал в «Тюменской правде» первый свой сказ «Соколкова бригада», это не было пробой пера начинающего автора. Свои, незаемные слова, свои, выстраданные мысли о труде человека, о мастерстве. Герой тоже объявился ермаковский, с задириной.

И как будто прорвался заслон, что сдерживал накопленное годами. Один за другим пошли к читателю сказы: «Аврорин табачок», «Сорок седьмая метка», «Богиня в шинели», «Ленинское бревнышко», «Голубая стрекозка», «Ценный зверь — кирза», «Костя египтянин» и другие.

Повеествование лилось свободно, полнилось неподдельным смехом, веселой выдумкой, доброй улыбкой, живой атмосферой сельской нови. Казались они, ермаковские сказы, очень простыми, понятными, однако пересказать их трудно, как хорошую песню.

Возьмем сказ «Стоит меж лесов деревенька». О чем он? О памяти поколений, о деревенских внуках, никогда не видавших погибших на войне дедов? Или о красоте душевной, что открылась в людях, вставших на защиту Савостькина тополя? Сквозь тоску маленького Савостьки о дедовой ласке, стойкое сопротивление его с Захаркой, сквозь забавные и печальные страницы деревенской жизни проходит сильный, ясный в своем высоком звучании мотив верности ратному подвигу «светлых русичей». Звучит он и в других сказках и отдается в сердце читателя щемящей болью и гордостью, заставляет понять, что за видимой простотой произведений Ивана Ермакова таится прочность жизненных основ и гражданского мировосприятия автора.

Беззаветное служение Родине Октября, вера в свой народ были в нем так органичны, кровны, что и в творчество переливались звонкой родниковой струей. Подлинно раскован писатель, когда пишет о том, чем полно его сердце. Вот почему столь прав-

дивы и по-хорошему возвышенны его слова о Ленине, партии, о родимой сторонushке, вот почему при всей занимательности и щедрой ермаковской выдумке так ясно и искренне содержание сказов.

А персонажи его! Из глубин жизни берет он их — живых, добрых, настоящих людей, «негероических героев», умеющих и работать, и воевать. Руки — «скуповаты на жесты, бережны в ласке, зато звери в работе — железо мнут». Лица — «мужественные ч в тот же момент — добродушные, спокойно-уверенные и в то же время — застенчивые, суровые, но исполненные вековой доброты... Лица без лицедейства. Лица — рельеф сердца. Таким во всем и заранее хочется верить...». Очень характерны для автора эти штрихи портретов.

Читаешь Ермакова и дивишься редкостной открытости, распахнутости писателя. Он ничего не утаивает, не ищет формы прикрытия своего «я». Это он, Иван Ермаков, славит удаль и широту души сибиряка-солдата, эго он добро подсмеивается над простодушием Кости-египтянина, и плачет вместе с дедом над беззаветной его гибелью, и любит озорницами доярочками, что несут в подойниках «первочудо умной Зеленой Земли».

В публицистическом сказе «Кузнецы» Ермаков как бы размышляет вслух о самом сокровенном — о писательском труде, об ответственности мастера, материал которого — слово:

«Не согретое в горне души, оно — как холодное железо: шершавое, упрямое, неподатливое. Не тронь холодное — один звон.

Но если вдруг... слово засветится, если почувствуешь, что оно горячее, обжигается — не медли! Укладывай его скорее на «наковальню» и бей, заостряй, закаливай, доводи!..

А если не получается, брось немудрящий свой инструмент и беги...

...Учите, учите меня, кузнецы! Куда бить. Во что целить. Как горячим выхватывать слово из горна...»

Есть в ермаковских сказах какое-то глубинное родство с русской народной сказкой, с ее озорством, мудростью, благородством. И это ничуть не заслоняет современности их содержания, сильнее, явственнее подчеркивая национальную сущность творчества писателя.

По-своему передал Иван Ермаков время, в котором жил, в котором шли рядом с ним его современники.

Находились советчики, говорившие, что пора Ивану Михайловичу (с его-то опытом!) браться за «серьезные», большие вещи. А он — писал сказы. Делал то, что считал нужным, в чем чувствовал свою самостоятельность, самосильность. Да и не мог долго засиживаться дома, слишком сильна была жажда познания нового.

Легок был на ногу Иван Михайлович. На любом попутном

транспорте колесил он по Тюменщине. Сколько встречено людей, сколько сжижал в доброй беседе по ту и эту сторону Полярного круга.

Маршруты его лежали то в оленеводческий совхоз на Ямале, то в глубокий леспромхоз, то к нижневартовским бурильщикам. Прослышав о небывалом для Приполярья «огородническом» рекорде, писатель спешит в Сургут, чтобы «по пути» завернуть на Ханты-Мансийскую опытную станцию и загореться там идеей сельхоз-предместий нефтяных городов (нынешних подсобных хозяйств промышленных предприятий).

Ездил он и на стройку приполярного газопровода, и к вышкo-монтажникам Урая, но куда бы ни заносили писателя дороги, всегда и всюду находил он своих героев, людей негромких профессий, влюбленных в труд.

Подчас кое-кто и посмеивался над Иваном Михайловичем, особенно над его «сельхозидеями»: «Стоило из-за этого огород городить?» Он не обижался, хорошо зная, как необходимы во вновь обживаемых северных районах, куда перебирались люди с семьями, с детьми, зеленое перышко лука, свежий огурчик и стакан натурального молока. («Они — «северная надбавка» тепла человеческого. Вот рентабельность!»)

И ложились на редакционные столы задористые, не похожие на собратьев очерки. Листаешь сейчас подшивки журнала «Урал», вчитываешься в страницы публицистики Ивана Ермакова — «Знамена просят ветра», «Петушьи зорьки», «Ямальская фея», «Под крылом у жар-птицы», «Заря счастье кует» — и точно погружаешься в шестидесятые — семидесятые годы. Зорко схвачены приметы, черты и черточки нового — не описание, а проникновение в среду, в быт, в его изменения, мысли об увиденном, полные деятельной любви к многоликому Тюменскому краю, к его будущему. Это поистине «свидетельства времени» — живые, емкие, точные.

По языку очерки близки сказам — та же цветастость, эмоциональная насыщенность, яркая образность, афористичность. Не скажет, что весна засушлива. «Весна нынче в солнце влюбленная шла, ветра не отбела, каждой лужей по милому высохла». Или: «Сибирская осень — она самовольница, шатун-медведица, неверная женка».

Публицистика давала сильные токи творчеству. Прорастали зернышки новых сказов («Звонкое дело», «Аленушка», «Авка слушает ветры», «Дедушкин габак», «Кузнецы», «Память»), зрели замыслы.

Сколько еще мог сделать Иван Михайлович, было у него что сказать читателю...

В декабрьской книжке журнала «Урал» за 1974-й — через полгода после смерти Ермакова — печатался последний его очерк

«В поле — воин», как бы соединивший воедино две главные темы творчества писателя: память войны и поклонение человеку труда.

Да, была у Ивана Михайловича Ермакова своя радуга — долго сна еще будет кудесить яркими всполохами родного неба, родных полей в его добрых и лукавых творениях, радуя и удивляя не одно поколение читателей.

Нина Полозкова

Содержание

Солдатские сказы

Порченые солдаты	5
Аврорин табачок	15
Богиня в шинели	30
Сибирский клнент	54
Ценный зверь — кирза	73
Костя-египтянин	92
Память	140

«Учите меня, кузнецы!..»

Соколкова бригада	155
Ленинское бревнышко	166
Сорок седьмая метка	181
Голубая стрекозка	200
Зорька на яблочке	247
Дымково бессмертие	270
Стоит меж лесов деревенька	285
О чем шептал олененок	300
Сказание о Реке и ее Капитане	326
Кузнецы	351
И был на селе праздник	360
Своя радуга	
<i>Послесловие Н. Полозковой</i>	<i>387</i>

Ермаков И. М.

Е72 Учите меня, кузнецы: Сказы/Послесл. Н. А. Полозковой.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984.— ...с.

В пер. 1 р. 80 к. 50 000 экз.

В однотомник избранных произведений Ивана Ермакова (1924—1974) вошло около двух десятков сказов, написанных в разные периоды творчества писателя-тюменца. Наряду с известными сказами о солдатской службе и героизме наших воинов, о тружениках сибирской деревни в книгу включен очерк-сказ «И был на селе праздник», публикующийся впервые. Названием однотомника стали слова одного из сказов, где автор говорит о своем стремлении учиться у людей труда.

Е 4702010200-083 45-84
M158(03)-84

ББК 84Р7

ИБ № 1294

**Иван Михайлович
Ермаков**

**УЧИТЕ МЕНЯ,
КУЗНЕЦЫ**

Редактор М. П. Немченко

Художник В. Д. Сысков

Художественный редактор Г. И. Кетов

Технический редактор Н. Н. Заузолкова

Корректоры Е. И. Ерина, М. А. Казанцева

Сдано в набор 15.02.84. Подписано в печать 13.06.84. НС 12223.
Формат $84 \times 108^{1/32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,1. Усл. кр.-отт. 21,1.
Уч.-изд. л. 21,9. Тираж 50000. Заказ 138. Цена 1 р. 80 к.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск,
ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

ЧИТАЙТЕ
НОВЫЕ КНИГИ ПРОЗАИКОВ,
ВЫПУСКАЕМЫЕ
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКИМ
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ
В 1984 ГОДУ

Анатолий Трофимов
УГЛОВАЯ ПАЛАТА
Повести

События заглавной повести происходят в госпитале
в годы Великой Отечественной войны.

Вера Кудрявцева
В ЛЕС ПО ЯГОДЫ ЗИМОЙ
Повести и рассказы

Труд, любовь, материнство — главные темы книги,
рисующей жизнь уральской деревни.

Борис Галязимов
ДЫМ НАД ЧУЖОЙ КРОВЛЕЙ
Рассказы и повесть

Заглавие сборнику дала поэтичная новелла об умельце-печнике,
о тепле крестьянского очага.

Мargarита Анисимкова
ЛИЦОМ К ВЕТРАМ

Герои книги — вышкомонтажники, работающие на Тюменском
Севере.

Ваши отзывы об этой книге
присылайте по адресу:
620219, Свердловск ГСП-351,
ул. Малышева, 24,
Средне-Уральское
книжное издательство





ИВАН АНДРЕЕВИЧ ЕРПАМАНКОВ